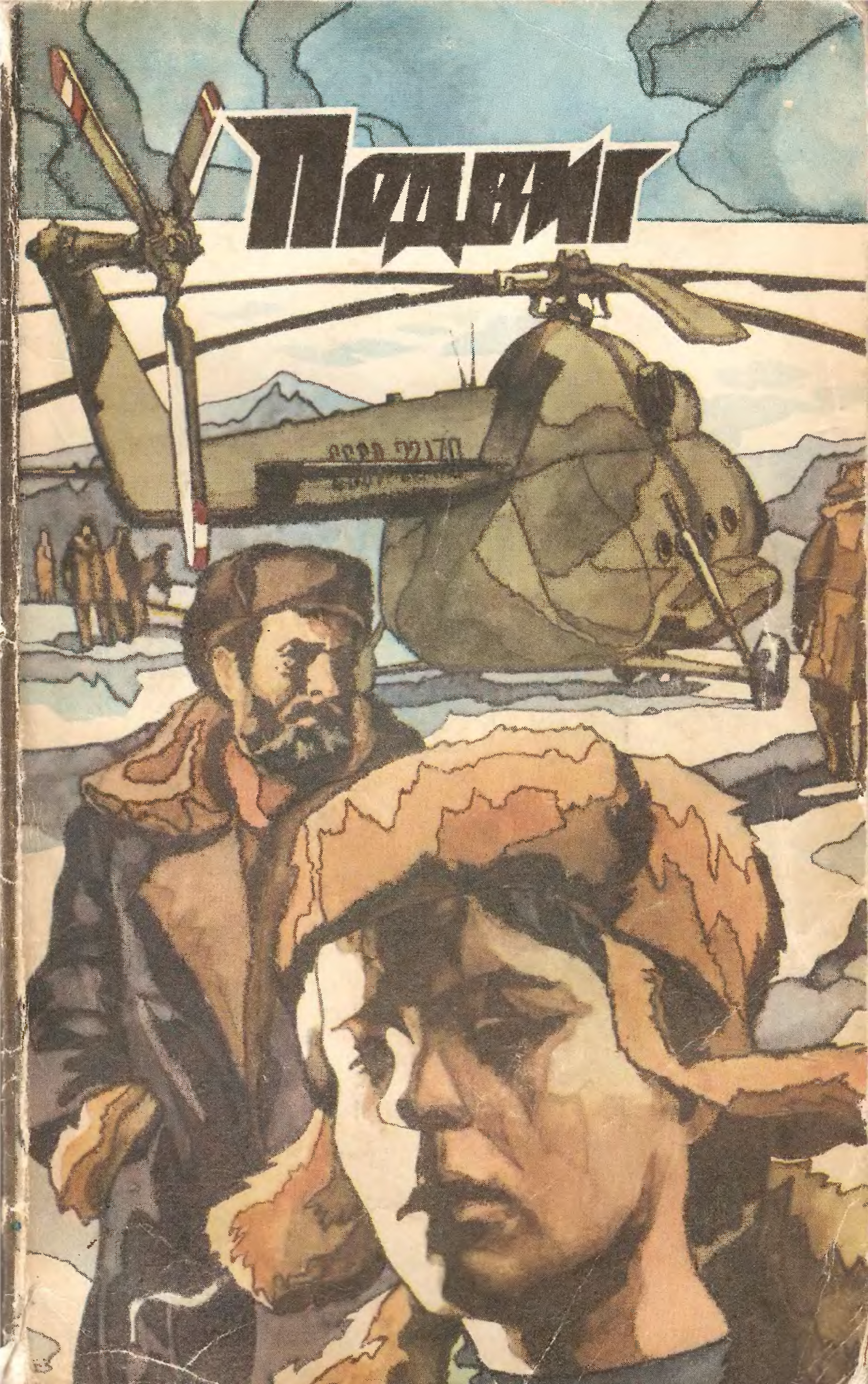

Подвиг

Она даже не смогла шевельнуться, когда внезапно отодвинулась фанера, прикрывающая отверстие, выпиленное в двери, и показалась чья-то большая рука в толстой черной перчатке, отыскивая и отодвигая внутренний засов...

А. МЕРКУЛОВ





Расстегивая пуговицы, дядя Коля услышал сильный плеск, а вскинув голову, увидел, что Валька Орлов плывет к плоту, руками ломая перед собой лед.

— Назад! — заорал дядя Коля и кинулся в воду. — Приказываю, назад!

А. ЛИХАНОВ

библиотека



приложение к журналу
«сельская молодежь»





издательство ЦК ВЛКСМ "молодая

А. МЕРКУЛОВ
А. ЛИХАНОВ
И. ДВОРКИН
Э. ХРУЦКИЙ

гвардия"

москва 1974




А. МЕРКУЛОВ
ЛЕДОВАЯ СВАДЬБА

Через месяц после того, как все стало окончательно проясняться, — как бы выходя вместе с весной из обычного для этих дальних мест смутного зимнего света, — Багров писал Весниной в редакцию:

Июль, зимовка на острове Ледовый.

«Дорогая Елена Васильевна! Простите великодушно, что доставил Вам лишние заботы и волнения в эту нелегкую для всех нас неделю. Я был, безусловно, перед Вами виноват, но мне уже достаточно того, как я за это наказан навсегда — кто знает, как долго придется мне нести свой крест, уходя одиноко за горизонт... На всем побережье только и говорят о том, как Вы помогли распутать дело Кучумовых, и о том, что на зимовки очень полезно присылать внезапно красивых женщин: это благотворно действует на здоровый коллектив. Следователь Тминов Павел Гордеевич шлет Вам самый горячий привет и с нетерпением ждет Вашей статьи о событиях на нашем дальнем острове, чтобы вырезать ее и сохранять особенно бережно, тем более что она прямо относится к его работе, а он у нас еще молодой и не совсем равнодушен к отзывам в прессе. Все наши зимовщики — кроме, конечно, моего заместителя, который, получив от меня и от райкома «по совокупности», доживает здесь последние дни — также шлют Вам свой дружеский полярный привет и желают без всяких забот провести ожидающий Вас отпуск: в доме Кошкина Вам будет спокойнее и тише, чем в любом санатории, я это знаю по себе... Пишите нам тоже, здесь письма ценятся — Вы ведь сами теперь это понимаете, — как промелькнувшее видение розовой чайки...

Всегда Вам преданный Багров».

Глава первая

БАГРОВ

1

На этом непривычном и незнакомом аэродроме, как будто он был уже не в Москве, а где-то в дальнем городе, она долго смотрела, как прогревают моторы: сначала винт судорожно дернулся, сухо чихнув, а потом вдруг слился в ровный круг, и из лужи под самолетом взлетели брызги... Недавно был дождь, и бетон на взлетной полосе еще не просох. Аэродром был небольшим, и самолеты здесь стояли тоже не очень большие. На фоне невысокой молодой рощи и не просохших от дождя земли и бетона сверкали только яркие полосы светящейся алой краски на самолетах.

Здесь не было многолюдной суеты, высоких стеклянных залов, только у небольшого буфета собралась компания в кожаных куртках, и они все время пили пиво, а недалеко от полосы все ходил невысокий плотный человек тоже в куртке с меховым воротником.

Веснина смотрела на аэродром, ей было грустно и немного пусто от вчерашнего и в то же время радостно оттого, что она совсем-совсем свободна. И как только самолет будет готов, она улетит отсюда в таинственную необычайную страну, о которой до сих пор только читала.

Невысокий и плотный мужчи-

на, ходивший нетерпеливо вдоль полосы, подошел к ней и спросил, улыбаясь:

— Холодно?

— Не очень, — сказала она и зябко запахнула шубку. — Такой уж май в этом году.

— Я только что с юга. Из отпуска, — сказал мужчина. — Мы, кажется, вместе летим? — спросил он.

— Я сама не знаю. Все вместе?

Она посмотрела на тех, кто жадно, как в пустыне в самый жаркий день, без конца всё пил у буфета пиво.

— Нет, вдвоем. У этих ребят свой самолет. Гидрологи. И у нас такой же, только мы еще везем новый мотор в бухту Провидения.

— Мне не приходилось летать грузовыми.

— Понятно. Ничего, самолет у нас хороший, удобный, теплый. Мотор уже погрузили, он нам не помешает. А вы к мужу летите?

— Наоборот, от мужа, — сказала Веснина.

— Так я и поверил... К нам от мужей не летают, — сказал он и засмеялся. Потом снова стал ходить в нетерпении — очевидно, не любил долго ждать.

И, глядя на то, как он нетерпеливо бродит недалеко от взлетной полосы, она подумала, что вчера день был солнечный и что этот день она долго будет помнить, потому что он оставил ей наконец чувство пустоты и свободы... Вчера, когда они ехали по шоссе и последние высокие дома уже остались за Кольцевой, Борис спросил:

— Помнишь дорогу на Углич из Рыбинска?

Она не ответила. Сначала ей не хотелось даже разговаривать, и она пригрелась в машине, тем более что ехали небыстро — очевидно, он сам не хотел торопиться и вовремя подумал о том, что она не любит быстрой езды с тех пор, как однажды, когда ехали в такси, под машину попал пьяный. Ей все же было немного тревожно, и она долго смотрела, как тянется по сторонам четкая и светлая листва в придорожных рощах, и там, где листья светились на темном фоне хвойного леса, они казались особенно яркими и молодыми... Потом она сказала:

— Ты хотел поговорить? Будет ли еще время?..

И он спросил, заметно сдерживаясь:

— Что тебя не устраивает?

— Ты знаешь.

— Я сам?

— Наверное.

— В чем же?

— Мы слишком разные люди.

— Но нельзя так сразу...

— Совсем не сразу. И ты это тоже знаешь, — сказала она.

— К кому ты уходишь?

— К Унковским. К родственникам. Пока буду жить у них.

— Сколько мне сидеть еще в этой рекламе? Может быть, из-за нее ты и хочешь меня бросить. Теперь я опять перейду в настоящий журнал, — сказал он, не слушая, — и больше меня не загонят в рекламу.

— Никто тебя не загнал, — сказала она устало. — Ты сам туда загнался. И даже был доволен, что так легко все кончилось, когда тебя попросили уйти из хорошей редакции.

Потом они ехали молча, пока не свернули с большого шоссе к Успенскому.

— Что с Михал Михалычем? — спросил Борис.

— Устал просто. Он ведь не первый раз болеет.

— А как твой дядюшка Унковский?

— Работает.

Она все ждала, когда покажется наконец роща, — когда-то они жили с отцом на даче, недалеко отсюда, и часто ездили к этой роще, как на свидания. Вот уже впереди показались, туманно светлея сквозь сосны, частые белые стволы; свернув в проулок и объехав дачи, остановились на опушке и вышли из машины. И снова, как уже много раз, когда она бывала здесь, у Весниной тревожно и весело шевельнулось сердце. Березняк поднялся перед ней, весь ровный, белый и сквозной, без подлеска, высоко вверх унося свои четкие листья. Роща была хороша в любое время — зимой строгая и свежая, как снег, чернея пятнами березовых стволов, а ночью лунный свет стоял в ней, как налитый в большую плетенку, или в полной темноте она светлела большим туманным квадратом... Летом было в ней как в заботливо прибранном старом музейном храме: на зеленой траве вздымались от высоты казавшиеся тонкими, прямые стволы, вознося к небу хлопотливые листья; и было здесь легко, как в самых древних русских храмах, где все светло и пусто, и только сверху падает яркий свет на чистый белый камень, и нет мистического полусумрака или позолоченной мишуры. И осенью, когда высоко вверху зеленые листья мешались уже с первым, тонкой чеканки золотом, она всегда любила эту рощу... Они бродили долго среди звучной пустоты белых стволов — Весниной казалось, что все вернулось к ней снова, как будто ей опять двадцать лет, и все впереди, и можно поверить в свое счастье. Весна была в роще

как чистый звук колокольчика. Стволы берез казались сплошь обрызганными теплым парным молоком, струящимся по ним вверх, к голубым просветам неба, а невдалеке от нее, стараясь не мешать, уныло плелось ее неудачное счастье, в модном импортном плаще, с припухшими равнодушными глазами, как у мелочного оценщика на толкучке: хорошо, что хоть догадался отойти поодаль...

Больница была устроена как санаторий для пожилых ученых, и, когда они подъехали, оставался еще час до обеда и все бродили по дорожкам большого парка. Они тоже пошли по дорожкам и вскоре нашли Михал Михалыча — он сидел на скамейке под большим старым деревом, окруженный обществом, как всегда, и что-то рассказывал. Веснина думала подойти незаметно, но он вдруг встал и быстро пошел ей навстречу — в темном шелковом халате, который ему подарили когда-то в Азии, легкий и энергичный, как всегда, несмотря на полноту и больное сердце.

— Лена, — сказал он и взял ее за ухо, как в детстве. — Где ты пропадаешь? И как ты меня здесь нашла?

— Ты хорошо выглядишь, дед, — сказала Веснина, когда они расцеловались. — Это мне нравится. Как твои дела?

— Отвратительно. Лабораторию у меня затопило, и ведь прячу свои ценности в подвале, как алхимик, хотя и не по своей воле; половина архива уже погибла, и меня увезли на «скорой помощи», а потом сюда. На три месяца.

— Может быть, тебе хоть теперь дадут помещение?

— Ничего подобного. Места для лабораторий всем не хватает.

— Давайте я напишу об этом, — сказал Борис. — Вас же знают, и это вызовет сенсацию.

— Спасибо, граф. — Бориса он терпеть не мог и всегда высмеивал за дешевый снобизм. — Не надо сенсаций. Я уже не нуждаюсь в рекламе. А ссориться с начальством — это слишком большая роскошь.

— Мы едем на дачу к Липатовым, — сказала Лена. — Может быть, им рассказать?

Старик незаметно и ловко подмигнул — и Лена поняла, что это его очень устраивает.

— Дед, я уезжаю. Как всегда, по делам. Завтра утром.

— Говорят, вы очень интересно выступали на конгрессе, — сказал Борис. Он явно пытался теперь понравиться старику: хватался за все, к чему был так равнодушен раньше. — Где бы достать стенограмму?

— В мусорной корзинке, маркиз. Я ее выбросил. Стеногра-

фистка попалась немногим выше «первобытника» по грамотности и, ничего не успевая и не понимая, соединяла начало одной фразы с концом другой. Теперь я просто сделаю статью. Ты знаешь, о чем я говорил?

— Нет еще, — сказала Веснина.

— Я утверждаю, что биологическая эволюция человека прекратилась. Ее достаточно может регулировать современная цивилизация. Наоборот, идет процесс смещения рас, их чистых типов почти уже нет в природе, — сказал антрополог. — Мы возвращаемся к биологической однородности первобытного человека. Теперь расовый вопрос — это только предлог для экономической конкуренции, ничего общего не имеющий с законами биологии... И человек будущего вовсе не станет существом с огромной головой и с двумя пальцами — только для нажатия кнопок; чтобы создать машины с кнопками, тоже ведь нужны все пять пальцев, а наш мозг и при нынешнем объеме вполне способен управлять электроникой...

Она посмотрела на Бориса и поняла, что ему опять очень скучно и он только притворяется. Но она промолчала — старик и так уже заметил что-то неладное, хотя, как всегда, не подал виду. С ним она чувствовала себя опять, как в детстве: он много лет дружил с отцом и даже жил у них одно время. И она помнила высокую полку с черепами, которые смотрели в окно на московские крыши, как будто знали что-то очень древнее, только не хотели сказать. И ей казалось, что сам он тоже нисколько не меняется с годами — такой же полный, с круглым и добрым лицом, с такими же хитрыми и приметливыми глазами. Он и сейчас смотрел на нее как отец, и она уловила тревогу, когда он спросил:

— Ты далеко едешь?

— К белым медведям.

Борис вдруг посмотрел на нее с тоской, и она поняла, что ей все-таки тоже его очень жаль... Она еще сама не знала, чего теперь будет больше: свободы или непривычной пустоты.

— Как твой дядюшка? — спросил Михал Михалыч.

— Кончает новый перевод.

— Ты часто его видишь?

— Каждый день.

Теперь старик сразу все понял и не стал больше спрашивать. Она взглянула на него с откровенной нежностью: столько иметь дела с мертвыми и так любить и понимать живых!

Потом они шли обратно, к машине, по большому парку, мимо причудливого здания этой загородной больницы — в угловатых вышках и башнях, как замок, с претензией на старин-

ную готику; и мимо широких клумб перед домом, где уже высадили первые весенние цветы... И тогда Борис вдруг остановился и сказал:

— Ты бы и правда поберегла себя. Надеюсь, ты едешь в шубе?

— Лучше всего, если ты совсем перестанешь обо мне думать. Мы ведь даже не были с тобой расписаны, — сказала она с досадой и посмотрела на самолет, который как раз пролетал над домом, все снижаясь к ближнему аэродрому: у него уже было отчетливо видно переднее колесо, выпущенное перед посадкой, как бы в нетерпении протянутое навстречу земле...

И вот еще и сутки не прошли, а она уже стоит на этом незнакомом аэродроме, откуда иногда отправляются экспедиции, и ждет, когда ее позовут в машину, готовую в какой-то внеочередной рейс.

2

Самолет был небольшой по теперешним временам, поршневой ИЛ-14, в него уже погрузили укрытый брезентом мотор, который везли для ремонта другой такой же машины. У самой кабины летчиков был столик и кресла — для гидрологов, которые тут сидят во время ледовой разведки, как объяснил Весниной ее спутник.

— Давайте знакомиться. Я Багров Петр Дмитриевич.

Она взглянула на него спокойно и внимательно — среднего роста, плотный, очень живой и решительный, сразу видно, что привык во многом рассчитывать на себя, — и сказала:

— Елена Васильевна.

— Вы впервые на Север?

— Да.

— Заметно.

— Почему же?

— Как-то вы держитесь еще по-городскому... Но это хорошо. Мы от этого немного отвыкаем. Вам вообще приходилось летать?

— Конечно.

— Только не грузовыми рейсами?

— Билетов не было, и мне предложили отправиться с этим самолетом. Я и не думала, что туда так много желающих.

— Это весной. Самая пора экспедиций. Народу — как перелетных птиц. Сами увидите.

— Вы, наверное, старожил?

— Да, меня давно здесь знают.

— Значит, и вы хорошо все знаете. Трудно ли теперь жить на Севере?

— Смотря где и кому, — сказал Багров. — Конечно, не первые годы открытий. Конечно, Арктика была сплошным «белым пятном», а теперь в нее едут просто жители. Что было здесь не так уж давно? «Молчание пустынных берегов... Свободный пробег лучей незаходящего солнца по местам, где нет предметов, отбрасывающих тень... Без эха разносится одинокий крик гагары, и безопасен полет треугольных гусиных стай... В 1928 году еще не было ни одной радиостанции на всем пути от Берингова пролива...» У меня, знаете ли, хорошая память, я могу запомнить наизусть несколько страниц из книги, если понравилось. Мне бы в актеры с такой памятью, а я вот столько лет тут почти безвыездно и все что-нибудь строю... Так вот, теперь здесь города и поселки, пусть не такие, как всюду, но все-таки самые настоящие. И только климат не переменился, просто укрываться от него научились, и вот живут. Вы думаете, вам будет скучно после Москвы? Ведь вы из Москвы? Я угадал? Я так и думал. Но ведь и в любом поселке, даже под Москвой, все так же — клуб, кино, радио, магазин... Только здесь еще мороз и ветер, в пургу ничего не стоит заблудиться у себя под окнами на улице.

— Даже в поселке?

— Хотя бы и в поселке. Но я вас вовсе не хочу пугать. Просто в пургу здесь гулять не ходят. Разве что спьяну.

— Я понимаю, — сказала Веснина. — Спьяну везде в беду попасть недолго, и, конечно, по улицам медведи здесь не ходят. Но все-таки Север...

— А что медведи? — Багров посмотрел на нее с легкой усмешкой, как ей показалось, слегка снисходительно. — Бывает, и они заходят весной.

Он положил на столик новую пачку «Беломора», а смятую сунул в пепельницу.

— Вы много курите. Одну за одной.

— Мне это не вредит. Я здоров. Вам не мешает?

— Нисколько. А здесь можно?

— Конечно.

Он вынул зажигалку и прикурил. Зажигалка была роскошная, на стальном корпусе с обеих сторон силуэты горностая из кости: с одной стороны огонь показывался от носа, а с другой — от хвоста.

— Вы знаете, Елена Васильевна, — говорил Багров. Он оказался неутомимым собеседником, рассказывал азартно, не повторяясь, — Арктика — это кому как. Одним от нее, кроме

денег, ничего не надо, да и в любом месте им, кроме них, ничего не нужно. А другим стоит только раз сюда приехать, и уже она никогда не даст покоя. Кто говорит, что не может забыть ее краски, такие необычные, вы сами увидите. Как бы приглушенные, вроде как тот мотив, который поешь только про себя. «Сонные грезы земли... Как пейзаж чужой планеты». Это Пинегин говорил, художник, который ходил с Седовым к полюсу. А кто просто не может уже жить без движения после того, как увидел перед собой свободную перспективу больших расстояний. «Как много я мог бы рассказать тебе об этом путешествии! Насколько оно было лучше спокойного сидения дома в условиях всяческого комфорта!» — это Скотт так писал жене в последнем письме... Вот и я один из таких сумасшедших. Похоже?

— Да, похоже. Не очень-то вы любите спокойно сидеть на месте... Даже здесь.

— Ну вот видите. Арктика меня погубила. Уже на пятый десяток, здоров как бык, а ни семьи, ни постоянного дома на земле. Сам не заметил, как время прошло... Смотрите, смотрите! — Он вдруг крепко схватил ее за руку и повернулся к окну. Над темной землей она отчетливо увидела, как в стороне белым треугольником летели на север гуси. — Началось. Пошли, — сказал Багров.— Как только у нас весна, первые промоины, еще первый мох просунулся к солнцу, сидит в снегу, как в парничке, уже появляются птицы... У нас это так заметно, не то что в городе... А теперь вот двинулись гуси, что будет! Иногда их столько, что бросил бы все и только смотрел и смотрел, как летят. Правда, здорово?

Веснина никогда еще не видела сама пролет гусей — белый треугольник все шел, колыхаясь, за ними по ветру, пока самолет не обогнал их совсем, и гуси пропали, слившись где-то вдали с туманной землей.

— Вы так на них смотрите, — вдруг напряженно и негромко сказал Багров. — Я верю, что и вы теперь запомните это навсегда.

— Я первый раз вижу, как они летят, — призналась Веснина.

Багров спросил, тепло ли ей теперь; в самолете было тепло, особенно после чая, и он сказал, что понятие холода относительно: полярники говорят, что холод — это, собственно, отсутствие привычного тепла и холодно может быть не только зимой на улице, но и от неудач в личной жизни. Потом он посоветовал ей переобуться — будет посадка. Она достала меховые сапожки, а туфли убрала в чемодан. Внизу, под крылом,

вскоре среди лесов открылся город, — самолет делал круг, и они отчетливо и близко увидели старинные деревянные дома в затейливой резьбе, а за ними ровные и светлые большие корпуса металлургического комбината.

После посадки пошли к зданию аэропорта обедать. Багров взял себе немного коньяку, а она обрадовалась, увидев в меню оленьи котлеты.

— Это только в аэропорту, с севера привозят. Вот дальше будет кругом олень, — сказал Багров.

Какие-то летчики из другого экипажа, проходя мимо столика, поздоровались с Багровым и спросили, как он провел отпуск. Но он вдруг стал неразговорчив и заторопился.

— Я ведь начальник зимовки на острове Ледовом, — объяснил он ей. — У меня там происшествие, вот и вызвали... Скорей бы долететь, а то отвечай каждому на расспросы.

3

Самолет шел не очень высоко, он пробирался над лесами, и все внизу было видно, несмотря на пасмурный день, очень отчетливо.

Далеко впереди Веснина вдруг увидела белые клочья, как будто несчетная стая гусей опустилась отдохнуть, — это был уже снег, и дальше леса пошли все запорошенные, белые пятна только оттеняли их сумрачную хвойную зелень. Зима вернулась, и шубка, которую она положила в теплом самолете рядом с собой, теперь уже не казалась ей неуместной и странной, как утром.

Потом внизу был город, где у берегов теснились сложенные рядами, как спички, бревна лесного сплава. Снег давно уже лежал сплошь, а лес внизу стал реже и ниже, теперь шли уже кривые и прижатые к земле перелески.

— Вот здесь у меня друг погиб, — сказал Багров. — Старый летчик, командир самолета. Всю Арктику насквозь излетал, а тут — как на ровном месте... И так бывает.

— Это тундра? — спросила Веснина.

— Начинается тундра.

— Становится пусто, и смотреть почти уже не на что.

— Это так кажется, что не на что смотреть, — сказал Багров. — А на самом деле здесь живут. Даже у нас на острове растут камнеломка и лютик, полярный мак, мшанка и полярная ива. Раньше всех прилетает к нам пуночка, полярный воробей. Самый первый звонкий голос жизни для тех, кто по

живому изголодался... Скажите, — вдруг спросил Багров, — а я могу узнать вашу фамилию?

— Разве я не сказала? Веснина.

— Это ваша фамилия или мужа?

— Моя.

— Я ее где-то слышал.

Она ждала, что будет дальше.

— Кажется, был архитектор Веснин. И еще один астроном, специалист по метеоритам, — начал он нерешительно. — Профессор.

— Ну вот. Теперь угадали. Это мой отец.

— Я ведь говорил, что у меня хорошая память. Я могу, например, пересчитать все названия по всему побережью, даже самые мелкие села. Или назвать всех фараонов Египта, мы ведь зимой каких только книг не читаем... Или все даты запусков в космос. Ничего не забываю. Тоже мог бы стать профессором. А я вот вместо этого девятый год новую зимовку на острове строю, хотя и здесь могу пересчитать на память все бревна по маркировке в том порядке, как дома собирали.

Открылась дверь, и вошел командир.

— Ну, как дела, старик?

— Нормально, — сказал Багров.

— Скоро прилетим на ночевку. — Командир улыбнулся Весниной, потом прошел к мотору, зачем-то потрогал брезент и вернулся к себе.

4

В гостинице, деревянной и двухэтажной, им отвели номера на втором этаже — Багров что-то сказал дежурной, и та проводила Веснину в отдельный хороший номер с ковром и письменным столом. Из коридора все еще доносился голос Багрова, который рассуждал сначала о чем-то с летчиками, а потом долго ходил один по коридору, слышно было только, как скрипят половицы... Часов в десять он сам постучался к ней в номер:

— Елена Васильевна...

Она открыла дверь. Багров был уже без куртки и без галстука и показался ей очень странным.

— Можно мне с вами поговорить...

— Простите, но у меня не прибрано в комнате.

— Все равно где.

В коридоре был холл, где стояли, как водится, два фи-

куса в деревянных кадках, диван и кресла, и никого не было — все ушли на другой этаж смотреть телевизор.

Они сели рядом, и она ждала, что он скажет.

— Знаете... Мне это очень важно... — Багров не знал, с чего начать. Она ждала, и он решился: — Если спросить вас прямо, вы любите своего мужа?

— При чем здесь муж?

— То есть как при чем... Мне это немедленно надо знать.

— Мужа? Допустим, что я его терпеть не могу, — сказала Веснина. — Разве что жалею.

— Это правда?

— Вы только об этом хотели меня спросить? — Она смотрела на него, стараясь понять, действительно его что-то волнует, или он просто принимает ее за приезжую дурочку.

— Слушайте... Только не перебивайте меня. Я расскажу вам о себе. Все равно вы не пошли смотреть фильм. Да и к черту фильм, когда людям не удается поговорить о том, что важно бывает в жизни. Я учился в Ленинграде, меня уже тогда тянуло на Север, я человек, присужденный к Арктике. Как только попал сюда, так и пошло: по три года от отпуска до отпуска, а теперь я специалист, меня всюду хорошо знают, и здесь я как дома. И все это мне нравится. Но, как многие, у кого кочевая жизнь, я отвык от оседлости, и с возрастом мне стало не хватать привязанностей, к которым я мог бы вернуться. Родных у меня нет. Я рос в детдоме. Пока был молод, даже не оглядывался ни на города в пути, ни на случайных встречных женщин — прилетишь, проведешь отпуск, да не как-нибудь, а с громом. И в конце концов уже глядишь, надоело, скорей бы сюда, тем более что эту свою теперешнюю зимовку я сам затеял, убедил, что надо ей быть именно на этом острове, и начал строить... Так вот меня сейчас вызвали из отпуска, а я третий раз за последние десять лет езжу, чтобы жениться... Надоело одному, да все не получается. Надо мной уже смеются. Вы только не перебивайте. Послушайте, ради бога. Ведь и у вас в большом городе, мы только признать этого не хотим, а на самом деле, кого ни возьми, женаты уже по второму разу... Да и то не всегда удачно. Что же хорошего? Значит, не так все это легко. Когда молод, был глуп, а теперь, наверное, мне деньги мешают.

— Так и мешают?

— Именно. Я ведь еще не старик, чтобы смириться с тем, что сам я не очень-то буду нужен. По крайней мере, пока сижу на своем краю земли...

— А почему вы думаете, что к вам только так относятся? Просто вы не верите женщинам.

— Конечно. Так же, как и они не всегда верят мужчинам. И правильно делают... У нас не случайно летчики местных отрядов часто женятся как на лету: ведь надо сначала узнать человека, а здесь, кроме как в буфете, пролетом, как на перекрестке, иногда и женщины не встретишь. Вот и женятся как только придется. А потом чашки врозь — и хоть все сначала.

— Ну так что же вы хотите сказать?

— Вы еще не поняли?

— Наверное, я так, сразу, не понимаю.

— Зачем вам лететь к этому мужу? Бросайте все и выходите за меня замуж. Я сразу понял, что вы о нем нисколько не думаете.

— Вы с ума сошли! — сказала Веснина. — Да мы знакомы с вами всего полдня. Совсем случайно. Как вы говорите, на перекрестке.

— Ничего подобного! Я вас знаю тысячу лет. Только все никак догнать не мог и вот наконец догнал в дороге.

— Знаете, Петр Дмитриевич, я должна вам прежде всего сказать...

— Постойте! Ничего не говорите. Ну подождите, послушайте сначала, что я вам скажу. Не подумайте только, что я пошляк, который всем на ходу в любви признается. Наоборот, я сам никому до сих пор не мог поверить: а вам поверю. Не знаю почему, но я это чувствую. Со мной, конечно, будет нелегко, и характер нелегкий, и живу я черт знает где, но ведь вы туда же летите. К какому-то, о ком не спросили даже ни разу, хотя я почти всех тут знаю... Кто он, моряк? Ну, не говорите, не надо, только не перебивайте.

— Петр Дмитриевич...

— Дайте же мне сказать... Послушать меня хоть вы можете? Я в детстве как-то видел: шла через поле белая лошадь по прямой дороге, совсем одна, я все смотрел, а потом отвлекся, и она пропала, ушла, как за горизонт, и оттого, что я не видел, как она совсем прошла, мне все кажется, что она так и идет через свое поле, все прямо, без конца. Так и я, как эта белая лошадь, все иду прямо, без конца, и все один.

— Я понимаю, что вам надо бы жениться, но при чем здесь я?

— Не каждый день встречаешь такую женщину. Да еще когда на земле бываешь раз в три года, — сказал он ей с решимостью.

— К вам не идет быть таким несерьезным. Ну что вы обо мне знаете?

— У меня интуиция. Я не первый раз отбираю людей на долгий срок для небольшой зимовки. А это много значит.

— Ничего не значит, раз вы так и не сумели до сих пор жениться.

— Просто боюсь ошибиться. Это очень тяжело понять потом, когда все придется начинать заново...

— А вы не ошибайтесь, — сказала Веснина не очень уверенно.

— Вас вообще не надо было пускать в Арктику, — сказал Багров. — Мы и так тут добровольные мученики на севере диком... Не обижайтесь, это я просто так.

— Петр Дмитриевич, теперь вам лучше всего пойти отдохнуть. Завтра у нас рано вылет. Я тоже устала.

— Завтра все будет поздно. Завтра днем я расстанусь с этим самолетом, за мной придет другой. Вы ведь даже не сказали мне, куда летите.

— Я завтра скажу. А сейчас уже поздно. Я пойду к себе.

— Одну минуту. Еще одно слово...

— Петр Дмитриевич!

— Ну хорошо. Идите. Только подумайте, о чем я вас прошу. Вы просто меня еще не знаете. Я очень упрям. Я все равно вас найду. Спросите обо мне — тут все знают, что Багров может меридиан сломать, а своего добьется.

— Спокойной ночи. И не надо ломать меридианы, — сказала Веснина. — Право, не стоит. Завтра вы сами на все посмотрите иначе.

5

Заснуть сразу она уже не смогла, хотя и не думала вовсе о том, что наговорил ей Багров, но перед глазами все стоял у нее вчерашний день — и то, что было после того, как они простились с антропологом и выехали из Успенского.

Сначала они опять молчали, пока не выбрались на шоссе, и тогда Борис спросил настойчиво и раздраженно:

— А все-таки почему?

— Неужели ты сам не догадался?

— Нет.

— У нас просто оказались разные понятия о том, что важно в жизни. Для тебя это вещи, а для меня — отношение к людям.

— Вещи прочней, чем люди.

— Смотря какие люди.

— Много ты их видела, настоящих людей. Может быть, каждый день видишь? Особенно в суде?

— Не так уж часто. Но тем они дороже.

Их вдруг кинуло вперед, и тормоза противно заныли — они уже поравнялись с большим грузовым фургоном, когда на дорогу выскочила коза, и он вдруг дал газ, в обгон фургона, а потом уже резко затормозил.

— Вот черт... Хорошо, что никто не ехал навстречу...

— Может быть, ты устал, что все делаешь наоборот? Тебя сменить? Только мы тогда поедем тише, — сказала она насмешливо.

— Не говори глупостей. Я не от этого устал. Ты же знаешь, что я езжу автоматически, как иностранец. Мне это не мешает разговаривать.

— Вот именно. Иностранец из Торжка. Внутренний иностранец, — сказала она.

— Я знаю, что все вы здесь против меня. Я иностранец, а ты старуха. Ты всегда была со стариками.

— Они того стоят.

— Мои особенно.

— Какая же ты свинья, Борис! Жалко, что они это поздно поняли.

— Это я их поздно понял. Мы всегда всем обязаны старшим, и нас растят только для того, чтобы каждый день напоминать об этом. Разве я должен думать, как они, и все повторять за ними? Они остались безнадежной провинцией и не понимают, что теперь провинция рушится. Навсегда. Отец прослужил в одной и той же дикой дыре и теперь живет в своем городишке, где жизнь просто не с чем сравнивать. Я не могу без конца слушать одни гарнизонные воспоминания или разговоры матери о домашних делах. Им ведь кажется важной каждая мелочь. Мои впечатления — другие страны, пусть у меня только внешний кругозор, но зато он намного шире... Можно подумать, что тебе самой мешают жить хорошие вещи.

— Нет, не мешают. Но я им знаю цену.

— Такую же, как и все.

— Неправда. Всех нет. Люди не так одинаковы в своих отношениях к вещам, как ты хочешь думать. Да и что тебе надо? У нас уже все было: купили квартиру, мебель, машину. Все, кроме самого необходимого, чтобы жить вместе.

— Все было потому, что я работал в этой самой своей рекламной конторе и много ездил.

— Знаешь что? Мне надоел этот разговор. Видишь вон тот поселок? — Они проезжали мимо поляны, где дорога сворачивала к маленьким домикам, похожим издали на пчелиные ульи. — Я не против всех этих садовых участков и сторожек при них, но, когда здесь копируют дачную архитектуру, они кажутся лилипутским городком, где все маленькое. Вот и ты такой же. И давай об этом кончим. Мне надоело.

Он замолчал, и дальше ехали молча — дорога легко шла навстречу. Была весна, сухой и светлый асфальт уже казался теплым. За Вяземами они проехали Голицыно с прудом и старинным барским домом на берегу и здесь свернули к Звенигороду.

— Ты давно здесь не была?

— Уже давно. А ты?

— Я тем более.

— Кто же тебе мешал?

— Занят был в других местах. Например, в Париже.

— Они сюда, а мы к ним. Как будто все люди — туристы, — сказала Веснина. — Ну и как, есть у тебя шансы поумнеть на фоне быстрых впечатлений?

Смотри на дорогу. Если будешь гнать, занесет. Кто-то впереди пролил масло.

— Я вижу. А машину я тебе не отдам, — сказал он. — И вообще, еще посмотрим, что к чему. Как ты будешь после этого всех поучать в своей газете по разным поводам...

— Боже мой! — сказала Веснина. — Ты еще хочешь жаловаться? Неужели ты до сих пор не понял, что я не вернусь в квартиру даже за зубной щеткой?

Глава вторая

НЕОСТОРОЖНОЕ УБИЙСТВО

6

...Она оделась совсем и прошла в небольшой буфет гостиницы — здесь ее и нашла дежурная по этажу.

— Ваши просили передать, что уже пошли к самолету. Только вы не спешите. Просто они ушли пораньше.

— Спасибо.

Чемодан она оставила вчера в самолете и с собой взяла

только сумку. Окна в буфете были покрыты морозным инеем. Выйдя из гостиницы, она сразу ощутила ветер — день был ослепительно голубым, ярким до резкости, и она достала темные очки, как ей сказали еще в Москве, чтобы сразу не переутомить глаза. Ветер шел на аэродром с побережья Ледовитого океана, которое было уже рядом. Самолеты стояли на поле как белые рыбы с яркими полосами, а здания вокруг были похожи на небольшие кубики, припорошенные белым инеем... Она нашла свой ИЛ-14, около него стояли двое из экипажа. Багрова нигде не было видно.

— Еще не замерзли? — спросил у нее бортмеханик. — Сегодня с ветерком.

— Нет еще, ничего.

— Поднимайтесь в машину. Там теплее. Скоро полетим.

Она поднялась в самолет. Рядом с ее чемоданом стоял чемодан Багрова, но самого его еще не было.

Вскоре механик тоже вошел в машину и закрыл дверь, а потом зашумели винты, и машина двинулась. Ей не стоило большого труда догадаться, что Багров, очевидно, давно уже прошел на правах старого знакомого в кабину летчиков — это обычно не разрешалось, но кто здесь станет проверять, в воздухе. Видимо, не хотел встречаться с ней сразу после вчерашнего — она надеялась, что утром он будет благоразумнее.

Незаметно она задремала, очевидно, оттого, что так плохо спала ночью, а когда проснулась, день за окном самолета был уже пасмурным и мягким. Перед ней стоял Багров и вытаскивал в проход свой и ее чемоданы.

— Ну вот, — смущенно начал он, очевидно, все еще чувствуя себя неловко. — Сейчас наш порт. Я очень рад, что мы выходим вместе. Пусть себе дальше летит один мотор... Мне просто везет, честное слово, что вам не надо дальше лететь. Я узнал об этом у летчиков.

— Я сама бы вам все сказала, если бы вы дали мне вставить хоть слово, — сердито начала было Веснина, но он опять ее перебил.

— А мы здесь иногда бываем. Прилетаем с острова. Иной раз так хорошо увидеть вдруг большой поселок. Для вас, конечно, это захолустный город, но, право, здесь неплохо, когда привыкнешь.

Самолет приземлился и подрулил к стоянке. Когда Багров помог ей выйти, она обернулась, чтобы на прощанье помахать рукой экипажу.

— Куда вас проводить? — спросил Багров.

— К вашему самолету. Я лечу вместе с вами. Я еще вчера хотела вам сказать...

— Быть не может! Вы не шутите?! — спросил Багров, сам себе не веря.

— Да подождите вы, Петр Дмитриевич... Разве вас не предупредили, что к вам на зимовку должен вылететь человек?

— К нам на зимовку? Предупредили.

Он произнес это машинально, но вдруг остановился и замолчал.

— Где же ваш самолет?

— Вот он, — вяло сказал Багров. — Совсем рядом...

Рядом действительно стоял небольшой «Антон», тоже с яркой краской на крыльях, и трое в куртках с любопытством смотрели в их сторону. Очевидно, Багров успел вызвать свой экипаж. Рядом с ними она заметила человека в обычном городском пальто — на белом поле здесь каждого было видно. Багров все еще медленно приходил в себя.

— Значит, вы тоже следователь? Из Москвы? — спросил он.

— Следователь?

— Я больше никого не жду. Один уже есть, наш, местный... Вот он стоит, рядом с летчиками. Вы его знаете?

— Кто стоит?

— Тминов. Районный следователь.

— Почему следователь? Я лечу к вам проверить письмо насчет Кучумова.

— Кучумова?

— Каюра. Мы получили в редакции письмо, что на зимовки иногда набирают людей без особой проверки, и решили посмотреть почему. Что за люди теперь едут в Арктику... Моя фамилия Веснина.

— Веснина?

— Вы, может быть, слышали?

— Так это вы пишете в газетах фельетоны о разных скандалах и преступлениях?

— И в журналах. Только не обязательно фельетоны и не обязательно о скандалах и преступлениях.

— А все-таки вас уже прислали, — сказал Багров. — Быстро же узнали.

— О чем?

— О Кучумове.

— Он что-нибудь натворил?

— Он ничего не натворил. Кучумов убит. Несчастный случай, — неохотно сказал Багров.

— Кто убит? Когда?

— В пятницу. Разве вы не знали?

— Я в пятницу взяла уже билет на этот рейс. Мне в управлении ничего не сказали.

— Они узнали только к вечеру. Меня в субботу из Сочи радиограммой из отпуска вытащили, на пять дней раньше.

— Как же он убит?

— Я еще сам не знаю. Кажется, на охоте, — хмуро сказал Багров.

— Право, я не хотела, чтобы у нас с вами все так вышло, — мягко сказала Веснина. — Но вы ведь ни о чем не спрашивали. Даже не поверили, что я не к мужу лечу. А вечером вас просто нельзя было перебить...

— Пойдемте, — сказал Багров.

Они подошли к машине, он быстро пожал руки летчикам, как будто только вчера с ними расстался, и коротко буркнул:

— Здорово.

Она сказала им, протягивая руку:

— Веснина. Елена Васильевна.

Багров сказал:

— Познакомьтесь. Наш следователь. Тминов Павел Гордеич. Я думал, что ты уже на месте...

— Мне с другого конца района пришлось ехать, — сказал Тминов.

Багров спросил:

— Есть вылет?

Все шестеро поднялись в самолет, и «Антон» задрожал с железным гулом, как только заработал винт. Под крыльями, пока машина делала друг, Веснина увидела весь большой поселок на побережье, прямые улицы из темных деревянных домов и порт с причалом, где чернели зимовавшие пароходы, задержавшиеся тут еще с прошлой навигации.

Сверху легко можно было составить представление о поселке, где домов не хватило даже на одну улицу: длинный жилой барак и подсобные строения — маленькая электростанция с котельной, склады, будки и палатки научных лабораторий... Когда самолет стал садиться, она увидела, как под крыльями бегут откуда-то появившиеся собаки — они догоняли машину, пока она не встала, казалось, вот-вот одну из них заденет винтом. Собаки смотрели вверх, на кабину самолета, и улыбались.

Механик прошел к двери, открыл ее и, опустив небольшую лесенку, подал Весниной руку, чтобы помочь сойти. Здесь день был пасмурным, под тяжелым темно-серым небом вдаль уходили неровные волны снега. Небольшой хребет, на котором не

удержались снежные лавины, чернел вдали, как кремневый нож первобытного человека, обточенный неровными ударами другого камня. Низкий и длинный бревенчатый дом с высокой дымящейся трубой и несколько строений, разбросанных вокруг. Перед самолетом стояла группа бородачей с такими внимательными глазами, как будто перед ними на снег сходит живое чудо... Ей даже показалось, что, ступив на лесенку, она осталась без чулок, — бородачи смотрели на нее во все глаза, внимательные, как дети, а вокруг сидели собаки, высунув языки, и тоже смотрели на нее. И вдруг она поняла, что они, так же как и Багров в дороге, еще ничего о ней не знают и, очевидно, приняли ее за жену Багрова, ради которой тот так упорно ездил на континент.

Она вдруг поняла, что это Арктика и люди эти подолгу живут далеко за Полярным кругом: а здесь даже случайный гость становится для всех событием. В управлении, перед вылетом, когда она просматривала личные дела зимовки, на ее настойчивые расспросы о том, как переносят теперь люди долгую полярную ночь, ей рассказали много разных случаев. И ей вдруг показалось, что она приехала их обокрасть, отнять у них редкий праздник — ведь Багров, по их предположениям, наконец вернулся с земли не один... Как будто к заброшенному в космосе экипажу пришла она не с приветом от далекой своей планеты, а с тем, чтобы сделать очень будничную неприятность, выясняя, зачем к ним на зимовку приняли явного алкоголика, который к тому же вдруг погиб на охоте...

За собой она услышала нетерпеливое сопение Багрова и, заторопясь, сошла с лестницы.

Багров сказал невысокой круглолицей девушке, очевидно, жене шофера Осколикова:

— Нина, будьте добры, проводите к себе Елену Васильевну. Вася пусть к радисту пока переберется.

Бортмеханик тем временем вытащил и понес к дому ее чемодан.

Внутри дом понравился ей сразу своим уютом — Арктика осталась за бревенчатыми стенами. Все здесь жили вместе, только каюр и кочегар (жена Кучумова) — в котельной. Почему же именно Кучумовы жили отдельно? В комнате Осколиковых все было как обычно на земле: ковры, занавески, хорошая мебель, китайская скатерть на столе, даже неизбежные медведи Шишкина в рамке, казавшиеся особенно лишними в краю, где своих медведей хватает...

— Вы что с ним, поссорились? — тихонько спросила Осколикова.

— Нет, Нина, — сказала Веснина. — Можно, я буду вас так звать?

— Конечно.

— Я не с ним приехала. Просто летела в одном самолете. У меня тут есть другое дело.

— Быть не может! Так вы из-за этого?!

Осколикова спросила шепотом, как будто о таких делах нельзя говорить громко.

— А мы-то думали, что вы с ним...

— Нет, я не с ним и не по этому делу. Я от редакции и сама не знаю, что у вас произошло.

— От редакции?

— Ну да. Что же тут удивительного? Я ведь не удивляюсь, что вы здесь живете.

— У нас при мне еще ни разу не были корреспонденты.

— Вот и хорошо. Значит, я первая.

— Вы все-таки насчет Кучумова?

— Почти угадали. Что с ним случилось?

— Его Федотов застрелил по ошибке.

— Федотов?! Физик?

— Он случайно. Думал, что медведь в избушку лезет во время пурги. А это был каюр.

— Разве так легко спутать человека с медведем? Тем более небольшого и слабого?

— Почему слабого?

— Где же он теперь? — рассеянно спросила Веснина, думая о своем.

— Кто?

— Кучумов....

Нина молча показала в окно на бревенчатый склад, около которого все время бродили собаки.

— А ключ у Хребтова. Никто туда больше не входил.

— Это он сделал правильно... Следователь его похвалит.

Когда в дверь постучали — повар Казначев звал к обеду, — они с Ниной пошли в столовую, которая была и клубом и библиотекой, и по корабельной традиции называлась кают-компанией.

За длинным столом было очень тихо.

«Это из-за меня и следователя», — подумала Веснина и невольно посмотрела на Федотова, который сидел, опустив голову; он один не использовал этот час после их прилета, чтобы побриться. И когда он наконец поднял свои как бы отсутствующие, посторонние глаза — казалось, что в них уже ничего не прочтешь, кроме странной и смутной задумчивости.

Среди общего разговора он вдруг спросил ее тихо:

— Вам, наверное, впервые приходится знакомиться с убийцей за обеденным столом?

— С подозреваемым, — сказал спокойно следователь. — Елена Васильевна знает, что это разные вещи...

7

Сразу после обеда Багров пригласил ее к себе.

— Вот что, Елена Васильевна, — сказал он прямо. — Попали вы к нам, как видите, очень не вовремя.

— Разве только к юбилеям надо ждать журналистов?

— Не только. Но мне скрывать от вас нечего, я ведь не ревизии боюсь, какая у нас тут растрата может быть на зимовке?.. У нас сейчас прежде всего несчастье. Для нас беда, а для вас это дело даже особого судебного интереса не представляет... Юридически это довольно банальный случай. Верно?

— Может быть. Меня просто интересуют сами зимовщики.

— Так вот прежде всего надо дать возможность работать следователю. Я сам, например, сейчас тоже буду занят. Может быть, вы захотите посмотреть остров? Наш повар Казначев, о котором я вам уже рассказывал, едет в будку на льду снимать показания приборов вместо Федотова. Это как раз недалеко от избушки, где несчастье случилось. Хотите с ним? Вы на собаках ездили?

— Нет. Конечно, мне интересно.

— Вот и отлично.

Она подумала, что если Багров хочет от нее отделаться, то это выйдет у него не каждый раз.

Казначев тут же принес ей унты, полушубок и шапку с ушами. Был уже долгий белый день, но где-то уже вскрылись льды, и оттуда нагнало облачность; обычно в эти дни в Арктике стоит самая ясная погода с морозом, хотя днем на солнце снег уже скоро начнет таять, а как только льды станут вскрываться всюду, пойдут туманы... Они ехали почти вдоль берега, мимо невысоких снежных холмов. Собаки дружно и уверенно бежали знакомой накатанной дорогой, которую пурга весной не успевала глубоко замести, тем более что к избушке ездили часто — отсюда ходили наблюдать за состоянием льда, и здесь, как объяснил Казначев, шел в ту ночь Фетодов со своими тяжелыми нартами, после того как нечаянно застрелил каюра, — шел, стараясь не сбиться и не потерять этот путь, чтобы не пройти в пурге мимо поселка.

Ей все казалось, что какая-то смутная странная мысль не

дает ей покоя, но она сама еще не могла понять, какая именно; все ей хотелось что-то припомнить, как будто очень незначительное, — а что, она никак еще понять не могла... Впервые пришлось ей ехать на собаках, нарты шли налегке, и мерный бег, и дружный топот быстрых лап, скрип полозьев, и легкое покачивание низких длинных саней, и санный след, однообразно убегающий назад, — все незаметно клонило в сон. Перед собой она видела широкую спину Казначева, которая казалась спокойной и надежной, может быть, оттого, что все движения повара были несуетливы и уверенны. Таким же был и весь его разговор, даже когда он покрикивал на собак вполголоса; она заметила, что он почти не трогает их своим шестом и разговаривает с одним вожаком, ухо которого сторожило каждое слово погонщика.

— Последние дни на собаках ездим, — сказал Казначев. — Начнет таять, сразу вспухнут лужи, и сани стали. А здесь вообще не пролезешь, ведь мы сейчас как раз на море съехали... Это заливчик, весной ручей в него весь снег уносит. Здесь лед после осенних штормов налезает на берег и склеивается с припаем, не различишь, где что кончается. А летом стоит чистое море, непропуск.

— А корабли здесь проходят близко? — спросила она. — Или только грузы везут на остров?

— Может быть, и будут проходить. Сумасшедшим ведь тоже иногда везет, — сказал Казначев и затормозил собак перед самой будкой.

Нарты остановились, и собаки сразу легли, высунув языки.

— Их не надо распрягать?

— Да нет, подождут.

В этой будке, покрытой толем, Федотов сквозь прорубь брал пробы льда и морской воды, определял характер течений у берегов, зависимость движения льдов от направления ветра.

— Он ведь у нас не вполне нормальный, — сказал о Федотове Казначев. — Малость трехнутый.

— Как это понять?

— На почве науки. Который год уже лазает по всему острову и вокруг, во всякую погоду, сколько раз мог обморозиться. Та самая избушка — видите вот там, на берегу, над обрывом? — была у него базой, где все есть для жилья. А на льду у берегов он поставил будку, чтобы проруби прикрыть, это для постоянных наблюдений. Однажды лед треснул, и будка нырнула, хорошо, что никого в ней не было. Кроме того, уходил с каюром дня на два с палаткой подальше

от острова, намерзнутся до костей, собаки и те назад едва плетутся... Покойник каюр не любил таких походов — тупой он был мужичок, что греха таить, и все уверял, что ученый должен сидеть дома и карандашом писать, а это просто рыжий псих навязался на его голову. Вообще-то, мы все помогаем друг другу, так уж принято на зимовках, но Федотову все было мало — всех обучил и пробы брать батометром, и с вертушкой работать, а уж льда одного на него перевели... Он из него чистую воду топит, мы его так «водяным» и прозвали.

В будке, в квадратном вырубленном отверстии, она увидела черную воду океана и отчетливо отметила толщину льда, на котором они стояли и который вдруг почему-то показался ей слишком хрупким, тонким и ненадежным.

— Вот так, — усмехаясь, сказал Казначев. — На первый раз с непривычки даже по спине пробирает. С берега сойдешь и не заметишь, все белое и в снегу, а в проруби лед тонковатым кажется. Да еще трещины кругом. А чуть подальше от острова под этими двумя метрами льда на три километра холодной воды, и больше ничего. Все-таки Арктика.

Пока Казначев брал пробы, она присела на нарты и стала смотреть на крутой берег — изба над морским обрывом на краю света казалась отсюда молчаливой часовней на перепутье. Снег вокруг нее был убит и укатан ветром.

— Вы там были уже? — спросила она, глядя на избу, когда Казначев вышел из будки.

— На другой день, как только пурга кончилась. Сначала нашли варежку и шапку. Потом к избе подошли, только Хребтов как заглянул внутрь, так велел никому не входить, не топтаться вокруг и ничего не трогать. Однако дырки от пуль в двери я видел — аккуратные, ничего не скажешь, токарь позавидует по классу обработки отверстия. У Федотова ведь карабин коллекционный, фирмы «Винчестер», бьет со страшной силой.

— Он, кажется, в дверь стрелял?

— Сквозь дверь, только не вплотную. Наверное, должны быть всякие щепки в зипуне. Теперь ведь все находят по науке...

— Когда расстояние не больше метра, в ране должен быть поясок осаднения от пороха и горячего масла из ствола.

— Как вы думаете, что ему может быть?

— Федотову? Если признают неосторожное убийство, это когда не предвидел последствий, но должен был предвидеть, то по закону до трех лет, вернее всего условно. Или исправи-

тельные работы, вычет из зарплаты, или совсем ничего, если докажут, что он не мог в это время ждать там каюра. Просто юридический казус, случай.

— То-то что казус, — насмешливо сказал Казначев, сидя рядом с ней на нартах, как старый ворон. — Спрашивать следователь будет всех, только что мы знаем? Федотов человек хороший, в этом всем нам можно верить, только мы тут в нужное время вроде даже не были... У вас вот в газетах пишут, что стоит следователю поколдовать, взять, скажем, в банку воздух из комнатухи — если чистый, значит, все так и есть, а если был стойкий перегар, значит, Кучумов входил в избу и Рыжий не так все рассказывает.

— Мало ли что в газетах. Но рано или поздно действительно все находят, почти всегда. Только не так просто.

— Три года — это тоже скверно. А вдруг не условно? На месте Федотова помолчишь, помолчишь да и взвоешь. Я ведь сам сидел.

— Я знаю.

— Я так и думал, что уже знаете. У каждого из нас есть анкета. Там все сказано... Сидел-то я недолго, а вот что до этого убийцей был — да еще каким! — этого даже вы, наверное, не знаете. Я об этом только в високосном году рассказываю, и то если чересчур пьяный. По мне ведь теперь ничего не видно.

— Но ведь вы убивали на войне?

Казначев был высок и жилист, руки большие и крепкие; походка степенная, с достоинством, знающего себе цену кубанского казака; глаза спокойные и цепкие, серые, пристальные, узкие, с прищуром, — как сквозь прорезь в прицеле.

— Об этом-то я и думаю. Делаешь одно и то же, а как все меняется, смотря как делаешь — по закону или нет. Мне приходилось даже веревкой душить.

— Расскажите.

— Положение у нас было скверное: обложили нас в большом лесу, ни еды, ни патронов. Полная гибель. Самим все надо брать. Тогда мы стали выходить на шоссе в немецкой форме, а с нами за командира бывший учитель в форме СС, он один хорошо говорил по-немецки. У немцев прежде всего порядок: по шоссе идут колонны, а мы, как патруль, «хальт!». И грузовик сворачивает на обочину... Выбирали с нужным грузом. Наш офицер документы их смотрит — и в карман. С каждым шофером один из нас садится и по лесной дороге в сторону, вроде на проверку. «СС» они даже спрашивать боялись. Там уже выводили по одному, на до-

прос как бы, а стрелять все равно нельзя. Близко от дороги, и другие услышат. Если ножом, и то может крикнуть. Вдвоем кидали сзади веревку на шею и резко в разные стороны... Позвонок только хрястнет — и готов солдат, в овраг. Так вот.

— Приятного мало. Но ведь это война.

— То-то и дело, что война. Я, когда душил, не о них, о себе думал. И на себе веревку чуял. Немцы меня поймали еще раньше, я ведь и школу-то до войны кончить не успел, подросток был, но поймали уже не зря. Поставили у фонаря, надели петлю, согнали всех, мать привели мою и начали вешать, а у матери спрашивают: «Признаешь?» Не уверены были, что это я. А она у меня как камень. «Вешайте, — говорит, — это совсем не наш, приблудный». И никто не сказал. Подушили малость и бросили. Не могли поверить, что мать на это станет смотреть. Они ведь кругом все жгли, а потом вдруг как запоют что-нибудь трогательное... После этого я и подался в настоящий отряд. Когда наша армия подошла, взяли в разведку, лейтенантом стал, дошел до Берлина.

Он сунул руку в мешок и вытащил большую рыбу. Собаки привстали и завозились.

— Отрыщь... Не для вас.

Большим самодельным ножом он тонко стал строгать рыбу на кусок газеты. Она смотрела, как ледянистые стружки падали горкой — казалось, сейчас зазвенят, как стеклянные.

— Не пробовали?

— Только слышала.

— Здешнее лакомство. И рыба хорошая. Это муксун.

Она брала строганину и думала: «В старину это называлось «преломить хлеб», а здесь — рыбу. Главное — не спешить. Иначе с ними будет трудно. Иначе я ничего не добьюсь. Интересно, почему они почти не жалеют убитого?»

— Как, по-вашему, откуда мог прийти Кучумов?

— Сверху, с холма. Он и по ночам здесь шлялся, как леший в горах.

— Что ему надо было?

— Капканы втихую ставил. Это я так думаю. У нас ведь здесь на песца охота временно запрещена. Только мы, как за ним ни следили, ничего не нашли.

Остатки рыбы Казначев отдал вожаку.

— Аяшка, держи... Вот они, мои ясли. Я этим псам ближе Кучумова. Они у моего камбуза околачиваются.

— Расскажите еще про Кучумова.

— Тупой и пьяный всегда. Где брал спирт, не знаем. Как

есть из дикой тайги. Федотов его звал «презренный царь Сибири». Только кто кого больше донимал — скорее каюр Федотова. Им больше всех вместе ездить приходилось. Вы, наверное, спросите, зачем он сюда попал, да ведь пойди найди каюра. И кочегара тоже. По вербовке даже амнистированных берут, стараются пореже и не на всякую зимовку, но есть даже правило у агентов: не попрекать прошлым. Иначе вообще не наберешь, тем более выносливых. Этот как раз из тайги, да из охотников. Вы сами, наверное, лучше нас знаете, кем он был.

— По документам охотник, потом торговец. Пушнину принимал на фактории. Проворовался раз, но не сидел, возместил убыток.

— То-то и дело, что не сидел... А по манерам совсем не то, что мастер из дамской парикмахерской. Страсть до чего не любил покойник, когда мы его уркой звали. Да это что, тайга она, может быть, вся такая в глухих селах... Только мне он почему-то все знакомым казался, ну вот как кавалерист кавалеристу. Я в колонии на «местных жителей» насмотрелся. Взять хоть, как он собаку убил.

— Когда?

— С год назад. Она послабей других была, и псы ее все равно загрызли бы, да я нарочно все откармливал, даже шоколад давал, она и отъелась. Однако не повезло. В ящиках оступилась и сломала ногу. И главное, сразу ко мне приковыляла. Мы ее с Кошкиным вылечили, срастили ногу, я ее на кухне держал, чтобы другие не трогали. Но везти уже не могла. Тогда Кучумов, знал ведь, варнак, как мы с ней возились, — запряг ее и давай полосовать, чтобы везла. Осатанел и перебил ей хребет, она и сдохла. Мы собрались вокруг на улице, после завтрака дело было, а он еще храбрится — моя была собака! Смотрю, Багор наш идет, в радиорубке был на переговорах, только освободился. Ну, думаю, сейчас опять меридиан сломает. Он посмотрел — а пса отпрягли, уже и застыл на морозе, — нагнулся наш Багров, взял собаку да как хрястнет ею по каюру. Тот хоть и велик, однако через всю улицу летел. Багров говорит: «Теперь пиши, куда хочешь, гнида». А тот встал, вроде даже как пополам согнулся, и говорит: «Больше не буду, начальник». Все это мне знакомо, и наглость их и трусость, если кто сильней. Один Багров его держал как надо, а как уехал и оставил за себя Бесхребтова, сразу хуже стало. Тут мы их с женой и переселили обоих в котельную, с их же согласия, комнату там отгородили. А то они всю ночь у себя вполпьяна бормотали, бывало, всем нам

кости переберут и потом еще запоют — одно и то же, есть такая хмурая песня, как отец сына зарезал, что ли, с припевом «Веселый разговор»...

— А часто Багров ломает такие меридианы?

Казначев посмотрел на нее очень внимательно и не спеша достал из кармана «Беломор».

— Может быть, зря я вам рассказал. Так было один раз, а вообще характер у него крутой. Но мы за него горой, как и друг за друга. Кроме этой пары — они нам чужие.

— Все друг за друга и за Федотова тоже?

— Конечно.

— Ну что ж, Кучумову уже не поможешь, а Федотову тоже сейчас несладко. Только я думаю, что еще неизвестно, чем все кончится. Все зависит от следователя.

— А вы писать об этом будете?

— Я уже сказала, что не за этим сюда приехала. Да я и не знала, что Кучумов убит. Меня интересует сама зимовка. Наверное, нам пора ехать.

— Ехать так ехать, — охотно сказал Казначев. — Вы тут на нас не смотрите, что мы иной раз и по ночам даже встаем, к приборам ходим. С распорядком нашим не считайтесь вовсе. Приходите ко мне на камбуз в любое время, вам всегда все будет оставлено.

Глава третья

ФЕДОТОВ

8

Освободив собак и отпустив их, они пересекли расчищенную вездеходом улицу длиной в два дома друг против друга и подошли к большому складу, где Багров и знаменитый доктор Кошкин что-то толковали шоферу Осколикову, стоя около вездехода. В стороне летчики осматривали лыжу своего самолета — все было как на обычной зимовке в будний день.

У самого склада ее встретил Хребтов, заместитель начальника зимовки.

— Как съездили?

— Прекрасно. Мы не рано вернулись?

— Что вы. Следователь только что допросил Федотова. Сейчас будет осматривать тело, с понятыми и доктором. Вы хотите присутствовать?

— Нет. Зачем?

Из жилого дома вышел следователь и тоже направился к складу. В руках у него был небольшой чемодан. Багров и Кошкин пошли навстречу, а Веснина вернулась в кают-компанию.

Хребтов снял замок, и они вошли. Внутри были полки, как на всякой фактории, казалось, что здесь хранятся запасы для двух экспедиций. Голая лампочка светила под потолком. Кучумов лежал в углу на большой скамье, лицом вверх, прикрытый брезентом, а в ногах его стоял карабин Федотова. Хребтов снял брезент. Лицо у Кучумова было сведено судорогой. Громадные серые руки скрючились, как будто все еще хватая воздух. Лицо оказалось в ссадинах.

— Это было на нем, когда привезли? — спросил следователь.

— Конечно. Я сразу заметил при первом осмотре, — сказал Кошкин. — Очевидно, он ободрался об дверь, когда падал, и побился о нарту, пока Федотов его тащил. Как еще довез в пургу...

Под расстегнутым воротом куртки, запекшейся темной кровью, след выстрела был виден четко, вокруг маленькой раны — большое темное пятно кровоизлияния.

— Красавчик был, как видите, — сказал следователю Хребтов. — У нас считалось, что даже вся его упряжка по сравнению с ним состоит из интеллигентов. Не хотел бы я с ним встретиться в такой обстановке, как Федотов.

— Что вы имеете в виду?

— Скверно он выглядел, очевидно, когда был уже ранен, а сказать ничего не мог, только смотрел.

— Алексей Валентинович, помолчи, бога ради. В другой раз шутить будешь, — попросил Багров.

— Просто я хотел рассказать, как он выглядел, — опять сказал Хребтов.

— Выглядит он как убитый. Это уж наверняка, — сказал следователь и открыл свой чемодан...

В пустой кают-компании, когда вошла Веснина, сидел один Федотов над пачкой привезенных сегодня газет, но он их даже не читал, а просто так, машинально, держал в руках. В большой этой комнате он казался совсем одиноким, — как летчик в недобрую минуту аварии. Ей вдруг стало както очень грустно и горько, она почувствовала, что не сможет пройти и сделать вид, что его не заметила; она подошла к нему, села рядом и сказала просто, без предисловий:

— Может быть, вы мне расскажете, как это все у вас случилось?

Федотов провел рукой по глазам, как будто зрительно все припоминая.

— Вроде бы и вспоминать нечего. А между прочим, все тут вдруг случайно переломилось... Мне еще не верится, что вообще что-то было. Как будто это не со мной. Я сидел в охотничьей нашей избушке, это километров десять отсюда, когда началась пурга. Я часто туда ходил. Не для охоты. Какая у нас зимой охота. Я просто иногда ухожу бродить. Мне так думать легче. Здесь зимой нам кажется, что в доме шумно. Просто живем мы довольно тесно. Это уж так бывает на зимовке. На корабле еще тесней, а в палатке и вовсе, но там не живут по три года, да еще по три долгих и темных зимы подряд. Тут и ночь действует, а летом радиация или еще что, об этом сейчас много пишут, о психологии на зимовках. Для космоса и подводных работ этим тоже интересуются. Простите, я отвлекаюсь...

— Ну что вы... Говорите, как вам хочется.

— Я пришел в избушку, как часто это делал. Мы ее построили у небольшого озерка, весной туда прилетают утки, а зимой просто можно обогреться, когда ходишь по острову. Рядом мы поставили мачту — ориентир в светлое время. Там можно было и работать совсем одному. У нас там все было: стол, полки, складная койка, спальный мешок, лампа и печка с запасом угля, продукты и чай, чтобы отсидеться в пургу. А я еще там держал в стопке тетрадей для записей одну, со своими собственными расчетами, простую такую, в клеенчатом переплете, уже потрепанную. Я как-то рассеян стал в последнее время, иной раз пойду по острову и свой планшет с записками забуду, а тут всегда лежит моя тетрадь, есть чем заняться... Так вот она в тот день пропала.

— А что в ней было?

— Я же говорю: всякие мои расчеты. Так что даже читать ее другому скучно. У нас никогда ничего не пропадает, так принято на зимовках. А тут пропала. Такая досада меня взяла.

— И что вы подумали?

— Что схулиганил кто-то, наверное. Даже пошутить так не могли. У нас так не будут.

— Кто же мог?

— Да он же. Я даже сейчас не сомневаюсь, хотя тетрадь уже не искал, — Федотов сказал это почти шепотом.

— Кто он?

— Покойник. Убитый.

— Он же был малограмотный...

— Просто мог бросить в печку. С него станет. Кроме того, он тоже часто шлялся по острову и заходил в избушку.

— А вам приходилось там встречаться?

— Иногда. Я уходил сразу, не любил с ним сидеть. Я бы и в этот раз ушел, коль нет тетради, да задумался сначала, а потом началась пурга.

— Какие у вас с ним были отношения?

— Плохие. Какие с ним еще могли быть? Тяжелый человек.

— В чем же?

— Тяжелый в чем? Тупой он очень. И пил, спирт где-то прятал. И очень всех не любил, особенно интеллигентов, хотя рядом с ним тут каждый интеллигент... Не повезло нам с ними. С обоими. По работе мне часто ездить надо, нужны собаки. А он собак своих не любил. Мне это не нравилось.

— Это его были собаки?

— Часть у нас уже была, остальных он привез, так что даже лишние оказались, всегда можно было сменить в упряжке. С хорошими собаками сейчас трудно. Многие породы лаек уже исчезли, перемешались, их теперь плохо берегут. А он привез хороших.

— Но сам их не любил?

— У него не те понятия насчет любви. Это я вам не объясню, да и неудобно мне... Вы лучше с его женой поговорите.

— А вы сами часто с ним ссорились?

— Да, было. С ним нельзя было не ссориться. Как-то мы сразу не сладились. Это плохо на зимовке, жить-то приходится вместе.

— Вы стали пережидать пургу...

— Да, надо было переждать. И вот тогда пришел медведь. Я услышал его сразу, он стал ходить вдоль стен, все трогал их, пока дверь не нашел.

— Вы начали нервничать?

— Не очень. Карабин, конечно, осмотрел.

— Он знал, что в избе человек?

— Еще бы. Он чутьистый. И что продукты есть, тоже знал. Весной они начинают голодать. Иногда в желудках у них находят даже куски оболочки от лопнувших радиозондов; раз уже резину жрет, значит, самое его голодное время настало. Мы без оружия вообще далеко не ходим.

— Насколько они всегда бывают опасны?

— Пожалуй, вам этого не понять. С одной стороны, не то,

что в зоопарке, когда он сидит в вольере, а с другой — не очень-то его здесь боятся. Но это только тут привыкаешь. Все дело в оружии. Без него самый храбрый почувствует себя просто как пойманная мышь.

— Как же вы ходите в поселке?

— Зимой у нас яркие огни, все видно, и собаки предупредят, а далеко не ходим, тут все у нас рядом. Но по острову — только с оружием. Оружие должно быть в порядке, это главное.

— Вы хорошо стреляете?

— Конечно. Все хорошо стреляют. Даже Осколикова. Про Кучумову я уж не говорю. Она вместе с мужем в тайге охотилась.

— Медведь мог войти в избу?

— Они уже здесь как-то были. Растащили все. Мы дверь после этого укрепили. На острове Генриетты был случай, когда их собралось очень много, буквально осадили зимовку, ломились в дом. Пришлось снять временно людей, а зверей разгоняли с острова самолетом.

— Ну и что же ваш медведь?

— Стал дергать дверь. Я все-таки спросил «кто?», но он так сопел и ворчал, что было ясно слышно — медведь. Тогда я выстрелил, прямо сквозь дверь. Вообще-то, я знал, что даже если он войдет, я положу его с двух пуль, в упор. У нас так и делают: подпустят поближе, чтоб наверняка, не слишком близко, конечно, шагов на десять-пятнадцать, и две пули в пасть, с двух он обязательно ложится. Но я не знал, один ли он, да и домик слишком тесный, — если даже только ранить сквозь дверь, он озлится, может быть, даже сразу и вломится, но зато слабеет уже. Промахнуться я не мог. Я слышал, где он там за дверью. Раненый он тоже долго не будет бродить, если не наповал, то все равно уйдет умирать. Они всегда уходят, иногда километров за тридцать, найти потом трудно. Чукчи говорят, что он уносит рану, надеется ее потерять или уйти от нее.

— И что после выстрела?

— Стало тихо. Пурга только шумела. Я все ждал. С ними никогда не знаешь наверняка. Он ведь может тюленя ждать у полыньи часами, прикроет лапой глаза и нос, три черных точки на белом, и ждет за льдиной, покуда нерпа зазевается, потом прыгнет. Хотя в нем самое малое полтонны веса, он метров пять пролетает как пружина. Лучше это на себе не испытывать. Я все ждал, и было тихо. Долго, наверное, так было, забыл даже на часы посмотреть. А потом опять дверь

стали дергать снизу. Я опять спросил «кто?», но пурга только шумела. Тогда я сел за стол против двери и на стол карабин положил, для упора, а то рука устала. Думал, если сорвет дверь, я выстрелю, а потом стол ногой навстречу ему толкну и опять выстрелю. Раненый он очень опасен, если уж второй раз ломиться начал — значит, уже не только с голода, добраться до меня хочет... Потом я понял, где он стоит, услышал, как по двери шарит, уже на дыбки поднялся, тогда я прикинул, как лучше, и снова выстрелил. И понял сразу, что попал, — тело там упало, прямо на дверь. Я подождал, послушал, снял засов и открыл.

Федотов посмотрел на нее в упор и добавил шепотом:

— А это уже был Кучумов.

Я попал ему выше сердца, под ключицу, сквозь легкое, как сказал потом доктор. До этого он обморозился уже и говорить не мог, даже когда к двери пришел. Он потерял уже перчатку одну, шапку, потом мы нашли. Он совсем уже обморозился и обессилел, когда добрался до избы. Наверное, упал у двери от слабости и дергал снизу, а потом видит, что не открывают, встал, держась за дверь, может быть, крикнуть хотел, но уже не мог. И тут я выстрелил.

— Как же он обморозился и заплутал в этот раз, если он в любую пургу ходил по острову?

— Пьян был очень. У него и спирт еще был во фляжке, достать только не смог уже из кармана, руки не слушались. Варежку потерял спьяну и шапку, а у нас без шапки на всю Арктику один только Кошкин ходит, даже чукчи так ходить не могут.

— Он был еще жив?

— Да, — Федотов опять сказал это шепотом. — Говорить только не мог, все хрипел, и то смотрит на меня, то опять глаза закроет. Жутко было.

— Что же вы сделали?

— Попробовал перевязать. Потом положил на нарты, у нас в избушке запасные были, для небольших грузов. Привязал его, запрягся и пошел на зимовку, сквозь пургу.

— Он был еще жив?

— Недолго. Я знал, когда все кончилось. Он сразу очень тяжелый стал. На зимовке меня встретили с ужасом: случай ведь на всю Арктику неприятный. Наш врач осмотрел его, но все уже было кончено.

— Все-таки что же он был за человек?

— Кто, Кучумов? А разве я теперь имею право давать ему оценки?

— Почему же? Расскажите просто, какого вы были о нем мнения. Чем он вам не нравился.

— С моей точки зрения, ненужный он был человек. Здесь, во всяком случае. Я понимаю, что говорить мне так сейчас не стоило бы... Я на зимовке этой шестой год, без него здесь было все нормально. Все уставали за зиму друг от друга, но умели сдерживаться. А он был слишком темен, чтобы его перевоспитывать, как будто мозги у него мохом навсегда заросли. У нашего повара тоже невеликое образование. Да и чукчей мы знаем, стариков, которые никогда нигде совсем не учились и тоже всю жизнь охотниками были, как Кучумов. Но это мудрые люди. И добрые.

— А каюр добрым не был?

— Не то слово. Я бы сказал, чистый зверь, если бы мы здесь зверей уважать не научились. Я ведь не оправдываюсь. Для меня это, может быть, большее несчастье, чем для Кучумова. Но мы с ним были слишком разные люди.

— Что такое разные люди, как вы это понимаете?

— Разные люди, — сказал Федотов все тем же ровным своим и негромким голосом, — это когда знаешь, что существуем мы с ним только по какой-то трагической ошибке истории. Невежество и жадность можно даже понять, но не простить, когда они бывают безнадежно злобными. Кучумов вообще ни во что не верил, кроме жестокой силы и самых примитивных интересов. Что, если человек упорно говорит «нет» всем вашим убеждениям, по каждому пункту, от разговоров о принципах в вечерний час до ежедневной бытовой мелочи? И при этом он все время рядом с вами, да еще бубнит, что все лучшие стремления и привычки ваши не больше чем пустая, хоть и обязательная, формалистика? Я, наверное, слишком устал. По крайней мере, он мне даже не снится. А если уж сказать вам, что мне снится...

Федотов встал и прошелся по комнате. Остановился у окна и приоткрыл плотную штору из темно-красного гобелена — бледный свет пробился в комнату.

— Ничего, что я открыл?

Он отодвинул штору совсем — она увидела в окно простое бревенчатое здание склада напротив, вокруг которого попрежнему бродили и рылись собаки.

— Скажите, а можно ли найти медведя, в которого вы стреляли?

— Вряд ли. Так же нереально, как найти осколок бутылки в космосе.

— А следы?

— На плотном снегу их не бывает, да и пурга замела бы.

Он встал, подошел к двери.

— Я, пожалуй, пойду. Мне еще поработать надо... Я слышал, — сказал он, — что хороший следователь мертвого заставит признаться.

— Если тот убийца.

— Во всяком случае, я уже чувствую себя как мертвый.

— Лучше всего чувствовать себя невиновным. Ведь это скажется рано или поздно...

Глава четвертая

КУЧУМОВА

9

Едва она вышла из дому, ее окружили собаки, ей еще трудно было запомнить их всех — Казначев объяснял, что они держат две упряжки с лишним, — когда не было работы, все они таскались у дома и научных лабораторий, выжидая, кто выйдет, всегда готовые бескорыстно сопровождать человека. Собак она вообще не боялась, тем более зная уже, что ездовые лайки бывают свирепы только в запряжке, если кто-нибудь попадется им на пути.

— Аян, дурак большой, ну что тебе надо? — сказала она вожаку, который встал перед ней на задние лапы и старался лизнуть ее в нос. Пока она шла вдоль дома, собаки все до одной шли за ней, и так до самой котельной. Ей показалось, что оттуда смотрят на нее — белое лицо из глубины темной комнаты, совсем как в рассказе Конан-Дойля; но окна блестели на солнце и отсвечивали черным, так что вряд ли она могла в них что-нибудь рассмотреть. Она открыла дверь и спросила:

— Можно?

— Милости просим, — сказала Кучумова.

Она вошла и увидела женщину среднего роста, лет пятидесяти, бледную, но очень моложавую, одетую аккуратно и чисто, — совсем не такую, как ожидала. В котельной была отгорожена комната с занавеской вместо двери.

— Проходите, пожалуйста. Садитесь.

— Спасибо. Выходит, вас сюда выжили?

— Да нег, мы сами попросились. Нам здесь было спокойнее, тише, — сказала Кучумова.

Она говорила как-то очень чисто, без обычных присловий сибирской речи. Значит, пожила не только в Сибири.

Веснина огляделась с любопытством — все было как в хорошей избе: на подушках кружевные накидки, чистое покрывало, и на стене — календарь; над кроватью был коврик машинной работы, из тех, где Иван-царевич, веселый, как командированный в первый день отъезда, скачет с царевной на сером волке; на окнах чистые занавески. Ей с трудом удалось удержаться от лишних вопросов, когда она увидела в углу иконы и неожиданно рядом с ними полотенце ручной вышивки, где простым крестом были изображены знаменательные слова: «Бог есть любовь».

Она даже чуть было не спросила прямо: почему же вас здесь так не любят? Вместо этого она сказала только:

— Давно вы в бога верите?

Кучумова чуть поджала тонкие губы.

— Что значит давно? Я верующая.

— Извините, я вовсе не думала вас обижать.

— Ничего. Мы привыкли.

— Я просто знаю, что многие начали веровать после войны, когда потеряли близких.

— И так бывает.

— Вы, наверное, уже слышали обо мне?

— Мне повар говорил. Ведь вы от газеты?

— Совершенно верно. — Веснина вдруг почему-то решила ничего не говорить ей о письме насчет Кучумова, с которым ее сюда послали. Очень ей все показалось странным здесь, в этой комнате, как будто все было аккуратно расставлено со значением, а не просто так. — Я только хочу поговорить со всеми. Мы напечатаем о зимовке очерк.

— Дело ваше.

— Может быть, вам не хочется со мной разговаривать? Вам сейчас неприятно видеть посторонних?

— Здесь все посторонние. Я привыкла.

— Почему вы так думаете?

— Так уж.

— Мне показалось, что здесь живут дружно...

— Вам виднее.

— Я затем и пришла к вам к первой. Я ведь только вчера приехала.

— Я знаю... Чего уж лучше живут. Человека убили, — негромко и все так же сухо сказала Кучумова. Она после

каждой фразы все сжимала плотнее тонкие губы, как будто боялась сказать одним словом больше.

— Но ведь нечаянно, — осторожно сказала Веснина.

— Может быть.

— А вы думаете, нет?

— Меня разве спрашивают?

— Я для того и приехала. И к вам пришла.

— Вы уедете, а мне здесь еще оставаться.

— Неужели вы боитесь?

— Все мы люди. Мужик мой вот никого не боялся. И добегался.

— Неужели вы думаете, что они могли схватиться с оружием?

— Чего ж тут думать, когда они цельный год друг дружке грозили. Уж я своему говорила: оставь, не помни зла. А он на обиду был горячий. Я вот нет.

«Непохоже, что нет», — подумала Веснина, но опять ничего не сказала. В конце концов, родственники часто бывают несправедливы, и даже следователь относится к их словам осторожно.

— У вас Тминов был?

— Какой Тминов?

— Следователь.

— Зачем я ему нужна? Он свой, здешний. Поговорит с начальником — и ладно.

— Неправильно вы говорите. К вам он обязательно придет. Просто не успел еще. Он тоже только вчера приехал.

— А если и придет, что толку? Меня судить не за что, а других не будут.

— Как же не будут? Напрасно вы так думаете. Это дело серьезное. Погиб человек. Просто ему разобраться надо.

— Не будет он разбираться. Федотов вон кто, известный ученый, а мой муж был простой мужик.

— Послушайте, Варвара Николаевна. Вы так говорите, что будто и вовсе правды нет на земле...

— А разве есть? — перебила ее Кучумова.

— Во что ж вы верите тогда?

— В бога. Терпеть надо.

Непохоже только было, чтобы она собиралась терпеть. Веснина невольно подумала, как часто подводит журналиста, так же как и криминалистов при первых шагах, готовое профессиональное воображение: ведь она уже представляла себе Кучумову по первым словам зимовщиков как опустив-

шуюся пожилую женщину, наверное, почти безграмотную. В ее анкете было сказано, что она уроженка Сибири, училась только в начальной школе, одно время работала поварихой на волжских пароходах и потом опять в Сибири, в геологических партиях, где и встретил ее Кучумов, бывший тогда проводником. Женаты они были всего два года.

Евангелие в черном переплете лежало на тумбочке возле икон на кружевной салфетке и, казалось, напрасно взывало к ее смирению. Ну что ж, и так бывает. Если бы только поверить можно было, что Кучумова действительно стремится мыслями к богу...

— Можно мне посмотреть? — спросила Веснина про евангелие.

— Смеяться не будете?

— Конечно, нет. Я никогда не смеюсь над верующими. Разве что их жалею.

— А мы вас жалеем, — сказала Кучумова.

Евангелие было, как обычно, на двух языках, славянском и русском.

— Довольно старое издание, — как будто между делом сказала Веснина, хотя прекрасно знала, что эта книга, изданная в начале века, не имеет особой научной ценности. — У моего родственника есть такое.

— Он верующий?

— Нет. Профессор. Специалист по старым книгам.

— Хорошее дело.

— Вот он легко читает по-славянски, а я нет, хотя и сдавала экзамен в университете. Теперь все забыла. А вы читаете?

— Где нам! Слово божие само доходит. Читаем как умеем.

— А муж был верующий?

— Нет еще. Но слушал, когда я читала.

— Вы, кажется, баптистка? — глядя в сторону, как бы невзначай, спросила Веснина.

— А это совсем нельзя?

Первый раз Веснина почувствовала в словах ее какую-то настоящую тревогу: как будто задела за обнаженный провод, как будто подошли они в разговоре к тому, о чем надо очень мало говорить.

— Почему нельзя? Все можно. Никакая религия у нас не запрещена. Статьи против религии, конечно, пишут, но я не собираюсь. Это не мое дело. Да и не за тем я сюда приехала... Вас преследовали здесь за религию?

— Нет. Только не любили за это. Что поделаешь... Разные мы люди, — спокойно сказала Кучумова.

Опять разные люди. Можно подумать, что у каждого свой язык, как с другой планеты, и сколько людей, столько убеждений в жизни.

— Варвара Николаевна, напрасно вы меня опасаетесь, — очень серьезно сказала Веснина. — Я понимаю, что вы сейчас расстроены и готовы думать что угодно. Только все не так, как вы думаете, и правосудие совсем не просто остановить. Чего вам бояться? Срок вашего договора здесь скоро кончится. Вы, быть может, не читаете нашу газету...

— Читаю, — неожиданно сказала Кучумова. — Мы здесь все читаем, когда приходит.

— Ну вот видите. Моя фамилия Веснина.

— Я уже знаю. Мне повар говорил.

— Так расскажите мне как женщине, что у вас не заладилось на этой зимовке с самого начала?

— Простите, ваше имя-отчество?

— Елена Васильевна.

— Что ж тут говорить, Елена Васильевна. Мужик-то у меня был простой, может, и не прав бывал в чем, да что с него взять. Что он ни скажет, все им не так. А они все больше люди интеллигентные и очень друг за дружку держатся.

— Не все здесь ученые. Казначев — повар, Осколиков — шофер. Тоже рабочие.

— Ну мой-то совсем был темный, из тайги не вылезал. Правда, мы с ним в отпуск и в Москву ездили, все как надо. Ходили всюду в Москве, только этого мало. Потолкались, да уехали. Что вам про зимовку сказать? Начальник у нас тут что не так, прямо дохлой собакой по загривку...

— Как это понять — собакой?

— Спросите сами. Небось расскажут, если спросите.

— Я спрошу.

— Заместитель, Хребтов Алексей Валентинович, тот помягче, о нем ничего не скажу. Федотов совсем старика моего заездил, шалый он какой-то. И днем и ночью все ездили. Работу мы знаем, слава богу. Во многих партиях были, а такого не привелось. Уедут, так я все думаю, что совсем замерзнут и не увижу больше... Так и вышло. Да и то сказать, у каждого здесь свое. Федотов с начальником старые дружки, у доктора всегда своя хата с краю, повар в тюрьме сидел, ему характеристику надо. Радист из будки своей не вылазит, а шофер с женой на дом себе копят. Летчики эти и вовсе

не наши, а временные. Судите сами. Одни собаки были наши.

— Он их бил, говорят? Сысой Ильич?

— Да кто ж их не бьет? — удивилась Кучумова. — Это если в городе собаку на диване держать, другое дело. А у нас в тайге их не балуют. Как с собаками управляться, сами знаем. Повар вот их закормил совсем, а если далеко ехать, так не дойдут уже. Испортил он собак-то и радуется, как дите...

Они помолчали.

— Так что ж Багров? — спросила вдруг Веснина.

— Петр Дмитрич? Они с Федотовым здесь как хотят, так и правят. До земли отсюда далеко.

— Вы все-таки серьезно думаете, что Федотов мог повздорить с вашим мужем?

— Все время только и делали, что вздорили. А кто видел, как у них было? И где я теперь мужика возьму?

— Следователь затем и приехал, чтобы проверить, как было. Будет экспертиза. Теперь и в вашей дальней области есть такая лаборатория.

— Следователь, если совесть есть, пусть теперь и судит...

Кучумова все время сидела прямо, руки сложив на скатерти, и только перебирала все на ней бахрому сухими пальцами.

— Простите, заговорилась я. Пойду угля подкину.

Она вышла в котельную и стала возиться там, гремя лопатой.

Оставшись одна, Веснина еще раз быстро взглянула на икону и на полотенце с надписью «Бог есть любовь», а потом стала глядеть в окно: из дома вышел Багров и, встретив доктора Кошкина, что-то начал толковать, взяв его за пуговицу. Вдали было видно, как по дороге за поселком пробирается, возвращаясь, вездеход. За окнами шла своя жизнь.

Кучумова вернулась — сняв рукавицы, она аккуратно и не спеша вымыла руки. После того, как она открывала котел, подбрасывая уголь, в комнате, где даже не было настоящей двери, надолго установился резкий запах кокса.

— Вам не мешает этот запах? — спросила Веснина.

— Ничего. Мы привыкли, — равнодушно сказала Кучумова.

— Говорят, что ваш муж здесь охотился.

— Браконьерил, хотите спросить? Погодите, не то еще наговорят. Теперь все можно, — все так же равнодушно отозвалась Кучумова.

— Как же он, почти неграмотный, а был приемщиком пушнины?

Ей показалось, что Кучумова снова как бы вздрогнула, будто тронули ее невзначай по больному зубу.

— Не такой уж неграмотный. Это только для них. Читать-писать, слава богу, умел, как все, а считал и вовсе хорошо... У себя в селе не хуже был других. Приемщик это кто? Охотник хороший. Он по шкурке должен сказать не только цену, а почему ей такая цена: когда стреляли белку, в какое время, по сучкам падала или нет. Тайгу знать надо.

Она говорила, а сама все смотрела как-то очень внимательно. «Неужели ее так тревожит, что я откуда-то знаю, как он уже дома малость проворовался? — соображала Веснина. — Нет, ничего не скажу ей про письмо. Багров о нем, наверное, уже не помнит...»

— Он уже был у вас, Багров?

— Петр Дмитрич? Заходил. Жалел, что так вышло. Пенсию обещал.

— Какую пенсию? У вас есть дети?

— Детей нет, но он персональную обещал. Поскольку муж погиб. Лишнего мне не надо. Сами не бедные. А вот вы не знаете, — наклонилась она к Весниной, — долго он так будет лежать на складу, как мешок какой, без успокоения?

— Очевидно, пока кончится следствие. Наверное, следователь даже отправит его в областной центр, на вскрытие.

— А здесь нельзя? Своему доктору?

— Нужен эксперт, специалист.

— Живых можно, а мертвых нельзя? Здешний доктор, говорят, что хочешь режет.

— Другое дело.

— Погиб человек, и его же душа теперь мается. Мне бы хоть похоронить его скорей по-человечески. И ведь не чужой он какой, работник зимовки все же, — сказала она с обидой. — Хоть и не ко двору пришелся... Других, я слышала, на островах хоронят, даже если матрос простой, залп дают и памятник ставят. Как ни считайте, а погиб он все равно что на работе. Три года почти здесь маялись. Может, вы им скажете?

— Я, конечно, скажу. Но ведь как следователь...

— А что ему? Уж кто убит, и так ясно. Пусть лучше ту избу как надо посмотрят... Я бы тогда тоже расчет взяла, да уехала отсюда. Тошно мне здесь. Скоро будет тепло, топить почти не надо.

— Хорошо. Я поговорю с Багровым.

Последний раз взглянув на темные лики святых на дешевых иконах, Веснина вышла из котельной с отчетливым тревожным чувством — она никак не могла понять, что же все это значит?

На улице у дома стоял вездеход — тупорылая машина с кузовом в виде фургона, покрытого сукном.

— Здравствуйте, — весело сказал Осколиков и распахнул ей дверцу. — Прошу! Маршрут по острову.

— Я хотела с летчиками на разведку...

Вездеход порядком трясло — ехать в нем было как в грузовике, когда он торопится по очень плохой грунтовой дороге, мотаясь так, что кажется, даже кожа на голове начинает ерзать. Веснина невольно вздохнула, вспомнив вездеход на Камчатке, на Марьинской метеостанции...

— Я, пожалуй, поеду тише, а то укачаю вас, — сказал Осколиков. — Мне, собственно, спешить некуда. Это я по привычке.

Они поехали медленнее, так что теперь можно было разговаривать, не рискуя прикусить язык.

— Ну как вам наша богадельня?

— Это вы про Кучумову? Ей еще далеко до богадельни.

— Просто мы так прозвали их флигель.

— Они действительно сами переселились?

— Убежденные хуторяне. Говорили, что им шумно в нашем доме, привыкли к тишине. А сами больше всех галдели.

— Как же они галдели?

— Выпьют и песни поют одни и те же. Вы ее не спрашивали, что они пили?

— Спирт, наверное?

— Так она и признается. Скажет, что делали домашнюю бражку. От нее тоже одуреть можно.

Они ехали берегом, и Осколиков называл ей все, что было видно, — остров от этого как бы оживал на глазах и становился близким и знакомым: вот там, в холмах, большие пещеры, эти ближние отроги называются Бивни мамонта, потому что здесь их находят действительно, и, чтобы распилить бивень на куски на память каждому, пришлось поработать очень много — древняя кость оказалась чуть ли не тверже стали. Вот этот склон называется Трамплином, потому что сюда они ходят кататься на лыжах; там, впереди, небольшая площадка для метеонаблюдений, такая же, как и на главном хребте по ту сторону острова. А вот видна будка номер шесть — одна из тех, где Федотов иногда просиживал сутками. Левее на мор-

ском льду видна уже будка номер пять... По-настоящему они называются не будки, а станции.

— А мы в какой были вчера с Казначевым?

— В первой. Всего их шесть, и счет идет оттуда. Там у него и основная база в избушке.

— Почему же база именно там? Намного ближе к поселку?

— Берег тот очень трудный. Федотов обычно выходит в свой обход от избы на собаках. Самая дальняя будка, номер три, стоит у него в море, на льду, у скал, которые на северо-востоке тянутся цепочкой в океан и называются Пять моржей. Там почти всегда на открытом месте сильный северный ветер и всегда пуржит — мы даже прозвали это побережье Ялтой. Курорт на любителя.

— А зачем он так много ездит?

— Ему нужны постоянные наблюдения в определенных местах за много лет. Иногда даже мы сами можем снять для него показания приборов, по крайней мере, я и Казначев. Подручные добровольцы. В горном снеге тоже роем шурфы и возим его кусками в лабораторию. Скучное дело, а он на этот снег свой и лед глядит как на золото какое. Явно трехнутый. Шесть лет зимовки все-таки действуют.

Холмы справа становились ниже, и черный хребет за ними тоже вдруг образовался, отвесно и резко. Весь остров был, как сказал Осколиков, длиной всего в двадцать и шириной в десять километров, он протянулся с юго-востока на северо-запад в виде кленового листа, только очень неправильно и несимметрично изрезанного. На северной его оконечности она увидела большую белую равнину, на которой летом было озеро, а еще дальше стоял на самом краю морского берега навигационный знак, треножник из высоких мачт с площадкой наверху. Дальше дороги не было — восточный берег был крут и непроходим для вездехода. Слева на льду виднелась еще одна будка — номер четыре.

— Вот и все наши владения, — сказал Осколиков.

Он как будто к чему-то прислушивался; она увидела тень, крестом скользнувшую над ними, — и самолет нагнал их и ушел надо льдами в море; там он развернулся и несколько раз пролетел по кругу вдали от острова.

— Нехорошо, что я их не предупредила, когда поехала с вами, — сказала Веснина.

— Конечно, плохо, — отозвался Осколиков и взялся за телефон походной рации, стоящей в кабине у его ног.

— Циклон, вы меня видите? — сказал он в трубку. — Я Каракатица.

— Совсем не видим, ослепли, — насмешливо ответил из рации какой-то обобщенный жестяной голос, как из консервной банки.

— Ну и не надо, — сказал Осколиков. — Нам и без вас не скучно. — Он вылез из вездехода и помог ей спрыгнуть на снег.

— Пойдемте посмотрим еще одну станцию, на морском льду. Тут недалеко.

— Я вчера была в такой же будке с Казначевым.

— Вчера было пасмурно. Вы главного еще не видели.

Дощатая будка, крытая толем, огороженная от заносов стенкой из снежных кирпичей и все равно окруженная большим сугробом, образовавшимся за зиму со стороны моря, прикрывала квадратную прорубь — гидрологическую лунку, пробитую в океан недалеко от берега. Ее бурили в толстом слое льда механическим буром, потом расширяли, выпиливая электрической лесопилкой. Последний слой льда над океаном взрывали небольшим зарядом аммонита и расчищали пешней, чтобы опустить в воду прибор — вертушку, автоматически записывающую направление и силу течений. Края проруби обшиты были досками, чтобы ставить на них лебедку. Будка прикрывала станцию и приборы от непогоды, но все равно за ними надо было следить и объезжать регулярно. Только здесь она поняла, что хотел показать ей Осколиков: укрытое от прямого света почти со всех сторон, это окно в океан светилось в яркий солнечный день необычайным отраженным освещением: солнечные лучи пробивались сквозь толщу льда, ставшего на просвет таким синим, ярким и густым, как бывает только высокогорное небо перед закатом, и вода в проруби мерцала снизу большим светло-зеленым квадратом, как жидкий берилл...

— Теперь пойдемте, я отвезу вас к озеру. Там летчики вас к себе на борт заберут.

— Разве это так просто?

— У нас все просто, когда можно. Там у нас второй аэродром, площадка на ровном озере. Будьте как дома! Теперь только гляди, как бы не забуксовать в снежницах, — сказал ей Вася, съезжая с привычной колеи. — Вездеход-то он хороший, только в ямах от прошлогодних луж, засыпанных свежим рыхлым снегом, скоро опять вода набухнет. А на морском льду эти снежницы вспухают даже ледяными буграми, мы их зовем «бараньи лбы». А это озеро, куда скоро прибудут утки, названо Пруд обманов. Здесь и правда обманов хоть пруд пруди: в утку пальнешь — и мимо, на лодке пройдешь —

рыба дразнится, цветов собрать захочешь — в мох увязнешь. Тундра, она только на короткий срок богатая. И отсюда, если долго в океан глядеть в такую вот ясную погоду, на севере иногда острова мерещатся, вроде Земли Санникова... Казначев говорит, что Багров отсюда даже будущую свою жену все видит. Тоже вроде Земли Санникова.

— Это ведь оказалась не земля, а просто айсберг?

— Обман, одним словом. Изумление чувств, и больше ничего... Сплошное тю-тю. Глаз видит, а рукой не схватишь. Такое у нас озеро.

— А самолет не тю-тю?

— Сейчас придет. В ясный день они нас не проглядят.

Самолет пришел бесшумно: ветер наверху отнес куда-то гудение мотора, и они заметили машину, только когда она уже наплывала на озеро, а потом побежала к ним и, подрулив, тихонько скользила, разворачиваясь, и чуть вздрагивала от работы винта; бортмеханик открыл дверь и протянул ей руку. В кабине она увидела командира на левом кресле и справа, рядом с ним, Федотова; рыжая его борода выбивалась из-под шлема, как у взъерошенного викинга. Он встал и уступил место, а командир помог устроиться; ей еще не приходилось летать в самой кабине, именно рядом с летчиком, когда машина отрывается от земли. Сверкавшая перед ними под солнцем ровная пелена с такими четкими синеватыми полосками от лыж самолета, оставшимися от посадки на замерзшем озере, быстро побежала прямо навстречу. Веснина так и не заметила, когда пилот чуть тронул на себя штурвал, — и сразу чувство легкости, и отстранявшаяся все больше земля, и сразу остров, и ледяные поля вокруг него все больше стали походить на рельефную карту, и такое ясное ощущение, что крылья растут у тебя самой за плечами... Все вздымаясь, как змей, подхваченный ветром, самолет набирал под крылья вместе с воздушным потоком высоту, и горизонт все расширялся. Машина уже почти не двигалась, а только повисала в воздухе, чуть вздрагивая в секундной невесомости, дающей несравнимое ощущение, что ты летишь сам по себе, а кресло и вся кабина просто движутся с тобой рядом.

Они шли на север в самую Арктику, и льды раскинулись под ними бесконечно и необозримо широко.

— Сейчас мы вам покажем окрестности, — сказал пилот Курганов. — Помните, как Ноздрев показывал Чичикову свое поместье? Вот там, впереди, до горизонта, все мое, а дальше тоже все мое... Там, на севере, впереди ровно ничего и справа тоже ничего, а слева, наоборот, точно такая же картина.

Кто-то сзади сказал Курганову:

— Шеф... Слева, кажется, утки.

Они обернулись. Действительно, стая уток, ярко освещенная солнцем, быстро и часто трепеща крыльями, как клочки белой бумаги на ветру, шла к острову.

— Вроде бы рано им еще, — решил Курганов.

— Может, они все-таки лучше нас все знают? Весна идет... Хорошо! — сказал радист.

Они с механиком все время сидели сзади, за пилотскими креслами.

— Вы, наверное, знаете: рассказы трудно печатать? — спросил радист.

— Писать или печатать?

— Печатать-то, наверное, самое трудное, — сказал радист.

— Ты бы что-нибудь другое спросил, — прервал его командир. — Кавалер из тебя как из феньки птичка. Вы обедали?

— Нет еще.

— Если так зимовку изучать, ненадолго вас хватит...

— Я ведь поехала сразу с Осколиковым.

— Мужчина никогда бы так не сделал. Ведь утром договорились встретиться в самолете, а про вездеход ни-ни. Никакой речи не было.

— Ну пусть я сама виновата.

— Мы, конечно, не злопамятны. На борту у нас есть паек.

— Не стоит. Ведь мы возвращаемся. — Самолет уже развернулся и шел назад по большому кругу, издалека огибая остров.

— Нельзя отказываться от гостеприимства, — сказал командир. — Вас никогда еще бортпайком не угощали?

— Как-то не приходилось.

Она не успела возразить, как механик сунул ей в руку громадный бутерброд, немногим меньше лаптя, с копченой колбасой, хранившейся на зимовках в специальной пластмассовой корке, рассчитанной на многолетний срок. В другую руку ей тут же подали дымящийся стаканчик от термоса — с темным напитком.

— А это что?

— Аварийный пунш. Казначев сам варит. Нам сейчас нельзя, а вам можно.

— А что в нем?

— Горячий чай, сироп голубицы и витамин «Ш».

— Какой витамин?

— Который с порохом. Шпирт. В горячем пунше очень ободряет.

— Я боюсь.

— Да здесь немного. Все равно сейчас приедем к ужину.

— Как к ужину?

— Вы на солнце не смотрите. Оно еще побродит. А время у нас уже к вечеру.

Самолет делал круг над самым островом, который сверху действительно был так похож на кленовый лист. Она узнала Долину песцов, спрятавшуюся в самой середине за возвышенностями, чуть изогнутую, как стручок фасоли, положенный посередине блюдца; прибрежные камни Пять моржей, цепочкой протянувшиеся в море друг за другом, как будто они стояли в очереди на побег; на южной оконечности хорошо был уже виден жилой дом зимовщиков, склад, высокий крутящийся ветряк и котельная с длинной трубой, увенчанной струйкой дыма — чуть пригнувшейся от небольшого ветра и трепетавшей над поселком, как гусиное перо; по западной дороге все еще возвращался вездеход — он, очевидно, все-таки застрял у озера в снежницах, — а на другом берегу она отчетливо различала упряжку собак и трех человек на нартах в одинаковых тулупах.

— А это кто? — спросила она.

Командир не ответил. Самолет проскочил над самым поселком, заходя на посадку, — и тогда она узнала на нартах Казначева, Хребтова и следователя, которые направлялись по узкой Собачьей тропе к охотничьей избушке. Следователь, как и она, сменил уже свое городское пальто на стандартный тулуп со склада, но шапка осталась у него прежней; он сидел, чуть сгорбившись, за спиной погонщика, и в ногах у него лежал все тот же небольшой чемодан. Она вспомнила, что еще утром он договаривался с Багровым насчет упряжки, понятых и запаса продуктов на двое суток с лишним... Значит, он примется теперь за избу. Значит, скоро все должно выясниться.

Во время полета Федотов, бледный, как всегда, молча сидел в самолете у большого компаса, вделанного прямо в поверхность специального столика для гидрологов, — нелегко ему сейчас работать, как будто ничего не случилось... Ей стало стыдно, что, увлеченная полетом и всеми впечатлениями дня, она уже забыла про нескладную судьбу этого человека.

10

Ужин был веселее, чем вчерашний обед, может быть, потому, что не было следователя. Багров даже разрешил поставить спирт, и постепенно все разговорились.

После ужина Веснина с Ниной Осколиковой тоже ушли раньше других. Нина временно переселила мужа к Климентьеву, «за переборку».

— Вы обычно рано ложитесь? — спросила Веснина.

— Что вы! Все, кто связан с погодой, полуночники. Мы спим урывками, а работаем сутками.

— Из-за меня вам теперь придется без супруга поскучать.

— Еще чего. Я его каждый день вижу. Мне с вами даже лучше. А то я одна среди мужиков, поговорить не с кем.

— А Кучумова?

— Да разве это женщина? Сами у нее были...

— Ничего, если я на столе свои блокноты разложу?

— Даже не спрашивайте.

— Как вы здесь живете, почти одна с мужчинами?

— Они ко мне не пристают. Одну меня сюда бы не пустили, а с мужем другое дело... Только что к разговору мужскому я тут привыкла. Но при вас они ничего. Все-таки сдерживаются.

Осколикова занялась своим: Багров привез ей материю на пеленки; разложив ее на тахте, она принялась отмерять и резать.

— Как вы себя чувствуете? — спросила Веснина.

— Хорошо. Мне немного осталось, но я легко переношу. Потому что не сижу на месте, а работаю. Даже не пошла в декретный отпуск, ведь тут у нас все рядом. Мне только надо несколько раз снимать показания приборов. Но мы на площадку не так уж часто выходим, у нас есть дистанционное управление из дома. Немного помогаю доктору в больнице: Кошкин много лет ведет тут обследование...

В переборку постучали, и Нина, не поднимая головы, сказала громко:

— Отстань.

— Может быть, ему что надо?

— Ничего ему не надо. Просто стащил к себе бутылку, и празднуются там с радистом.

— У вас так все слышно?

— Не дом, а гитара. Ведь каменных или бревенчатых стен здесь между комнатами не сделаешь. Когда обычно говоришь, там не слышно.

— Мы не мешаем? — спросили громко из-за стенки.

— Нисколько, — сказала Веснина.

— Я еще и каталог веду в нашей небольшой библиотеке, — сказала Нина. — Фетодов говорит, что у меня это аккуратней всех получается.

— Ну каталог у вас здесь несложный, — сказала Веснина. — А как вы к нему относитесь?

— К кому? К каталогу?

— Нет, к Федотову...

— Да разве можно к нему относиться плохо? Да еще теперь, когда ему так трудно... Только он ведь ничего не скажет, он и так все больше молчит, — тихо сказала Нина.

В углу громко треснули бревна и зашуршали вдруг обои.

— Скоро остров немного оттает. Завтра опять ясный день, — сказала Нина. — От колебаний вечной мерзлоты наш дом проседает и обои рвутся. Все время подчиниваем.

В стенку опять постучали, несколько раз подряд, и Нина сказала громко:

— Вот дураки. Хватит вам резвиться!

— Я ведь все равно ничего не понимаю, — сказала Веснина.

— И слава богу. Для них тут эта морзянка как язык родной. А вдруг вы тоже знаете...

— Все знать нельзя. Мне можно ложиться спать?

— Конечно. — Нина собрала свое шитье. — А как сейчас в Москве?

— Май холодный.

— Это от здешней нашей весны во многом зависит.

Она погасила свет, но Веснина еще долго не могла уснуть. О чем же прежде всего ей писать? Потом она стала думать, что, если все было так, как рассказал Федотов, то защищаться на суде ему будет нетрудно. Если же было не так и Федотов с Кучумовым встретились там, в избе, дело дошло до ссоры, в чем Федотов боится теперь признаться, то из обычных причин отпадают сразу только деньги. Все остальное остается.

Например, вражда, доведенная до крайности утомленными нервами. Нападение пьяного человека и необходимая самооборона.

Нападение просто под воздействием спирта или заранее обдуманное: если Федотов что-то узнал, например, про браконьерство — само по себе это не сильный повод, если только у каюра не было особых причин вообще избегать любого суда... Очень это ее интересовало, особенно странная набожность Кучумовой — привычка ей все подсказывала, что здесь надо быстро выяснить все до конца.

Но мог и каюр, наоборот, что-либо узнать про Федотова и грозить ему этим.

Вспоминая дела, которые приходилось ей слушать в суде по заданию редакции, она подумала все же, что, конечно, на крайний поступок человека с утомленными нервами может

толкнуть просто внезапное раздражение... Но, если думать о причинах, нельзя забыть и еще одно древнее правило: ищи женщину. Особенно если эта женщина, в сущности, долгое время одна среди всех на трудной зимовке... Федотов не был женат и чувства свои привык, очевидно, хорошо скрывать, никому не высказывая. А Кучумов в пьяном раздражении мог неосторожно оскорбить что угодно и кого угодно.

Она подумала еще о том, что люди с образованием иногда склонны воспринимать слова даже острее, чем поступки... В доме давно уже было тихо, и только свет фонаря, отраженный от снега, пробивался в одном углу, как будто взбирался, цепляясь, по темной шторе.

Глава пятая

ЧТО-ТО СКРЫВАЮТ

11

Меньше всего можно было подумать, что Багров похож на кабинетного обитателя, который насидел за канцелярским столом значительно больше, чем самый ретивый летчик налетал по всем направлениям. Но, постучав утром к нему в комнату, которая была одновременно рабочим кабинетом, Веснина удивилась его мирному служебному виду: он даже был в очках, к которым прибегал только за столом, разбирая бумаги. Этот не в меру свирепый начальник, не постеснявшийся при всех огреть каюра ни много ни мало как мертвой собакой, сейчас был больше всего похож на средних лет отца семейства, при котором детям говорят, чтобы очень не шумели, папа занят.

— Садитесь, пожалуйста, — сказал он довольно мрачно и снял очки, чуть прикрыв свои зоркие глаза: очевидно, от чтения бумаг устали. Можно было подумать, что он всю ночь просидел над папками.

Она села у стола, как раз под картой острова Ледовый, ставшей уже теперь такой знакомой и понятной.

Жест, с каким Багров положил на стол надоевшие очки, обезоружил ее и настроил мирно. Еще в день приезда она почувствовала сразу, что теперь он будет очень недоволен ее пребыванием на зимовке — были у него, конечно, для этого причины, ничего не скажешь.

— Если коротко рассказать вам о зимовке, чем мы тут

занимаемся, тем более что остров вы уже немного видели, — сказал Багров, — надо начать с общей теории дрейфа льдов и чем мы можем быть полезны навигации, не считая ежедневных сводок погоды, которые входят в международный прогноз. Вы бы кое-что почитали. У нас хорошая библиотека. Хотя вашему брату, к сожалению, вникнуть в дело всегда бывает некогда.

— Вообще-то я с библиотеками давно знакома и кое-что уже читала перед тем, как отправиться к вам. То, что посоветовали в управлении. Правда, многого не успела, но библиотека у вас действительно хорошая. Я уже ее смотрела, здесь почти все есть по моему списку. Может быть, вы еще подскажете?

— Можно посмотреть ваш список?

— Пожалуйста.

— Действительно, то, что надо. Очень мило. Отмечено как раз то, что вы прочли?

— Ну да.

— Тогда мне остается объяснить лишь конкретные вещи, относящиеся именно к нашей зимовке. В свое время я доказывал, что на этом острове она может быть очень полезна. К таким же выводам независимо от меня позже пришел Федотов. Он у нас теоретик. Зимовка тогда была только что построена, и я взял его к себе.

— Как называется точно его профессия?

— Ледоисследователь. Это самое верное слово. А вообще, у нас профессии часто бывают смежные, даже объединенные. Гидролог, специалист по морским или речным бассейнам, не может не заниматься проблемой льда. Гляциолог, знаток льда, не может не интересоваться морскими течениями, составом воды, а также всей метеорологией — изучением погоды, которому все мы в конце концов служим. Я, например, по основной своей специальности был климатолог, однако больше всего последнее время занимался устройством этой полярной станции, совсем администратором стал, если хотите, — даже диссертацию до сих пор не успел защитить, черт бы ее побрал! А в общем, это все равно что выяснять: кто был Нансен или Амундсен.

— Понятно.

— Так вот, мы с ним уже много лет хотим внести хоть небольшую ясность в картину дрейфа в районе этого острова.

— За сколько лет?

— Я уже девять, а он шесть... Вы, кажется, говорили, что

вас привело сюда желание проверить, по каким принципам подбирают на зимовку?

«Значит, не забыл. Значит, он действительно помнит все. Значит, он помнит и про письмо в редакцию», — подумала Веснина.

— Так вот, Федотов здесь существует по принципу природности, если хотите. Где лед, там Федотов. Такая у него природа уже сложилась. Если его все же в колонию запрячут, он будет мечтать, чтобы в северную.

— А Кучумов по какому принципу?

— Кучумова я не брал. Это тоже подарок природы, если хотите.

— Как это понять?

— Очень просто. Его нам предложил отдел кадров. Я поговорил с Кучумовым еще на побережье и отказался, а потом взял. Да еще на всех его условиях, с женой и своими собаками.

— Значит, вам его навязали?

— Ничуть. Другого не было. Совсем. Начисто. Понимаете? И он это знал, Кучумов. Потому и держался самоуверенно. А я, старый дурак, ведь с самого начала уже думал, что добром с ним не кончится...

— Неужели он так был опасен? Один среди всех?

— На маленькой зимовке и один плохой человек много напортит в совместной жизни. Он нам не помогал, а мешал работать, понимаете. Сволочь он был, хоть и нехорошо так про покойника.

— Действительно, сейчас вам не к лицу его ругать.

— Так ведь я цензурно.

— Все равно. Тем более что он был простой рабочий.

Этого Багров не выдержал.

— Он? Да это я простой рабочий. Все, что надо, я своими руками делаю. Что у вас за мода в газетах пошла — зачислять в рабочий класс по низшему уровню грамотности? Где и когда мы живем? Осколиков, дизелист, — рабочий. Кантиков, техник самолета, — рабочий. Даже у пилотов в паспорте пишут — рабочий. А Кучумов ведь не настоящий каюр, который, кстати, мог бы оказаться мудрее нас с вами. Кучумов был просто дикий неандерталец, усвоивший от всей цивилизации только два достижения: выпивку и деньги.

— Но если его собакой стукнуть, грамотней он не станет.

— Вы уже знаете? Так я и думал, что не вовремя прославимся. Макаренко и Корчагин Павел тоже кое-кого стукнули, когда терпеть мочи не было, вы об этом должны помнить. Кучу-

мова даже этим не воспитаешь, но хоть потише стал. Мне тоже надоело. У нас тут из птиц зимуют только вороны, и то не всегда; он подобрал одного, обмерзшего, с поврежденным крылом, отогрел в котельной, а потом сидит и за крыло больное его дергает, чтобы голос давал. Смешно ему очень. Жаль, я сам не видел. А то еще кочергой бы стукнул. Вам это годится для фельетона?

— Я не фельетоны пишу.

— А-а, все равно. Добром ваше дело не кончается. Вы думаете, что помянуть на весь свет уже счастье для каждого? Да ведь как помянуть. А если криво или не вовремя? Расхвалили по радио одного нашего молодого ученого, а он не знает теперь, куда деваться: приписали ему то, что другие делали, и никому не докажешь, что он сам этого не говорил корреспонденту. Похвалили, называется. Наука вообще работать не сможет, если двери в каждую лабораторию открыть настежь, как в киношку, — запросто зашел и посмотрел в один сеанс, как другие живут и что делают...

— Все-таки корреспонденты тоже бывают разные.

— Знаете, Елена Васильевна, лично я вас нисколько обижать не думаю. Вы сейчас скажете, что, если узнать корреспондента получше, убедишься, который добросовестный. Все это так, только я все же скептик насчет всякой этой гласности. Вам всегда бывает некогда и не до тонкостей: где надо осторожность самую ювелирную, вы для скорости бульдозером тему пропашете — и дальше. А потом, дай вам только самую тень сенсации, чтобы вы прочли и тут же заговорили, — это ведь все равно что хорошей борзой кончик хвоста от зайца показать. У вас считается, что журналист за наукой в прорубь не полезет, не его прямая забота, а вот за броским заголовком так прямо и нырнет... Вот я вам тут тоже одну книжку приготовил. Посмотрите-ка на странице двести девятой, что один полярник пишет...

Она, уже подозревая, что, конечно же, не зря приготовил ей Багров эту страницу, взяла книгу: это был сборник о работе дрейфующих станций. Пока она смотрела текст, он опять прикрыл глаза — но все же так, чтобы следить за ее выражением — и прочел весь этот текст вслух, на память:

— «...В порядке эксперимента и ради научной любознательности некоторые из нас занялись «огородничеством». Это обстоятельство послужило в свое время поводом для ряда совершенно смехотворных, на наш взгляд, корреспонденций. Представители газет и журналов, побывавшие на льдине, уклонились в своих сообщениях в сторону, которая с нашей действитель-

ностью имела только схематическое сходство, — читал он монотонно. — Мы с ними жили в одной палатке. Не раз нам вместе приходилось на морозе и пронизывающем ветру трудиться... Корреспонденты, побывавшие у нас, не только знали нашу ледовую жизнь, но и сами в полной мере испытали все ее особенности. Нам было иногда просто обидно за представителей нашей печати, когда из-за литературных, а может быть, из соображений сенсационного характера они представляли нашу жизнь в красках, имеющих очень отдаленное сходство с тем трудом и с теми фактами, которые были основным направлением работы нашего коллектива... Наши друзья-корреспонденты едва ли не в течение полугода кормили нас и читателей продукцией наших неудачных агрономических опытов, на все лады восхваляя наши огороды...» Вот видите, казалось бы, узнали друг друга — вместе хлеб ели и лед пилили, а потом... Такие огороды нагородить можно быстро, а потом десять лет не оправдаешься. Так вот.

Или вот еще, — продолжал Багров. — Дневники гренландской экспедиции англичан в 1930 году...

— Я их уже читала.

— Тем лучше. Помните, что они говорят о сенсационных заметках? Когда один из них, Огаст Курто, был на два месяца совсем засыпан снегом в доме на станции посреди Гренландии. «Самая интересная появилась в одной французской газете. В корреспонденции сообщалось, что мадемуазель Огюстин Курто, единственная женщина — участница экспедиции, провела зиму одна в 225 километрах от остальных и что все попытки мужчин добраться до нее оказались безуспешными. Впервые за миллионы лет существования Ледниковый щит попал в газету, но как искаженно его изображали!» — Он опять сказал все это на память. — Представляете? Что стоит, скажем, в спешке перепутать порядочного человека с преступником? Я вижу, вы меня почти уже поняли?

— С чего вы взяли все же, что я хочу писать именно про случай с Федотовым?

— Да ведь это дело ваше, о чем писать. Вам не укажешь. Да и опыт у вас есть, в судебных-то делах.

— Вот именно.

— Вы сначала приехали узнать, зачем я взял Кучумова... Так ведь? Вам кто-то о нем письмо написал?

— Да. Из его села. Зачем пьяницу, который к тому же однажды уже на пушнине несколько проворовался, взяли в полярники? Только писал, очень вероятно, тоже местный склочник. Мы это все собирались проверить. По документам

Кучумов под судом даже не был, а характеристики у него самые нормальные.

— Еще бы! Я бы ему знаете какую характеристику дал... Только бы в другое место спихнуть.

— Вот и все так. Грустно получается.

— Не спорю. Но теперь Кучумова нет, и вы знаете, что взял я его, мало сказать, что без восторга... В надежде, что временно. А теперь вы же его защищаете, как простого рабочего.

— Все-таки не шутка убить человека.

— Не то слово. Человек сам погиб, а не убит. Несчастный случай.

— Что еще скажет следователь... Мне просто странно, что после смерти Кучумова, когда он сам уже никого не может раздражать, к нему так здесь относятся. И к ней то же самое?

— Про нее я не говорю, — быстро сказал Багров. — Что с нее взять? Богом ушибленная женщина, да еще мужа потеряла.

— Я ведь была у нее.

— Я знаю. Ну и как?

— Она просит мужа похоронить, как положено полярнику. На острове. Чтобы память все же была, что он здесь работал.

— Что?! — вскипел Багров. — Она и вам это сказала? Не будет этого! Пока я здесь, не будет.

— Почему?

— Не заслужил. Это не настоящий наш полярник.

— Потому что простой каюр? Или, если сказать прямо, потому, что с вами не поладил? Хоронили же матросов в экспедициях не хуже, чем их командиров.

— Дался вам этот простой рабочий... Не поэтому. Он не заслужил. Понятно?

— Нет, непонятно. Характеристику вы готовы были любую ему писать, а как погиб, так даже могилы здесь не заслужил. У вас концы не сходятся, Петр Дмитриевич. Вы обещали Кучумовой хлопотать о повышенной пенсии? Имеет ли она на это право?

— Вдове надо посочувствовать. Мы не злопамятны.

— Вы сами знаете, чтобы дать ей пенсию, — сказала тогда Веснина, — надо писать все бумаги так, чтобы вышло, что он не по пьянке заблудился, а погиб в пурге, при исполнении службы, выполняя поручение... Ведь так?

Багров промолчал. Он встал, расстегнул ворот шерстяной своей рубахи и заходил по комнате. В больших меховых унтах его шаги как раз напоминали ловкую поступь медведя в клетке — несмотря на грузность, он шагал легко и точно. Ей ка-

залось только, что он едва удерживается от искушения пнуть по дороге хотя бы стул какой-нибудь.

— Послушайте, Елена Васильевна. Я человек прямой. Писать вам здесь не о чем. О Федотове шум сейчас поднимать просто даже некрасиво. Переживает человек, сами видели, как выглядел он после допроса. Кучумова уже нет. Если я для вас выгляжу как Семенчук какой — ведь думали об этом уже, признайтесь? — ну что ж, пишите! Валяйте! И про собаку, и про кочергу пишите — я о себе всего меньше забочусь... Но только не отрывайте нас сейчас от дела. Нам тут не до вас.

— Вы хотите сказать, что мне здесь делать больше нечего? — спросила она, уже сама еле сдерживаясь.

— Именно! А что такого? — невинно сказал Багров. — Самолет вас мигом довезет до побережья, а оттуда сейчас как раз перебрасывают грузы на полюс, на дрейфующую льдину. Ведь вы на полюсе не были? Когда еще в другой раз придется... Разве плохо для журналиста? Я уже все выяснил — вас сразу туда доставят. Там зимовка образцовая, есть о чем говорить. И к журналистам у них привычка, такая уж их судьба. У них там на всякие интервью практика выработалась, небось с закрытыми глазами шпарят... А у нас что? Так себе, островишка среди всяких.

— По дороге вы об этом острове не так говорили.

— Мало ли что я говорил по дороге...

— Вот именно... Вы хоть понимаете, что делаете? — спросила она. — Только что вы вполне откровенно предлагали корреспонденту центральной прессы не писать как раз о том, что здесь произошло, собственную даже версию навязывали о несчастном случае, когда все еще здесь так неясно... А теперь собираетесь вовсе выдворить меня без особых церемоний. И еще могу сказать вам: писать, пока не закончится следствие и суд не состоится, я не буду. Но это не значит, что меня не интересует больше ваша зимовка.

— Кошмар, — сказал он вдруг и схватился за голову. — Вот ведь не суеверен, а в тот день, как вас встретить, недаром в одном переулке в Москве кошку черную поперек дороги увидел: какую-то очень породистую, на шнурке вели в ошейнике... Я думал, в ошейнике кошка не действует.

— Вряд ли вас похвалят за самоуправство даже в вашем управлении. Меня ведь не случайно ветром сюда занесло.

— Очень даже похвалят. Знали бы они, что тут несчастье такое будет, сами нипочем бы вас сюда не пустили. Да хоть и голову мне потом оторвут, не дам я вам Федотова!

— Может, вы меня на другую зимовку вообще под конвоем спровадите?

Он не успел ей ничего ответить — в дверь постучали чем-то железным, и вошел техник самолета Кантиков: в руках у него были какие-то инструменты, которые звенели, как кандалы.

— Простите... Вы ведь срочно звали, Петр Дмитрич?

— Да, брат мой, срочно, — как ни в чем не бывало сказал Багров. — Видишь ли, мы тут интервью заканчиваем. Уж Елена Васильевна меня простит. Все беды сразу: ключи я в сейфе захлопнул, кругом черная кошка... Ты давай действуй, у нас секретов нет.

— Да я по замкам не практик. Посмотреть надо.

— Ну смотри, смотри... Вы, механики, колдуны, все можете.

Багров с тоской посмотрел в окно, все на тот же склад, где лежало теперь тело Кучумова, — около склада по-прежнему неутомимо возились собаки.

— Готово, — вдруг сказал Кантиков и открыл толстую дверь сейфа: внутри, на полке, с самого края лежали злополучные ключи.

— Открыл?! Да тебе, брат ты мой, Сергей Прохорович, цены нет. Вот уж и не думал... Ведь у меня там всякие дела, да еще и печать Советской власти.

— Что ж такого? — смутился Кантиков. — Я только посмотрел, а он взял и открылся.

— У вас всегда так. Что ни сделает, ничего особенного. Спасибо, друг.

Когда Кантиков вышел, Веснина спросила:

— Так что мы решим? — Ей все казалось, что Багров пошутил, что он сам понимает, как невыгодно ему сейчас осложнять положение и ссориться с печатью.

— То есть как что?

— Насчет моего отъезда? Я полагаю, вы шутите?

— Да все так же, Елена Васильевна. Совсем не шучу. Нечего вам здесь делать.

Она посмотрела на него пристально и долго, в упор, и он, не выдержав, отвернулся.

— Елена Васильевна, — сказал он вдруг тихо. — Будь человеком. Уезжай отсюда. И не смотри на меня так — не могу я с тобой иначе разговаривать. Сама небось понимаешь. Судьба меня, что ли, тобой наказала, хуже, чем Кучумовым...

Тогда она встала, повернулась и вышла, с трудом удержавшись, чтобы не хлопнуть дверью.

В кают-компании ее ждал Кантиков. В руках у него была

большая папка — толщиной примерно с человеческую ногу у бедра.

— Можно вас спросить, Елена Васильевна?

— Конечно. Это что у вас?

— Роман.

Она почувствовала, что сейчас ей станет дурно.

— Это не мой роман, — заторопился Кантиков. — Это наш бортмеханик Радугин Петя просил передать. Он сам стесняется. Хотя совсем не случайно у вас в самолете спрашивал, как рассказы печатать... А у меня к вам совсем другое дело.

— Я вас слушаю, Сергей Прохорович. Вы не стесняйтесь.

— У нас тут еще одно преступление есть. Небольшое, правда, но я им давно уже занимаюсь. Для собственной практики, — сказал он значительно. — Тминову-то сейчас не до пустяков, а то бы я и ему сказал.

— Какое же преступление?

— Да ведь пострадавший-то сам преступник, — сказал Кантиков негромко, но очень уверенно. — Это уж как пить дать.

— Вот оно что! Какие же у вас подозрения? — Она посмотрела на Кантикова совсем внимательно: неужели он смог заметить что-то неясное, что ее саму так тревожило в Кучумовых, хотя понять, в чем дело, она никак еще не могла.

— Кучумов говорил, что законы каждый блюдет, только пока на тебя смотрят... Убежденный браконьер. Песцов ловил. Мы его только уличить не смогли.

— Ну и что? Теперь он уже неподсуден.

— И она тоже?

— А она тем более. В чем ее винить, когда ей и так горше всех досталось? Муж-то ведь у нее убит.

— Муж у нее и без Федотова вряд ли бы вернулся на этот раз. Пурга с пьяными шутить не любит. А только Федотов преступник случайный, хотя теперь о нем шуму будет много, а вот Кучумов всегда мог преступить закон. Я до этой Кучумихи все равно доберусь, она наверняка шкурки для продажи держит и спирт прячет, несмотря на строгое запрещение. Это я говорю, чтобы у вас, если вам писать об этом придется, не вышло, что от Федотова пострадали честные рабочие люди... Мы ведь тут с ними жили и знаем их не первый день.

— Это все-таки не доказательство, а предположение.

— Ну вот вы сами были у Кучумовой. Как вам у нее понравилось? Верит она в бога или сама себя, а может быть, только нас всех морочит?

— Нет, не верит. Если вы уж такой наблюдательный, мо-

жет быть, сами заметили, что иконы у нее просто зря висят. Не так, как должно быть по ее вере положено.

— Да что вы! — удивился Кантиков. — Вот насчет икон я еще не думал...

— А вы подумайте.

— Я только думаю всегда очень медленно. Так вернее, — сказал Кантиков.

— Оно и лучше. Это ведь мне надо спешить, поскольку командировка моя может кончиться раньше срока...

Они все сидели в кают-компании, похожей чем-то на помещение на борту корабля; прикрытые отчасти шторы приглушали здесь в окнах слишком уж яркий солнечный день, почти круглые сутки теперь стоявший над островом... Мимо несколько раз проходил уже с камбуза Казначев, поглядывая на них скептически, этаким старым вороном; потом прошел и вернулся обратно сам Багров, сделав вид, что он их не заметил и это вообще его не касается, — не мог же он, в самом деле, запретить ей беседовать с бортмехаником самолета. Ей хотелось теперь, чтобы Багров понял: никуда отсюда переезжать она не собирается, не он послал ее в командировку и не он дал разрешение посетить именно эту станцию... Еще посмотрим, чем все это кончится.

— А не могли бы вы просто помочь разобраться тут кое в чем? Да вы не бойтесь. Ведь это Багров вбил себе в голову, что я собираюсь писать именно про случай с Федотовым. А ведь я приехала совсем по другому поводу...

— Это он, очевидно, потому, что вы ведь иногда о судебных делах пишете, — деликатно сказал Кантиков.

— Мне сейчас просто надо написать о зимовке, о ее людях, чем вы тут все занимаетесь... Всегда так: хороший очерк читать все любят, а как помочь написать — или отмалчиваются, или отшучиваются. Вот как ваш командир самолета, — сказала она сердито.

— Это верно... Чем же вам помочь?

— Просто я никого еще не знаю. Разве что Багрова, поскольку летели вместе и он кое-что рассказывал. А вот Хребтова совсем не знаю.

— Вот уж нашли о чем жалеть, — как-то очень уж неприязненно сказал Кантиков.

— Это почему же?

— Выжига он и паяц. Это факт.

— Как выжига?

— Очень просто. Бывают такие, совсем уже стукнутые деньгами.

— Скажите, пожалуйста... Даже не подумаешь.

— Здесь, конечно, не подумаешь. У нас тут и денег нет в обращении. Только я его еще по Якутии знаю, здесь он недавно. Устроил он там как-то свои именины и нашего брата, весь экипаж (я тогда в георазведке летал), тоже позвал в ресторан. А потом, представьте себе, каждому гостю счет подали! Вот ведь юморист чистый... У нас все с деньгами, не жалко, но противно... И замок-то на сарай он повесил. У нас тут за замком хоть самолет посылай, не сразу сыщешь. Да и к чему? Покойного Кучумова и так никто не тронет.

— Действительно, странно... Значит, это его замок?

— А еще стишки пишет. Тоже вроде нашего Пети с его романом.

— Хребтов пишет?

— Ну да. Я сам убедился. Пришел к нему сегодня на склад за документацией, он мне две тетрадки сунул. Я не поглядел сразу, а это, оказывается, стихи, собственные его тетрадки... Да вот посмотрите.

— А удобно мне?

— Подумаешь! — сказал Кантиков. — Петя Радугин сначала тоже свой роман от всех в подушку прятал, пока он слишком большой не стал, а теперь, наоборот: сам его в разные места посылает. Вы Пете, конечно, посоветуйте, что там надо. Мы с командиром ему уже говорили — письма даже, а не то что книгу, не начинают с такой фразы: «Было тихо, как в ухе...»

— Я ведь тоже не писатель. Конечно, взгляну, раз он просит. А стихи когда вам отдать?

— Да хоть завтра утром, когда опять к Хребтову пойду. Мне ведь надо документацию, а не стишки. Тетради-то у нас все одинаковые завезли, только и делаем что путаемся.

Она вдруг почувствовала, что во всей этой путанице, с которой она внезапно здесь столкнулась, есть, должен быть, определенный порядок.

Ей казалось, что еще немного, и она сама, без всякой помощи догадается, поймет, в чем дело. С кем она не говорила еще? Хребтов и Кошкин. Двое.

И есть еще один — следователь. Но он уехал к избе, забрав продукты, чтобы не спеша все описать там и смерить. Вряд ли даже на снимке, присыпав снег графитом и прикрыв его от прямого света картонным конусом, сможет он обнаружить следы медведя, о котором говорит Федотов, к тому же была пурга, и снег повсюду перемещался ветром. Он не спеша и основательно смеряет там все, что надо, сначала снимет на

пленку, а потом, очевидно, выпилит кусок двери, прошитой двумя пулями из карабина. Чтобы вместе с телом Кучумова отправить на экспертизу в лабораторию, где исследуют наклон канала отверстий, пробитых в досках, рассмотрят тщательно их характер, сравнят со сквозной раной на теле Кучумова — каюра и бывшего приемщика пушнины, из-за которого она сюда приехала и которого теперь уже нельзя даже спросить: что у него за странная жена и как это они ухитрялись примирять строгую религию баптистов с пьянкой и примитивным диким зверством лесного охотника-шкуродера?

Как же все-таки Кучумов уступил и не успел выстрелить первым, хотя с собой у него тоже было ружье с той варварской, да еще самодельной пулей «жакан», может быть, даже надпиленной вопреки закону, которая рвет и калечит так, что иной раз выходное отверстие впору заткнуть рукавицей? Рукавицу он и потерял, и руку уже отморозил, может быть, в этом все дело... Ее нисколько не удивляло и не возмущало, что, может быть, Федотов просто побоялся сразу сказать все, как было, — винить за это человека в его положении нужно бы, но очень трудно. Все дело в том, что найдет следователь. Закон гласит, она это прекрасно помнила: статья сто шестая, неосторожное убийство, лишение свободы до трех лет; статья пятая, убийство при превышении пределов необходимой обороны, до двух лет; и, наконец, сто четвертая, убийство в состоянии сильного душевного волнения, до пяти лет.

Но обвинение пока не предъявлено, и Федотов продолжает работать каждый день, как всегда, и только гнетущее сознание, что своей рукой убил человека, не оставляет его в покое...

Кантиков давно уже ушел по своим делам, а она все еще сидела одна в пустой кают-компании, делая вид, что разбирает свои блокноты, и думала, что, как ни чувствуй себя не виноватым, — легко ли Федотову работать и ждать: или полного прекращения дела, или суда, который определит срок, хотя бы и не свыше пяти лет?

12

Остров наплывал ей навстречу, снова поворачиваясь то одним, то другим берегом: возможно, так будет выглядеть чужая и неимоверно дальняя планета перед космонавтами будущего... Остров становился резче в подробностях, и красный отсвет среди черной мглы придавал ему какую-то космическую таинственность, как в цветных научно-фантастических фильмах. Остров плавал теперь перед ней весь, то целиком, то

частями, — при красном свете фонаря в ванночке с проявителем один за другим возникали изломистые крутые берега, узкая Долина песцов, заметенные снегом острые скалы горного хребта — кадры, отснятые вчера с самолета. Сегодня она отказалась опять лететь с Федотовым и экипажем, ей просто хотелось сразу же посмотреть, как вышли снимки. Ведь на худой конец, если совсем писать ни о чем почти не придется, у нее все же будет для редакции отличный фотоочерк с развернутыми подписями о полярном острове. Ей хотелось сразу этим застраховаться, чтобы хоть сдать спокойно отчет за командировку. Вернуться наверняка не с пустыми руками, а последние свои дни оставить свободными для собственных поисков темы, которая еще только чуть брезжила перед ней, так же, как этот остров в проявителе, выплывая из ничего...

Рядом с кают-компанией была устроена фотолаборатория со всеми принадлежностями и сушилкой; кроме необходимой научной фотодокументации, здесь почти все увлекались любительской съемкой. Днем лаборатория была как раз свободна. Веснина уже успела перед обедом, расставшись с Кантиковым, проявить свои пленки и убедиться, что, в общем, все в порядке. Она подумала, что вдруг почему-то очень уж устала: который день в сплошном напряжении, после заключительной семейной сцены сразу за Полярный круг, быстрая перемена климата и смена впечатлений в достаточном количестве, даже слишком; и какие-то внезапные тайны, причем совсем не там, где их ищут; и в довершение всего объяснение и ссора с Багровым.

Вместо того чтобы еще раз полететь сегодня с экипажем, она осталась проявлять свои снимки, хотя в самих отпечатках не было острой нужды: ей нужен был предлог, чтобы избежать приглашения командира и не смотреть лишний раз в полете на Федотова, который молчит как приговоренный. Вечером она поговорит еще с кем-нибудь, а позже — поскольку Нина Осколикова дежурит сегодня в метеорологическом кабинете у приборов — будет совсем одна, без помех, просматривать рукопись Радугина и эту самую тетрадь, что дал ей Кантиков... И будет свет лампы на столе, и бревна в доме чуть потрескивают, как бы ворочаясь на поднимающемся к весне горизонте вечной мерзлоты. А за окном, притаившись, стоит сама Арктика.

Она услышала, как по коридору прошли опять Кантиков с радистом Радугиным, собираясь к самолету. Они протопали, хлопнула дверь, и опять стало тихо. Из будки так хорошо все было слышно. И снова входная дверь завизжала на ржавом

блоке и хлопнула; грузные шаги в мягких унтах оборвались теперь совсем рядом, потом Багров сказал за стенкой:

— Вот уж не было печали! Все сразу на мою голову.

Ей вдруг стало жарко: а если они подумают, что она нарочно забралась сюда их слушать? Она даже решила уронить что-нибудь погромче, не ставя себя в неловкое положение.

— Капризный же ты, Петя, — сказал Хребтов.

— Да мне-то что? — с досадой спросил Багров.

— Как что? По всем зимовкам только и разговору теперь будет, — узнала она голос Кошкина...

«Еще того лучше, — подумала она растерянно, — значит, все трое тут».

— Обрадовал... Смотря о чем разговор, — сказал Багров.

— Как о чем? — добродушно удивился Кошкин. — Сидим тут, иной раз всю зиму мечтаем, чтобы бог для интересу вдруг какую-нибудь красотку на парашюте скинул. Он взял, да и скинул, а ты еще недоволен... Вот те на!

— Тебе-то, старому черту, своей Авдотьи Семеновны мало? — спросил Хребтов.

— Где она? — вздохнул Кошкин. — Весной дышит на Черноморском побережье. Мне бы хоть ее, законную, на побывку. Все веселей.

— Хватит вам насчет весны, — сказал Багров. — Тут дело, а они расходились.

— Ты отдыхал несколько месяцев и по делам соскучился, — сказал Хребтов. — А мы весну ждем. Да еще как! Признайся, хоть по дороге ты ей комплимент закручивал?

— Отстань! Говорю тебе, не женщина она, а журналист.

Ах вот как... После этих слов у Весниной сразу пропало всякое желание ронять что-нибудь на пол. Раз так, пусть ему же будет хуже.

— Это что ж, порода такая, без всякого пола, по-твоему? — допытывался Хребтов.

— Какой там пол! Одна бумага. Душу за кривую строчку продаст. Не люблю я их.

— Ты зря насчет породы. Порода-то в ней как раз самая настоящая... Одни глаза чего стоят. Глядит, как конь, который с норовом, — сказал Кошкин.

— Насчет породы я лучше вас знаю, — сердито сказал Багров. — Прадед у нее со стороны матери тот самый командир фрегата «Паллада», известный моряк. Дед географ — хребет Унковского помнишь? Дядюшка профессор нынешний, лингвист, а отец был известный астроном-любитель, который пошел на войну добровольцем и погиб в ополчении...

— А ты откуда знаешь? — перебил Хребтов. — Ты же говорил, что ни слова с ней до самой зимовки... Уже в Амдерме случайно встретились.

— Да что ты меня на слове ловишь? Взял да и в словарях посмотрел. Простое дело. Фамилия не частая.

— Все-таки она тебе и фамилию матери уже сказала... А ты ее принимаешь так несерьезно. Может быть, графиня, — укоризненно сказал Кошкин.

— Да мне хоть кто, — сказал Багров и прибавил так, что стало ясно: ограничитель фраз здесь уже не действовал: — Вы тут все как гусаки переполошились. Бороды долой, ходят, как по Невскому, хвостом вверх. Механик за все время столько слов не сказал, как сегодня перед ней раскошелился, а пилот, как стал опять с утра в полет приглашать, чуть ногу не оторвал, так все шаркал...

— Ногу пришьем, доктор есть, — сказал добродушный Кошкин.

— Где же она теперь? — спросил Хребтов.

— Говорю тебе, пилот в свой лимузин опять зазвал. Она у него вчера уже за штурвал держалась, и бортпаек подносили. Сегодня, надо думать, петли делать будут. Прощай теперь, разведка.

— Да что ты на всех злишься, а? — приставал Хребтов, посмеиваясь. — Не узнаю Петра Багрова... Чего-то тут не так.

— Оставь меня, Райкин. Ты и так мне сюрприз поднес: в сарае труп лежит, а научного руководителя, того и гляди, по скорбному-то пути поведут. Шесть лет работали — и вот тебе.

— Не горячись, Петя, — спокойно остановил его Кошкин. — Время уже не то, чтобы из-за бабы все тут, как дикие, разодрались. Не в этом дело. Говори лучше сразу, зачем позвал?

— Я утром уехать ее просил, — сказал Багров. — Не потому, конечно, что женщина. Сами понимаете.

— Узды на тебя нет, — печально сказал Кошкин. — Хоть бы советовался. Знаю я, как ты просишь. Да теперь ее отсюда краном не вытащишь. Согласись, ведь у каждого свое самолюбие, да и любопытство подзадорить этим можно.

— Пусть так. Но теперь всем бы нам особенно помолчать надо... Это ясно?

— Да ведь тоже не так легко, — сказал Хребтов. — Каждого попросить персонально? А ты думал, как это выглядит? Круговой порукой, да еще в уголовном деле.

— Пока нормально выглядит. Учти, я ведь сам ничего не знал, как у вас тут было, никаких подробностей, пока сюда летел. На твоей это совести, заместитель. Об этом потом по-

говорим. Пока что следователь допросил уже всех, и никто не проболтался. И в протоколах нет ничего. Я смотрел. Он их у меня в сейфе оставил.

— А Кучумова?

— Меньше всего теперь боюсь. От механика, и то вреда можно ждать больше: раз немой заговорил, его не остановишь.

— Похоже, ты уже толковал с Кучумовой? — серьезно и очень даже сердито спросил его Кошкин.

— Ну говорил. Пенсию она просит и похороны чин чином, поскорей да с почестями. Последнее — бабья дурь. Просто похоронить я, конечно, не возражаю, но обелиском Кучумову не стану позорить остров... Да ей ведь главное пенсия.

Теперь Весниной хотелось крикнуть через стенку: «Не так, совсем не так. Ох, как же ты, Багров, ошибаешься! Не нужна ей пенсия совсем, а именно похороны. И не с Хребтовым тебе сейчас говорить. Как же ты пожалеешь потом, когда поздно будет...»

Кошкин опять сказал очень сдержанно:

— Не дело, Петр. Ты бы все-таки хоть раньше советовался. А мы начинаем тут круговую молчанку устраивать. Да еще Кучумовой подачками рот затыкать — вот уж за кого не поручусь надолго... Пусть лучше само все идет.

— Ах, Иван, Иван, божья твоя душа, мягкосердная. Все бы ждать, как образуется. Досидишься, что Федотова совсем за горло возьмут... Да поздно будет. — Багров вдруг заговорил почти страстным шепотом, но громко так, что каждое слово отчетливо было слышно: — На течение судьбы надеешься? Ведь мы теперь в экспертизу эту, как в точный прибор, верим — обелит она Федотова самой собой... Так думаешь? А если экспертиза сама в тупик станет и ничего не даст определенного? Ни да, ни нет, ведь ни медведя, ни пули в тундре не найдешь. Стрелял он, как говорит, через всю избу, а силу выстрела узнать точно можно только с расстояния не больше метра, это мне сам Тминов рассказывал. И никто ничего не видел, и следов на снегу не осталось, и труп следователь осматривал уже не на месте, — известно только, что Федотов убитого на зимовку сам приволок и пули своей не отрицает. А если Кучумов-то пьяный, да это после всего, что уже было, дверь с ружьем к нему открыл и у Глеба тут нервы не выдержали, — если так, спросит следователь... Какую статью ему писать в обвинении? Уже не несчастный случай? И вот на зимовку, это при следователе-то, без всякого предупреждения сваливается еще журналист, да еще хуже того, баба с норовом... Что мы все делаем перед печатью, как перед открытой

дверью? Пуговицы проверяем и застегиваем, как на смотре. Это ведь только у Швейка на императорском параде не хватало двадцати четырех пуговиц на мундире, а так в любом сельском клубе окурки с пола в каждом углу подберут на всякий случай, если едет пресса. Ты на суд свидетелем пойдешь, но и Кучумова тоже, она до суда уже и пенсию свою получит, руки у нее свободны будут. И скажут тебе на суде: «Доктор Кошкин, очень вы были известны своей правдивостью, но теперь лжете, кое-что не договариваете». Вот вдова Кучумова и перекрестный допрос. Готов, доктор... Много ты тогда на суде поможешь? Ждать — это ведь эксперимент на Федотове делать. Вот уехал бы теперь следователь — и ладно, но ведь она тоже ходит здесь со своими вопросами... Я тебе прямо говорю — если Глеба в суд потащут, я не выдержу. Куда хочешь пойду... Только кто мне поверит? Ведь закон и факты будут против — ладно, скажут, отсидит года три в колонии, бывало, и больше ни за что сидели... А вся его работа, а след на нем, когда каждая свинья ни за что сможет ткнуть?

Долго все молчали.

Багров сказал:

— Приказать не могу. Но если со мной еще считаются...

— Ладно, ты уже почти приказал, — отозвался Хребтов.

— Просто прошу понять, — сказал Багров. — Так будет лучше.

Веснина уже не слушала дальше. Она не думала уже о том, что ее услышать можно, — теперь она знала, к кому надо немедленно пойти сегодня в первую очередь: к доктору Кошкину, про которого говорят, что он никогда не врет.

Глава шестая

ОПАСНАЯ ТЕТРАДЬ

13

Раньше ей почему-то казалось, что жизнь на зимовке должна идти относительно медленно и спокойно, а иногда даже довольно скучно с точки зрения жителей большого города.

Но так же, как уже в прежних своих поездках по не-

большим городам и дальним селам, начиная с Камчатки, она убедилась, что все зависит от самого человека. Обыкновенной пустой скуки, когда не знают, куда себя деть, здесь вообще не бывало; разве что Федотову приходилось чаще других испытывать свое терпение, когда иной раз сильная пурга заставала его во время путешествия по льдам и надо было по два дня отлеживаться в спальном мешке под шатким кровом маленькой и тесной палатки. На острове день был занят у всех целиком, без суеты, но достаточно разнообразно: во всяком случае, разнообразнее, чем у иного служащего в большом городе, который утром и вечером жмется в одном и том же троллейбусе, знает магазины и кино в своем квартале, а зачастую просто обходится по вечерам всем, что ни появится на экране телевизора, лишь бы что-нибудь там шевелилось... Как говорили здесь, на Севере, — пустынность еще не означала одиночества. Она пробыла на зимовке всего несколько дней, но все здесь казались ей теперь уже так знакомы, как будто она давно их знала, как будто встретились уже не в первый раз... Ей еще не приходилось так быстро и решительно вживаться в чужой быт и в чужие беды, — может быть, потому, что здесь только что, чуть ли не на ее глазах произошло не совсем обычное событие, ЧП, как его называют.

Уже поздно вечером при уютном свете настольной лампы одна в комнате, поскольку Нина в тот день дежурила, Веснина открыла наконец тетрадь Хребтова и огромную рукопись радиста, — вечером всегда кажется, что ночь еще велика и все прочтешь — и стала читать их, нарочно вперемежку, так ей казалось, меньше устанешь. Но и читала она совсем не так уж внимательно — в сознании ее все еще продолжался долгий спор с доктором Кошкиным... Человеком, который ходит по Арктике без шапки и никогда не врет.

«...И бесполезно писать красками, изделиями человеческих рук, — прочла она среди цифр и подсчетов в тетради, — эти сонные грезы земли. Видавшим эту красоту ничего не прибавится, а незнакомым покажется картиной такой же чудной и непонятной, как пейзаж чужой планеты, как страницы поэзии селенитов». «Гостеприимство возрастает с каждым градусом широты, — читала она дальше в тетради. — Быть может, потому, что на Севере посещение каждого человека вносит в жизнь некоторую перемену; быть может, потому, что так возвращаются к простейшим жизненным законам: сегодня я могу помочь тебе, завтра, быть может, ты поможешь мне». «Не тепло радует нас, а отсутствие привычного

холода. Где же верная мера человеческим ощущениям? Не так ли и счастье людское?» Выписки шли в тетради как попало, но все же немного чаще, чем попадались стихи. Выписки эти почти всегда не были даже подписаны и не указано, откуда взято.

Некоторые она узнавала, уже встречала их раньше: «Мой проводник Джергели, семь раз летовавший на островах и видевший несколько лет подряд эту загадочную землю, на вопрос мой, хочешь ли достигнуть этой дальней цели, дал мне следующий ответ: «Раз наступить ногой и умереть» — эти слова были взяты из отчета геолога Э. В. Толля, перед последним его походом в поисках таинственной Земли Санникова, когда он сам погиб у берегов острова Беннета. «Собака живет сегодняшним днем, часом, даже моментом. Человек способен жить и терпеть ради будущего... Тяжело, ужасно тяжело, страшно тяжело, все еще тяжело... Помилуй нас бог, нам не выдержать этой каторги! В это ужасное место притащились мы с таким трудом и не имеем в награду даже сознания, что сделали это первые... Мечта моей жизни, прощай! В конце концов мы показали хороший пример своим соотечественникам, если не тем, что попали в скверное положение, так тем, что встретили его как мужчины, оказавшись в нем. Мы могли бы справиться, если бы бросили заболевших... Простите за почерк, сейчас минус 40, и так было почти целый месяц... Дневники найдут при нас или на санях» — это все были строчки из последних писем капитана Роберта Скотта, с трудом нацарапанные, когда он погибал уже у Южного полюса.

С самого начала, еще только перелистав, она вдруг поняла, что первая из двух тетрадей вообще не принадлежит Хребтову, да и написаны они были разным почерком... И ей нетрудно было догадаться, чья это тетрадь, — только это нисколько ее не утешило и ничего еще не объяснило. При иных обстоятельствах, случись что-нибудь, и эта обыкновенная тетрадка могла быть не заброшена на полку среди других бумаг и книг, а найдена под меховой курткой, у человека, согревающего эту тетрадь на себе до самой последней минуты.

Она, конечно, ничего не поняла в цифрах и расчетах, хотя могла догадаться, что прежде всего именно они должны иметь подлинную научную ценность, — но, кроме всяких цифр, выписок и стихов, здесь были и собственные мысли, как в дневнике, и некоторые из них показались ей очень и очень тревожными, особенно после безнадежного спора с доктором Кошкиным...

Кошкин принял ее в своей небольшой больнице — в самом конце общего дома отторожены были две комнаты, и вход в них сделан был, как из общего коридора, так и отдельно, с улицы. Больничка эта была как игрушечная — с кабинетом врача, который мог служить операционной и с палатой рядом — на две койки.

— Входите, входите! — сказал Кошкин. — Я давно вас жду! Вы разве не полетели с Кургановым?

— Нет. Хватит, я вчера уже летала.

— Значит, мне наконец повезло.

— В чем же? Давно вы меня здесь ждете?

— Да уже который год, — сказал он серьезно. — Сижу здесь и поджидаю. Гостей-то у нас маловато. Нам бы у эскимосов учиться ездить в гости.

— Правда, Иван Герасимович, что они только взглянуть на вас на собаках по льду приезжали?

— А что тут такого? Не во мне дело, — без всякого тщеславия, очень просто сказал Кошкин. — Тут сто верст — не расстояние, да и время есть. Когда на побережье корову привезли, они также приезжали, да еще пугались, говорили: «Медведь хорошо, я его кушать буду, а этот рогатый зверь больно страшно ревет...» Иной раз вижу: лупит вовсю — и прямо ко мне: «Ты доктор?» Думаю, за врачом его прислали. А он поворачивается тут же, кричит: «Ах, твою мать, доктора видел!» — и гонит к родственникам еще верст триста рассказать... Это даже хорошо, что они удивляться еще не разучились.

У Кошкина была привычка все время переставлять что-нибудь на своем столе — как будто он еще не до конца навел в этом мире полный порядок, — но в движениях его не было лихорадочной суеты, с какой нервные люди вертят в руках все время какой-нибудь предмет; наоборот, это был коренастый широкоплечий здоровяк, очень уравновешенный морально и физически: на все он смотрел открытым взглядом голубых бесстрашных глаз, как будто впитавших в себя за много лет несравнимую чистоту и спокойствие полярного неба в ясный весенний день. Больше всего его удручало то, что он сам почти не имел никакого понятия о болезнях и болях.

— Представляете? — пожаловался он Весниной. — Ни разу почти ничем не болел. Просто безобразие. За всю жизнь хоть бы чем стукнуло, раз только молоток со шкафа упал, набил мне шишку, да палец как-то нартами прищемил, но в горячке даже боли не заметил. Я поэтому очень страдаю,

когда другим больно, — чувствую себя виноватым. Отец у меня таким же был.

— Вы ведь сами, я слышала, с юга? — спросила Веснина.

— Да. Отец у меня своеобразный был человек, и я ему обязан многим. Очень был здоров и кавалер отчаянный, и в отличие от меня много пил, но прожил долго. Обычный провинциальный врач в Сочи, только это был тогда совсем паршивенький городишко, где все друг друга знали. Впрочем, Сочи сейчас так знаменит, но стал много хуже: санатории построили вплотную, без особого плана, и теперь слишком тесно для такого большого курорта, не столько здравница, сколько место для развлечений. Это я так думаю: я еще Сочи помню, когда у домов виноград рос стеной, на улицах буйволы лежали, а у базара на цепи ручной медведь сидел и к морю спускались, как по ступенькам, по корням дубовой рощи... Отцу и себе отчасти я обязан тем, что выбрал Арктику: в тридцатых годах, когда я получил диплом, для Севера здоровье прежде всего нужно было. И мне родитель тогда сказал: «Иван, ты здоров, и там, у черта на куличках, сохранишь самостоятельность и будешь, как я, специалист на все руки. Нечего тебе околачиваться в тесноте, где другие могут».

— Как же вы тут без шапки ходите? — спросила Веснина.

— Так и хожу. Сначала только попробовал, а потом привык. Оказывается, можно. Это мне самому даже, как врачу, интересно. А вот руки не привыкают, мерзнут без рукавиц, как у всех, и ноги тоже. И у брата моего тоже ревматизм, хотя он сейчас на юге капитаном плавает. Это у нас в роду. Но мы с ним упрямые старые корабли, вот я и решил, что буду здесь ходить без шапки, и привык.

— Какие книги вы любите, если можно вас об этом спросить?

— Откровенно говоря, детектив. Грешен на этот счет. И вообще приключения с путешествиями: прочтешь, и вроде сам поездил всюду.

— Не стоит даже оправдываться. Все теперь гоняются за путешествиями и научно-популярной книгой... Только ведь и здесь у вас случился детектив.

— Какой же это детектив? — сказал Кошкин и передвинул на своем столе карандаши. — У нас не детектив, а очень даже паршивая история: один мой пациент влепил другому из хорошего карабина так, что уже не вылечишь.

— Раз это несчастный случай, подождем, что скажет нам следователь, — осторожно заметила Веснина, чтобы не сво-

дить сразу весь разговор к одному и тому же. — Расскажите мне лучше сами о людях зимовки. Как врач или как парторг, как хотите.

— Если даже я просто как человек расскажу, не будет никакой разницы, — заметил Кошкин.

— Вот, вот. Я ведь при всем желании не смогу задерживаться. Дня через два мне уже пора. Я тоже хочу добиться ясности. Для себя.

Он рассказал ей о зимовке — очень просто и ясно — и о том, что иногда их всех волнует вдали от континента. Здесь не было шума и суеты, но иногда их все-таки охватывала тоска, как перелетных птиц, — и тогда они вспоминали город, мерцающий бесконечными огнями по вечерам: город, где иной раз почти так же бывает некуда пойти, как на зимовке, но где зато в избытке роятся иллюзии, иногда такие же трепетные и искусственные, как его огни; но чаще всего они вспоминали осень, которой здесь, в сущности, совсем не было. Бурная весна и короткое лето вспыхивали на острове сразу: в Долине песцов, представляющей собой настоящий климатический оазис, закрытый скалами, отдающими ему тепло круглосуточного солнца, — летом их поверхность была даже чуть ли не на десять градусов теплее окружающего воздуха, — горные склоны быстро покрывались яркой зеленью камнеломок и полярных маков. Ручьи сбегались с горного ледника на хребте в небольшую речку, впадающую в конце долины в Озеро обманов; птицы шумно слетались сюда с материка — сначала пуночки, потом подорожники, кулички, и утки, и белые куропатки; на обрывистом восточном берегу гнездились крикливые базары чаек, и весной над островом пролетали таинственные караваны черных казарок — долгое время их пролет смущал многих полярников, заставляя верить в существование неведомой земли на самом Севере, пока кольцевание не убедило ученых, что эти гуси просто летят через полюс в Канаду... Но осени здесь не было даже в долине — трава вдруг сразу становилась рыжей от первого дыхания раннего холода в конце августа, и скоро все опять заносило бесконечным снегом... Здесь не было деревьев — стволик полярной ивы толщиной со спичку на срезе обнаруживал многолетние кольца: климат превратил ее в крохотного лилипута, меньше даже, чем искусственные деревья в карликовых садах Японии. И всех здесь мучила тоска по листьям — их лопотанию под ветром и бесконечному разнообразию, означавшему для них томительный шорох привычной жизни; так на Луне, очевидно, космонавты будут тосковать по привычному журчанию проточной воды,

которое им придется возить с собой записанными на магнитофонных пленках...

Ей почему-то самой вдруг вспомнилась осень — мокрые листья на черном блестящем асфальте у ограды скверов, мягкий шорох шин по влажным улицам, ежедневная дорога к старым аудиториям Московского университета в первые месяцы занятий, когда лекции еще не успели утомить; все это было так давно, так же давно, как первые встречи в маленьких городских скверах...

Ей вспомнились вдруг стихи из той, переданной ей Кантиковым тетради, в которую она только успела заг януть, перед тем как идти к Кошкину:

Каким-то забытым, небритым, несклеенным
мне кажется сад за пустыми аллеями,
как будто его еще в самом начале
невесть отчего посещать перестали.
И рос он немилым, унылым, заброшенным, —
как будто бы с детства не знал он хорошего.
Все листья собрались к отлету — и хочется
прийти и спасти. И разбить одиночество...

— Скажите, Иван Герасимович, — спросила она. — А Хребтов у вас случайно не поэт?

— Хребтов? Вот уж нет. Вы что-то путаете. Правда, както он принес стишки для стенгазеты. Да это что ж... Обычные шутки.

— Вы так думаете?

— Я, конечно, не знаю. У каждого есть тайны... Но всетаки задайте мне вопрос полегче.

— Как раз я это и собиралась сделать. Что вы, например, думаете о проблемах жизни в нашем веке?

— Проблемы века? Больше вас ничего не волнует? Чтонибудь конкретнее?

— Вообразите, что я вдруг прилетела к вам из космоса брать интервью.

— Это похоже. Могу вообразить.

— Что вас, как и всех, волнует в данный момент? Не только лично, а как представителя просвещенного человечества?

— Может быть, жизненный уровень? Или космосу это неинтересно?

— Космосу все интересно.

— О себе я не говорю, мне здесь денег почти не приходится тратить, но ведь живем мы не одни с моей Авдотьей Се-

меновной. Кругом люди. Общий уровень у нас пока не низок, не высок — нормальный; не так низок, как плачется обыватель, но и не так высок, как должен быть, — да еще по современным культурным потребностям, да еще если мы хотим утверждать наше экономическое преимущество. Но дело не в этом. Беда в том, что никакой уровень не гарантирует от проблем. Человек может не нуждаться ни в чем и задохнуться, сам того не зная, как без кислорода, — от одних нерешенных вопросов... Так сказать, духовной жаждой томим.

— Каких же вопросов?

— Прежде всего война. Хотя теперь все устали ее ждать и спят спокойнее. Правда, все равно на бочке с порохом. Все-таки по сто тонн ядерных боеприпасов на каждого жителя планеты... Не шутки.

— Поэтому они и будут лежать без применения. Теперь так считают.

— В надежде, что никто не чиркнет спичкой? Быть спокойным, зная, насколько еще упорна глупая идея, что легче отнять, чем самому создать и построить?

— Но есть надежда. Именно в наше время.

— Какая конкретно?

— Наша упорная борьба за мир, и наука растет, как никогда, и должна найти средство застраховать мир от всяких случайностей.

— Наука растет и бьется в собственных противоречиях. Кстати, это именно она поднесла нам атомную бомбу. Правда, ученые сначала очень от этого смущались, даже хотели умолчать о конкретных возможностях расщепления ядра.

— Но вы же сами работаете для науки.

— В том-то и дело. Кому все это помнить, как не нам. Конечно, для большинства ученых война отвратительна, но мир еще не знает, как без нее обойтись. Сейчас учеными решаются три большие проблемы: освоение космоса, океана и власть над погодой — все это связано, и ради всего этого мы и сидим тут, на зимовке. Служба погоды, например, не может быть не всемирной.

— Что же вы делаете здесь конкретно для погоды, океана и космоса?

— Вам разве не говорили?

— Только в общих словах. Сводки погоды?

— Это само собой. В этом году льды у нас около острова должны вскрываться, как мы говорим, «по Федотову»: он

предложил новый математический метод расчета дрейфа. До сих пор общий прогноз ледовитости для Арктики бывал верным, а методика распределения льдов по районам оставалась самым приблизительным и сложным делом. Северный морской путь проходим все же не каждый год: если это хотя бы знать заранее, что миллионы тонн груза могут зазимовать и не дойти... Если бы весь Северный путь был проходим всегда и абсолютно, Европа тоже посылала бы свои корабли в Тихий океан здесь, вдоль наших берегов, а не более долгим южным путем...

То, что она сейчас услышала, задело ее гораздо больше, чем сознание, что Багров не доверяет ей и хочет что-то скрыть.

Было действительно обидно, почему ей не сказали о методе Федотова раньше? Из скромности? Она, конечно, заметила, что о себе и о том, что делают сами, они говорят меньше всего; может быть, даже считали само собой разумеющимся, что ей уже все сообщили в Москве, чем занимается сейчас зимовка. Но только теперь она поняла, насколько осторожны с ней были даже в самом управлении, где объяснили лишь в общих словах, что на острове ведется сейчас большая научная работа, предоставив Багрову решать самому, насколько нужно посвящать ее в их дела... И это было опять недоверие к прессе.

— Что же мне об этом до сих пор ничего не сказали толком? О методе Федотова, — спросила она Кошкина.

— А нужно ли говорить раньше времени?

— Почему же вы теперь говорите?

— Да ведь на днях все уже станет ясно. Я, например, верю.

— Но ведь это очень серьезное дело.

— Тем более не надо было говорить о нем раньше времени.

— Так вот отчего Багров так нервничает...

— Конечно. На всю эту работу ушло много лет, они оба только этим и жили, да и мы с ними. Кроме Кучумова.

Так вот оно что! Еще неделю тому назад они ждали, как вскроются льды, и говорили только об этом. А теперь они ждут, что скажет следователь.

— Да вам, собственно, это не главное, — сказал Кошкин. — Вы ведь не о науке пишете.

— Да ведь как сказать, — возразила она. — Пишем мы о людях прежде всего, но сейчас уже вся литература, не го-

воря о прессе, окажется пустой, если не знать проблем своего времени. Иногда, правда, говорят, что конфликты морали одни и те же от века, — только все-таки самые простые чувства, что были известны еще Шекспиру, теперь все равно проявляются несколько иначе и в других обстоятельствах.

— Конечно, конечно, — сказал Кошкин.

— А был у вас на зимовке конфликт? До несчастного случая? — спросила она вдруг, внезапно, прямо глядя на Кошкина.

— Был, — сказал Кошкин и, оставив в покое карандаш, стал передвигать на столе календарь.

— С кем же? С Кучумовым?

— С обоими вместе.

— А с ней почему? Из-за религии?

— Не совсем. Я, например, считаю, если ты веруешь — твое дело. Но только других поучать зачем? Она, конечно, пропаганды никакой не вела, да мы бы и не позволили, но вместе с тем она одну только себя считала здесь праведницей...

— Еще не хватало, чтобы она вам проповедовала! — не выдержала Веснина. — Вы сами-то верите в ее религиозность?

— А кто ее знает... Но мы ее не преследовали.

— Это верно. Преследовать нельзя. По закону нельзя. Но разве муж у нее самой был праведник?

— Он у нее считался на исправлении. Все время в борьбе с грехом.

— Ах вот как... Говорила она вам, что сама состоит в баптистах? Вам, наверное, никогда не приходилось с ними сталкиваться? Никто у вас не слышал, в чем у них разница с православной церковью?

— Да нет... Они ведь не запрещены? — неуверенно и с некоторым беспокойством спросил Кошкин.

— Наоборот. В быту и на работе отличаются примерным поведением. Что, кстати, непохоже на Кучумова.

— Вот уж верно, — вздохнул Кошкин. — Так ведь и помер, ни в чем не раскаявшись...

И оба они, как сговорились, невольно посмотрели в окно на сарай, где лежал теперь не успевший исправиться.

— Ну вот мы и подошли к тому, с чем я приехала, — сказала Веснина, чуть подумав. — Как вы считаете, он попал к вам нормальным путем?

— Совершенно. По найму рабочей силы.

— К вам разве не подбирают специально людей?

— Не всех. Это ведь не дрейфующая станция и не экипаж, идущий в космос. Обычная зимовка, каких теперь много. На простую работу не всегда особенных людей найдешь. А настоящие каюры вообще теперь редкость. Характеристика у него была хорошая, и здесь, честно говоря, его ведь и уволить было не за что. Ну попивал и где-то собственный спирт прятал, но ведь у нас постоянная связь с берегом, а там вообще большой поселок, живут, как всюду. Возможно, зверьков подлавливал, да ведь мы не видели сами. Хуже всего то, что он нам не понравился, пришелся не ко двору... Но мужик был сильный и с характером.

— Что это значит?

Теперь уже Кошкин, в свою очередь, чуть задумался.

— Вы знаете, мы несколько идеализируем теперь тех, кто лет сто или больше назад осваивал это побережье. Промышленники и поморы были народ грубоватый и достаточно жестокий; были среди них одержимые — лишь бы дойти на край света, а были и такие, кто просто хорошо знал свою выгоду и умел за нее бороться в этих суровых местах. Кучумов или поздно родился, или, вернее, не успел дорасти до нашего времени. Мы ведь судим теперь о полярнике по тем убежденным в своей идее интеллигентам, которые ради науки стали такими же настоящими землепроходцами, как и казаки, первые открыватели Сибири. А Кучумов был безграмотен, конечно, не то чтобы писать не умел, и был жесток от природы, с которой и вырос, надо полагать: ведь он один среди нас мог уйти в пургу без компаса и вернуться, как будто так оно и быть должно... Не пил бы, так не обморозился и не вышел бы к избе под выстрел.

— Откуда у него наколки?

— Татуировка? Да тут по побережью таких красивых много. У него и дружок был, матрос с парохода, тоже весь в таких узорах.

— Ах вот как... Как же вы считаете, мы должны теперь призывать на Восток и Сибирь? Всех вообще или только лучших? С этим, собственно, я и приехала.

— Призывайте как хотите, но худшие нам ни к чему, однако выбирать тоже не приходится: только за последние пять лет из Сибири уже уехало триста тысяч жителей, исключительно в южные области, где они совсем не нужны. Вербовка тоже не выход: в обратном направлении всего двадцать пять процентов приезжают этим способом.

— У вас тут у всех отличная память на цифры, — сказала Веснина не без зависти.

— Да что вы! — отмахнулся Кошкин. — Разве что у Петра Дмитриевича.

— Вот только характер у него...

— А что характер?

— Ну, знаете... Каюра-то он все же стукнул.

— Жаль, — сказал Кошкин, — что каюр теперь сам ничего сказать не может. Он ведь потом пришел и смеялся, бандит: «Я думал, начальник, с тобой шутки шутить можно».

Ей действительно вдруг стало жалко Багрова: на него невозможно было сердиться, настолько он был уверен в необходимости действовать сразу и без оглядки, во весь размах своего темперамента. Невольно ей вспомнились слова известного полярного исследователя Жана Шарко: «Начальник, который ставит себе задачей достижение целей своего предприятия, а не исправление характеров, должен управлять, сообразуясь с натурами тех, кто его окружает». Багров все же не дорос до Шарко.

— Ну хорошо, вернемся к Сибири, — сказала Веснина. — Вернее, к проблемам века и населения.

— Да я-то здесь при чем? Я ведь только врач. Спросили бы лучше про медицину.

— Про медицину само собой. Ведь вы тоже работаете над темой?

— Но я ведь не ученый. Просто практик с наблюдениями.

— Мне говорили, что вы статьи пишете.

— Кто их не пишет?

— Что же вас самого интересует больше всего?

Он рассказал ей о своих наблюдениях за много лет: статистика неуклонно показывала, что именно в Арктике, где в представлении обывателя было больше опасностей, количество ранних смертей и несчастных случаев на самом деле оказывалось теперь намного меньше, чем в городах. Год за годом он наблюдал также за физическим и моральным состоянием людей, особенно во время долгой ночи. Все его выводы и данные представляли большой интерес для самых различных экспедиций, в том числе для подводников и для подготовки первых полетов человека в космос. Если бы он не был сам одним из первых свидетелей в деле Федотова, если бы все это произошло в соседнем поселке, он был бы наверняка привлечен к участию в деле как наиболее авторитетный эксперт.

Он объяснил ей очень убедительно, что в одних и тех же трудных условиях люди, даже при внешнем физическом сходстве здоровья, ведут себя очень по-разному. Здесь, как нигде, сказывается роль психологии и воли человека: люди более примитивные и грубые, с ограниченным кругозором часто опускаются гораздо легче, чем те, кто сознательно устремлен к серьезной цели. Он рассказал ей, насколько разными могут быть оценки одних и тех же трудностей. «Эта длинная ночь, в продолжение которой мы были объяты мраком, в полном смысле непроницаемым, гибельно подействовала на всех нас и на все», — писал Кэн, зимовавший на твердой земле в Гренландии. Однако Нансен, чей длительный дрейф на льдах всегда останется образцом научного подвига для историков, говорил об этом совсем по-другому: «Арктическая ночь не произвела на меня никакого влияния, способного в каком-нибудь отношении состарить или ослабить: напротив, я помолодел». Он прочитал ей также слова Пинегина, участника экспедиции к полюсу на шхуне «Святой Фока», — о том, что «расчеты Седова были построены на собственной энергии и готовности к подвигу, а также на выносливости и привычке русских работать на холоде и их способности достигать целей не тщательной подготовкой материальных средств, но крайним напряжением сил, неприхотливостью и умением терпеливо переносить лишения».

— Иван Герасимович... А вам на собаках не приходилось ездить с острова? Ведь берег относительно близко.

— У нас теперь есть самолет. Вы хотите узнать, можно ли на собаках добраться до берега?

— Ну да. Это очень сложно?

— Как вам сказать... — Кошкин чуть насторожился и посмотрел на нее как-то задумчиво. — Смотря кому и в какое время. Тоже ведь сноровку надо. Кучумов, например, добрался бы. Но сейчас уже нельзя, в проливе льды разводит. Весной это очень сложное путешествие.

— Как будто бы так и погиб геолог Толль, когда по непрочному льду отправился весной с острова Беннета?

— Очевидно. Так, во всяком случае, предполагают.

— Впрочем, это я просто так... Второсортная проблема, — сказала она и собралась уже прощаться.

— Вы куда? — всполошился Кошкин.

— Боюсь, что совсем уже надоела.

— Как вам не стыдно! Да я вас просто не отпущу. Недаром Багров на вас сердится, теперь я его понимаю. Я же вам говорю, что годами тут сижу и жду гостей, и вот тебе на,

поговорили... Вы еще даже чай мой не пили, а без этого, что были у меня, вовсе не считается... Я вот сейчас, — хлопотал и суетился Кошкин, включая тут же плитку с чайником. — Будете в Москве всем рассказывать, что пили такую особую марку «Кошкин чай».

— Да что ж в нем особого? — улыбнулась невольно Веснина.

— А вот увидите... Садитесь, никуда я вас не пущу. Да и скажите мне, кстати, честно: вы ведь собаками не иначе как из-за Федотова интересовались?

14

«Почему забираются в такие места? В старину думали, что движущей силой была погоня за сокровищами, но сокровища исчезли, а люди продолжают странствовать по свету. Затем говорили о жажде приключений. Путешествие на нартах или сидение на Ледниковом щите очень мало похоже на приключения. Может быть, любознательность? Желание снять покров тайны с неведомых явлений природы в самых заброшенных местах? Как ничтожны все мирские заботы для человека, находящегося в условиях, подобных здешним; какими грандиозными и жуткими представляются здесь явления, от которых сердце сжимается страхом, силы, которые вращают вселенную в пространстве. Оставив позади преходящие надежды и страхи жалкого человечества, не приближаемся ли мы, быть может, к тому, что пребывает постоянно, к извечным силам?» Полярник, погребенный под снегом на два месяца посреди Гренландии, не мог еще предвидеть, что через тридцать лет люди ступят в космос, но он это предчувствовал. Даже теперь не все еще понимают, что освоение Арктики, а особенно Антарктиды, было огромной генеральной репетицией выхода в космос, когда человек испытывал — сможет ли он жить в условиях внешнего холода, темноты, одиночества и ограниченности передвижения?

Другой полярник, переписавший эти слова из гренландского дневника в свою тетрадь, прекрасно понимал уже, что именно тренировка в ледяных просторах, массовое покорение Арктики оставили в истории нашей страны такой же глубокий след, как и бурное развитие авиации за последние полвека, и стали главой, предшествующей штурму околоземных орбит, — так плавания Колумба и Магеллана открыли эпоху освоения всего земного шара.

В тетради среди математических расчетов все эти выписки, цитаты и собственные записи были вкраплены как мозаика, только без всякого порядка и последовательности. Стихи, которые она здесь прочла, показались ей немного странными, и в то же время ясно было, что написаны они и поправлены сразу, под влиянием того смутного настроения, которое ищет выхода в таких же смутных словах; и ясно было, что человек привык в часы досуга и одиночества разговаривать сам с собой.

Была весна. И сотни звонких струй
мне пели в одичалом упоеньи.
Тоска пришла, как первый поцелуй,
тоска не та, что ставит на колени,
а что зовет бежать на поезда,
в большой мешок сложив свои тревоги,
и пусть за мной мелькают города
столбами верстовыми у дороги;
есть на земле легенды и слова,
которые уводят нас с порога —
в тот зимний край, где стынут острова
и вечным льдом отмечена дорога...

И сразу почти, на следующей странице, торопливые строчки, такие, как ей показалось, тревожные и опасные, как штормовое предупреждение: «Кучумов не должен жить. Он обречен. Почему, по какому праву он повис на нашей шее как груз далекого, первобытного прошлого?» Эта мысль повторялась настойчиво и часто. «Кучумов хищник. Физиологически люди не делятся на травоядных и мясоедов, поэтому, когда о человеке говорят «хищник», это слово точно соответствует тому, от чего произошло, — хищение. Кучумов вор и бандит по натуре, по убеждениям; даже если он не может здесь вовсю себя проявить, то все равно исправлять его уже поздно».

В конце концов она даже бросила читать все подряд и стала следить уже только за тем, что относится к Кучумову, — чтобы хоть представить себе, как это может выглядеть, если собрать все вместе. К тому же все это очень казалось ей знакомым; за общими рассуждениями настойчиво шли самые простые, довольно тревожные выводы, все время возвращаясь к одной и той же точке, как ток в замкнутой цепи — к тому, что Кучумова больше нельзя терпеть. «Работая в Арктике, мы с Кучумовым оба достаточно хорошо обеспе-

чены, но ему, сколько ни дай, всегда надо будет прихватить еще. Отсюда это гнусное браконьерство, в котором никто у нас уже не сомневается. Что касается меня, если я застану его первым, просто тут же изобью ружейным стволом, даже если мы будем один на один, несмотря на то, что он намного выше и весит вдвое больше меня...»

Вот опять, сказала она себе. Как это она сама сразу не подумала об этом? Ведь именно рост каюра необходим сейчас следователю. Только сможет ли он проверить простым измерением? Из всех этих записей «избить ружьем» — это еще куда ни шло. Посмотрим дальше.

Но она даже не успела перевернуть страницу — где-то, как ей показалось, под самым окном, послышался странный свистящий звук, похожий на вздох, или как будто мимо протащили что-то завернутое; потом издалека донесся тихий и долгий стон, совсем непохожий на человеческий голос, и сменившийся долгим и ровным шорохом; вздрогнув от неожиданности, она прислушалась с испугом — опять все было тихо...

И вдруг, как выстрел — как будто в огромной лампе лопнуло стекло — снова послышался треск со стороны моря, закончившийся тяжким и гулким рокотом, отзвук которого замер где-то в горах... Она не сразу догадалась, что у берега под нажимом бесконечных ледяных полей в океане сдвинулись льды и часть торосов, нагромоздившихся и нависших в зоне припая, с таким странным гулом обрушилась в море. Взволнованная непривычным шумом, она еще долго вслушивалась, все-таки немножко нервничая, — казалось, до нее донесся древний голос этих пустынных и диких стихий.

В тишине, казавшейся ей теперь такой напряженной, снова послышался голос, но на этот раз совершенно живой и близкий, похожий чем-то на плач ребенка; все громче и громче нарастал он в тоске — такой дикий, заливистый, жуткий и тонкий; вибрируя, как струна, над зимовкой, он поднялся дружным хором многих живых голосов, как будто действительно под самым окном кричали, как от боли, как при внезапной массовой катастрофе; дойдя до невыносимо долгого крика, вдруг все оборвалось одним-единым истошным воплем, — и нервы у нее не выдержали, она вскочила из-за стола, оглядываясь вокруг, чувствуя, что это уже не шум с океана, что на этот раз кричали действительно здесь, у самого дома...

В наступившей тишине, когда хорошо стало слышно, как

в доме торопливо тикают будильники, за стенкой кто-то отчетливо и громко выругался сиплым спросонья голосом; и только теперь она опять догадалась, что это разбуженные шумом льдов на улице под окном все вместе дружно взвыли псы...

Рядом с тетрадью на столе лежала толстая рукопись, навязанная ей исподволь, через Кантикова, бортрадистом, и явно рожденная непоколебимым убеждением, что писать так же легко, как и читать, и для этого даже не надо кончать, как шоферам, краткосрочные курсы: достаточно запасти бумаги и сесть за стол. «Официант с прилизанным к черепу остатком волос цвета чернобурки». «В пятом часу, когда Кусков ожидал Рогожкина на площади Пушкина, у задумавшегося на камне поэта, тоска так расперла, что Кусков, закрыв глаза, запустил под рубаху руку и долго тер, растирал свою мохнатую грудь». «Крепкий забор его зубов оборвался вдруг темной потайной калиткой». «Виктория Романовна кладет свою божественную руку на крепкое, как дубовый подоконник, плечо кавалера». «Улыбнулась как-то по осени железными зубами Римка-официантка, но Надьке эта Римка — что лимонная корка». «А потом Коля быстро, ничего не видя, кроме одного — так спешат на пункт «Скорой помощи» — повалил в буфет». «Брызнули ее глаза утренней росой, нет, не росой, а нектаром в этих золотистых цветах: Кусков быстро наклонился, заглянул Наде в глаза и — отвалился...» «Кусков обошел застывшего в своих мыслях этого деда». «Сидят почтенные пенсионеры, обмениваясь животрепещущими, как зеркальные карпы, новостями». «Она умыла руки, выхоленные, нежные, на которых даже под электронным микроскопом не рассмотреть коготки бессердечного и жестокого животного». «В тот день, как у тебя из грудей вилку вытащил, ушел домой и помер». «От этого взгляда он почувствовал себя маршалом авиации, и это ощущение продолжалось вот уже более часа». «И все мы молчим, ослепленные, очарованные красотой и величием только что происшедших событий». «И все-таки, черт возьми, мне в жизни повезло. Хотя бы потому, что я родился мужчиной, не вон той женщиной, которая продает соленые огурцы, капусту и простоквашу». «С кем спрашивалась твоя мама, когда рожала такую орясину». «Мать смертным ругом кляла отца». «Волки были так голодны, что на ходу закусывали друг другом...»

Но не безграмотность и легкомысленное отношение радиста к делу, за которое он так напрасно взялся, возмутили ее больше всего в толстой рукописи, куда она между делом за-

глядывала, отрываясь от тетради, — ее рассердило его отношение к собственному существованию. Работая в Арктике, он ничего не сумел увидеть вокруг, если вместо пусть даже нескладных, но правдивых слов о подлинной здешней жизни — принес он ей этот образец пустого сочинительства, от которого завыть хотелось, как псы под окном. Два человека говорили с ней теперь в ночной тишине зимовки: один, радист, раздражавший несвойственным ему самому в повседневной жизни легкомыслием, где он, например, прекрасно знал цену пустому рейсу в своей авиации, — и другой, напряженный и нервный в своем дневнике, далеком от всякого тщеславия... Тот, который все больше ее интересовал, поскольку теперь она прикоснулась к внутренней его жизни, в беглых строчках дневника.

— Вы еще не спите?

Она даже не заметила, как вошла Нина Осколикова.

— Да нет. А вы?

— Вот еще схожу к приборам и приду спать.

— Тогда я вас подожду, — сказала Веснина.

— Хорошо.

Нина вышла, Веснина подошла к окну и приоткрыла штору — яркий свет сразу ударил в комнату. В первую секунду ей даже показалось, что она засиделась до самого утра или еще позже: утром в Москве, если проработать иной раз всю ночь, было так хорошо открыть весной окно и посмотреть на прохладный серый асфальт в мягких еще полутенях зарождающегося света, заметить самое первое движение подметающих тротуары дворников, услышать дальние призывы паровозных гудков над вокзалами, которые вскоре заглушит пробуждающийся город. Но здесь в окно сразу вошел яркий свет зимней полночи — и она вспомнила, что солнце почти всю ночь стоит над зимовкой, а время надо определять только по часам. Дядюшка Унковский, быть может, тоже сейчас не спит; последний год профессор уже не пытался даже бороться с бессонницей.

Ей показалось, что кто-то, как только она приоткрыла штору, свернул за угол склада, — все собаки тоже смотрели в ту сторону, хотя Нина только что еще вышла из комнаты и вряд ли даже успела надеть тулуп, да и метеоплощадка была совсем в другом направлении. Потом она услышала, как приоткрылась дверь котельной, в окне ее как будто бы неясно мелькнуло белое лицо... Значит, вдова тоже не спит и даже выходит бродить по улице, у склада, где лежит теперь ее охотник.

Веснина не стала закрывать штору; прислонившись к окну, она читала последние страницы тетради и снова тревожно задумалась, вспомнила разговор свой с доктором Кошкиным, который произошел у них как раз перед тем, как она начала просматривать весь этот странный и опасный дневник...

15

— Так вы, если говорить откровенно, не из-за Федотова собаками интересовались? — спросил у нее тогда Кошкин, заваривая свой чай. — Просто так... Вот вы тоже, как я вижу, мне не верите, что вас, литераторов, подводит воображение: всюду вам обязательно мерещится что-то особенное. Для вас произошел тут детектив, а для меня просто очень даже паршивая и неинтересная история. Федотова еще даже не обвиняют, а только могут подозревать.

— Это я понимаю. Вы мне лучше скажите, почему он так одинок?

— Это очень заметно?

— Конечно.

— А кто не одинок в какой-то степени?

— А что вы скажете про Осколикову?

— Про Осколиковых? Хорошая пара. Очень даже. Ниночка вообще баловница наша. Она и мне в больнице помогает, я ее обучил как санитарку. А какая красавица — вы уже заметили? Доброта-то в ней особая, та, что художники все в мадоннах искали: знали ведь, в чем тут дело, художники!

— Действительно, они славная пара. Мне тоже так кажется.

— Еще бы. Спокойная очень пара. И очень честные. Оба.

Кошкин включил плитку и достал две круглые лабораторные чашки, такие, как пиалы.

— Иван Герасимович, скажите все же откровенно... Вы ведь врач. Трудно жить здесь совсем без женщины?

— Без женщин нельзя. Если совсем, — сказал Кошкин. — Как можно! Но ведь мы живем здесь не без наших женщин, а в разлуке с ними. Это большая разница.

Доктор разлил чай, секрет которого оказался в том, что к нему добавлялся сироп из голубики, которую доктор доставал и запасал себе летом и варил своим собственным способом. Весниной захотелось представить себе, как Кошкин выглядит в отпуске — она уже знала от Осколиковой, что

жена у доктора такая же, как и он, несколько полная, но очень энергичная дама; работает врачом в Сочи и даже сама приезжала как-то на зимовку... И она представила себе, как доктор Кошкин ходит в отпуске в Сочи, где он вырос, — иронически поглядывая на толпы замученных жарой отдыхающих, в легкой шляпе и легком белом костюме, такой же неторопливый, уравновешенный и добродушный, каким он будет всюду, куда его ни кинь.

В окно им было видно, как на улице идет по-прежнему жизнь зимовки: солнце светило все так же обманчиво ясно, хотя по часам день шел уже к вечеру. Самолет вернулся из очередного рейса, и теперь Кантиков возился у мотора, время от времени поднимаясь в фюзеляж и запуская винт, — Весниной казалось, что она уже привыкла смотреть, как пробуют мотор на земле, на малых оборотах, и даже этот шум был ей чем-то приятен, и хорошо было следить, как окрашенные концы лопастей, дрогнув, вдруг быстро раскручивались, снова сливаясь в призрачный круг цвета стрекозиных крыльев, сквозь который так легко можно было рассмотреть даже дальние холмы и дорогу вдоль берега. Потом из своей котельной вышла Кучумова, чтобы разбить ломом смерзшуюся кучу угля. Веснина с определенным любопытством смотрела на ловкие и сильные движения этой немолодой уже женщины. Совсем рядом с котельной Федотов с Осколиковым, собираясь на лед, грузили в кузов вездехода похожую на массивный штатив для фотоаппарата трехногую лебедку, с помощью которой берут из проруби пробы морской воды и донного грунта. Из дома вышел Казначев и выбросил на свалку какую-то банку; собаки шли за ним по пятам, цепочкой, как туристы по горным тропам, но как только банка шлепнулась на снег, — бросились все сразу. Добыча досталась самой маленькой лайке, но она все равно не могла ею воспользоваться, потому что все сели вокруг и ждали, когда она перестанет рычать и отвернется, чтобы тут же наскочить и вырвать. Потом Багров с Хребтовым, о чем-то договорившись, направились к одной из лабораторий, вынесли оттуда какой-то прибор и стали его регулировать, направляя на солнце, — тотчас все собаки бросили свое дежурство на свалке и пошли за ними к лаборатории, где опять расселись вокруг, — совсем как примерные студенты на лекции.

Заметив, что солнце бьет в глаза, Кошкин встал и наполовину задернул штору.

— Видел я тут однажды редкое по выразительности зрелище, — сказал он, не оборачиваясь и глядя в окно. — Что

там театр! Одно лето холодным слишком у нас выдалось, и чайки-моевки не снесли яиц. Но они остались на острове и вот все время изображали семью: насиживали пустые гнезда, даже поворачивали будто бы яйца, так что, только добравшись до гнезда, можно было убедиться, что оно совсем пусто. Но они согревали в нем несуществующих птенцов и изображали, что кормят их. К тому же к осени все у них перепуталось: одни все еще играли, другие птенцов кормили, а третьи все еще строили свое гнездо, носили в него мох. Просто тяжело было смотреть — как в сумасшедшем доме для актеров, которые перепутали все роли.

Казалось, что он, глядя на дальний берег, опять видит, как чайки на целый год потеряли рассудок: тысячи птиц в остолбенении обманутых чувств играли на высоких диких складах древнюю трагедию потерявших детей после большой войны и сошедших от этого с ума, — а внизу вместо оркестра бил прибой, и холодный океан раскинулся перед этой космической сценой бесконечным амфитеатром.

— Так в чем же дело? — спросила она. — Почему так трудно люди находят друг друга?

— Да разные потому что бывают люди, — сказал Кошкин. — Не только в семье. Федотовым с Кучумовыми даже ужиться рядом и то всегда будет трудно. Мы стремимся хоть последней, непоправимой войны избежать... А то кончится тем, что если даже в живых кто останется, так будут на всех континентах, как те чайки, ворошить пустые гнезда. Ведь это именно в наш век одни научились оживлять сердце, а другие изобрели лагеря, крематории и душегубки. Все еще понять не могут, что отдельного человека, кто бы он ни был, как такового, больше не существует.

— Значит, вы тоже считаете, что мы лишь разумная часть всей земной биосферы, с которой находимся в постоянном взаимодействии? — спросила Веснина.

— Конечно. Мы уже не просто связаны. Мы клетки единого человечества, космического живого организма, в котором каждая клетка способна мыслить. Не понимать свои задачи, не исходя из общих интересов, даже просто жить в отдельности, сама по себе, одна эта клетка уже не может... В этом отличие разумного вида жизни от всех других, хотя иному даже обидно покажется — признать себя клеткой. Но хочешь не хочешь, а человек — животное общественное, и его биологическое единение уже нельзя не дополнить социальным: это стало условием существования при современном уровне техники.

— Так как же надо поступать с клеткой, которой до всех общих задач никакого дела нет, кроме собственных прямых интересов?

— Это вам виднее. Я только биолог. Ведь и в войну так уже было: кто в партизаны, как Казначев, а кто к немцам в полицию.

— А кто бы мог зла желать, скажем, не только Федотову, но прежде всего Багрову? Признаться, меня это беспокоит...

— Меня тоже, — сказал Кошкин. — Но я не знаю.

— А больше вас ничто не беспокоит?

— Что вы имеете в виду?

— Самого Федотова.

— Что именно?

— Да вы ведь знаете, о чем я думаю, Иван Герасимович, — сказала она.

Они посмотрели друг на друга: какая-то тайна, которую никто не хотел высказать первым, все время им мешала, как будто они хотели и не решались еще ее преодолеть.

— О чем же все-таки? — спросил Кошкин.

— Да все ли так было?

— Не знаю. Откуда я знаю, — сказал Кошкин.

— Ведь могло быть так, что они виделись, успели даже что-то сказать друг другу. Может быть, даже Федотову пришлось защищаться.

— А потом инсценировать несчастный случай?

— Все это бывает очень сложно. Я бы не винила его так уж сразу за это. И за то, что молчит. Может быть, он потом скажет. Может быть, ему действительно и сказать больше нечего. Он ведь у вас обычно и так молчит. Или я ошибаюсь, или это только теперь он все молчит.

— Это верно, — откликнулся Кошкин. — Он не очень разговорчивый без веских причин.

Они говорили теперь почему-то вполголоса, и, хотя Кошкин опять стоял у окна, ей все было слышно.

— Ведь как все это судить, — сказала Веснина. — Человек издерган, на самом пороге большого своего открытия, которому отдал столько лет, и тут такая беда. Конечно, во всем надо сразу признаться, так мы считаем, ему же потом будет хуже. Я ведь сама всегда пишу, что именно так надо сделать. Но я всегда понимаю, как это трудно сделать, а если не признался сразу, то поправиться бывает трудно... Ведь не толь-

ко в этом деле — все мы, к сожалению, не очень еще любим поправляться сразу, когда ошиблись. Иначе жизнь была бы точно такой же гладкой, как свод моральных правил. Даже лучшие люди не всегда говорят все как есть, по крайней мере, сразу.

— Мы уже спрашивали его, с Багровым вместе. Сначала я, в тот же вечер, как все случилось, потом Багров, но уже после того, как его допросили. И оба мы знали, что, если все так, как он говорит, мы его только обидим подозрением. Так и вышло. Он сказал — ищите сами, если не верите.

— Да ведь все равно найдут, — сказала Веснина.

— Конечно, найдут, — подавленно откликнулся Кошкин.

— Мы тут сидим, чай пьем, а следователь там ищет. Второй день уже, продукты взял, чтобы все посмотреть и оформить не спеша. Понятых уже отпустил, а сам остался. Сегодня или завтра он вернется, и, если все не так, будет только хуже.

Они помолчали, представив себе, как это все может еще повернуться.

— Скажите, доктор, — спросила она опять. — А были основания защищаться? Почему мы думаем сейчас об этом? Если даже Кучумов вошел?

— Да ведь он был пьян. Очень даже, — как-то особенно настойчиво сказал доктор. — Честно говоря, я бы предпочел иметь дело с медведем, чем с пьяным Кучумовым. И ни секунды бы не колебался, если бы видел, что тот уже поднимает ружье.

— Но поднимать ему зачем?

— Я в вашей же газете в одной статье читал, что большинство преступлений совершается теперь без серьезных и сложных мотивов, а просто от распущенности в пьяном виде... Недаром же нас теперь так беспокоит пьянство.

— Что ж он, грозил всей зимовке ружьем, когда напьется, а вы унять его не могли?

— Ружьем он еще не грозил, но все-таки зол был очень именно на Федотова. Считал, что зря его заставляют так много ездить. Они вообще не ладили. А в последнее время без Багрова Кучумов распустился. Даже огрызаться стал, когда приказывают. У Глеба тоже характер: он молчит, молчит, а потом так скажет, что не скоро забудешь.

— Ружьем не грозил, а почему мы все говорим теперь с вами о ружье Кучумова? — допытывалась она, не отступая.

— Кто знает, что у него, у пьяного, на уме. Ведь вышел-то он бродить в пургу с ружьем. В конце концов, что мы гадаем... На то и следователь здесь. Правосудие само во всем разберется.

— Не всегда. Они не боги. Вы сами как врач как, считаете, обстояло дело с нервами у Федотова в то время?

— Скверно, — сказал Кошкин. — После долгой ночи все не очень хорошо себя чувствуют.

— Понятно. Зинаида Рихтер когда-то писала в известном очерке про остров Врангеля, что, как известно, на полярных зимовках всякое случается: и склока, и пьянство, и преступление. А через пять лет эту книгу как раз цитировали на известном судебном процессе и при этом говорили не только про преступное зверство Семенчука, которое само по себе ни от какого климата не зависело, но и про то, что условия зимовки все-таки могут на многих сильно подействовать. Я, конечно, совсем не нарочно это припомнила, Семенчук — другое дело...

— Да уж, конечно! — воскликнул Кошкин. — Семенчук — другое дело. Единственное в своем роде, да и правильнее сказать, что всякое не случается, а было. Теперь совсем не то. Мы уже не оторваны настолько от земли, да и народ у нас совсем другой.

— Но климат остался и нравы тоже. Сильное пьянство хоть и редко, но случается — грешен был Кучумов. Склока, хоть маленькая, да бывает — вроде их неприязни с Федотовым. Начальники волевые тоже не перевелись, да они такими и быть должны, сильный характер не обязательно сказывается в зверстве. И народ в те первые годы был не хуже, чем сейчас, если даже не лучше: Семенчук — это выродок для всякого времени, ведь до него на острове Врангеля были Ушаков и Минеев, так что лучше и не подберешь... А было ли у вас здесь преступление или просто несчастье, это уж действительно следователь должен выяснить. Тут вы правы.

— Так что вы хотите?

— Узнать, какую роль играть могут нервы в любом деле, если они подвержены все же действию радиации, ночной темноты и клаустрофобии — боязни ограниченного пространства — так ведь я выражаюсь? Сейчас этим очень интересуются, вы сами знаете. Вы человек спокойный и несомненный специалист, на вас Арктика так не действует. Вот вы мне и скажите.

Кошкин сел за стол и стал расставлять на нем в другом порядке свои чашки.

— Полярная ночь не всем дается легко. На некоторых она действует угнетающе. Постоянная темнота начинает надоедать, раздражать, люди мечтают хоть день провести при солнечном свете, а везде электричество: в доме, у крыльца, у научных павильонов. Одни и те же обязанности каждый день, один и тот же узкий круг людей — все это исподволь начинает надоедать даже стойкому человеку, у некоторых нервы сдают. Появляется излишняя возбудимость, раздражительность, замкнутый круг навязчивых мыслей — даже опытный полярник иной раз удивляется, откуда берется эта повышенная ко всему нервозность. После полной темноты окна все еще долго светятся густым синим цветом, ненадолго появляется ярко-оранжевое солнце, потом начинается смутный и слабый серый день. К весне уже кажется, что время совсем остановилось, а сейчас, вот уже к вечеру, в мае, несколько раздражает постоянный яркий свет без привычных сумерек... Здесь все дается большими порциями: лето приходит почти без весны, уходит совсем без осени, а зима возвращается уже в августе. Надо иметь большую выдержку, чтобы работать ровно. И у Федотова она есть, он человек убежденный в своем долге. Но он здесь проводит уже шестую зиму, отдыхать он ездил, но в остальное время слишком много работает. Никто из нас не выезжал подолгу на лед с палаткой, как Федотов со своим каюром, которого он терпеть не мог. Мы мало пишем о том, что несколько отличается от образцовой идиллии: например, что Нансен однажды искренне признался, как, зимуя с Иохансеном в тесной хижине, они уже видеть не могли друг друга, но сдерживались до конца и этим сохранили себе жизнь. Федотов, может быть, не Нансен, а уж Кучумов и говорить нечего. Кроме того, они действительно по-разному смотрели на многие вещи, и это сказывалось...

— Предположим, что вас уже пригласили в суд, — сказала Веснина. — Только как свидетеля, но положение ваше осложняется тем, что любой судья будет прежде всего слушать не впечатления о Кучумове, тем более что при самом событии вы не присутствовали, а ваше мнение специалиста... Подождите, не перебивайте меня. Я вовсе не юрист, просто приходилось иметь с ними дело. Насколько я понимаю, здешнее ваше дело нельзя сразу закрыть за неясностью.

— Это почему же? — спросил Кошкин со всей наивностью

человека, который большую часть жизни провел на отдаленных зимовках.

— Поскольку есть труп, а это всегда серьезно. Искать, кому предъявить обвинение, кажется, не приходится. Остается узнать, какое, по какой статье. Для этого следователю нужны не наши домыслы, а точные факты. Предположим, что их нет, — ничего определенного, кроме того, что Федотов привез убитого сам и рассказал свою версию. Давно известно, что из ста кроликов не составишь лошадь, то есть из ста подозрений — одного обвинения, но кролики-то все-таки набегают.

— Какие же это кролики? — спросил Кошкин.

— Довольно жирные. Как всегда, будут очень интересоваться взаимными отношениями, которые, прямо скажем, оставляют желать много лучшего. И настроением подозреваемого — или уже подсудимого, если ему будет все же предъявлено обвинение в убийстве в состоянии запальчивости. Предъявлено, может быть, с тем, чтобы окончательно дознаться на суде. Так сказать, вина с запасом, как говорят юристы в своем обиходе. Что вы тогда скажете как врач зимовки: мог ли Федотов в таком состоянии и при таких отношениях и обстоятельствах выстрелить в Кучумова в дурную минуту, когда потерял над собой контроль?

— Мог, — неожиданно, но твердо ответил врач. — Однако я в это не верю.

— Бог мой! — воскликнула она. — Как же вы не понимаете, что суд не о вашей вере будет спрашивать. Вы и так уже все главное сейчас в одном слове сказали!

— Но они же люди. Юристы. Должны искать, — убежденно сказал Кошкин.

— Именно люди. Которым ошибаться нельзя. Какие бы до этого ни были характеристики у Федотова. Если установить его невменяемость хотя бы в момент выстрела — только настоящую невменяемость, подтверждаемую судебным психиатром, как было с одним геологом, который не так давно в припадке раздражения и мании величия выстрелил в тайге в рабочего, ссылаясь на свою исключительность, — тогда его надо лечить по направлению психиатра. Если же нет, то нельзя оставлять убийство совсем безнаказанным. Теперь вы понимаете? Ведь главное то, что вы сами убедительно доказываете вероятность события, которое трудно установить.

— Это я доказываю? — спросил Кошкин.

— Конечно, вы.

— Да это вы меня сами заставили так говорить.

— Ничего подобного. Я только вам суд прорепетировала, а вы уже сразу сами все сказали.

— Что же теперь делать? — спросил Кошкин.

— Вы и на суде будете так себя спрашивать, после того как вас отпустят со свидетельского места? Иван Герасимович, можно, я буду ругаться? Все равно я ведь за стенкой случайно слышала, как вы меня браните.

— Как за стенкой?

— Я была сегодня в фотолаборатории, когда Багров вас уговаривал что-то скрывать.

— Так я и знал, — вяло сказал Кошкин. — Говорил ему, что из этого ничего не выйдет.

— Конечно, не выйдет. Он только сам на этом сломает голову, кой-кому на радость. Когда он еще будет нужен в качестве начальника зимовки.

— Я был против этого. С самого начала. Напрасно скрывать. Только хуже. Пусть все идет само собой.

— А все-таки есть что скрывать?

— Лучше не спрашивайте. Раз я Багрову обещал, пусть уж вам другие скажут.

— Ну ладно. Вряд ли что-либо серьезное.

— Да, конечно, все это пустяки! Пусть уж все само идет... Как бы вы нам могли теперь помочь! — с надеждой сказал вдруг Кошкин.

— Писать мне еще рано и не о чем, если говорить об этом деле, а не вообще о зимовке. Если Федотов виноват, можно просить только о смягчении и об условности наказания. Но ему и так дадут самое меньшее, ввиду его прошлого — он ведь не опасный рецидивист. Если все останется неясно, можно попробовать временно защитить его, требуя полного установления и предъявления улик. Но главное сейчас не в этом.

— А в чем же?

— Надо, чтобы Багров понял: он ведет себя несдержанно. Я теперь тоже немножко его знаю. Настроен он, правда, искренне и самоотверженно. Но это вовсе не значит, что можно так грубо шутить с прессой, а тем более со следствием.

...Уже поздно ночью — той ночью, когда на улице стоит солнце, у берега шуршит и грохочет лед, а под окном, как грешные души в час мучений, воют собаки — она прочла до конца тетрадь, взятую Кантиковым у Хребтова, дочитала до конца последнюю строчку и опять задумалась. Нина Осколикова пришла с улицы, прошла мимо по коридору, но по-

чему-то так и не вернулась в комнату. Веснина все думала, хотя было уже поздно, а она ведь и так устала очень за эти дни... Дневник был хороший, настоящий документ, но вот положение, если к нему еще этот дневник прибавить, было скверное, смутное. Во всяком случае, дневник этот никак его не улучшит: вся лирика и цифры сейчас в дело не пойдут, важно лишь, как может выглядеть, если собрать вместе, все, что написано в дневнике про Кучумова.

Но опять же, как этот дневник попал к Хребтову и зачем он переписал из него во вторую тетрадь все цифровые данные и расчеты, хотя Федотов об этом ничего не знает? Разве Хребтов не мог просто спросить самого Федотова? Если же вернуться к незадачливой судьбе самого Федотова, то что же могут все-таки счесть состоянием запальчивости или нанесением вынуждающего на яростную вспышку оскорбления? В статье сто четвертой сказано, что совершенным в состоянии сильного душевного волнения считается убийство, вызванное насилием или тяжким оскорблением со стороны потерпевшего... Но в Сибири, например, был такой случай, когда эвенк, которому сосед нанес тяжкое словесное оскорбление — сказал ему, что он стреляет так же плохо, как русский охотник, — выпалил, недолго думая, в этого соседа, потом в его жену, потом убил еще одного охотника, которого приставили к нему караулить, удрал в тайгу, и с тех пор его в этих местах больше не видели... Разные люди по-разному понимают даже само оскорбление — опять выходит «разные люди».

Ну что ж, казалось бы, давно пора привыкнуть к той простой и всем известной истине, что мир далеко еще не одинаков и нуждается в исправлении. Обойтись без Уголовного кодекса мы никак не сможем, пусть даже он не в состоянии точно предусмотреть в каждом случае, как именно поступить с человеком. Пока существует старая проблема красть и не красть, иметь и не иметь, все равно что прямо деньги, чужую славу или даже просто выгодное положение, — все это неизбежно будет вставать перед тем, кто пишет постоянно в газете, хотя далеко не все статьи можно назвать фельетонами, как это думает Багров.

— Что же это Нина не идет? Неужели она до утра так и будет работать? — сказала Веснина почему-то вслух и решила, что больше не станет ждать. Поздно уже было, очень ее с непривычки сбивало с толку это здешнее солнце...

Но теперь ей сразу и намертво удалось заснуть, так что утром она едва услышала сквозь сон свой будильник.

Глава седьмая

ЧУЖОЙ ЧЕЛОВЕК

16

Проснуться ей помогло не только негромкое жужжание ручного будильника, но и какая-то суматоха в коридоре: все ходили, рядом в дверь к Климентьеву стучали и звали Осколикова, — она решила, что у них какой-то очередной аврал, и встала сразу, несмотря на злую головную боль.

Причесываясь перед зеркалом, она убедилась, что выглядит сегодня немногим лучше, чем после лихорадки, — сказывалось все напряжение последних дней; но заниматься собой было уже некогда, и она вышла в кают-компанию посмотреть, что происходит; все бродили по коридору; ей показалось, что на нее взглянули как-то мельком и с удивлением, как будто недоумевая, почему она все еще здесь. Она почувствовала себя посторонней, не зная, куда деваться и к кому подойти, — никто не заботился больше о своих галстуках, Климентьев и Казначев опять были небриты, а Хребтов вообще взглянул на нее как-то слишком даже неприязненно.

Встретив Кантикова, она отдала ему обе тетради, и тот, кивнув ей рассеянно и, как ей показалось, даже небрежно, молча сунул их в карман кожаной куртки.

Голова болела дико, утренний электрический свет в коридоре, как всегда бывает после бессонной ночи, казался особенно холодным и неприютным. Дома она просто позвонила бы в редакцию, что опоздает сегодня, или на крайний случай выпила бы сразу две чашки очень крепкого черного кофе с двумя таблетками тройчатки.

Прислушиваясь к разговору, она поняла, в чем дело: ночью Нина — потому что так надо было, или испортился какой-то датчик в этом самом дистанционном управлении приборами, — пришла на метеоплощадку, где, забыв все строгие наставления Кошкина, заторопилась, поскользнулась и упала. После этого сумела встать сама, кое-как добравшись до дома, сразу прошла прямо к доктору, никого не беспокоя, и утром, так тихо и легко, что никто даже не проснулся, родила немногим раньше срока здоровую девочку весом больше четырех килограммов, заранее уже названную Дашкой. Мужа, который вчера особенно наездился на своем вездеходе, добудились последним; забыв, что обязательно хотел сына, чтобы

иметь мужское большинство в семье, тут же запросился к Кошкину и, как только вернулся оттуда, сразу же возбужденно зашумел на всю кают-компанию. Рождение ребенка на небольших зимовках всегда было событием, и все поэтому поднялись раньше срока.

Завтрак прошел для Весниной как час сплошных мучений — временами ей даже казалось, что она плохо видит от головной боли, хотя приняла уже три таблетки. Впрочем, никто к ней не приставал с расспросами, и она даже смогла заметить, что это вовсе не потому, что ей явно плохо. С ней как будто вообще избегали теперь заговаривать, кроме как по необходимости, и она подумала как о чем-то постороннем — неужели Багров уже успел так настроить всех? А может быть, это только показалось? Кошкина не было вообще. Казначев все перемигивался с Осколиковым, летчики сразу ушли готовиться к полету, а сам Багров просто старался делать вид, что не замечает ее присутствия. И только Хребтова как будто подменили: он явно стал сухим небрежно, каким-то слишком даже официальным.

После завтрака она случайно столкнулась в коридоре с Федотовым, который опоздал к столу.

— Что с вами? — спросил он вдруг, останавливаясь.

— Я плохо спала, а теперь голова болит. У меня это бывает, как всегда, не вовремя.

— Сходите к Кошкину.

— Ему сейчас не до меня. Да я уже приняла таблетки. Пойду на улицу, и все пройдет.

— Хотите с нами к будке поехать?

Ей стало неловко оттого, что у нее были совсем другие планы на сегодня, касающиеся именно его, и никак уже нельзя было их откладывать.

— Знаете что? — сказал он неожиданно. — Вы скоро уедете отсюда... Да и я, наверное, тоже. — Он чуть запнулся, не сумев сказать того, о чем не мог не думать. — Возьмите на память о нашем острове. Мне уже все равно не пригодится, хотя я с ним здесь столько облазил...

Прежде чем она успела ответить, он повернулся и пошел по коридору, а в руке у нее оказался маленький ручной компас из тусклой меди — трогательный простенький прибор, старый, почти как само мореплавание, казавшийся живым и теплым со своей беспокойной стрелкой.

Весниной вдруг вспомнился маленький загадочный божок, который остался дома, на письменном столе. Все это было уже так давно, как будто она об этом где-то читала, как со-

всем о другой, забытой всеми жизни... И она невольно вздохнула: ей не везло с талисманами. Этот компас Федотова тоже, может быть, будет напоминать ей только о том, что с человеком внезапно случилось большое несчастье.

Ей захотелось тут же проверить, где юг — красный кончик стрелки повернулся и задрожал, как только она нажала на кнопку; в это время кто-то негромко кашлянул за ее плечом, и, обернувшись, она увидела рядом Хребтова; ей стало досадно, как будто он застал ее за детской игрой.

С минуту они смотрели друг на друга.

— Вы, как я слышал, хорошо знаете про знаменитые реконструкции черепов антропологом, — помолчав, сказал Хребтов. — Не могли бы вы вечером рассказать нам об этом? У нас такая традиция, если редкий гость приехал, просить выступить.

— Хорошо. Если только я сумею, — сказала Веснина, не зная еще, как она будет себя чувствовать. Значит, Багров все переговоры ведет теперь через связных. Отлично.

— Вас всех надо поздравить сегодня с большим событием, — сказала она, превозмогая головную боль. — Я ночью даже не знала, почему Нина в комнату свою не вернулась.

— Да, — рассеянно сказал Хребтов, опять думая о чем-то своем. — Теперь у нас на зимовке снова тринадцать жителей, чертова дюжина. Один убыл, один прибыл, совсем как в карауле.

— Вы все насчет Кучумова? Разве это так смешно?

— У вас в редакции, конечно, настоящие специалисты по юмору. Но мы здесь у себя дома. Как умеем, так и обходимся. Мы не виноваты, если вам не нравимся, — сухо сказал Хребтов.

В комнате Осколиковой в углу стояли небольшие кирзовые сапоги, уже промазанные жиром, — это Нина еще вчера предложила ей, так как снег начинал на солнце таять и в огромных меховых унтах на толстой войлочной подошве становилось совсем тяжело, они уже промокали. Нина приготовила ей также меховые носки со смешным названием «унтята» и легкую, но очень теплую каэшку — закрытую куртку с клапанами от ветра и с капюшоном, сшитую специально для полярных экспедиций.

На улице никто не обратил на нее внимания, даже собаки, собравшиеся у камбуза, — очевидно, в связи с тем, что Казначев по случаю рождения ребенка у Осколиковых был уже в хорошем настроении.

День был опять совершенно ясный, и она без всякой тре-

воги и сомнений сошла на тропу, которая вела вдоль берега и по которой они уже ездили с Казначевым почти к самой избушке. Она надеялась, что голова пройдет теперь сама на свежем воздухе, тем более что идти было долго. Только один человек был еще нужен ей и уже не откладывая, — возможно, завтра она действительно расстанется с зимовкой, на радость Багрову. Этот человек все еще не вернулся от избушки — за него, конечно, можно было не беспокоиться, — но даже ей уже казалось, что он отсутствует что-то слишком уж долго. Разойтись с ним было негде, в крайнем случае они встретятся на тропе. День был отменный — ни малейшего ветра, только небольшой сухой мороз, да плотный снег под ногами и яркое солнце, которое все сильнее начинало пригревать. Сапоги были совсем новые, на рифленой подошве и почти не скользили, а куртка оказалась очень удобной; она взяла с собой шерстяное белье, под свой спортивный костюм, и мохнатый свитер с большим горлом — теперь ей было идти легко и просто.

За эти несколько дней ей самой почти не пришлось говорить со следователем, хотя он успел уже всех опросить и уехал к избушке с понятыми. Понятые вернулись, а он остался. Ей представилось, как он теперь по долгу службы живет совсем один в этой избушке, ближе всех к Северу, где уже до самого полюса не было никакого жилья.

За это время он уже стал казаться ей таким же зимовщиком — во всяком случае, здесь, на Севере, ему приходилось, если только позволяла погода, выезжать по делам в самые дальние концы. И наверное, он не раз говорил себе, что в таком большом районе каждый день замечаешь, как не хватает времени, хотя тем, кто работает в больших городах, тоже никогда не хватало обычных суток.

Ей уже не первый раз приходилось думать, что очень трудно бывает написать именно о том, о чем хочется. Все кажется не так, пусто, вяло, много общих мест и нет чего-то главного — она знала, что не хватает чаще всего умения просто и ясно рассказать про человека. Ведь это и на самом деле очень трудно. Намного легче было собрать цифры и занимательные подробности, чем создать портрет, характер, передать те приметы душевного облика, которые так живо даются нам в устной беседе. И часто она замечала, как, хорошо описав то, что иногда интересует читателя в первую очередь, — обстоятельства дела, которым человек занимается, — все же упускаешь многие живые черты. Ей всегда хотелось увлечь не сюжетом, а характером, но это было труднее всего.

Тминов понравился ей выдержкой: он сделал все, чтобы люди перестали нервничать и продолжали заниматься своей работой. В таком маленьком коллективе, почти все время привязанном к одному общему дому, даже незначительные происшествия воспринимались как событие. Тминов был молчалив, все эти дни он казался незаметным, никто здесь ни разу не слышал, чтобы он хоть немного повысил голос. Но это было не от безразличия, и ей не верилось, что у Тминова может быть, как думал Багров, какое-либо предвзятое мнение. Много раз ей приходилось уже встречаться с работниками прокуратуры — они всегда ценили, если следствие ведется спокойно. И она одна понимала здесь по-настоящему, какая сложная задача стояла перед следователем. Быть может, это будет одним из самых значительных дел в его жизни, но в этом он обязан убедиться сам, и никто не должен был ему мешать, как этого хотел Багров, наивно думая, что поможет Федотову.

Не так давно здесь, на Севере, следствие проверило объективно обстоятельства смерти боцмана Никифора Бегичева, известного полярного исследователя. Это была нелегкая задача. В 1928 году вообще не удалось добраться до его могилы — «из-за отдаленности и труднодоступности места захоронения», как отмечалось в то время в следственном деле. Однако через много лет все же смогли провести настоящую научную экспертизу и установить, что Бегичев погиб от цинги.

Было очень соблазнительно написать и о самом Тминове: «Следователь за Полярным кругом» — это был увлекательный сюжет, но сейчас главное в том, чтобы не мешать: она была уверена, что помочь Тминову было бы самым лучшим способом помочь и Федотову... Собирая материалы для своих очерков, она старалась сначала ни с кем не беседовать раньше следователя, хотя у нее было очень мало времени; но вскоре она убедилась, что Тминов в первые же дни уже выяснил у зимовщиков все, что могло его сейчас здесь интересовать, и теперь основательно занялся осмотром избушки и ее окрестностей.

Над островом, когда не было облачности, стояли уже почти сплошные светлые дни; казалось, солнце, ненадолго скрывшись за горизонтом, всплывает вновь, как огненный поплавок, из океана; от непрерывного ослепительного блеска уже нельзя было снять на улице темные очки, хотя, как она узнала, еще опаснее были пасмурные дни с их будто бы приглушенным, рассеянным светом. Она уже знала от Кошкина,

что именно в такие дни легче всего по неосторожности заболеть «снежной слепотой». Глядя на тропу, которая вела к избушке и по которой они ездили еще в первый день с Казначевым, она думала, что часа за полтора смогла бы пройти по ней сама. Ей уже не терпелось узнать, что скажет следователь о тех довольно странных сведениях, которые она совсем случайно привезла с собой и о которых ничего не могла знать здесь, на зимовке. Она понимала, что доставит этим Тминову немало новых забот, но вряд ли он даже подумает, лишние это заботы или нет: как у всякого настоящего профессионала его реакция будет прежде всего направлена на необходимые действия.

Но он ведь мог оставаться здесь, сколько ему понадобится, а ей все-таки придется закончить командировку, как только придет с побережья самолет гидрологов, которого уже ждали со дня на день.

Быть может, и с Тминовым придется связываться уже потом, как они договорились на крайний случай. Но этого будет уже мало, чтобы узнать получше его самого. И очерк о нем тогда вряд ли будет написан. И это было очень жаль: она успела убедиться, как толково и обстоятельно он работает, несмотря на небольшой еще свой стаж и сложность этого дела.

О тех, кто служит правосудию, ей всегда казалось, сказано еще слишком мало. Во всяком случае, не больше, чем о тех, кто следит за погодой. Ведь большинство судебных очерков излагают, как правило, сюжет самого дела и меньше говорят о характере участников раскрытия — тем более что много говорить о себе криминалисты вообще не любят...

Даже неопытным своим взглядом Веснина замечала уже всюду признаки назревающей весны, которая как будто накапливалась, чтобы вдруг прорваться на остров. Вдали, над горизонтом, она увидела в океане синюю полосу: это было «водяное небо», хорошо знакомое полярным капитанам, потому что оно темнело и сгущалось только над открывшейся ото льдов водой. Снег сползал потихоньку с холмов и с черных зубьев хребта, а на склонах, хорошо открытых солнцу, он темнел и набухал уже исподволь влагой, готовый вот-вот исторгнуть шумные побеги ручьев. Там, в глубине, уже назрели, как она теперь знала, природные ледяные парнички, о которых ей говорил еще в самолете Багров: занесенные снегом в прошлую осень трава и листья полярных растений теперь при первом сильном солнце начинали подгнивать и да-

вали тепло, которое протаивало над ними пещерку, — в этом чудесном природном гроте под ледяной корочкой в самом снегу, как в лучшей стеклянной оранжерее, быстро пробивался молодой стебелек, стремясь как бы вспыхнуть скорее, чтобы использовать полностью короткое здешнее лето. Она прислушалась — голос пуночки, «полярного воробья», так звенел над этим мерзлым берегом, что не дрогнуть, услышав его впервые, могло только самое замшелое сердце; вдали она опять увидела, как пролетели над холмами утки, будто белые бумажные кораблики, — птицы высылали сюда с материка «разведчиков», которые возвращались, если весна затягивалась, и оставались на все лето, если могли уже добыть себе растительный корм под снегом.

Идти еще было долго, и шла она не торопясь. Оставшись одна на узкой Собачьей тропе, огибавшей остров по крутому берегу, она могла теперь представить, как пересекаются в одиночку эти бесконечные просторы — иногда даже волоча за собой груженые нарты — и как обманчивы здесь даже в ясный день из-за неверного света, теней и рефракции все расстояния.

Прошел уже час с тех пор, как она вышла с зимовки, а тропа все еще не спускалась с берега на лед: идти придется долго, но след, накатанный нартами, был отчетливо виден, и шла она не спеша, стараясь не поскользнуться и чувствуя с огромным облегчением, как проходит ее мигрень и голова перестает разламываться от боли. Сначала она даже считала свои шаги, чтобы следить за расстоянием, но потом бросила: все равно, как только она спустится на лед, станет видна уже будка № 1, а затем и охотничья избушка, которая приютилась выше, над самым обрывом.

Чем-то эта избушка притягивала к себе Веснину — не потому, что праздное любопытство ведет нас часто к месту происшествия, а потому, что там, как ей казалось, легче было бы увидеть все, что произошло. Или, по крайней мере, представить, как Федотов сидел там, пережидая пургу, пока какие-то обстоятельства не заставили его пустить в ход свой карабин, и тогда на зимовке для всех настали дни, полные скрытого напряжения и тревоги...

Районный следователь Тминов, наверное, уже составил там профессиональную версию событий — недаром он пробыл в избушке так долго. Но вряд ли даже он знал о федотовской тетради, той самой, которую она прочла сегодня ночью: ей было совершенно ясно, что перед ней была именно та пропавшая тетрадь, о которой говорил сам Федотов, но как

и почему она оказалась у Хребтова и кто еще об этом знает, Веснина никак не могла до конца понять... Тетрадь была примечательна тем, что в ней был очень виден сам человек, пользовавшийся ею для самых разных записей, но не все в этой тетради могло говорить в его пользу — по крайней мере, при теперешних обстоятельствах.

И было там многое, что вряд ли вообще заинтересует следствие, а ей самой казалось отголоском какой-то пережитой драмы, отражением чувств, испытанных где-то вдали от зимовки: обрывки стихов, которые просто так, без всякого повода человек не напишет, казалось, складывались в одну неясную, но последовательную картину:

И понимая города,
пройдешь по ним, как дым, как ветер.
И принимая города,
пройдешь по ним, как пыль столетий.
От самой древности седой,
чихающей в пыли раскопок,
до этой бухты со звездой,
где порт всю ночь шумит у сопок;
от городов, что спят в пыли,
до тех, что завтра лишь проснулись бы,
все, что мы выдумать смогли, —
лишь перекрестки длинных улиц;
пускай далекая звезда
всю ночь над этим морем светится,
я понимаю города
как средство людям где-то встретиться:
они возникнут вдоль дорог,
в переплетении наречий,
как ожидание тревог
и неизбежность новой встречи;
они останутся всегда,
и в ночь бессонницы тревожную,
я понимаю, города,
что жить без вас нам невозможно!
Я в них люблю входить, как в дом,
легко знакомиться впервые,
чтоб вспоминать о них потом,
как отзвуки любви былые.
Я сам, как дым, пройду по ним,
сквозным и смутным, как наброски,
по бесконечным мостовым,
пройду, влюбленный в перекрестки,
туда, где странные глаза
встречают нежно после плаванья,
чтобы нечаянно сказать,
как чайки умирают в гавани...

Но дальше шли уже совсем отчаянные, прощальные строки, не оставляющие сомнения в исходе:

Любви моей далекая звезда,
зажженная от сотворенья мира,
от горьких снов, от грозных слов Шекспира,
от холодности — темной, как вода.
Все станет безнадежней и видней
без признаков надежды перед встречей.
Кругами осыпающихся дней
слетит листва на черный фон заречья,
любви моей осенний листопад,
когда вдруг осень вспыхнет под ногами,
бредущая по ветру наугад,
шуршащее кругом сухое пламя,
и нет надежды встретиться с тобой —
замерзло все, и ночь всего не скажет,
и дождь, последний дождь перед зимой,
как на лету застывший в землю ляжет...

Впереди видна была уже будка на льду. Весниной захотелось вдруг дождаться того дня, когда прилетят сюда гуси, вскроется озеро и зазеленеет долина в горах, откуда ветер доносил сейчас изредка хриплый лай песцов; или хотя бы увидеть, как пролетят над островом черные казарки, те, что каждый год отправляются в Канаду, — путем, который даже самолет проходит за много часов, и поэтому так долго все были уверены, что летят они на какие-то еще неведомые нам острова... Странное опять охватило ее чувство привычности к этому острову и его людям, от которых завтра, в пятницу, на шестой день командировки, ей, очевидно, придется все же возвращаться к обычным своим делам и обязанностям — к сквозным коридорам редакции, летучкам, планеркам, гранкам и полосам.

За короткий срок она узнала здесь гораздо больше, чем рассчитывала, отправляясь с письмом насчет Кучумова. Все равно она привезет с собой материал, хотя бы для очерка о докторе Кошкине, враче, который ходит по Арктике без шапки, не боясь заблудиться по дороге к больным. И материал о проблемах заселения дальних краев, который, собственно, от нее и ждали. А для себя самой она увезет сам этот остров, каким он бывает в первые дни весны: таким, что увидишь раз — не забудешь.

Незаметно она дошла уже и до будки и заглянула в нее, чтобы еще раз посмотреть на прорубь, пробитую над океаном; ветер понемногу усиливался и стал уже обжигать ей лицо. От будки она поднялась по узкой тропе к избушке — здесь наверху ветер мел уже понизу текучие струйки снега, и скоро под ногами у нее заклубилась сплошная снежная пыль, но небо по-прежнему было ясным и солнце светило.

В избе, в дощатой ее двери, было аккуратно выпилено

квадратное отверстие, закрытое теперь фанерой, Веснина так и предполагала, что следователь повезет с собой следы от пуль; теперь на двери только внизу в двух местах остались еще видные бурые пятна крови — последняя память о трагедии на краю света.

Она открыла дверь и вошла: в избе было пусто и прибрано, и никого в ней не было.

17

Долго она сидела одна, стараясь собраться с силами и еще раз ругая себя за то, что поступила слишком неосторожно. Она совершенно не представляла, как могла разминуться со следователем, потому что никакой другой дорогой по этому берегу пройти было нельзя.

В избушке было полусумрачно — стекла в небольшом оконце давно промерзли, а сквозь прикрытое фанерой квадратное отверстие в двери было видно, как снег начинает наметаться сквозь щель внутрь избы тонкой пылью. Небольшой дощатый стол, скамейки, широкий топчан из досок в углу, круглая маленькая печка, ящик с углем, полки по стенам — вот так же здесь совсем недавно сидел Федотов, пережидая пургу. Ей вспомнился первый их разговор, чуть ли не каждое его слово: теперь легко было представить, как он прислушивался тогда к шуму за дверью... Взглянув на полки, она вспомнила, что именно отсюда странным образом пропала федотовская тетрадь. Она вдруг почувствовала, что в избе становится холодно... Наверное, здесь можно было затопить печь и найти продукты — она не знала, сколько еще придется просидеть, если так внезапно в ясный день началась пурга. Как здесь бывает, снег налетел не из облаков: сильным ветром его срывало и поднимало непроглядной пеленой с самой поверхности острова. Хорошо, что снег не застал ее на тропе, — вряд ли Багров похвалит за то, что она пошла, никого не предупредив, хотя ее не могли не заметить с самолета, дважды пролетавшего над островом, пока она добиралась до избушки.

Ей показалось, что она задремала, мороз ведь не был таким, чтобы совсем замерзнуть во сне, подумала она, и никак уже не могла заставить себя встать и затопить печку. Веснина не посмотрела сразу на часы и поэтому не знала, сколько пробыла в полусне — час или больше, — где-то она читала, что, если человек замерзает, ему становится тепло и грезится лето; ей смутно вспомнилось, перемежаясь с забыть-

ем, именно далекое камчатское лето — высокий шеломайник, дальние контуры вулканов за тайгой, окружающей большое село. И, как немые кадры, тихо прошли друг за другом Шевардин, Елагин, Карганов, Чебрец, мудрый дед Саранчин, беспокойный и сильный конь по кличке Индус — что-то печальное и теплое охватило ее надолго равнодушной неподвижностью...

Она даже не смогла шевельнуться, когда внезапно отодвинулась фанера, прикрывавшая отверстие, выпиленное в двери, и показалась чья-то большая рука в толстой черной перчатке, отыскивая и отодвигая внутренний засов. И она не могла уже понять: действительно все это видит или из давних воспоминаний пригрезилась ей тяжелая рука бандита Пургина...

В избу, шумно отряхиваясь от снега, вошел следователь Тминов и, сбросив с плеча ружье, небрежно сунул его в угол, так что мерзлый приклад противно проскрежетал по деревянному полу.

— Я давно уже видел, как вы подходите, — сказал он, — но не успел немного: пурга помешала. Пришлось идти помедленней, на ощупь по тропе.

— Где вы были? — спросила она, как будто они давно знакомы и только что расстались или заранее договорились здесь встретиться.

— Прошелся по бережку, медведика поискал на всякий случай... Да где там! Разве его найдешь. Я так и думал, что вы сюда придете... Правда, я уже совсем отсюда собрался, но увидел вас давно: я был на том конце острова, на скалах, когда ветерок потянул... Сейчас мы с вами печку затопим.

Она даже не представляла, что эти маленькие круглые печи, специально сконструированные для полярников, так легко растапливаются и могут дать столько тепла. Ногой в большом меховом унте следователь отгреб к порогу весь снег, наметенный на полу. Потом нырнул под топчан и вытащил оттуда свой чемодан и рюкзак, положил на стол газету и достал консервы; из жестяной банки, стоявшей у замерзшего окна, он вытряхнул упавшие на газету с деревянным стуком знаменитые казначевские пельмени. Достал с полки сахар и чай, поставил на печку котелок и чайник — все это он сделал как-то очень быстро и ловко, с привычкой человека, умеющего в любую погоду заночевать у костра. Пока он хозяйничал, Веснина разглядела его окончательно. Он был еще молод, лет тридцати с небольшим, широкоплеч и крепок, с откры-

тым широким лицом, очень спокойным, но в то же время как будто немного насмешливым.

— Вы сибиряк? — спросила Веснина.

— Нет. Я из Луганска. Отец у меня шахтер.

Странное дело, она не решалась сразу спросить его о самом главном: что ожидает Федотова?

— Так вы здесь все кончили? — спросила она, как будто бы безразлично.

— Да. Больше мне тут, в избушке, делать нечего. Да и на острове, пожалуй.

— Вы так думаете? — спросила она, посмотрев на него очень значительно.

Печка совсем нагрелась, стало очень уютно — особенно оттого, что за стеной ветер свистел теперь все время на одной ноте, как непрерывный запуск реактивного двигателя.

— Так признайтесь, все-таки вы сами что-то заметили? — спросил Тминов.

— Кажется, заметила, — нисколько не хвастаясь, но скорее с усталой горечью сказала Веснина.

— А можно, я попробую все-таки угадать, что вас встревожило? — спросил Тминов. — Нам сейчас с вами не грех и в загадки поиграть. Пурга-то, по моим соображениям, часа через два только кончится... Так угадать?

— Нет, не угадаете, Павел Гордеевич, — сказала тихо Веснина. И его вдруг поразило, когда она впервые подняла на него большие свои тревожные глаза, и он вдруг заметил в них не торжество какой-либо находки, а только глубокую тень настоящего женского горя — как бывает даже через много лет у потерявших близких на войне... Как-то вдруг он это почувствовал, чутьем своего опыта, когда часто приходится опрашивать многих очень разных людей и по очень разным поводам.

— Так в чем же дело?

— Вы ведь хотели угадать.

— Вас, наверное, очень тревожит то, что не к месту затеял сейчас Багров. Чтобы помочь Федотову, старому другу (а их обоих и так достаточно уважают на всем побережье, хотя это не значит, что ради заслуг можно простить любой неосторожный выстрел), Багров, как только прилетел и узнал, раньше даже меня, как было дело, сразу приказал всей зимовке молчать о том, что было перед тем, как судьба свела каюра с Федотовым в пурге. Они ведь перед этим сидели сначала за обеденным столом. Как раз по случаю именин Кучумова. А кончилось тем, что сам именинник в хорошем под-

питии затеял с Федотовым драку. И тогда Федотов ушел, чтобы не обострять конфликта. Кучумов вскоре бросился за ним с ружьем. Часа через три Федотов пришел сквозь пургу на зимовку и привез на нартах труп с аккуратной дыркой из своего карабина, объяснив, что сначала стрелял сквозь дверь в медведя, а второй раз попал в человека. О том, что была драка, вернее, что Кучумов хотел ее затеять с Федотовым (но слова-то самые резкие, с угрозами были уже сказаны с обеих сторон), — Багров приказал всем молчать. Как на официальном опросе, который я провел среди всех зимовщиков, так и перед вами, заезжей журналисткой...

— Я знала голько случайно, что Багров что-то скрыть от вас затеял...

— А чтобы и Кучумова не проболталась, — продолжал Тминов, — Багров наобещал ей даже пенсию, на которую она не имеет права. Не в силах Багрова, даже при всем желании, такую пенсию ей дать... Народ здесь дружный, это хорошо. И это тоже аргумент в пользу Федотова, общее к нему отличное отношение. Но куда уж хуже, когда все отвечают нечестно на вопросы, которые задает само государство. Только один человек написал все, как было. Остальные протоколы опроса я оставил в сейфе у Багрова, не очень сомневаясь, что он не утерпит на них взглянуть. А вот единственное письменное заявление, которое человек оправдывал тем, что не может здесь всей правды сказать при всех, я держу при себе.

— Я знаю, кто этот человек...

— Кстати, — сухо сказал следователь, — он единственный выполнил действительно свой гражданский долг.

— Кстати, — сказала Веснина, — вас он, конечно, сейчас не интересует. Он закона не нарушил и даже выполнил свой долг. Но этот человек как раз для меня. Для очень серьезного очерка на моральную тему.

— Это уже ваше дело, Елена Васильевна. Я ведь не знаю, что вы за ним нашли. Я могу заниматься нарушением того, что переходит грань закона. А в остальных случаях только могу иметь человека в виду как возможного подопечного.

— Так что же вы все-таки угадали насчет моей находки, Павел Гордеевич? Меня ведь теперь интересуют больше всего не штучки Багрова. Хотя некоторые подробности для меня, конечно, в новость. А вот судьба Федотова...

— С Федотовым по возможности кончится благополучно. Уголовного дела не возбуждать я не могу, но по всем моим данным он действительно стрелял, думая, что обороняется

от медведя. И я не сомневаюсь, что экспертиза это подтвердит — по наклону каналов от пуль, пробитых в двери. По объективным данным Федотов стрелял именно сквозь закрытую дверь, через всю избу, а Кучумов, уже ослабев от мороза, поднялся, цепляясь по двери, и привалился к ней, стоя в последнюю минуту настолько плотно, что наклон направления пули совпадает очень точно с отверстием в двери и с раной на теле покойного...

— И все-таки вы не угадали главного, о чем я думаю, Павел Гордеевич...

Тогда он посмотрел на нее с удивлением. Он думал, что сказал уже все, что должно ее интересовать.

— Мне приходилось присутствовать при осмотре убитых, — сказала Веснина. — Но Кучумова я смотреть не пошла и вообще никогда не видела. Вы можете мне рассказать, как он выглядел при осмотре?

— Выглядел просто, как убитый, — с некоторым удивлением сказал следователь. — Это уж точно. А почему вас это интересует?

— Ну все-таки расскажите, каков он собой... Как он выглядел?

— Зачем вам это? Приятного в осмотре трупа всегда мало. Даже для нас, профессионалов. Тем более не к чему смотреть на это женщине. Без крайней необходимости.

— Надеюсь, вы не думаете, что я упала бы в обморок?

— Вам действительно надо точно его описать? Лицо его было все сведено предсмертной судорогой, с открытым ртом, из которого видны большие прокуренные зубы. Он уже, конечно, совсем окоченел на морозе. Огромный рост, так что ноги у него волочились за нартами, громадные руки — видите, я вам описываю художественно, по возможности... Были они сплошь покрыты татуировкой. Лицо все в ссадинах. Но уже не прижизненных. Мои данные совпали со свидетельством доктора Кошкина, осмотревшего тело, как только Федотов появился на станции со своими нартами. Кучумов ободрался о доски двери, когда падал, и потом в дороге побился лицом о нарты, поскольку Федотову трудно было тащить его сквозь пургу аккуратно, как по трамвайным рельсам. След выстрела был хорошо виден, на выходе пули — достаточно ясное пятно кровоизлияния... Вам всего этого хватит?

— Мне прежде всего хватит, что вы сказали про его огромный рост и большие руки. Дело в том, что наша редакция получила о Кучумове письмо, где ясно сказано, что Сысой Иль-

ич — человек слабый, очень маленького роста и больной. А здешний труп погибшего каюра совсем не такой...

— Так, — сказал следователь. — Так. Вот оно как! И письмо это у вас с собой?

— Ну вот вам теперь и лишние хлопоты...

— Какие уж тут, к черту, хлопоты! Дело-то, может быть, тут другое и совсем серьезное...

— Кстати, если говорить с точки зрения моего очеркового опыта, приходилось мне писать о сектантах и о баптистах, в частности. Вы обратили внимание на религиозность Кучумовой?

— У нас тут не бывало религиозных преступлений. Вот уж в этом деле я, к сожалению, совсем не специалист.

— Так вот, Кучумова только выдает себя за баптистку. И на зимовке (люди-то здесь все порядочные) боялись даже оскорбить ее религиозность. Это и помогло ей держаться как бы в стороне. Для этого она и развесила у себя полотенца с баптистским лозунгом. Не зная даже того, что баптисты в то же время не признают ни икон, ни креста, ни обычных молитв, заменяя их проповедью своего пресвитера... Я боюсь, что от настоящего-то Кучумова вообще уже остались одни только документы...

Невольно оба они посмотрели на дверь, где выпиленное отверстие было прикрыто куском фанеры; ветер уже стихал, но под его последними порывами доска все еще скрипела и стучала, как будто кто-то хотел войти в избу. Еще совсем недавно здесь сидел Федотов, а за дверью стоял человек, который по всем документам был мужем Кучумовой, бывшим приемщиком пушнины из таежного села, но почему-то мог очень сильно расходиться с этим Кучумовым ростом...

Привычное воображение литератора, с некоторым уже опытом в судебных делах, нарисовало Весниной банальную картину таежной драмы. Может быть, жили в поселке муж с женой, и вот однажды вечером пришел к ним из леса кто-то под видом, скажем, двоюродного брата, которого она давно ждала, если бы только ему удалось бежать. А муж о нем вообще ничего не знал. Пришел он почему-то, когда уже совсем стемнело. А на другой день дом Кучумовых оказался заколоченным, и никого это не удивило, поскольку Кучумов с фактории уже уволился и собирался завербоваться куда-то в Арктику. Дом, как и многие теперь в глухих селах Сибири, стоит и посейчас заколоченным, и в деревне думают, что больной и слабый Кучумов вдруг решился поехать в Арктику, хотя на самом деле его теперь, быть может, при-

дется поискать где-нибудь в погребе или в огороде, если не в самой тайге. И тогда, чтобы предъявить улики, понадобится уже специальная лаборатория антропологов с ее методом реконструкции лица по черепу...

— Ну что ж, — сказал Тминов. — Мы, конечно, проверим и личность убитого. Но как? По документам. А они были в порядке. Конечно, вербоваться в областном центре можно, просто сменив фотографию в паспорте, у нас ведь не пишут в паспортах внешних примет. Если все документы оказались у нее и у сожителя, то настоящего Кучумова действительно может уже не быть... Я взял, конечно, отпечатки пальцев у трупа, и мне действительно не понравилось кое-что в его поведении, да еще все эти знакомые наколки... Но прямых оснований не было.

— К тому же ведь всех волновала, а вас по прямому долгу службы, прежде всего проблема вины Федотова. Меня, например, прежде чем я додумалась сопоставить несоответствие в росте, смутила прежде всего как бы моральная подмена в покойном этом каюре, отношение к нему зимовщиков, да и сама вдова. Она сейчас добивается или здесь поскорей его захоронить, или выбраться на побережье. То-то она все бродит по ночам вокруг склада, где покойник заперт.

— В любом случае ждать ей уже недолго, — сказал Тминов. — Как только придет самолет гидрологов, я вернусь вместе с телом убитого для экспертизы на побережье. А она, тем более что сама отсюда выбраться хочет, полетит со мной, тело мужа сопровождать...

Как только кончилась пурга, Тминов, выйдя из избушки, выстрелил над островом зеленой ракетой, вызывая Казначева с его собачьим транспортом.

Дорога, по которой хоть раз пройдешь пешком, становится особенно знакомой. Когда Казначев вскричал у двери «Собаки поданы!» — причем по голосу было заметно, что день у него как начался хорошо, так и продолжается, — она сначала боялась попреков за то, что ушла одна без спроса, но оказалось, что если Багров и сердит, то, по словам Казначева, в меру. «Смотри только, не опрокинься, — сказал Тминов. — Спешить нам некуда». — «Небось сам понимаю, — проворчал Казначев. — Втроем нарочно не перекинешься». — «Это как сказать», — усомнился, поглядывая на Казначева, Тминов.

Веснина, прикрыв глаза, смотрела, как тянутся мимо теперь уже знакомые ей холмы и черный хребет, который, постепенно освобождаясь от подтаявшего на ярком солнце сне-

га, предвещал уже весну, и она вспоминала, как у Толстого в «Казаках» Оленин ехал на Кавказ, впервые увидел его из ставропольских степей, и мысли его все перебивались одним и тем же сильным впечатлением: а горы... И собаки дружно бежали, и нарты скрипели однообразно и покачивались, и Казначев все время что-то бормотал — а горы... Эти горы на острове, увидев впервые, она тоже теперь не забудет, так же как Оленин свой Кавказ... Казначев распахнул тулуп и сбил набекрень шапку, так что уши ее торчали в разные стороны, — жарко ему было.

А горы все стояли справа — невысокий, но четкий хребет, чья изрезанная линия так легко и ясно рисовалась в небе... Горы, где бродил в одиночку каюр, который оказался не тем, за кого он выдавал себя на этом тихом и далеком острове; ей было страшно представить, как они с Федотовым ходили все время рядом и ночевали рядом в палатке у проруби, а Федотов еще спорил с ним о смысле жизни; ей вдруг предстало сразу все великое неравенство в самосознании этих двух людей.

Смутные отрывочные мысли одолевали ее по-прежнему — все разговоры с Кошкиным, Казначевым и следователем, дневник Федотова, ссора с Багровым и вообще вся эта история с ее поездкой на зимовку, сделавшая довольно обычную, в общем, командировку, хоть и на край земли, такой напряженной и трудной, — заставляли ее размышлять, как всегда, задолго до того, как напишется. И, как всегда, она не вынимала днем при всех свой блокнот, жалея при этом, что половина всех размышлений, которые не вовремя так удобно и легко складываются почти в готовый очерк, к вечеру обязательно отчасти забудется, и писать будет опять нелегко, совсем не то, что бывает, когда говоришь сама с собой. Ей бы такую память, как у Багрова... Тут она вдруг почувствовала толчок, и очнулась, и увидела, что собаки опять стоят уже у дверей с глубоким тамбуром перед самой зимовкой.

Глава восьмая

ХРЕБТОВ. СВИДАНИЕ

18

Кажется, нигде еще так трудно не приходилось Весниной, как в этой командировке на остров Ледовый. Я ведь раньше

нее побывал в Арктике и мог представить, как нелегко далась ей вся эта история на дальней зимовке. Собираясь на Север, я тоже прочел немало книг и подготовился столь основательно, что даже мог рассказать новичкам о том, что произошло двадцать лет назад на соседнем острове, или даже узнать иные приметы этой дальней страны, давно уже хорошо знакомые бывалым полярникам...

Так же, как и многих, меня навсегда и сразу покорила Арктика. Не только почти непередаваемой неожиданностью своих красок, но прежде всего особым складом быта, где героическое стало теперь обычным, а обычное — как будто бы перестало походить на исключительный героизм.

Наше давнее знакомство с Весниной началось еще с Камчатки. С ее первого похода на рубежи нашей земли, когда я был случайным свидетелем самого сурового испытания в ее жизни. В дни, когда так трагически оборвалась жизнь Шевардина, навсегда сложилось непримиримое ее отношение к таким выродкам, как Пургин: убийца и предатель всего, что так дорого каждому, кто ежедневно сражается (хотя давно уже не на полях войны) за будущее без угроз и крови...

Может быть, поэтому она и стала потом журналисткой, начав печататься в камчатской газете, когда еще работала там в областной библиотеке. Она как бы взяла на себя то, на что не решался столь опытный журналист, как Карганов. И она стала называть себя «свидетелем правосудия» после того, как помогла оправдать капитана Чебреца при удивительном происшествии в бухте «Апостола».

Спустя немало лет после ее поездки в Арктику следователь Тминов, когда она познакомила нас уже в Москве, говорил мне, что юристы с искренним уважением относятся к ее очеркам и статьям, потому что она никогда не предрешает выводов, ни разу не высказав неосторожно своих предположений, прежде чем скажет слово закон. Она говорила не за прокурора, следователя или судью, на что, кроме них, никто не имеет права, а о самих прокуроре, следователе или судье, эксперте, народных заседателях или даже скромных секретарях суда, об исполнителях закона и о тех, кто помогает им в нашем обществе, которое должно стать окончательно нетерпимым к преступности, чтобы избавиться от нее навсегда.

Больше всего она любила говорить о сложных моральных темах, ибо знала, что важнее всего предотвратить проступок. Она изучала психологические причины преступности потому,

что больше всего увлекалась именно вопросами воспитания, хорошо зная теоретическое наследство Крупской и Макаренко. Это сближало нас в частых спорах. Мы были привержены разной тематике. Я почти все свои книги посвятил самым героическим образцам романтики — самоотверженности летчиков, первыми открывающих дороги в небо. А она чаще всего писала о мире, который, по ее выражению, находится «глубоко под землей, по которой мы ходим», — где-то она вычитала даже, что в таком большом портовом городе, как Лондон, все еще проживает в подземных коммуникациях и складских норах неимоверное количество крыс, не меньше, чем численность людского населения. Ей самой никогда не приходилось впадать в безысходный пессимизм, даже сталкиваясь с самыми крайними явлениями преступности. В свою очередь, я обрадовал ее цитатой, найдя у известного прогрессивного прозаика Андре Моруа выразительные слова осуждения тем литераторам, что сеют вокруг лишь уныние и неверие в собственные наши силы. «Черных авторов» нашей эпохи, — сказал Моруа, — можно упрекнуть в том, что они постоянно говорят читателю о его диких инстинктах, о его комплексах, лживости и никогда не говорят о его высоких нравственных качествах, которые существуют, о счастье и мужестве...»

На острове Ледовом, где настоящая романтика так ярко выразилась в самой сути научного подвига зимовщиков, Веснина нашла наконец и личную свою судьбу. Она не была уже той прежней «робкой перепелкой», как нарисовал ее художник Илья Елагин, когда она впервые приехала в далекий таежный край, напуганная столь дальней поездкой. Но неделя на острове Ледовом оказалась для нее тоже одним из самых напряженных переживаний в жизни...

Когда они вошли в дом, ей показалось, что ее возвращение вместе со следователем не произвело отрадного впечатления. Только Хребтов, взглянув на них, вдруг стал опять с ней очень любезен. Он сказал, что Нина чувствует себя хорошо и очень просила к ней зайти, если позволит доктор.

Тминов сразу прошел в радиорубку, а она отправилась к Кошкину. Тот дал ей халат, легкие тапочки, марлевую маску и велел сидеть на стуле у самой двери, не подходя близко. И, пока она мыла руки, добавил значительно, «что вас тут очень ждут», но пустить он может только на пять минут по часам.

В маленькой палате мать и ребенок лежали рядом на двух сдвинутых топчанах — Кошкин был сторонник твердых матрацев, но ребенку устроили большую подушку; он спал на ней и показался Весниной слишком маленьким. Нина, очень бледная, открыла глаза и улыбнулась.

— Вот видишь... — сказала она.

— Вижу. Что ж ты не позвала меня с собой на площадку или хотя бы когда возвращалась по коридору?

— Я же не нарочно упала. А когда возвращалась, я уже боялась, что если только рот открою, то начну кричать и всех встревожу.

— Вообще она у нас умница... — сказал Кошкин. — А за то, что упала, я ее все-таки высеку, когда окрепнет.

— Придешь к нам, когда мы Дашку в Москву привезем? — спросила Нина.

— Конечно. Я уже и адрес записала.

— Ты здесь еще побудешь?

Весниной не хотелось говорить сразу, что завтра она придет уже прощаться, а Кошкин не дал им ни одной минуты лишней.

Едва она вернулась в комнату Осколиковых, в дверь постучались, и вошел радист с самолета.

— Разрешите?

— Пожалуйста.

— Вам тут рукопись мою передавали. «Любовь и разочарования».

— Я посмотрела. В общем, конечно. К тому же я не прозаик, а публицист, но здесь и так все ясно. Я буду с вами откровенна. Вы знаете такого знаменитого радиста, как Кренкель?

— Эрнеста Теодоровича? Кто же у нас его не знает!

— Так вот, если заглянуть в его записки о зимовке на первой дрейфующей станции, то там он рассказывает, что у них для радиосвязи было такое примитивное сооружение, как «солдат-мотор». Это как велосипед без колес, крутишь педали, а динамо подает ток на рацию, и, прежде чем передать таким способом большую радиограмму, с Папанина, Ширшова или Федорова по семь потов сходило. Каждое слово стоило заметных физических усилий, их даже замерять было можно. Вы еще не поняли, к чему я это вспомнила? Хорошую прозу или стихи создают только в настоящей большой работе. Даже статьи мы не пишем легко. А ваша рукопись настрочена без всяких усилий. И без всякого знания этого трудного

дела. Так что она не стоит времени, потраченного даже на прочтение.

— Так я ее и не собираюсь по радио передавать. Тем более вручную, — сказал радист. — Пошлю по почте в редакцию. Куда бы только?

— Вы меня не понимаете. Не ищите кротовых троп в литературу. Если начнут печатать такие книги, а это тоже бывает, потомкам останется только заняться реконструкцией классики по оставшимся костям...

— Знаете что? — сказал радист. — Я тогда пошлю с вами в вашу газету кроссворд. И буду писать про недостатки. А роман направлю в другую редакцию.

— Знаете что? — Как всегда, говорить с графоманом было не легче, чем с глухим. И она, как всегда, начинала раздражаться. — Есть очень много хороших занятий в свободное время. Например, краеведение. Почему бы вам не заняться этим вместе с Кантиковым?

— Тогда я еще вас спрошу, товарищ Веснина... Теперь у знающих людей в Москве иконы в моде. Я вот хочу все их купить у Кучумовой. Только она самую большую нипочем не отдает. Как, по-вашему, этим заняться стоит?

— Не стоит. Иконы у Кучумовой напечатаны на бумаге в типографии Сытина. Был такой старый издатель, который продавал эти репродукции за копейку, и каждый мог их наклеить на фанеру или доску.

— А я-то думал, что за них схватятся. Ну тогда извините.

Не успел уйти радист, как пришел Осколиков. В руках у него был сверток, и сам он раскраснелся, как новый праздничный флаг; она даже подумала, что напрасно Багров с утра не удержал их от общего выражения чувств с Казначевым.

— Простите, Елена Васильевна. Я только бельишко под кровать суну. Вам просили передать, что у нас сегодня топилась баня, и мужики уже все мылись. Если хотите, то Кучумова вас ждет. Я бы тоже мог не хуже ее спинку потереть, поскольку временно холостой... Шучу, конечно. Не обижайтесь.

Она не стала на него обижаться и быстро собрала свои вещи. Сегодня ей немало пришлось пройти в зимней одежде, и помыться было бы как раз неплохо. Банька была маленькой, но чистой, она стояла у самой котельной, и Кучумова уже ждала ее в предбаннике. Они разделись и вошли в баньку — там на деревянной полке рядом с краном и цин-

ковыми шайками лежала большая глыба льда и рядом с ней топор.

— Удивляешься? — Кучумова тихонько засмеялась. — У нас тут так. Горячей воды я с утра нагрела, она в кране течет, а холодной нет. Ледку положим в горячую шаечку, сколько тебе надо, и будет хорошо.

Она взяла топор и быстрыми, точными движениями ловко рассекла лед на небольшие куски. Веснина, сидя рядом на лавке, невольно следила за каждым ее взмахом. Лед крошился с легким хрустом и быстро таял в горячих шайках. Глядя на топор в руках Кучумовой, она лишний раз оценила предусмотрительность следователя, который решил никому пока не говорить, что обвинения Федотова в преднамеренном убийстве он возбуждать не будет. Еще в первый день приезда за столом Федотов ее спросил: а приходилось ли ей за обедом знакомиться с убийцей? Теперь вот, очень может быть, приходится и вдвоем в одной бане мыться. А если бы Кучумова знала, кто именно передал сегодня Тминову письмо, которое может прямо навести на след, как только сопоставятся данные роста?

— Ты никак замерзла, девка? Вроде дрожишь, — спросила Кучумова и стала окатывать ее горячей водой. — Небось к Северу нашему не привыкла, все мерзнешь? И как тебя в такую даль пускают. Здесь-то ничего, люди все интеллигентные, вроде тебя. А в тайгу ты не езди. Мужики-то, они дурные бывают, как только хорошую бабу увидят... Ишь ведь ты какая...

— Какая уж есть, — сказала Веснина.

— Муж-то кто у тебя? Небось дома остался?

Веснина не ответила, смывая мыло с лица. В бане Кучумова как бы отогрелась, стала естественней и проще. По старой привычке русских крестьян, которые считали, что в бане и перед богом все равны, она обращалась теперь к Весниной на «ты». Для своих пятидесяти лет Кучумова прекрасно сохранилась — как это часто бывает с женщинами очень хладнокровными, эгоистичными, достаточно энергичными и хозяйственными. При небольшом своем и складном росте она двигалась легко и быстро — Веснина еще раньше видела, как она ловко орудует тяжелым ломом, разбивая уголь. Интересно, что связывало ее с этим каюром — случайная зависимость или долгое чувство, ради которого идут на все? Вот уж воистину любовь есть бог...

Кучумова говорила, что вода здесь от таяного льда очень мягкая, стирать в ней хорошо. И все спрашивала, какие есть

теперь в Москве порошки для стирки? Казалось, что, кроме хозяйства, нет у нее сейчас других забот.

— Варвара Николаевна, — сказала ей Веснина, когда они уже одевались. — Я вот сейчас перед ужином про свою работу в газете буду рассказывать... Приходите.

— Для вас приду. Про Москву и я люблю послушать, — обещала Кучумова.

Лекция началась в кают-компании за час перед ужином. Веснина для таких случаев возила с собой в папке старые свои статьи и теперь успела перелистать одну из них, пока сушила волосы. Кучумова действительно пришла и села тихо в угол. В другом углу устроился следователь — был он опять неприметен, тих и непроницаем. Багров во время лекции совсем на Веснину не смотрел — он казался больным и очень расстроенным.

Слушали ее хорошо, с большим вниманием, а Кантиков особенно старался не пропустить ни слова и все записывал в тетрадь.

Чтобы ей самой совсем не глядеть на Кучумову, как они договорились с Тминовым, Веснина решила, как это делают лекторы в большой аудитории, выбрать одного зимовщика и обращаться только к нему. Поэтому с самого начала лекции она стала смотреть только на одного Федотова — и ее опять поразила его неестественная бледность, оттененная рыжей бородой. Ей показалось даже по напряженному его взгляду, какой бывает у больных при высокой температуре, что он уже все претерпел в себе, смирился и готов на все.

Она сказала сначала, что среди многих ее тем одной из самых памятных была статья об антропологе «Из глубины веков», которую она писала еще до того, как его признали и поверили в его метод. Что, зная его с детства — он даже жил одно время у них в квартире, не имея еще своей комнаты в Москве и согласившись на это из дружбы с ее отцом, — она сама узнала его по-настоящему, только когда уже постигла по мере сил методику его необычной работы и осознала все неимоверные трудности, двадцать лет стоявшие на его пути...

И она рассказала, как он шел упорно, шаг за шагом, к своей цели, которую почти все считали тогда непостижимой и фантастичной... Она изложила основные приемы его работы как можно проще и понятнее, сказав, что это — очень трудная наука: так же, как, например, прогноз ледового дрейфа. Но

ведь они верят, что рано или поздно смогут предсказывать сезонное движение льда...

Затем она рассказала, как доказательством достоверности его реконструкций стала судебная практика: как был впервые опознан по черепу убитый мальчик, останки которого нашли в глухом лесу Ленинградской области, и как был уличен Бояринцев, убийца Валентины Косовой, который во всем признался после предъявления добытых при помощи новой науки улик...

Она рассказала затем, как современное медицинское освидетельствование восстановило через много лет картину убийства своими боярами князя Андрея Боголюбского, как вскрытие гробницы Тимуридов в Самарканде подтвердило свидетельства письменных источников о хромоте самого Тамерлана, вызванной костным туберкулезом; историки убедились также, что внук его, знаменитый астроном Улугбек, погибший во время паломничества к святым местам, действительно был обезглавлен ударом дамасской сабли.

И после этого она перешла к трудным поискам могилы поэта Рудаки и опознанию его останков. Здесь-то и было главное: ей надо было объяснить, как ученый установил даже через тысячу лет не только причину прижизненной травмы, но и узнал во всех подробностях, как это могло произойти.

И она прочла из своей старой статьи подлинные слова Михал Михалыча, взятые из его научной монографии, о том, как именно мог быть ослеплен при жизни Рудаки.

«Чтобы воспроизвести форму глаз, — писал антрополог в этой книге, — надо представить причины изменения орбит, восстановив картину ослепления. В средние века на Востоке эта кара была распространена. Способы были разные, но нам нужны — при которых, судя по орбитам черепа, глазное яблоко не разрушалось. Бытовали два таких способа. Ожог над мангалом (жаровней), при котором страдало все лицо, прежде чем будут повреждены глаза. Очевидно, был применен второй способ — кусок раскаленного железа. Чтобы понять характер повреждения при этом способе, представим, что не к глазам поэта десятого века приближается добела раскаленный искрящийся стержень, а к вашим, читатель. Если руки связаны, а голову держат, как в тисках, очевидно, вы в ужасе сомкнете веки. При этом зрачки обратятся к нижнему краю орбиты, сухожилие мышцы верхнего века сильно вытянется, как и мышца, поднимающая веко, нижнее веко соберется в складки. Железо прожигает веко, поражая обе мышцы, обжигая роговицу, которая частично сгорает, частично свертывается, обра-

зуя рубец, поражая нерв; обожженные мышцы сжимаются, поворачивая глаз ожогом вверх, обгоревшее верхнее веко западает в орбиту. Глаза долго болят, гноятся, выделяя слезы. На месте ожога появляются неэластичные рубцы, мышцы перестают растягиваться, верхнее веко и глазное яблоко становятся неподвижными, но глазное яблоко цело, оно прикрывается нижним, непораженным веком. В глазных клиниках сходная картина наблюдается у обожженных вспышкой бензина. Если бы Рудаки выкололи глаза кинжалом, глаз бы вытек, оставив следы поражения и воспалительного процесса внутри глазной камеры. Но этого на черепе нет. Наш материал, таким образом, достаточно объективен».

— Простите, Елена Васильевна, — вдруг сказал Багров. — Прочтите, пожалуйста, еще раз. Я запомню.

Она прочла еще раз и при этом, не удержавшись, искоса взглянула все же на Кучумову. И вдруг почувствовала, что все, предположенное ею и Тминовым, очевидно, все-таки было, было на самом деле, может быть, только в иных подробностях...

Сейчас Кучумовой и самой должно стать ясно, что подробности эти все равно узнаются, — они придут и встанут на суде, так, как будто бы другие люди сами присутствовали при этом.

После лекции Веснина, как будто в ожидании надвигающегося наконец финала, как бы прислушиваясь к себе, вдруг решила подсчитать: а сколько пробыла она здесь времени? С понедельника до завтрашней пятницы и два дня на возвращение, как она и обещала в редакции... Но ей все казалось, что больше.

По крайней мере, с Багровым она была знакома уже совсем давно. Ведь она увидела его впервые там, на аэродроме, даже еще не зная, что это он и что им вместе придется лететь... Это было ранней весной, а сейчас зима. И снова уже приходит весна, как будто год прошел, — так плохо укладываются теперь в нашем сознании эти быстрые путешествия в Арктику на самолетах, хотя, конечно, прекрасно знаешь, что просто весна догоняет тебя в пути. Но все-таки кажется, что прошел уже целый год...

Много ли человеку надо? Прежде всего тепла. Говорят, что бывают три весны: лиловая — это когда обнаженные еще ветви уже не кажутся нам по-зимнему мертво-черными, а отливают на кустах и рощах красноватой тенью, так четко ложащейся на закате на оседающий снег, уже открывший кое-где густые коричневые пятна жадно дышащей влажной земли. И

в эти первые дни не бывает двух одинаковых зорь, одна весна непохожа на другую, и каждый куст на дороге, прежде чем выбросить навстречу жизни первые клейкие листья, по-разному заново вслушивается в прозрачное весеннее небо. Кружевная — это когда по ветвям только еще брызнули первые хрупкие стрелки листвы и все рощи вдруг окропились сразу первым цветом весенней свежести, который у каждого живого так томительно-звонко трогает глубоко скрытое в каждом из нас чувство кровного родства с природой. И бархатная — когда ковром расстилается вокруг сплошная волна упругой, еще не потемневшей зелени, и новые грозы придут неизбежно и напоят землю...

Как часто мы не знаем сами себя, забывая, что если человек находит в себе силы пережить разлуку и горести, то он возвращается к жизни, распрямляясь, как трава под ветром.

Ей припомнились все приметы весны, которые провожали ее там, на аэродроме, в тот далекий день, когда она смотрела, как пробуют моторы перед тем, как лететь в этот дальний край. И странное вдруг охватило ее спокойствие: припомнилась ей и роща в день перед вылетом, когда тонкие и белые ее стволы, только еще оперившиеся светлой зеленью, там, в высоте, казались особенно чистыми, как бы омытыми вешним молодым небом, — как ясный звук колокольчика, они отчетливо вставали в памяти. Казалось, по ним вместе с прохладным березовым соком стекают голубые струйки бездонного неба...

И где-то там стояли сейчас подмосковные леса, через которые вовсю идет уже весна, чтобы вот-вот достичь и этого оцепенелого края льдов. И где-то там, в густых кустах, пробиралась, петляя, маленькая речка, такая, что деревья смыкались над ней. И часто они с отцом ходили здесь, когда летом он жил, обычно из года в год, в Малоденове. Сейчас там все уже ожило и зазеленело, кусты вдоль Вяземки так обильно заселены птицами, что все звенит и щебечет на этой тихой лесной дороге, где в колеях стоит местами темная весенняя вода, в которой плавает прошлогодняя хвоя и отражается, как голубой осколок с дымчатым белым разводом, отблеск спокойного неба с высоким ленивым облаком. Вокруг видны поляны и луга, окаймленные перелесками, и так живо и дорого, так тепло лежит под весенним солнцем Подмосковье, со всем его бесконечным и неутомительным разнообразием, где на холмах над этой тихой речкой рядом стоят и мешаются ветвями и большие рыжие сосны, и густые ели, сквозь которые вдруг ослепительно просвечивает березовый ствол и яркое кружево моло-

дых листьев оттеняет темную хвою. А рядом тянутся печальными струйками пепла тонкие линии осин, и коренастый дуб раскинул на открытом месте сплошную высокую груду резных своих листьев. И тут же никнет к реке ветвями ива, чуть отливают матовым старым серебром узловатые стволы лип и дуплистая верба, а ниже пенятся сплошь, густо мешаясь вместе, орешник, акация и опять черемуха, высокая здесь, как дерево — там, где стояла раньше мельница и был омут, в котором, как говорили, когда-то утонула больная мельничиха. Вода здесь плескалась и журчала размеренно и безостановочно, и можно было часами слушать, не шевелясь, этот живой плеск и захлебывающуюся скороговорку лесной смутной жизни, как будто вода торопилась рассказать все, что увидела, петляя по лесным кустам от Голицына.

А дальше, ближе к устью, был песчаный холм, где археологи раскопали древнее поселение вятичей, у самого впадения Вяземки в Москву-реку. На срезе холма отчетливо был виден темный верхний культурный слой на месте поселения, и здесь теперь гнездились ласточки. От всей этой привычной и томительной, такой далекой весны Веснину отделял теперь самолет гидрологов, который захватит с собой ее, Кучумову и следователя...

19

Утром, после завтрака, она услышала на улице какой-то шум. Багров сказал, что скоро прилетят гидрологи, которые исследуют сейчас все побережье, чтобы выяснить окончательно общий ледовый прогноз на этот год. После облета льдов вокруг острова они вернутся в поселок и смогут захватить их с собой на побережье.

Вдруг они с Тминовым увидели в окно кают-компании странное шествие: от котельной к дому шел бортрадист Радугин, торжественно неся в руках икону, как будто возглавлял крестный ход, за ним механик Кантиков с какой-то клеткой в руках...

В окне котельной было видно бледное лицо Кучумовой. На улице собралось чуть ли не все население зимовки вместе с собаками. Подошел Багров, который только что был в радиорубке.

— Пойдите, пожалуйста, узнайте, в чем дело, — попросил Тминов. — Не хочу я лишний раз показываться Кучумовой... — Веснина оделась и вышла.

На улице бортрадист возбужденно рассказывал собравшимся:

— Вчера мы с Кантиковым после пурги пошли к холмам и заглянули в расщелину около большого камня. Это чуть дальше того места, где бивень тогда нашли, который на всех распилили... Смотрим — а там рукавица лежит. Кучумова. Значит, он тут ходил. Полезли дальше и попали в пещеру. Тут у меня как нарочно фонарик сел, хоть зажигалкой свети. Глядим, а в пещере виден свет. Слабый такой, с другого конца...

Мы прошли туда осторожно, а там другой выход — и прямо в долину...

— Он этим проходом и ходил, Кучумов. А мы-то думали, что он через холмы плутает. Через этот ход ему в долину было рукой подать, — перебил его Кантиков. — И там, у входа, мы нашли его западню. Он в ней, надо думать, зверьков зимой в голодное время приваживал. Они привыкнут к корму, а как мех войдет в цену, он дверцу насторожит — и готово, попались.

— Пошли мы сегодня к Варваре, клетку эту показывать. Вот чем он у тебя занимался. «Ну и что, — говорит. — Теперь ему бог все простил, поскольку он невинно застреленный». Но все-таки забеспокоилась: «Чего вам теперь от меня надо?» А Кантиков, пока я эту клетку ей показывал, подошел к большой иконе сбоку, к той, которую она мне продать не хотела, и провел рукою снизу...

— А там был кран. Обыкновенный нажимной кран, как для слива горючего, я такой кран на ощупь узнаю с закрытыми глазами... Вот посмотрите. Я когда сбоку зашел случайно, странно мне стало: вроде бы за иконой алюминий блестит. Смотрю, а с обратной стороны иконы врезана в доску плоская самодельная канистра, из которой тянет спиртом...

— Она даже ничего не сказала, когда я икону снял, — говорил Радугин. — Растерялась, что ли. Смотрите: глядит в окно, как сова.

— Ну и черт с ней, — сказал Багров. — Известное дело, раньше в тайниках за иконой и деньги и золотой песок прятали. Не каждый будет икону трогать... Только теперь все это ни к чему. Сегодня она улетает в отпуск, и обратно я ее не приму. Пока Казначев согласился топить, а там найдем когонибудь в поселке.

Все разошлись, и Веснина вернулась в дом.

— Это мне Радугин Петя помог, — сказал ей Кантиков.

«Эх ты, Петя, — невольно подумала Веснина. — Здесь книги вокруг тебя так и ходят, а ты зачем-то какую-то дре-

бедень из пальца высасываешь и в редакции томами посылаешь...»

Узнав, в чем дело, Тминов обрадовался:

— Если сегодня не будет по радио ответа (я ведь уже запросил срочно все данные о настоящем Кучумове), все равно приглашу ее в поселке к себе... Поговорить насчет спирта. Сейчас она совсем растерялась и будет вести себя очень тихо.

Вскоре они услышали шум, и прямо над крышей с мощным гулом прошла машина — странная трепещущая большая тень мелькнула под окнами, и все стихло. Выйдя из дома, они увидели на аэродроме огромный вертолет — к нему сбегались жители поселка.

— Да это МИ-шестой! — воскликнула Веснина. — Значит, он и сюда добрался. Я думала, гидрологи прилетят на самолете...

Однако гидрологи были здесь, и она даже узнала их. Это были те самые ребята, что все время пили пиво перед отлетом из Москвы и улетели на своей машине чуть раньше, чем она с Багровым.

Подойдя к вертолету, она узнала, что его проверяли теперь на самом Крайнем Севере, и гидрологи решили посмотреть, насколько он может быть удобен для ледовой разведки.

Тминов глядел на новую большую машину с искренним любопытством северного жителя.

— Мы только на снимках его видели, — заметил он.

— Я знала летчиков, которые его испытывали. Мы писали о них, — сказала Веснина.

В суматохе, которая теперь поднялась, о ней забыли. Все договаривались, кто с кем полетит. Потом Багров поднялся в вертолет, а двое гидрологов перешли к Федотову в маленький их самолет, где были компас и специальное оборудование для ледовой разведки.

Только когда оставшимся пришлось отойти, перед тем как заработают винты, она поняла, что ни Федотов, ни Багров даже не вспомнили о ней. Ей остается ждать, когда они вернутся, чтобы покинуть эту зимовку навсегда.

Машины поднялись, и она смотрела, как они уходят в одну и ту же сторону. Самолет казался бойким щенком, который отправился гулять вместе с рослым сенбернаром.

Она опять вернулась в дом, зашла проститься с Ниной и не спеша собрала свои вещи.

Тминов с большой пачкой газет и журналов устроился ждать в комнате Багрова, у окна с видом на котельную.

«Он не придет, — подумала Веснина. — Сегодня мой последний день, и ждать уже поздно. Все-таки я ошиблась».

В комнату постучали так тихо, что она решила, что ей послышалось, — но дверь открылась, и она увидела Хребтова.

— Вы ко мне?

— Я, кажется, единственный, с кем вы не успели поговорить, — сказал Хребтов.

— Просто мне все уже достаточно ясно. И пора возвращаться в редакцию.

— Вы в этом уверены? — спросил Хребтов. — В том, что вам все ясно?

Она ждала, что он скажет дальше.

Он начал издалека и стал рассказывать, как ему с самого начала было трудно — впервые на такой дальней зимовке, с новым коллективом, тем более что Багров вскоре улетел в отпуск, оставив на него всю эту станцию. К тому же Багров не привык, чтобы ему в чем-либо перечили и меняли заведенный им порядок. Конечно, у него здесь есть заслуги...

— Ваш Багров просто груб и самовластен, — сказала Веснина. — Напрасно вы его защищаете.

— Да, он не терпит возражений и установил здесь свой режим, — подтвердил Хребтов.

— Режим личной власти? Как Семенчук?

— Ну не совсем, как Семенчук... Время сейчас не то.

— Не совсем, но все-таки. — Она задумалась и припомнила, хоть и не с такой точностью, как мог бы Багров, в чем же в свое время обвиняли этого Семенчука... «Являясь начальником полярной станции острова Врангеля в 1934/35 году и злоупотребляя своим служебным положением, он ущемлял коренное население в снабжении его продовольствием и топливом, сорвал ему охоту на морского зверя, допускал явно издевательские действия в отношении коллектива зимовщиков и, опасаясь разоблачений своих действий со стороны врача полярной станции Вульфсона, организовал убийство последнего, склонив к этому каюра Старцева...» Примерно так. — Мне кажется, что от меня и от следователя здесь что-то скрывают, — сказала она. — Это может быть?

— Это так и есть. Перед тем, как Федотов привез из избушки труп каюра, у них была драка.

— Что же вы об этом сразу не сказали?

— Я сказал. Следователю. Но все решили молчать об этом. Так хотел Багров. Я мог бы вам и еще кое-что показать, но

для этого снова надо ехать в избушку. Или вам уже надоела эта дорога?

— Я об этом как-то не думаю. Если надо, давайте съездим еще раз. Мне зайти за Тминовым?

— То, о чем я говорю, заинтересует не его, а вас. Как журналиста.

— Тогда поедем, — сказала она решительно. — Сегодня я здесь последний день.

Веснину удивило, как легко и бесшумно он ходит, даже в доме, — настоящий таежник. И дверь из дома он открыл так, что она против обыкновения даже не скрипнула. На улице за сараем стояли нарты, и собаки были уже запряжены. Прямо отсюда они съехали вниз, на тропу, начинавшуюся под высоким берегом. Как всегда бывает, знакомая дорога показалась ей теперь намного короче. И ее поразило, как тропа изменилась со вчерашнего дня: снег потемнел и стал тяжелее, особенно на склонах, повсюду были видны теперь черные полыньи. Мороз сегодня был совсем небольшим, а легкий ветер — мягким и теплым, как будто запах весны уже долетел сюда с континента, и даже не надо было иметь чуткие ноздри оленя, чтобы ощутить его первый призыв...

— Скажите, а это очень серьезное дело — научная работа Федотова? — спросила она у Хребтова.

— Конечно, серьезное. Беда лишь в том, что он маньяк, который не терпит никаких других взглядов. Даже на жизнь, не только в науке. Это бывает у талантливых людей. Собственно, он ведь ни за что ударил за столом каюра. Да и раньше ему грозил. Тот, конечно, был не мастер деликатно выражаться... Но работали здесь все, не один Федотов. Даже тот же каюр помогал ему почти три года. Время гениальных одиночек кончилось, и тему теперь обычно ведет целый коллектив. Так надежней.

— Вы в этом уверены?

— В том, что время одиночек кончилось, или в том, что коллектив надежнее?

— И в том и в другом.

— Теперь все об этом пишут... И я так думаю.

По ветру долетело до них из долины звонкое тявканье песцов, такое возбужденное, как будто они собрались там на свою конференцию.

— У них что-нибудь случилось? — спросила Веснина.

— Идет весна. Здесь это очень бурные дни. Пожалуй, последний раз на собаках едем. Того и гляди снег на солнце вспухнет, потечет, и нарты будут проваливаться.

У самой избы снег тоже был уже темным и влажным, и, если бы она надела не сапоги с меховыми носками-унтятами, а тяжелые унты, их толстая войлочная подошва была бы уже насквозь мокрой.

Последний раз она оглянулась вокруг, чтобы запомнить надолго эту избушку на юру — последнее людское пристанище на самом краю жизни. Отсюда до самого полюса уже не было твердой земли.

— Елена Васильевна, идите сюда, — позвал ее Хребтов в избушку.

На деревянной полке она опять увидела небольшую стопку книг и какие-то бумаги, которые вчера так и не успела рассмотреть. Хребтов снял все с полки на стол. В пачке бумаг, как она и думала, лежала все та же, уже знакомая тетрадь.

— Вот посмотрите, — сказал Хребтов.

Она села за стол и стала листать ее, как опытный человек, который умеет быстро просматривать в первый раз. Те места, которые так ее встревожили, были теперь аккуратно отчеркнуты всюду, но не карандашом, а только ногтем. Все, что относилось к Кучумову, собранное вместе, очень походило на заносчивый бред Раскольникова, присвоившего себе право убить старуху.

— Когда мы тут бываем, поневоле всю просмотришь со скуки... Меня и раньше тревожил этот дневник. Похоже, что больной человек, — сказал Хребтов.

— Действительно, больной. Чей это почерк?

— Вы еще не догадались? Это тетрадь Федотова с его расчетами. Но, кроме расчетов, здесь личные его заметки. Во что бы то ни стало убить каюра — разве это не навязчивая идея? Да еще с таким самомнением распорядителя чужой судьбы?

— Я могу ее взять с собой?

— Вам это просто необходимо. Я для того и привез вас сюда. Вас это заинтересует, наверное, больше, чем следствие.

— Конечно. Не будем терять времени, вряд ли нужно, чтобы нас хватились на зимовке...

Она вышла из избы и еще раз оглянулась вокруг: небо темнело на горизонте над океаном уже с двух сторон. Очевидно, пролив действительно очищается от льда, как предполагал Федотов.

Хребтов опять замешкался в избе.

— Алексей Валентинович, что вы там еще делаете?

Он показался в дверях, и она, вдруг окинув взглядом весь этот беспредельный простор до горизонта, подумала, что нет смысла тянуть, когда вся игра уже кончена.

— У меня есть знакомый редактор, которого я очень уважаю, — сказала Веснина. — Перед отъездом сюда он мне говорил, что самое трудное для журналиста — это преодолеть формальную ясность первых впечатлений. Когда сюжет и его решение легко складываются сами собой. Начальник зимовки явно самовластен, без свидетелей был убит человек. А предварительно была ссора и дурные отношения. Есть даже записки с признаками угроз и неврастении, пусть даже от переутомления в условиях длительной зимовки... Чем не новое дело в духе Семенчука? Разве это для журналиста не сенсация? Разве не соблазнительно показать себя беспристрастной и смелой — не побояться нарушить традицию писать о героической Арктике только в положительном тоне? На этом нашему брату иногда легко прославиться. Тем более что Багров вел себя со мной в последнее время довольно грубо, было на что обидеться...

— Не только с вами. Он уже выбросил однажды отсюда одного местного журналиста, — с некоторым беспокойством заметил Хребтов, не понимая еще, куда она клонит. — Прямо за шиворот довел его до самолета. Едва это дело замяли.

— Вот видите. При таком отношении печати не так уж трудно показать на весь свет самодурство Багрова. А этого ему не простят. Даже при заслугах. У нас не рекомендуется в таком виде попадать в печать. Тем более что он велел вам скрывать эту драку от меня и от следствия.

— Не только мне, но и всем, — сказал Хребтов.

— Вот видите. Это уже пахнет круговой порукой. И подкупом Кучумовой, чтобы молчала, если, скажем, ей обещают устроить пенсию... А явное его стремление выгородить Федотова во что бы то ни стало? Это, так сказать, внешняя канва... Но есть и другое.

— Что же именно? — спросил Хребтов спокойно.

— Слишком уж все получается у вас правильно, как мебель, которую расставили в театре. Лично к вам во всем этом деле не может быть никаких претензий. Тем более что вы единственный дали полное показание следователю, выполнив по-настоящему свой гражданский долг. Но я не люблю, например, в людях жадности: мне эта черта говорит о многом. В прошлом веке в Канаде погибла знаменитая английская экспедиция капитана Джона Франклина. Как выяснилось впоследствии, потому, что большая часть консервных банок, закупленных в Лондоне у фабриканта Гольднера, нажившего на этом огромную прибыль, оказалась заполненной песком и опилками. Мне не понравилась с самого начала и ваша лю-

бовь к замкам, и склонность к дурным шуткам, и симпатия к испорченной собаке по кличке Спекулянт, которую в дальнем переходе лучше всего было бы выбросить, чтобы не портила всей упряжки. Поскольку собачьи драки не способствуют задачам экспедиции. И ваше попустительство каюру в отсутствие Багрова.

— В чем попустительство? — быстро спросил Хребтов.

— В его невежественной распре с Федотовым. Когда каюра надо было оборвать, не позволяя ему рассуждать, как должен работать ученый, дома или на льду. Я думаю, что все это не просто зависть. Расчеты из тетради Федотова у вас уже переписаны были своей рукой на всякий случай, поскольку вы по времени меньше всех принимали участие в их большой работе. Успех этой работы обещает самую высокую премию и широкие возможности в будущем, хотя никто из них об этом не думал. И вот получается, что Федотов сейчас, по вашему убеждению, прочно под следствием, Багров ведет себя слишком несдержанно во всем этом деле. И, может быть, на зимовке останется при должности один Хребтов... Было время, когда для того, чтобы присвоить себе чужую работу, достаточен был один фальшивый донос. Теперь это не так-то просто! Вы ведь очень нервничали за последние дни, признайтесь... Надо было на что-то быстро решиться, раз мы уже улетаем. Я ведь вас все ждала, и вот вы пришли... Этой тетради еще вчера здесь, в избушке, не было. Вы настолько переволновались, что все носили ее с собой, еще не решаясь пустить в дело. Расчеты переписали в другую такую же, для себя, а эта казалась вам доказательством признания Федотова в намерении убить каюра. Ведь кто не читал, как изобличили Раскольникова по откровенной его статейке в печати! Но когда великие трагедии повторяются, как по учебнику, может получиться только фарс. Кстати, это не первый случай в юридической практике, когда плохое чтение хороших книг приводит к попытке извлечь не тот опыт, к какому стремился автор. Вчера вы даже дали по ошибке эти тетради Кантикову вместо документации, не подумав, конечно, что они сразу могут попасть ко мне. А когда Кантиков сегодня их вернул без всяких лишних вопросов, вы решили, что все обошлось. Тем более что я через час улечу отсюда навсегда, прихватив с собой такую богатую для шустрого очеркиста находку... Ведь так? Признайтесь, так вам хотелось?

Хребтов молчал.

— И вот вы даете эту чужую тетрадь мне, а не следователю. Поскольку печать оперативней и не так осмотрительна,

как следствие. Надо полагать, что статья в центральной газете, написанная раздраженным автором, очень повредит Багрову. Не знаю, что вы сейчас делали в избе, какие еще улики, по-вашему, надо добавить. Но и без них, если взглянуть формально, что бывает, положение Федотова останется скверным, тут вы правы... И все-таки я сама поверила коллективу, со всеми их промахами и провинностями в пользу Федотова. А мне вы дали еще одну тему для большой статьи. О вас, Алексей Валентинович!

Ее удивило, что он не возражает даже и не пытается оправдаться, — он все еще стоял в дверях, а она у самых нарт. Она решила, что дала ему все возможности, высказав все здесь, без свидетелей, проявить при этом какое-либо человеческое раскаяние и стыд, прежде чем она окончательно сложит свое мнение о всей его почти невидимой роли в тревогах этих последних дней.

Вдруг он шевельнулся и быстро взглянул на нее — и тогда она увидела, насколько он непохож на городского интеллигента, этот человек, немало проживший в тайге, в экспедициях: с непомерно широкими плечами, быстрой и легкой походкой, с длинными узловатыми руками; она знала хорошо одного художника, который так убедительно умел передать характер через руки, считая, что в них заложен самый выразительный портрет действия, — и сразу вспомнилась одна из его иллюстраций к «Острову сокровищ» Стивенсона...

— Место вы выбрали неудачное для таких разговоров. Не в кабине на зимовке, — сказал Хребтов.

Она увидела его глаза, спокойные и пристальные, без всякого волнения, желтые и ясные, внимательные, как у кошки, когда она автоматически следит за всем, что движется, чуждая всякой сентиментальности и всегда готовая к прыжку.

Она увидела, как он легко ступил от двери и сделал шаг в ее сторону, и вдруг поняла, что совершила непоправимую неосторожность.

Тихо и ловко он шел к ней — он был терпелив и осторожен, и много лет ждал своего случая, нелегко ему было решиться на действия против Багрова, но он решился. А она сразу разрушила сейчас все, что он так тихо построил. Даже нынешнее его положение, пригрозив написать про него самого, а не про Багрова с Федотовым.

На нартах около нее лежал карабин, она потянулась рукой, и тогда Хребтов сказал:

— Обойма у меня в кармане.

Собаки вертелись и скулили рядом, но вряд ли они могли

помочь. Она оглянулась вокруг — беспредельно и ясно стояло над застывшим в тишине островом голубое небо. От снега пахло весной, все было нестерпимо ярко и отчетливо, и пустынно, и беззащитно, полное одиночество, когда нет ничего страшнее приближающегося человека. А у самого берега уже открылись глубокие темные полыньи, куда она могла бы попасть и сама невзначай, опять уйдя без разрешения от зимовки и никого не предупредив...

Он сам, конечно, не предполагал, чем это все может кончиться, но с самого начала не хотел, чтобы знали, как они поехали сюда за тетрадью. И поэтому заранее даже смазал петли на скрипучей входной двери в доме и заранее запряг собак за сараем, чтобы сразу съехать на тропу под высокий берег, откуда их не видно с зимовки. Теперь за десять километров вокруг нет никого, даже Казначев с Осколиковым с утра уехали на вездеходе по другому берегу. Она вдруг поняла, что Хребтов, несомненно, был человеком действия и сразу принял жестокое решение, как только увидел, что ему грозит большая неприятность.

С какой-то неистовой тоской ей вспомнился запах черемухи и шелест листьев над тихой Вяземкой — там, у омута, где когда-то утонула в страшной темной и холодной воде больная мельничиха. Она еще услышала странные голоса в далеком небе — там, вдоль берега, шли треугольником черные гуси, которых ей так хотелось видеть... И темный силуэт, обозначившийся над ними, не сразу вошел в ее сознание, когда она сказала чужим и хриплым голосом:

— Опомнитесь. Нас видят как на сцене.

Он быстро и зорко оглянулся — самолет уже наплывал четким крестом, возвращаясь от океана, и ветер опять относил в сторону шум мотора.

— Не та теперь Арктика, — сказала она. — Семенчук творил все, что хотел. И то его расстреляли. А теперь всех кругом здесь видно. Как на ладони.

Они стояли уже совсем рядом, через нарты.

— Елена Васильевна... Как вы могли подумать, — пробормотал Хребтов. Глаза его сразу погасли и стали вялыми.

И тогда с яростью, какой она за собой еще не знала, она изо всех сил хлестнула его по щеке — он даже не двинулся и только взялся рукой за скулу.

Самолет в это время с ревом низко прошел над ними, два раза качнув крыльями.

— Зачем вы так? Ведь могли увидеть, — с досадой сказал Хребтов.

— Ничего. Я скажу, что вы ко мне приставали. Это даже вас украсит. И времени у меня больше нет. Они вернулись, и мне пора собираться.

На всем обратном пути Хребтов сидел ссутулившись, уныло опустив плечи, почти не окликая собак, которые шли по знакомой дороге сами. А она, как будто родившись заново, жадно вдыхала влажный морской ветер, и голос пуночки звенел над берегом так живо и радостно, чисто, как прозрачный ледяной бубенчик...

20

Когда они подъехали к дому, уже не скрываясь, прямо к крыльцу, Веснина, даже не взглянув на Хребтова, пошла одеваться в дорогу. Вертолет стоял у взлетной площадки, и все толпились рядом, возбужденно о чем-то переговариваясь.

Потом она услышала, как по коридору шумно прошел к себе Багров, и решила сразу зайти к нему, чтобы быть совсем готовой к вылету.

У Багрова был Тминов. Увидев Веснину, он помахал ей листком бумаги — это была радиограмма. Очевидно, пришел ответ на его запрос.

— Петр Дмитриевич, — сказала Веснина. — Я хотела вас поблагодарить...

Багров казался совсем больным — только что он рассказывал что-то очень оживленно Тминову, но даже само возбуждение его было таким, какое бывает при высокой температуре. Взглянув на Веснину, он замолчал и нахмурился.

— Спасибо вам также за все, Елена Васильевна, — сказал он сухо. — Я только что распорядился отнести ваш чемодан в машину. Это не наш экипаж, и ждать они не могут.

Она посмотрела на него с таким возмущением и укором, что он отвернулся и зачем-то полез в свой письменный стол, делая вид, что ему там что-то очень нужно. Тогда она повернулась и вышла, услышав, как Тминов сказал возмущенно: «Петр Дмитриевич, опомнись. Жалеть будешь...» Но Багров крикнул ему в ответ: «Не буду! Я знаю, что делаю!»

Она остановилась в пустом коридоре у двери Осколиковых — чемодана и сумки ее уже здесь не было. Ей казалось, что больше она не выдержит. Слезы ее душили, вся усталость последних дней навалилась сразу, как будто на нее наехал тяжелый каток. Она понимала, что Багров сейчас возбужден успехом разведки — пролив, очевидно, очищался ото льда «по Федотову». Тогда она успокоилась и подумала,

что теперь, когда она сделала все, что от нее зависит и что считала нужным, она наконец совсем свободна и может поступать, как ей хочется. Вертолет не уйдет, пока Тминов не поговорит с начальником зимовки. Ее все равно не забудут здесь. И даже Багров не запретит ей попрощаться с остальными.

Багров вышел из дома вместе со следователем — ему действительно было не по себе, и в голове гудело, но он взял за правило, даже если болен, таскаться на ногах до последней возможности, даже с высокой температурой. И он не хотел признать себя больным, пока не отправит всех своих гостей.

Гидрологи беспечно гоняли по снегу футбол на небольшой площадке недалеко от своего вертолета, в который Оскольников носил коробки со старыми фильмами, улетавшими в результате сложного обмена и долгих торгов по радио с другой зимовкой... День был по-прежнему ясным, и сегодня особенно чувствовалось, что весна наконец пришла и готова обрушиться теперь на остров.

— Ну что? Почти все готово? — спросил Багров у Казначева. — А где Веснина?

— С Рыжим прощаться пошла. В лабораторию.

— Только этого не хватало, — сказал Багров. — Мало она ему нервы надергала. — И он покатился к научной будке, стоявшей против дома.

Открыв дверь в тамбур, он увидел великие истины, которые Федотов для пользы всех входящих вывесил у самого входа на большом картоне: «Человек явно создан для того, чтобы мыслить. В этом его достоинство и вся его заслуга. Паскаль»; «Всякий раз, когда речь шла о чьей-либо жизни, я никогда не медлил с помощью, даже с риском для самого себя. Д. Гарибальди»; «Каждый обязан свои лучшие силы посвятить делу большинства. С. Ковалевская».

Взглянув по привычке на этот картон, Багров вдруг сказал себе, что, собственно, его мысли сейчас никак нельзя признать великими, тем более что они все время как-то путались. Пора было заглянуть к доктору Кошкину и проглотить какой-нибудь пакет аптечной дряни. Пусть он кругом не прав и все делает не так, но он знал, что ему надо, чтобы вернуть уверенность и спокойствие: она, конечно, немало здесь сделала, как объяснил ему Тминов, но чем скорее все это кончится, тем лучше. И он успокоится только тогда, когда с побережья

сообщат, что все приезжие вместе с Кучумовой благополучно туда прибыли, а на зимовке снова станет привычно и тихо.

Он открыл дверь в тесную комнатку, заставленную банками для проб, и увидел на стене и на полках с колбами две тени. Веснина и Федотов стояли за дверью у окна, и Багров услышал, как она спросила:

— Вы тоже согласны с Вернадским, что биосфера, обиталище всего живого, сама обладает свойствами живого, как целостной системы?

— Конечно.

— Я поняла это еще по вашей тетради... Но зачем вы писали в нее, как в дневник? Для собственного развлечения?

— Что вы! — сказал Федотов. — Просто меня уговорило одно издательство написать небольшую книжку для дискуссии. Мысли молодого ученого. Вот я и собирал разные выписки и делал заметки. Кучумов был мне нужен только для моделирования противоположной точки зрения.

— Хорошенькое моделирование! — Она засмеялась. — Теперь, конечно, можно смеяться. Но дорого бы оно могло вам обойтись при худом стечении обстоятельств... Знаете что? Я все равно бы не уехала отсюда сразу, если бы вас обвинили.

— А ваша редакция?

— Она все переживет. На то она и редакция.

Багров хотел войти, но что-то ему помешало, и он все еще не решался.

— А вы читаете вслух свои стихи?

— Очень редко. Почти никогда. Разве что если вы попросите. Ведь нынче кто не пишет...

— Прочтите те, которые вам все это время снились. Как вы признались мне в первом нашем разговоре.

Багров услышал его медленный глуховатый голос и вдруг похолодел, ему показалось, что у него пропала сразу высокая температура.

— Там, где крадется в тихом сквере,
шурша шагами, снегопад,
неповоротливые звери —
троллейбусы большие спят.
По крышам тихо ходит вьюга,
но, тесно сдвинув буфера,
они так дышат друг на друга,
чтоб не замерзнуть до утра.
Кружатся медленные сны,
пороша легкая кружится,
они, как спящие слоны,

которым Африка приснится.
В ту ночь, где все заиндевело,
когда виденья так легки,
мне почему-то захотелось
кормить троллейбусы с руки...

— По этим стихам я и поняла, что тетрадка была ваша, — тихо сказала Веснина. — Труднее всего было то, что Багров ваш слишком уж буйно нервничает...

— Он всегда так, — сказал Федотов. — Сегодня у нас великий праздник. Ведь мы со своей теорией оказались правы. Радоваться бы надо, а он все за меня переживал. Как Климентьев говорит, Петя наш всегда дает свой темперамент открытым текстом... Мы еще удивлялись, что он по дороге до зимовки не начал за вами ухаживать, еще в самолете... Ведь у нас не у всех порядок в личной жизни.

— Ну да, не начал... — сказала Веснина. — Он уже в первый день, как говорится, предложил руку и сердце...

— А вы думаете, только он на это способен? Что с вами? Боже мой, но почему ты теперь плачешь... Ведь все уже кончилось...

Багров повернулся и вышел, не обращая внимания на то, что за ним в тамбуре с железным грохотом упало ведро.

Он пересек то, что они считали улицей, и вкатился в больницу к Кошкину.

Кошкин получил с вертолета новые медикаменты и теперь развешивал что-то из банки в отдельные пузырьки.

— Слушай, доктор, — сказал Багров, — дай мне что-нибудь от простуды.

— Опять сразу горсть?

— Конечно.

Кошкин дал ему пару таблеток и стакан с водой. Багров проглотил и посмотрел в стакан.

— Не то.

— Тебе другого надо?

— Немедленно.

— Ну раз так, — сказал Кошкин. — Спирт у тебя есть свой, но я тут припрятал кое-что. Прислали из дома.

Он достал из-за аптечки большую бутыль с иностранной этикеткой.

— Это что?

— Виски. «Белая лошадь».

— Какая я тебе лошадь? Всю жизнь мне, что ли, одна белая лошадь? — вскричал Багров.

— Не шуми. Нина спит.

— Закрой дверь.

Багров проглотил целиком большой стакан виски и сел у стола с бутылкой рядом.

— Слушай, доктор, — сказал он. — Розовые чайки, по словам Бутурлина, в своем оперении «сохраняют отблеск бесконечных зорь и прекрасных северных сияний своей морозной родины...». Только они очень редки. Даже увидеть не каждому удается. Дай мне спички...

— Где твоя зажигалка?

— Потерял за эти дни к чертовой матери дорогой ваш подарок... Ну и хрен с ней.

— С кем? С подарком нашим?

— Может быть, — сказал Багров. — Будет мне сто лет, и еще подарите. Она приходила к тебе прощаться?

— Была.

— Сказала про Глеба?

— Конечно. И про Кучумову.

— Я сейчас слышал, как они разговаривают.

— С Кучумовой?

— Да нет, с Глебом Федотовым. Он ей стихи читал. Ты знаешь, что это значит? Я и то слышу его второй раз в жизни. Один раз давно, в тяжелую для него минуту. И вот теперь. Понимаешь, что это значит? А ты заметил, как она на него глядела вчера во время лекции?

— Значит, настоящая женщина. Ее сразила жалость. Он тоже заслужил свое.

— А я все иду через поле. Как белая лошадь, все прямо, без конца.

— Что же ты ее отсюда гнал? Я не думал, что это так серьезно...

— Ты меня знаешь. Не умею я с ними. Так лучше уж с глаз долой.

— Вот ты все так. Где не надо, ты напролом, а здесь даже заговорить не попробовал...

— Как не попробовал? Да я ей еще в дороге предложил выйти сразу за меня замуж. Даже не знал еще, есть у нее муж или нет. Думал, она сюда к мужу летит, в какой-нибудь поселок.

— Кто же так делает? Она тебя еще и знать не знала. Так же, как и Федотова в первый день. А ты сразу как из пушки... Из тебя жених, как из копра, которым сваи забивают. Беда мне с тобой.

— Может быть, правда, дня два подождать надо было, — сказал Багров неуверенно. — Только я же не знал, куда она

летит. Думал, на другой день уже расстанемся. Поэтому и поспешил немного.

— Бревна на тебя нет. Полена хорошего, — печально сказал Кошкин. — Я тебе и в Сочи невесту присмотрел. Заботливая такая медсестра... Небось сам не знаешь, что тебе надо.

— У тебя все хорошие, а она оказалась просто жадная, мелкая баба, эта твоя медсестра. Мне сразу, как Лесков говорит, ее «поза рожи» не понравилась. Хотя сама она из себя, конечно, ничего, все в порядке... Но разве поэтому только женятся? Не та была невеста, полукровка, ошибка опять... Да черт мне с ней теперь, с медсестрой, и с твоим Сочи, — сказал он равнодушно. — Такая у меня судьба. Гулять на чужих свадьбах. Кругом мне выходит белая лошадь и черная кошка. «Я, как матрос, рожденный и выросший на палубе разбойничьего брига: его душа сжилась с бурями и битвами, и, выброшенный на берег, он скучает и томится...»

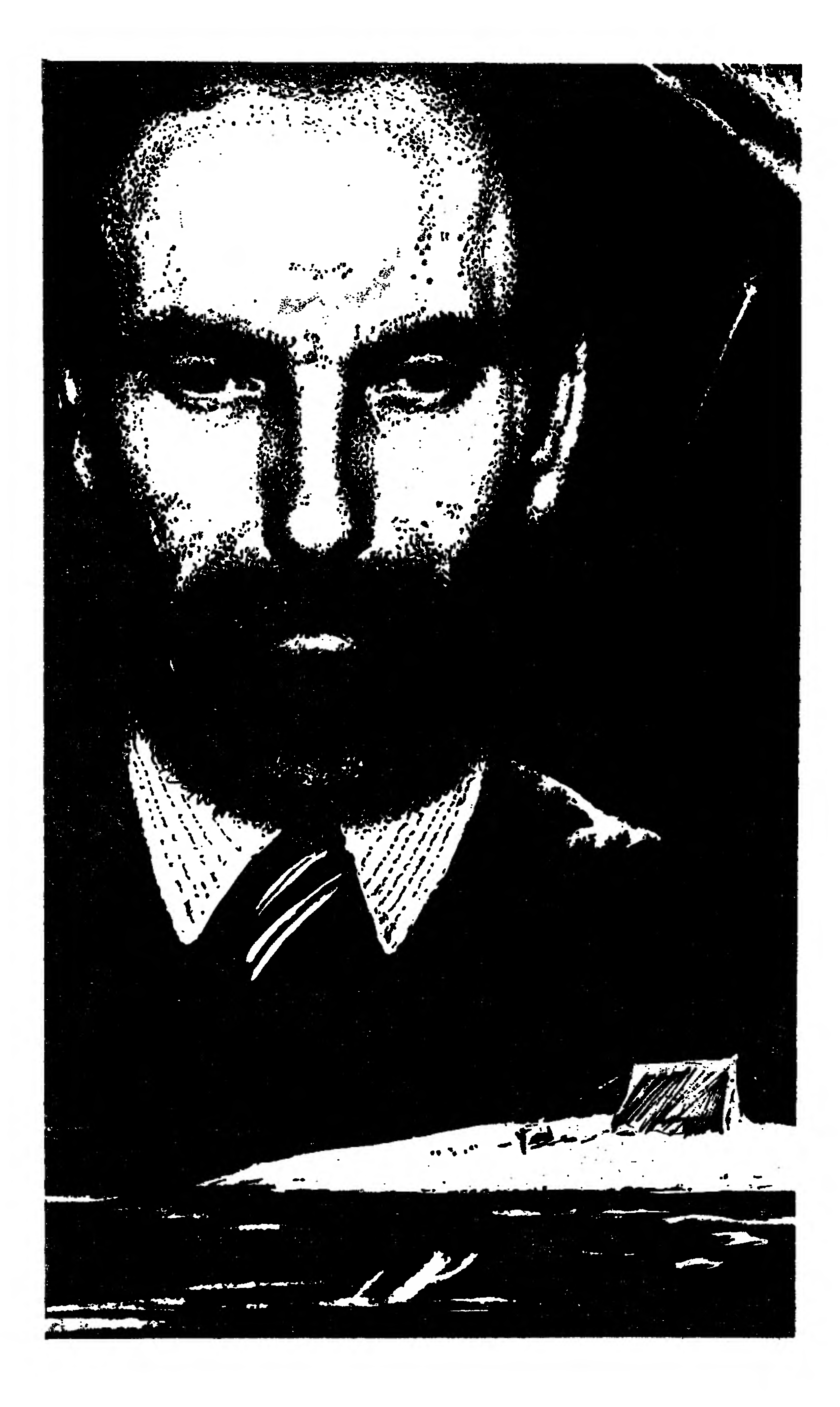
— Кто знает? Может быть, и тебя где-то ждут, пока ты сидишь тут на своем Ледовом острове, — сказал Кошкин. — Мы ведь упрямы, как старые корабли.

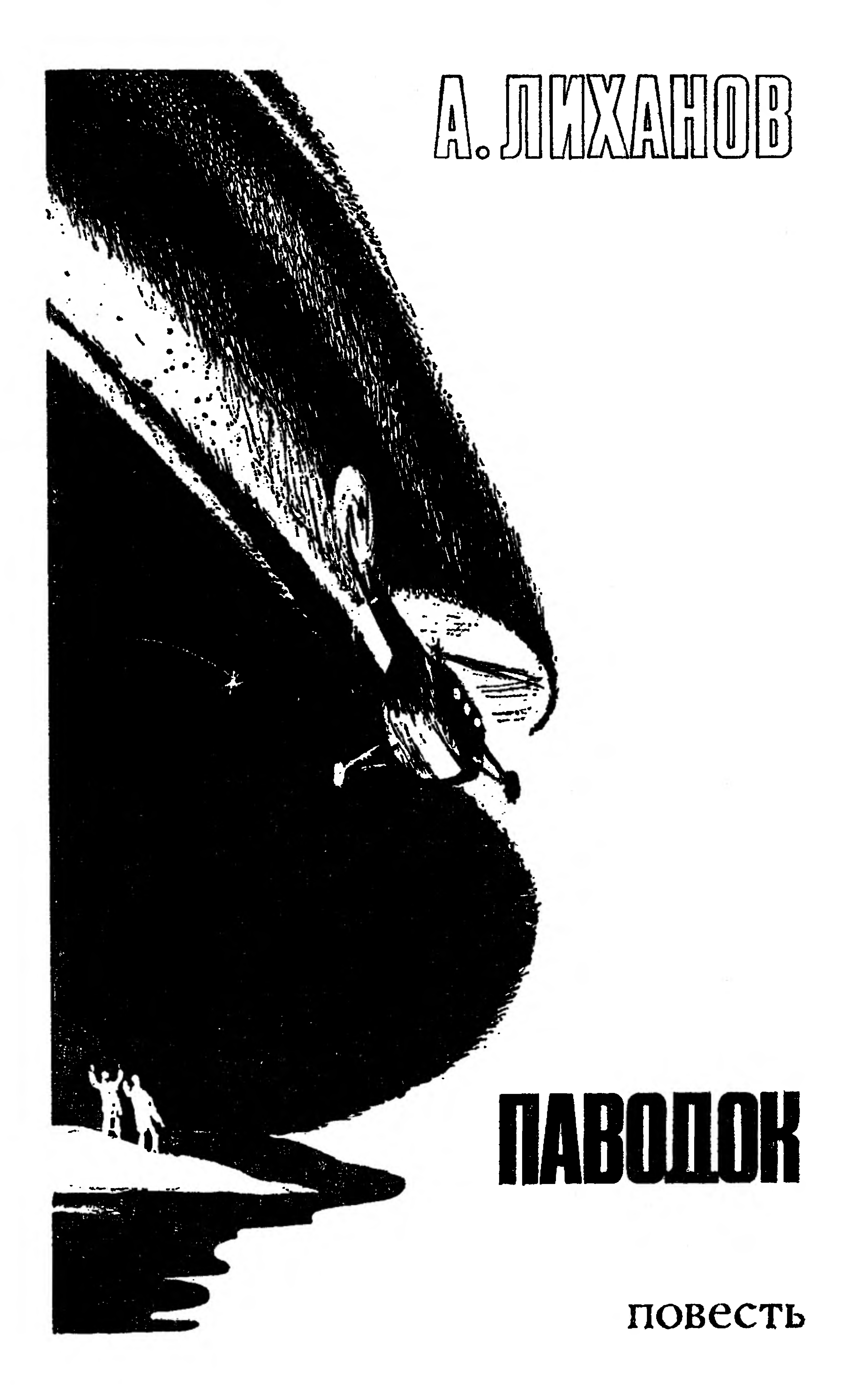
— Не знаю. Ничего теперь не знаю, — сказал Багров и посмотрел на свой остров поверх гор, туда, где наполнялось уже новой вешней водой Озеро обманов и где мерещились им иногда на горизонте острова, таинственные, как Земля Санникова...

Я недавно получил письмо от Весниной — из Сочи, где они отдыхают сейчас вместе с Глебом Федотовым в доме добрейшего доктора Кошкина. И мне радостно было узнать, что далеко от берегов, где плещется черноморская волна, корабли идут сейчас мимо острова Ледовый «по Федотову», проливом, который теперь назван его именем. Неукротимый Багров продолжает строить свою зимовку, и я думаю, что он не скоро сможет забыть о женщине, которая помогла опознать в бывшем «каюре» беглого уголовника, что так ловко скрывался от розыска целых три года на дальнем острове под чужим именем. Кучумова осуждена за убийство настоящего своего мужа и отбывает срок, данный ей судом полной мерой, а «тихий» подлец Хребтов никогда уже не вернет себе настоящего доверия, да он и работает теперь уже в другом месте и совсем на другой должности. Сейчас над островом Ледовый идет короткое и бурное лето, и только тот, кто видел острова высоких широт, может по-настоящему представить, как прекрасна бывает тундра, когда она щедро расцветает, используя жад-

но короткий срок, отпущенный ей природой для полнокровной жизни. И эта внезапная свадьба Весниной, пережившей столько глубокого горя и неудач после гибели первой своей любви, неутомимого путешественника Шевардина, убитого уже много лет назад в камчатской тайге бандитами, напоминает мне вспышку цветения жизни, очнувшейся от долгого оцепенения суровой зимы за Полярным кругом. Тем более что выбор ее — это редкая находка настоящего и верного, достойного друга, о котором я, заключая свой рассказ, не сумею сказать лучше, чем стихами самого Федотова, раскрывающими его сдержанную, но полную настоящих порывов, благородную, в полном смысле этого слова, душу истинного исследователя; в той самой тетради, среди расчетов, выписок из книг полярных путешественников и дневниковых записей, Федотов набрасывал наспех и свои стихи в дни долгих странствий по льдам вокруг острова. На последней странице его тетради были строчки, которые я теперь всегда буду помнить наизусть:

«Пусть твой путь весь пургою отмечен, но зато твое сердце не лед. Равнодушие даже не лечат, равнодушие сразу убьет. Тот, кто сердце на мелочь растратил, тот с земли оторваться не смог. Но уходит в простор испытатель неизвестных ледовых дорог. Будто нам заиграют горнисты, затрубят трубачи под окном... Ты услышишь призыв — и, как выстрел, полыхнет твое сердце огнем. Встанет ночь над тяжелыми льдами. Но сквозь ночь, сквозь пургу, надо льдом ты увидишь рассвет — и, как пламя, полыхнет твое сердце огнем!»




А. ЛИХАНОВ
ПАВОДОК
повесть

Доброму человеку бывает стыдно даже перед собакой.
(А. П. Чехов)

24 мая. Полдень.

СЛАВА ГУСЕВ

Вертолет завис над проплешиной между прибрежными кустами. Сверху снег казался голубым, а тени от деревьев синели акварелью. Говорить и даже кричать теперь было бесполезно, не нужно, ни к чему. Гусев вышел из пилотской и устало сел у иллюминатора.

Два раза, надрывая глотку, он заставил вертолетчиков обойти триангуляционную вышку, пока окончательно не убедился сам, что они правы и что, кроме этой проплешины, ближе к вышке подходящей площадки нет.

Можно было, конечно, выбросить лестницу, спуститься по ней, но «можно» лишь теоретически: спуститься действительно можно, но лишь самим, огромные тюки с едой, палаткой, а главное, приборами никак не выгрузишь, не выбросишь, хотя внизу и снег. Этого не позволяла инструкция, но прежде всего здравый смысл, а здравый смысл был для Гусева главной инструкцией.

Он махнул рукой, вышел из пилотской и теперь разглядывал, как там, за иллюминатором, гнутся от ветра, который гонят лопасти, голые кусты в рыхлом, осевшем снегу, как тень вертолета, похожая на странного жука, отра-

женного на белом полотне экрана, медленно приближается к нему, как земля становится все ближе, ближе...

Кабину качнуло, вертолет взвыл винтами, пробуя, устойчиво ли встали его ноги, потом разом умолк, на снегу, мельтеша, все медленнее закрутилась видимая теперь тень винта. Гусев шагнул к двери, отстегнул пружину, прихватившую ручку, и зажмурился.

Снег, синеватый сверху, слепил глаза ярким, искрящимся полотном. Гусев рассмеялся и прыгнул вниз. Снег был волглый от весенней сырости, крупитчатый, словно грубая соль, но чистый, потому что ничто не могло загрязнить его тут, в глубине тайги, отгороженной от ветров высокоствольным сосняком.

Хлопнуло стеклышко в пилотской кабине, рябой летчик, совсем пацан, высунул по шею голову, освобожденную от вечных наушников, плюнул для блезиру длинной хулиганской струйкой и крикнул Славе хозяйским, начальственным баском, зная, что теперь, сойдя с вертолета, Гусев обратно к нему не полезет:

— Ну вы, кор-роче!

— Я те попонукаю, кузнечик! — рыкнул Гусев, не переставая улыбаться и разглядывать веснушчатое лицо пилота: грубоватые и высокомерные с геодезистами, при Гусеве летчики высокомерие свое прятали. Таков уж был Гусев — приземистый и широкий, как камбала, с такими же камбальими ладонями, округлыми, но как будто отлитыми из железа, и с лицом жестким, угловатым, широкоскулым, как бы высеченным из дерева.

Спрыгнув из вертолета в снег, Гусев гоготнул, принял первый куль, самый тяжелый, с приборами, потом выбрался из сугроба, крикнул остальным. Из кабинки, разбежавшись, выскочил в снег Орелик — Валька Орлов, по пояс воткнулся в сугроб, с трудом выбрался; дурачась, они приняли груз, скидывая его как попало — потом все разложат, раскинут палатку как полагается, тут уж у Гусева полный порядок. Перекрикиваясь с летчиком, поругивая его, обзывая таксистом и извозчиком, который, желая получить на чай, издевается над пассажирами, Гусев принял груз, подсчитывая про себя количество тюков, потом по лесенке солидно спустился дядя Коля Симонов, за ним спрыгнул Семка Петрущенко.

Кусты бросали густые синие тени, чуть выше, на холме, была триангуляционная вышка. Лучше всего было бы подняться к ней, это было ясно с самого начала еще там, в вертолете, но теперь перебираться бессмысленно: работы всего на два дня,

а эта проплешина возле реки самая удобная площадка для вертолета.

Возвращаясь к своим заботам, Гусев огляделся еще раз, и, чтобы не таскаться туда да назад, чтобы сэкономить силы свои и троих своих помощников, которым и так за эти два дня, нужные для съемок, придется вдоволь набродиться по крупитчатому, а значит, рыхлому снегу, Гусев решил, что лагерь они разобьют прямо здесь, в двадцати метрах от трех лунок, оставленных колесами вертолета, на небольшом пригорке, где можно хорошо разместить и палатку, и выгодно поставить антенну.

— Итак, будем знакомы, Петр Петрович. Я следователь прокуратуры. Моя фамилия Семенов. Хотел бы предупредить вас, что в конце нашего разговора вам придется поставить под протоколом подпись. Так что лучше всего говорить четко, по порядку, подробно отвечая на поставленные вопросы.

— Что же это, допрос?

— Лучше назовем эту процедуру дознанием. Так давайте начнем с предыстории. Ваш год рождения?

— Тридцать пятый.

— Сколько лет вы в этой должности?

— Пять.

— А на изыскательской работе?

— Двенадцать.

— Значит, у вас большой опыт?

— Раньше считалось так.

— Что вы окончили?

— Институт инженеров геодезии и аэрофотосъемки.

— Тот же самый, что и Орлов?

— Тот же самый.

— Вы, конечно, не знали его по институту?

— Как я мог знать его, если он окончил институт в прошлом году, а я двенадцать лет назад?

— Ну, мало ли...

— Нет.

24 мая. 13 часов 20 минут.

ВАЛЕНТИН ОРЛОВ

«Продолжаю письмо. Наш старшой согнал с нас семь потов, но за час мы поставили палатку, наладили рацию, сложили

вещи. Сейчас объявлен перекур, наш радист Семка Петрущенко на примусе варит концентрат. Минут через двадцать поедим, и тут уже настанет моя стихия, потому что, конечно, даже самому Гусеву не угнаться за мной в точности измерений. Вот такие пирожки, Аленка.

Опишу тебе новую точку. Мы сидим на небольшом пятачке среди снежной равнины, впрочем, пятачок этот тоже снежный, просто он едва возвышается над приречной луговиной. Это было самое удобное место для посадки вертолета, и Гусев про себя верно решил, что мы тут и останемся, хотя подальше есть высотка с триангуляционной вышкой. Но тащиться туда сквозь кусты да еще по рыхлому снегу — безумие, неоправданная трата сил, которые нам и так пригодятся, и я, стараясь принять собственное решение еще до того, как объявит свое Гусев, был рад, что его и мое решения совпали. В прошлом письме и еще раньше я писал тебе про начальника нашей группы. Он довольно опытный человек, хотя окончил только техникум: еще одно доказательство, что знания без опыта теряют свою цену. Я знаю гораздо больше Гусева в чисто профессиональном отношении, но он знает и умеет куда больше меня в отношении житейском, практическом. А без этого в поле нельзя. Поэтому я и стараюсь, ничего не говоря Гусеву, принимать собственные решения, не из самолюбия, нет. А для того, чтобы, учась у него самостоятельности, которая меня, конечно, ждет в недалеком будущем, не быть слепым его подражателем. Часто наши решения не совпадают, и я стараюсь анализировать причину. Пытаюсь быть объективным. В большинстве случаев Гусев предусматривает при своих решениях то, чего я не знаю, и тут, как говорится, крыть нечем. Но иногда мне кажется, что мое решение было бы более верным, я говорю об этом Гусеву. Он смотрит на меня внимательно и, мне кажется, не понимает, чего я хочу. А однажды после такого вопроса он меня спросил: «Ты чо, Орелик, — это он меня так ласкательно называет, — ты чо, — говорит, — Орелик, на мое место сесть хочешь? Дак не выйдет. Я за начальствование свое надбавку приличную получаю, а у меня семья, дети». Я аж поперхнулся, стал объяснять ему, что даже не думал об этом, просто готовлю себя к самостоятельной работе. Но мои слова, кажется, не произвели на него никакого впечатления. А семья у него действительно большая: родители жены, жена и трое детей, подумать только! Жена у него, правда, работает, но остальных он кормит, поэтому мы и костоломим как проклятые — Гусев зарабатывает на семью. Я бы поберег силы группы, вон и радист наш Семка, длинный, нескладный, прямо

мальчишка-переросток, иногда поскуливает, что мы гоним как сумасшедшие, но лишь только поскуливает, не больше, и то когда Гусева поблизости нет: деньги ведь всем нравятся, мне тоже они нравятся — знаешь, как приятно, вернувшись с поля, получить у кассира тугую пачку жизненно необходимых средств?

Впрочем, тебе этого пока не понять, да, может, и вовсе ни к чему, это я, мужчина, должен хлопотать о деньгах, для женщины это второе дело, хотя, впрочем, без денег шубу не сошьешь, как говорится. Ну ничего, ты скоро приедешь ко мне, как-нибудь уговорю ПэПэ отдать тебя в мою группу, и мы начнем вдвоем обхаживать эти урманы, эти просеки и луговины. Конечно, нас будет жрать комарье и гнус и будут жечь морозы, но зато, Ленка, мы будем не врозь где-то, а вместе. И когда-нибудь приедем в институт огрубелые, обветренные, я с черной окладистой бородой — кстати, уже начал ее отпускать, чтобы ты не узнала меня при встрече. И наши замшелые пни — преподаватели и всякие там прочие аспирантики — увидят настоящих людей... Зовет кашевар. Обед готов. Потом мы сразу уйдем на съемку. Вечером допишу».

— Мне хотелось бы узнать ваше мнение о людях Гусева. Я думаю, это поможет восстановить картину их психологического состояния в тот день.

— Гусев — человек опытный, лесовик, но не очень далекий. Образование — техникум. Привык выполнять работу от и до. Радист у них новенький, совсем мальчишка, маменькин сынок. Я думаю, во многом виноват он. Если бы по его неопытности не упала антенна...

— Дальше.

— Про Орлова я вам говорил, знаю его плохо. Он только начинал. Все, что я знаю о нем, — учились в одном институте. Новичок, и этим все сказано.

— Там был еще один.

— Да, рабочий. Забыл его фамилию.

— Симонов.

— Точно, Симонов. Однофамилец поэта. Как же это я...

— Он, кажется, был в заключении?

— Вот-вот. Темный, в общем-то, тип, хотя мы вынуждены брать и таких: не хватает людей. Думаю, в общем контингент группы не блистал. Поэтому так и случилось.

— Словом, вы считаете, что психологическая обстановка в группе не была идеальной?

— Мягко говоря...
— И это одна из причин?
— Весьма существенная...

24 мая. 14 часов.
НИКОЛАЙ СИМОНОВ

Он шел первым, торя тропу к триангуляционной вышке. Идти было трудно, рыхлый снег проваливался до самой земли под тяжестью тела и тяжестью груза: за плечами висел штатив для прибора, а сам прибор, болтаясь на груди в неудобном футляре, оттягивал шею.

Идти было тяжело, но еще тяжелей было на душе, словно камень давил, как в тот день.

Но в тот день были причины: опять они полаялись с Кланькой, оттого он и пива выпил, и бутылку взял, хотя ее и не открывал. Да какой прок, что не открывал, к делу, однако, ее пришили. В общем, тогда камень давил справедливо, теперь же это все ерунда, одни впечатления, их надо топить, эти впечатления, чтобы не перли, иначе худо дело, это уж он испытывал сто раз на проклятой отсидке. Но тогда была отсидка, какое-никакое, а заключение. Здесь же другое дело: воля, работа денежная и ребята, слава богу, толковые, хорошие ребятишки, век бы с ними вековать, таскаться вот так по тайге и не вспоминать никогда эту Кланьку, быльем все оно зарасти, кабы не Шурик белобрысый, кабы не Санька его, Александр Николаевич Симонов, ученик третьего класса, девяти с половиной лет от роду...

Симонов остановился, задохнувшись от воспоминаний, оглянулся вокруг, чтобы забыться, снял для охлаждения шапку.

От кудрявой его головы валил пар, давно не стриженная, неухоженная борода топорщилась лопатой, и Слава Гусев, взглянув на него, скупо улыбнулся, прикидывая, на кого же похож дядя Коля Симонов: то ли на цыгана, то ли на разбойника? Или на схимника какого, затворника из старообрядцев?

— Ну чо встал, дядя Коля? — крикнул Валька Орелик, который шел третьим.

Симонов обернулся назад, напялил треух на голову и пошел дальше, думая о своем.

Называя его дядей, Валька не улыбался, выходило это у него всерьез, да, подумав-то, так ведь и получалось: Вальке — двадцать три, ему — сорок три, да плюс бородища, да еще

отсидка, — все полсотни тянет он на вид с этими прибавлениями — одним вольным: хошь — носи, хошь — брейся, другим невольным: судьба уж, видно, так распорядилась.

— Каким образом группа Гусева оказалась на изыскании до начала полевых работ? Ведь полевые работы в этих районах согласно инструкции могут быть начаты лишь после окончания паводка?

— Вы рассуждаете, как формалист. Впрочем, я понимаю, вы защищаете букву закона. Нам же, практикам, во имя сути дела приходится иногда поступаться буквой. Мы выполняем план. В конце концов, выполняем государственное задание. Это во-первых. Во-вторых, приказа, подчеркиваю: *приказа*, о начале полевых работ не было. Так решено на общем собрании. Решено голосованием. Единогласно. Потому что люди не хотят сидеть без дела, а хотят заработать.

— Выходит, собрание голосует за нарушение инструкций и администрация тут ни при чем?

— Не будьте формалистом, призываю вас. Разберитесь в сути.

— Хорошо, разберемся в сути. А суть такова: любые полевые работы в поймах рек на время паводка прекращаются. Кем и как определяется начало паводка?

— Гидрометслужба дает сводку вообще-то. Ну и на глаз. Группы, работающие в поймах, сами радируют о подъеме воды или обильном таянии...

24 мая. 17 часов.
СЕМЕН ПЕТРУЩЕНКО

Семке было двадцать лет, и он все еще рос, рос до неприличия быстро, не успевая наращивать мышцы, а оттого походил на жердочку или на Паганеля. Самый молодой и самый длинный в их группе, он чуть не вполовину перерос Славу Гусева, своего начальника, и очень смущался этим обстоятельством, потому что если он был вдвое длиннее Славы, то вдвое и слабее. Досадуя на свои физические недостатки, Семка сам себя ругал «антенной», уже тысячу раз удивившись, как это никто в группе до сих пор не догадался прозвать его этой лежащей на поверхности и такой точной кличкой. Но, удивляясь недогадливости товарищей, стыдясь своей длинноты и

немощи, Семка все-таки имел и завоевания. К примеру, он очень гордился тем, что, окончив школу радистов, много зарабатывал и не боялся одиночества.

Деньги ему требовались, чтобы посылать матери, — он посылал как можно больше, зная, как мать понесет корешок от извещения к соседкам, гордясь за своего Семку, и как накупит к вечеру сластей по случаю перевода и поставит самовар, а потом станет долго глядеть на фотографию, где Семка и умерший отец сняты вместе.

Семка часто думал в тайге о матери, хотя никогда никому не говорил об этом. Здесь после шумного города было много времени для самого себя, и Семка размышлял о своих приятелях, оставшихся дома, вспоминал фильмы, книги, которые прочел.

Часто ему становилось очень грустно, непонятно даже почему, и он вспоминал маму — морщинистое ее лицо: ей было под шестьдесят, она часто жаловалась, что поздно родила Семку. Надо было раньше, но первые ее дети умирали, и она всякий раз боялась рожать. То ли оттого, что Семка был поздним ребенком и остался жить, хотя мама привыкла к тому, что дети ее умирают, то ли потому, что Семка не помнил ее молодой, а это, видимо, очень важно, когда у женщины рождается ее первый и последний ребенок, мама очень любила Семку, и он горячо, с детства чувствовал это. Ее любовь не была исступленной или горькой, какой может быть любовь матери, изуверившейся в своем материнстве, напротив, мама любила Семку как-то устало, обессиленно, но очень светло. Входя в материнский дом, Семка чувствовал, что он как бы вступает в солнечную комнату, солнечную всегда, и что этот свет не угаснет до тех пор, пока жива мать.

Семке было всего двадцать лет, его не взяли в армию из-за зрения: он носил очки. Тогда он окончил школу радистов, закалялся, обливаясь холоднющей водой, изгоняя из себя недостатки, как он выражался, характера, и устроился в геодезическую партию. Мама не была против: она осветляла каждое Семкино решение, даже если в душе не соглашалась с ним, и он оказался тут, вдали от жилья и от мамы. Первое было ему безразлично, а о матери он забыть не мог, как это часто случается с детьми, и, оставшись один, словно заблудший телок, вспоминал маму, представлял ее морщинистое лицо, ее руки, ее голос.

По долгу службы Семка часто оставался один, пока остальные уходили на съемку. Можно даже сказать, что он почти всегда оставался один и должен был к приходу группы свар-

ганить обед, постаравшись схлопотать свежатинки, а также наладить связь и получить радиоуказание от вышестоящего начальства. По расписанию Семке полагалась Славина двустволка, что и помогало ему самоутверждаться в чувстве смелости, а также охотиться.

Надо признать, что охотиться Семка очень любил, стараясь, правда, не отходить далеко от лагеря. Однажды, когда Семка отошел подальше, он вернулся к настоящему цыганскому табору: антенна была сломана, палатка повалена, мешок с припасами разодран, а банки со сгущенкой основательно измяты. Как установили эксперты во главе с дядей Колей Симоновым, в Семкино отсутствие в лагере пошуровал медведь-шатун. Дядя Коля Симонов при этом причитал, благодарил судьбу за то, что Семка ушел подальше и не встретился с медведем, но от Славы радист получил нагоняй и указание. охотиться в пределах видимости и слышимости лагеря.

Теперь Семка бродил по замкнутому кругу, имея в одном стволе дробь — для дичи, в другом жакан — для медведя. Шатуны, однако, больше не попадались, зато дичь Семка и вправду выучился бить довольно метко, хотя и не очень стремился к этому: зайца ли, глухаря или тетерку надо было обдирать, потрошить, палить, а делать это Семка ленился. Еда из концентратов получалась при меньших затратах труда и казалась Семке не менее вкусной и уж по крайней мере весьма оптимальным вариантом. И только Славины или дяди Коли Симонова укоры пробуждали в нем охотничью инициативу. Любовь к охоте соединялась в Семке с некоторой долей лени.

В тот раз после ухода группы Семка довольно быстро, с одного выстрела, намертво убил тетерку и, перекинув ее через плечо, пошел к лагерю.

Семка шел по снежной целине, раздумывая о том, что через два дня, вернувшись в поселок, он из денег, отложенных маме, возьмет, пожалуй, некоторую сумму для давно необходимой вещи. Он купит фотоаппарат, запасется пленкой, и, когда через две недели группа снова прилетит в тайгу, он снимется с добычей после первой же удачной охоты, а потом пошлет карточки домой.

Семка снова засвистел, перехватил тетерку в другую руку и испуганно огогокнул.

Снег под ним податливо провалился; теряя опору, Семка замолотил ногами и очутился по пояс в ледяной воде. Он тотчас выскочил из нее, вылетел пробкой от холода и неожиданности и с удивлением обернулся. Куски снега, шурша, отваливались в бочажину, наполненную прозрачной талой водой. Сем-

ка выругался и рысью побежал к лагерю. Вода хлюпала в сапогах, из ружейных стволов пролились две тонкие струйки, мокрой была и тетерка.

Оранжевое, почти прозрачное на солнце пламя костра затрепетало в сушняке мгновенно: Семка, подпрыгивая, скинул сапоги, переоделся и начал ощипывать тетерку, развесив на горячем солнце мокрую одежду.

В конце концов, ничего страшного: ну, подумаешь, провалился в ледяную воду. Семка стал думать, как расскажет он об этом случае матери и как будет она волноваться, размахивать руками и наказывать, чтобы он был там, в тайге, среди медведей и прочих таких опасностей, поаккуратнее. В горле защекотало, Семка подумал взросло, что жизнь жестока, разъединяя близких и одиноких людей. Он опять вспомнил маму — ее руки, ее голос, ее лицо — и оборвал себя, преодолевая недостатки характера: что же это он опять расхлюпался, как девчонка.

В котле, побулькивая, закипала вода, и Семка решил, что сегодня все будут довольны им, его удачливостью, его меткостью. Нет, что и говорить, он тут нужный все-таки человек. А вот пройдет годик-другой, поднатореет он покрепче в радиоделе, и за него еще станут драться начальники групп, отрядов, партий.

Кто не знает, что настоящему радисту цены нет и что такие радисты сами выбирают, где и с кем им работать!

— Сводка Гидрометслужбы, Петр Петрович, как подтверждают свидетели, лежала на вашем столе. Отрицаете ли вы этот факт?

— Нет, тут я действительно допустил халатность. Забыл сводку, вместо того чтобы передать ее начальнику партии Цветковой. В пойме Енисея работала только одна группа, Гусева, подчиненная ей.

— Так что вы признаете?

— Признаю, хотя и не считаю это решающим фактом. В сложившейся ситуации люди Гусева, и прежде всего он сам, должны были сами искать выход.

— Они могли радировать и радировали, когда паводок уже начался.

— Если бы с самого начала Гусев правильно выбрал расположение лагеря, ничего бы не случилось. Контролировать такие действия Гусева мы не можем и не должны. Не наша это обязанность.

— Значит...

— Значит, виноват Гусев.

— Один вопрос. А как бы поступили на его месте вы?

— Выбрал бы безопасную точку.

— Это можно говорить задним, так сказать, числом. Но если бы вы знали, что рядом, в пятнадцати минутах лета, находится экспедиция, вертолеты, друзья...

— На друга надейся, а сам не плошай — так говорит народная мудрость.

24 мая. 17 часов 30 минут.

КИРА ЦВЕТКОВА

В двадцать восемь лет Кира никак не могла привыкнуть к тому, что ее зовут по имени-отчеству: Кира Васильевна. Вечерами, перед тем как лечь спать, разматывая жиденькую косичку, она глядела на себя в зеркало и в эти минуты, оставаясь наедине с собой, всякий раз удивлялась своей жизни, удивлялась ее течению, которое против воли самой Киры вынесло ее вот сюда, на край земли, и поставило командовать мужчинами.

В школе тощенькая, маленькая, невзрачная Кира училась весьма средне, на троечках, которые ставились с натяжкой, доплелась до десятого, мечтая о том, чтобы найти техникум или институт себе по силам и по способностям. Скажем, педагогический, чтобы стать потом учителем в первых классах: с первышами хоть и хлопотно, но легко в смысле наук — сложению там, вычитанию или правописанию выучить, в конце концов, можно.

Учась в школе, Кира только и думала о том, чтобы скорее покончить со всяческим учением, привыкнуть к будущей работе.

Учение вызывало у нее головные боли, внутреннюю опустошенность и какое-то безволие — она легко уставала, никогда не отличалась самостоятельностью, во всем подчиняясь жизнерадостным и энергичным подружкам.

Подружки же увлекли ее от пединститута совсем в другую сторону. Две самые энергичные, сильные, веселые из них поступали на геологический факультет; поддавшись уговорам, на экзамены с ними пошла и Кира и по шпаргалкам, которые перекинули ей подружки, успешно сдала вступительные. На факультете учились почти одни ребята, девушки поступать туда

не решались, считая такую специальность мужской, и Кира неожиданно извлекла из этого пользу.

Ребята, полагая своим долгом опеку над немногими девушками, всячески выручали их — и на контрольных и на экзаменах, — помогали чертить, решать задачи, и Кира выплыла, успешно получила диплом и университетский ромбик, не изменясь, впрочем, за эти годы ничуть и ни в чем. Подружки ее еще на третьем курсе повыскакивали замуж, но Кирины кротость и невзрачность так и не привлекли никого: ребята предпочитали оставаться с ней хорошими товарищами, но не больше, и Кира, завидуя подружкам, вынужденным по праву материнства оставаться в городах, уехала в тайгу.

Настоящим геологом она, однако, так и не стала. Оглядев ее хрупкую и невзрачную внешность, начальство сразу определило ее в геофизический отряд, по другой, в сущности, специальности, и сразу на командную должность. Начальником группы или рядовым инженером-геодезистом назначить ее никто не рискнул — там бы пришлось отвечать и за план и за людей.

Три года Кира жила в лесном поселке. С грехом пополам освоила геодезические обсчеты и необходимую тут математику, подписывала бумаги, следила за передвижением своих групп, выполнением плана, иногда вылетала вертолетом на точки, где работали люди, но тут же, даже не ночуя, возвращалась, и все шло вроде бы своим чередом, тем более что ПэПэ — как звали сотрудники Петра Петровича Кирьянова, начальника экспедиции, — хозяйничать ей не позволял и все решал сам.

Такое положение Киру устраивало; в конце концов, ПэПэ знает дело куда лучше ее, и она никогда не отклонялась от четко заданной программы: все, что ей нужно и не нужно решать, согласовывать с Кирьяновым.

Кирьянов производил на Киру гипнотизирующее впечатление.

Огромный, мускулистый, почти квадратный, с звонким, раскатистым голосом, он, казалось, был создан для того, чтобы жить в тайге и командовать людьми, работающими в тайге.

Иногда, разговаривая с Кирьяновым, Кира думала, что, случись война, его немедленно надо было сделать генералом — этот человек был военным по натуре: он командовал группами, партиями, всей экспедицией, как воинскими подразделениями — четко, кратко, не споря и не обсуждая своих решений. Ему или подчинялись беспрекословно, как на войне, или очень скоро вылетали. Вдогонку «свободолюбцам» Кирьянов слал резкие, отрицательные характеристики с такими выражениями,

что уехавших не очень-то брали в другие экспедиции, потому что Кирьянов числился образцовым начальником. Он всегда выполнял план, рабочие, техники, инженеры — все получали приличные премии. И Кирьянов был неуязвим.

Словом, ПэПэ Киру вполне устраивал, с таким начальством ей, существу бесхарактерному и нерешительному, жилось совсем не худо, к тому же Кирьянов проявлял к ней видимое уважение, называя Кирой Васильевной. И Кира это ценила. Она была человеком неуверенным в себе, и всякое поощрение к уверенности воспринимала чутко и благодарно.

В половине шестого 24 мая она зашла в контору начальника и, получив любезное приглашение Кирьянова сесть, доложила ему расположение групп на истекающие сутки.

Большинство групп успешно заканчивало месячный план, люди Гусева переброшены сегодня на новую точку в пойме Енисея. Дня через два-три они будут доставлены в поселок.

Кирьянов смотрел на Киру Васильевну улыбаясь и, казалось, не слушал ее слов.

— Ну что вы все про работу и про работу? — спросил он, поднимаясь и прохаживаясь по комнате. — Давайте лучше про жизнь! Вот, например, у меня завтра день рождения. Приходите! Выпьем, потанцуем!

Кира, которую всегда было легко сбить с толку, покраснела, сконфузившись, а Кирьянов подошел к ней и протянул свою огромную ручищу. Соглашаясь, Кира кивнула, краснея еще больше, положила ладонь в руку ПэПэ, и тот осторожно прикрыл ее своими здоровенными, увитыми черной порослью пальцами.

— Каков порядок ваших отношений с вертолетчиками? Кому они подчиняются?

— Естественно, Аэрофлоту. У звена вертолетов, которые нас обслуживают, свое командование, они автономны.

— Ну а на практике?

— Машины арендуем мы, деньги наши, ну и звено выполняет любые наши требования. Какой смысл им портить отношения с нами? Все ведь люди, сами понимаете, в этом никакого секрета нет.

— Какова же все-таки цепочка ваших формальных отношений?

— Зарплату для простоты и из-за дальности ближайшей аэрофлотовской точки пилоты получают у нас. Метеообстановку, то есть могут они лететь или нет, пилоты получают из ме-

теоцентра, а часто определяют и сами. К машинам прикреплен наш человек, вроде экспедитора. Он и передает пилотам наши требования, почти всегда сопровождает машину, планирует рейсы.

— Кто это?

— Храбриков. Сергей Иванович.

24 мая. 19 часов.
СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ ХРАБРИКОВ

Сергею Ивановичу Храбрикову исполнилось пятьдесят два года. Он был самым пожилым человеком во всей экспедиции. По должности числился экспедитором, а фактически был ответственным за вертолеты. Мальчиком на побегушках служить было не очень почетно, особенно когда все вокруг на два-три десятка лет моложе тебя, но Сергей Иванович Храбриков старался не придавать этому никакого значения. Из дальних российских мест он, мужик себе на уме, прибыл сюда не за почетом или славой, а затем, чтобы в краях, где год работы приравнивается к двум, поскорее достичь пенсионного стажа и заработать при этом пенсию предельного размера.

И прежде в городе, где он жил и оставил теперь жену со взрослыми сыновьями ради своего предприятия, Сергей Иванович заметных должностей не занимал, был все более при должностных лицах, поняв давно, что если на должности назначают, то ведь с них и снимают. А если ты не ленив и глупо не тщеславен, то твоя личность и твои услуги всегда могут пригодиться независимо, как говорят, от погоды и направления ветра.

Более всего Храбриков обожал должности завхозов, но здесь, в геодезической экспедиции, это место оказалось, во-первых, занятым, а во-вторых, материально уж очень ответственным — на завхозе лежала забота о десятках дорогостоящих палаток, раций, геодезических приборов — словом, о тысячах рублей, и, махнув рукой, Сергей Иванович пристроился к вертолетам — на работу более хлопотную, но имеющую свои явные преимущества.

Вертолеты арендовались у Аэрофлота исключительно для переброски групп с точки на точку; это был единственный способ передвижения в тайге даже летом, и скоро, очень скоро Храбриков сумел поставить себя так, что оказался как бы единственным и полномочным хозяином вертолетов: пилоты

подчинялись только ему, разные там сопляки мальчишки — начальники групп, партий и прочие и прочие, не говоря о рядовых инженерах и техниках, — зависели от Храбрикова Сергея Ивановича, человека с большими полномочиями и правами.

Надо, правда, сказать, что никто таких полномочий ему не давал, просто экспедитор подчинялся лично Кирьянову, и уже исключительной заслугой Храбрикова было то обстоятельство, что он сосредоточил в себе часть власти и могущества начальника.

Сближение самого большого человека в поселке с самым, казалось бы, маленьким происходило очень незаметно и как бы невзначай.

Когда к Храбрикову приходила очередная группа, или кто-нибудь из специалистов, или какой-нибудь начальник партии и требовали вертолет для того-то и того-то, Сергей Иванович не торопился бежать к машинам и исполнять команду, а звонил всякий раз Кирьянову и удостоверялся, действительно ли такому-то или таким-то необходимо предоставить вертолет. Кирьянова поначалу эти звонки раздражали, но потом он понял, что звонит Храбриков не напрасно, а почти всякий раз стремясь то ли соединить два рейса в одно направление, то ли, задерживая полет для того, чтобы одновременно закинуть продукты или вывезти больного, — словом, всячески экономит. Кирьянов обрадовался появлению такого человека: предыдущий экспедитор был добряга парень и гонял машины почем зря, нисколько не заботясь об экономии, а вертолеты стоили жуткие деньги.

Храбриков знал тысячи способов умело подъехать к начальству, пусть поначалу без видимой пользы для себя лично, это ничего, не страшно, хорошее отношение скажется в нужную минуту, и к Кирьянову он применил способ не самый уж и мудреный.

Ежемесячно экономя порядочные деньги на вертолетах, он как-то пожаловался Кирьянову, когда они были вдвоем, что тяжеловато ему, пожилому человеку, в Сибири почти без выходных, без старых, годами выработанных привычек.

— Каких привычек? — спросил Кирьянов скорее механически, чем из интереса.

— Да вот в России-то рыбалил каждое воскресенье с сынами, — робко сказал Храбриков, жмурясь на весеннее солнце. — А тут рыбищи этой греби не хочу, а ведь и некогда.

— Вот те и некогда! Бери снасть какую хочешь, — сказал Кирьянов, — я разрешаю, да и рыбачь с богом.

— Эх, Петр Петрович, — прокряхтел Храбриков, — какая там снасть, не поняли вы меня, глушануть бы ее хорошенько да и обеспечить всех, кого надобно. А рыбка-то здесь, что там говорить, и стерлядка, и таймень, и краснорыбица.

Кирьянов был охотником, рыбалку не признавал, как это часто бывает среди охотников, но и не о рыбалке шла речь, он понял сразу, а ответил дипломатично:

— Чего ж тебе надо?

— Толу малость да вертолет.

Кирьянов внимательно оглядел экспедитора. Храбриков был худощав, но жилист, маленькие серые глазки его, утопшие среди припухших век, выражали спокойствие и рассудительность и смотрели прямо на Кирьянова, не мигая. «Что ж, — ухмыльнулся про себя Кирьянов, — на этого, кажется, положиться можно: хитер мужик, такой не подведет, потому что играет на себя, на свою пользу, заодно и мне удружить желает, чего ж я должен упрямиться?» И сказал Храбрикову:

— Тол я тебе выпишу, а вертолеты в твоих руках.

Храбриков не кивнул, еле заметно прищурил глаза, ничего не сказав, а через сутки, в сумерки, когда Кирьянов окончил служебные дела и хотел было выйти прогуляться, появился на пороге с большой бельевой корзинкой, плотно укутанной холстиной. Деловито прикрыв дверь, Храбриков тряпицу откинул, и Кирьянов увидел рыбу, прекрасную рыбу, уложенную ровными рядами.

— Экий ты мастак! — удивился Кирьянов, радуясь в душе, что не имеет к этой рыбе никакого отношения: за такое даже его по головке не погладят, теперь ведь в самой глухомани найдутся прокуроры, а сам сказал: — Куда ж ее столько?

— Полагаю, Петр Петрович, — снимая картуз и отирая пот с лысины, ответил Храбриков, — ушицы я вам и без того сготовлю, отдавать же в столовую рисково, так как дело незаконное, даже, можно сказать, подсудное. Потому предлагаю, чтобы дали вы мне адресок вашей семейки, письмецо и разрешение — устное, конечно, — слетать до станции и отправить корзинку с поездом к вам домой.

— Ну, это ты загнул, — удивился Кирьянов, — до станции без малого триста километров да обратно триста.

— Зато рыбкой своих обеспечите, — улыбнулся Храбриков, — а насчет километров не беспокойтесь, у нас большая экономия.

Кирьянов еще раз пригляделся к этому щуплому мужичонке, лысому, обросшему щетиной, и ему жаль стало его, жаль стало неоцененную преданность этого человека, хорошего,

в общем-то, работника, его хлопоты, его всю эту доброжелательную суету, и он ответил:

— Ну как знаешь. Хозяйничай сам, раз сэкономил, но меня в это не вмешивай.

— Хорошо, — засуетился Храбриков, — будет сделано и так, Петр Петрович. — Но письмо домой и адрес жены у Кирьянова забрал, исчез в полутьме.

В девятнадцать часов 24-го, закончив свои дела, Храбриков пришел в поселковую сберкассу, чтобы положить полученные из города телеграфным переводом две сотни.

Копейка к копейке рубль бережет. Все эти сотни, по мнению Храбрикова, были залогом будущего счастливого пенсионерства.

— Итак, анализируя расстановку сил накануне происшествия, вы считаете, что Гусев был обязан страховать себя выбором другой, надежной точки для лагеря? Ладно. Будем полагать, вы правы, обстоятельства могут сложиться по-всякому. Но в конкретной истории? Исключительных обстоятельств не было. Гусев радировал вовремя, более чем вовремя: и у него и у вас был громадный запас времени. И все-таки вы не помогли.

— Так сказать нельзя. Помогли, но с опозданием.

— Слушайте, Петр Петрович, а вам не страшно?

— Не пугайте меня, я пуганый!

— Я не пугаю. Я спрашиваю: вам не страшно вот так говорить? Словно речь идет... ну, о невыполнении плана, что ли?.. Или еще о каком-нибудь недостатке, который можно устранить, исправить.

— Что это вы мне морали читаете? Ваше дело — вести следствие!..

— Ну хорошо, Петр Петрович. Один вопрос не для протокола. За что вас зовут губернатором?

— Это имеет значение для следствия?

— Нет. Лично для меня.

— Когда будете прокурором, начальником следственного отдела или как там еще, и вас за глаза как-нибудь прозовут.

— Вы считаете это уделом любого руководителя?

— Каждый, кому дана власть, автоматически получает и недоброжелателей. Если он со всеми будет ладить, значит, никудышный руководитель.

— Мысль не новая, хотя и справедливая. Но всегда ли справедливая? Всеобща ли она?

24 мая. 19 часов 10 минут.

ПЕТР ПЕТРОВИЧ КИРЬЯНОВ

ПэПэ, как звали за глаза Петра Петровича Кирьянова, гордился своим ростом — 192 сантиметра и весом — 100 килограммов. Человек далеко не глупый, он, бесспорно, понимал, что физические данные не играют важной роли в том деле, которое он выполняет, и все-таки скидывать со счетов данное ему природой не собирался.

В душе заурядный актер, в жизни он играл иногда довольно удачно. Используя подходящий момент на совещании или в резком разговоре с человеком, он сначала как бы сникал, вжимал в стол могучие бицепсы, стараясь казаться незаметным, невзрачным, потом резко распрямлялся, вскакивал, повисая над человеком или над людьми громадой своей стокилограммовой туши, приглушал в противовес внешним действиям голос, который от этого рокотал внятно, с железным звоном, и действовал тем на окружающих за редким исключением безотказно.

Умение использовать физические данные было заложено в Кирьянове, видимо, от рождения. В послевоенной мужской школе, где культ силы считался как бы узаконенным, он был бессменным и непререкаемым авторитетом. Сам он, правда, ужасно не любил драк, питая отвращение к заранее известной слабости противника, но уж так выходило, что вокруг него, как возле баррикады, вечно происходили какие-то сражения, и он наделялся правами третейского судьи, беря под свою опеку то одних, то других. Возле Кирьянова всегда крутилась какая-то компания, льстя ему, предлагая покурить. Одаренный живым умом, он отвергал лесть, справедливо полагая, что сила ему дана от рождения и сам он тут ни при чем. Отказываясь от курева как проявления почитания его, Киря был почитаем еще более: беря чью-нибудь сторону, он никогда не допускал ее к себе вплотную, оставаясь независимым.

Классе в седьмом случился, правда, конфликт из-за этой независимости. Она возмутила одну из школьных компаний, которую он тогда поддерживал, парни решили проучить эту стоеросовую, как они выразились, дубину и вечером в подворотне устроили Кире «темную» — их было человек десять. Но Петькина сила превзошла расчеты.

Он раскидал эту компанию. Троим или четверым насадил фингалы прямо там, в подворотне, делая это основательно, лупя противника затылком о забор, давал «леща» по носу, но-

каутировал в подбородок и доводил тем самым врага до полного изнеможения.

С остальными Кирьянов рассчитался наутро, прямо в школе, жестоко и открыто. Он не стал никого караулить в подворотнях, как сделали его бывшие приятели, он вошел в класс, сунул в парту сумку и отправился в коридор.

Начал он с одного девятиклассника. Взяв его за горло, на глазах у онемевшего коридора Кирьянов поставил врага на колени и двумя сильнейшими ударами свалил его на пол. Девятиклассник валялся, забрызганный собственной кровью, а Киря с невозмутимым, железным лицом мордовал следующего, хотя тот и отпирался, что он был вчера в подворотне, и ревел, и умолял его не трогать. Петька верил его словам, но тем не менее поступил так же, как с девятиклассником, — для профилактики и по инерции.

Избиение продолжалось до самого звонка, но Кирьянов не успокоился, и тогда с застывшим, даже равнодушным лицом он вошел в параллельный седьмой, где шел урок черчения, вызвал в коридор последнего из врагов, загнал в угол и свалил на пол.

Школа как бы задохнулась от происшедшего. Учитель черчения побежал к директору, немедленно был созван педсовет, и многие классы бесновались, освобожденные от учителей. Кирьянова позвали в директорский кабинет, он вошел, обмотав правую руку, разбитую о зубы противников, платком. Лицо директора было бледным — такой жестокости и такой наглости даже в мужской школе никогда не бывало, но тем не менее педсовет продолжался минуты три, не больше.

Кирьянов не стал молчать, не стал отрицать ничего из содеянного, он просто рассказал все как было: и про вчерашнюю подворотню, и про ночную драку, когда десятеро было против одного. Директор подергал губами, но ничего не сказал, отправив его в класс. Педсовет не принял никакого решения: по существу, Кирьянов был прав, тем более что никогда ранее в подобных драках не замечался, и если уж этот увалень устроил столь свирепую расправу, значит, он был прав. Директор решил поддержать обиженного Кирьянова, дабы вообще приостановить драки этим поучительным примером. К тому же избитые противники Кири после вызова к директору и допросов с пристрастием подтвердили вчерашнюю «темную».

Кирьянов после этого стал в школе олимпийским богом. На его независимость никто никогда не посягал, а сам Киря сделал важный для себя вывод: ни за кого не заступаться, никого не поддерживать, кроме себя.

Как ни странно, оказался прав и директор: драки в школе резко сократились. Откровенная жестокость Кирьянова, бывшая объективно актом мести, отрезвила некоторые азартные головы. Но сам он вдруг уверовал в свою беспредельную безнаказанность.

С тех пор прошло много лет, и ни разу больше Кирьянов не дрался, даже в энергичные студенческие годы. Со временем он заматерел, стал мощней, бицепсы его выпирали стальными буграми в противовес рано лысеющей голове, он отпустил колючую бороду и выучился громогласно, несколько театрально хохотать, так что стоило ему лишь появиться и громко, рычаще захохотать, как драка словно бы испарялась, люди враз успокаивались и потихоньку расходились.

В студенческие годы Кирьянов любил бродить по городу с красной повязкой на рукаве, улицы, где он дежурил, были всегда образцовыми в смысле общественного порядка, его, как своеобразный символ бригадмила, всегда усаживали в президиумы милицейских и прочих общественных заседаний, щедро одаряли грамотами и наручными часами, и как-то незаметно получилось, что Кирьянов — замечательный активист, за которым укрепилась слава хорошего, толкового и нужного человека.

Окончив институт, Кирьянов сразу стал начальником группы, работал легко, играючи, беззаботно перенося тяготы полевой жизни, потом быстро стал любимцем среди начальников партий, а когда ушел в управление бывший начальник экспедиции, сомнений ни у кого не было: на его место назначили Кирьянова.

Продолжая актерствовать, Киря, который стал теперь называться ПэПэ, умел вести себя в управлении, изображал там этакого неотесанного, но добродушного увальня, щедро отваливал своим шефам окорока копченой медвежатины, кули брусники, мешки кедровой шишки, всякий раз поражая воображение бывших геодезистов, а нынешних горожан какой-нибудь рассибирской новинкой. Например, настойкой из сырого кедрового ореха, напоминавшей рижский бальзам, драгоценной иконкой из старообрядческого скита, старой книгой или осетром в человеческий рост, которого вез, возвращаясь в управление, самолетом, специально милым друзьям, кои ждут не дождутся, когда чудаковатый Петька Кирьянов удивит еще какой-нибудь штуковиной.

Впрочем, было бы несправедливо обвинять его в игре корыстной. Он делал это и бескорыстно. Он играл перед людьми, от которых ничего не хотел и которые даже были обязаны

ему. Тот же Храбриков. Тут игра шла как бы за текстом. С этой пигалицей Цветковой Кирьянов играл, так сказать, для самоуважения, отыскивая в своей одремучившейся душе элементы галантности, хотя было бы искренней сто раз послать к черту эту бездарную, бестолковую бабу.

Но так ПэПэ поступить не мог. От такого человека, как он, порой ждут и несправедливой справедливости, снисхождения, доброты. Так что пусть эта никчемная, в сущности, доброта упадет лучше на нее, жалконькое и невредное существо, которое будет благодарно и счастливо.

После ухода Киры Цветковой Кирьянов набил «Золотым руном» трубку, закурил, подвинул маленькое настольное зеркальце, чтобы увидеть себя во всем великолепии — черная трубка с золотым ободком, привезенная из-за границы, жесткая серая борода, стальные, светлые глаза, небрежно расстегнутая удобная фланелевая рубаха.

Он улыбнулся себе одними глазами, прошел в угол, где хранились охотничьи принадлежности, снял с гвоздя многозарядный карабин, подкинул его легко, одной рукой...

Завтра день рождения, черт побери, тридцать шесть лет, и к праздничному столу придется кокнуть лося.

Он задумался, выпуская струйки сизого дыма. Тридцать шесть — это, конечно, много, но ведь, как говорится, жизнь определяется не по сроку, который прожит, а по тому, сколько еще предстоит пожить.

В тридцать шесть командовать экспедицией — это, пожалуй, даже несколько посложнее, чем, скажем, защитить докторскую. Там, в науке, ты один на один с самим собой, тут же все посложнее. Ты управляешь людьми, делом. И каким делом!

— Как вы понимаете ответственность руководителя?

— Я понимаю ответственность так: каждый отвечает за свое дело. В армии, к примеру, командир полка отвечает за успех боевых действий своей части. За то, чтобы солдат был сыт, например, отвечает старшина. За то, чтобы солдат был готов к бою, — командир отделения. За его дух отвечает замполит.

— В армии свои порядки. Да и то, я думаю, вы не правы. Хороший командир полка больше, чем кто бы то ни было, заботится о том, чтобы солдат был сыт и всегда готов к бою.

— Не исключаю. Он может об этом позаботиться, но не обязан. Не путайте обязанности с заботливостью. Ведь мы же говорим об ответственности. Отвечают за выполнение обязан-

ностей, а не за заботливость или отсутствие оной. То, что для меня будет заботливостью, для подчиненного мне руководителя — обыкновенная обязанность. Так пусть он ее и выполняет.

— И такая программа у вас всегда? Или только в ситуациях, подобных этой?

— Всегда.

— Что ж, тем это страшней, мне кажется.

24 мая. 19 часов 30 минут.
СЛАВА ГУСЕВ

Он отодвинул котелок, бросил в него дюралевую ложку и отвалился на рюкзак.

— Молоточек, Сема! Влил новые силы в усталый организм!

— Она, дичина-то, — поддержал дядя Коля Симонов, — кровь обновляет и сил придает. Ранее древние люди, говорят, аж прямо так дичью кровь пили и матерели жутко.

— Ну вот опять за свое, — буркнул Орелик, — все о брюхе да о брюхе. Похвалили бы лучше охотника, вон он ради вас до сих пор обсохнуть не может.

— Обсохну! — лениво вякнул Семка, так же, как и начальник, откинувшись в сытости на мешок.

Гусев обвел умиротворенным взглядом славную свою геодезическую братию и подумал, что ему все-таки везет на парней. Семка — молоток, добрый, безотказный, золотой человек для всяких экспедиций; дядя Коля Симонов — просто лошадь, вытянет любой груз и поможет толково, без шума и крика. Да что лошадь, не в том дело — душа-человек. Дура набитая эта его Кланька, что так себя повела. Орелик — новый человек и не ахти какой, пока не обкатался, работник хотя и с самомнением, но это городское, институтское, оботрется. Зато во всем остальном Валька вроде бы как порция свежего воздуха: и дядя Коля Симонов, и Семка, и он сам уже друг дружке известны давно, все вроде поспели рассказать о себе, а Валька еще не выговорился, нет-нет да и бухнет такое, что глаза на лоб. Или расскажет что-нибудь интересное. Или вот даже стихи начнет читать.

Слава поглядел в темнеющее весеннее небо, похожее здесь, у Енисея, даже в мае на осколок синего льда, подбросил в костер сушняка и попросил Орелика:

— Ну расскажи чего-нибудь. Иль почитай.

Тот послушно полез в рюкзак, вытащил обтрепанную книжицу, сказал:

— Слушайте. Это я вам еще не читал.

Костер сухо и кратко щелкнул угольями, Валька помолчал чуточку для блезиру и стал читать обыкновенным голосом — не как по радио, не громко, не нараспев, не выпендриваясь. Гусеву очень нравилось, как он читал стихи, хотя сам Гусев стихов никогда не покупал и не читал в журналах, предпочитая романы, да потолще, чтоб уж заплатил, так и начитался. Вкус к стихам появился у Гусева совсем недавно, с тех пор как в группу пришел Орелик. Он сразу начал читать стихи. Сначала Гусев не обращал внимания, что он там бормочет, потом стал прислушиваться, и ему понравилось, потому что всякий раз стихи эти вызывали у него странные чувства.

Костер потрескивал в тишине, дядя Коля Симонов, прикрыв глаза, дремал, Семка, не отрываясь, глядел на Орелика, а Гусев тщательно разглядывал свои кряжистые, бесчувственные от мозолей ладони, пытаясь скрыть странное смущение, вызываемое в нем складными словами.

Прошло с тех пор
счастливых дней,
как в небе звезд, наверное.
Была любимою твоей,
женою стала верною.

Своей законной чередой
проходят зимы с веснами...
Мы старше сделались с тобой,
а дети стали взрослыми.

Уж, видно, так заведено,
и не о чем печалиться.
А счастье...
Вышло, что оно
на этом не кончается.
И не теряет высоты.
заботами замучено...

«Дьявол, — подумал Гусев, — слова ведь простые, а как режет этот Валька, черт его дери!» Стихи не просто волновали его, а как бы стыдили, что ли. Никогда не мог он подумать даже о таком неловком, потайном, а тут сказано, да еще и гладко. И правильно в общем-то.

Ах, ничего не знаешь ты,
и, может, это к лучшему.
Последний луч в окне погас,

полиловели здания...
Ты и не знаешь, что сейчас
у нас с тобой
свидание.

Что губы теплые твои
сейчас у сердца самого
и те слова — слова любви —
опять воскресли заново.

И пахнет вялая трава,
от инея хрустальная,
и, различимая едва,
звезда блестит печальная.

И лист слетает на пальто,
и фонари качаются...
Благодарю тебя за то,
что это не кончается.

Валька умолк, а Гусев сказал себе, что эти стихи не про него, — здания, фонари. Какие тут фонари и здания, тут тайга, но тем себя не успокоил.

Помимо него, помимо его воли выплыл осенний день его жизни, городской сквер, укрытый медью берез, мокрые скамейки, газета, постеленная для сухости на одной из них, и они — он, Слава Гусев, и Ксеня Кузьмина, студентка финансово-экономического техникума.

Мысль о Ксене пробудила в нем тайную радость, какое-то ликование, тепло. Он улыбнулся робкой, беззащитной улыбкой. «Надо бы запомнить стихи-то, — сердясь на себя и зная, что никогда ему запоминание это не пригодится, подумал Гусев, — как это там? «Благодарю тебя за то, что это не кончается». — И сплюнул, застыдившись и злясь на себя. — Вот еще выдумал!»

— Какими средствами безопасности обеспечивается каждая группа?

— Прежде всего я отношу к ним связь, рацию. Затем надувную лодку.

— Как вы знаете, ее у Гусева не было.

— Знаю, но это не моя личная вина.

— Кто же тут виноват персонально?

— Прежде всего сам Гусев. Он был обязан позаботиться о лодке.

— Вы же теперь знаете, он заботился. И не только он. Заботилась и Цветкова.

— Что же махать кулаками после драки?

— Пожалуй, все-таки во время драки.

— Нет, я считаю, что в первую очередь виноват Гусев. А уж потом Цветкова, которая не проверила, как выполнено ее указание.

— И в третью — Храбриков.

— Его винить нельзя. Простой исполнитель. Винтик. Мог и забыть, хлопот и обязанностей у него полон рот. К тому же это очень порядочный человек.

— Очень?

— Вы иронизируете?

— Нет, нет.

— Да, очень исполнительный, порядочный человек и прекрасный работник, он на своем незаметном месте сэкономил тысячи рублей.

— Так вернемся к средствам безопасности.

— Ну конечно. Значит, рация, лодка, ракета. Ракетница, естественно. Ракеты — красные, чтобы было заметнее.

— Сколько ракет положено иметь группе?

— Нормы нет. Я, когда был в положении Гусева, брал два-три десятка.

— У них оказалось девять.

— Вот видите. Это, хоть и косвенно, говорит о начальнике группы. Мог, кажется, позаботиться. Это-то уж зависит только от него.

— Я проверял. Завхоз отказался выдать больше десятка.

— Этого не может быть!

— Было. Завхоз ссылался на ваш приказ об экономии любых материальных средств.

— Но не сигнальных ракет!

— Это в приказе не оговаривалось. Вы требовали экономить все и на всем.

— Не для себя, для государства. И потом, я старался, чтобы было хорошо людям. За экономию ведь нам, кроме всего прочего, полагается премия.

— Хорошо. Пока оставим это. Итак, ракет было девять. Одна найдена у Симонова в кармане. Она не пригодилась. Ракеты им не помогли.

24 мая. 20 часов.
НИКОЛАЙ СИМОНОВ

К вечеру Николаю полегчало. И то уж не раз он замечал: как намолотишься за день, намотаешь поясницу, ноги, руки,

всего себя — сразу легче становится. Зуд рабочий голову утишает, мысль сбивает. Думаешь уже о том же самом совсем иначе, проще и спокойней. А когда еще полопаешь от пуза дичинки, опять же, глядишь, и загнал в себя на неделю свою хворь. Живи знай себе, не ковыряй болячку, слушай сквозь дрему, как Валька стихотворение читает, Семка балагурит, Слава Гусев сопит, про план соображает, про ускорение работ или про заработок.

Нет, слава богу, повезло ему, Николаю Симонову. Он тут, среди ребятишек этих, как в санатории, душа отдыхает от тягостей, от грязного духа, который в заключении, хошь не хошь, а имеется. Да уж и то, кто тюрьму себе выбирает? От сумы да от тюрьмы, говорят, не откажешься.

Вот сколько, думал про себя Николай Симонов, сколько ни прикидывал, неспешно перебирал свою нескладную жизнь, три только момента и было у него счастливых: когда с Кланькой гулял и не лаялись они еще, когда Шурик родился да вот теперь, после заключения, в партии этой.

Работал он за проволокой зверем, все мимо ушей и глаз пропускал, только бы скорей на волю выйти, исправить свою промашку страшную, а в голове все свербило: как он станет после тюрьмы, ну как людям в глаза поглядит? Ведь скажет только в любом месте: из заключения я, отсидку отбывал, — так тут, хоть как ни объясняй, за что и каким случаем туда попал, все в сторону шарахаться станут.

Так оно и шло.

Освободившись, ходил по разным конторам, нанимался. Как добирался до того, что идет из заключения, на него будто со страхом глядели, намекали, говорили, не требуется, хоть объявление у входа висит: требуется, требуется... И не искал Николай Симонов ничего такого особенного — лишь бы заработок на пропитание и на обмундирование штатское да еще общежитие.

Ах, общежитие, пропади оно пропадом! Приняли-таки все же на одну новостройку, поместил комендант в общежитие — комната большая, на девять человек, все молодые парняги, в сыны ему годятся, а нет таки узнали, что он бывший зэк, напаскудили. Объявили, будто бы пропал у одного парня костюм ненадеванный, польский, за сто тридцать рублей. Поглядел на них Симонов — те в сторонке сидели, пили перцовую, его не приглашали, — понял, какую шутку они учинить хотят, плюнул в горестях, поднял из-под койки свой мешок, выданный при освобождении, натянул телогрейку, нахлобучил картуз, сказал им на выходе:

— Ну, попробуйте простить друг дружке за этот факт, за это паскудство. Объяснять вам не стану, скажу, однако, что сидел не за воровство, а за то, что задавил машиной человека. И не вам меня корить. А чтоб не замаралися об меня ваши чистые хари, ухожу.

И хлопнул дверью.

Который-то из них бежал потом по коридору, хватал за рукав, приговаривал: «Погодь, дядька, ну бывает, ну сдуру». Но он рукав выхватил: сбывалась его опаска, сторонились его люди, — и ушел в дождливую непогоду, неизвестно куда и к кому.

Ночевал на вокзале, доставлялся розовощеким милиционером в отделение на проверку подозрительности, но другим, пожилым, был отпущен с советом побыстрей вернуться домой.

Эх, домой! Да кабы мог он вернуться домой, как бы побежал к кассе за билетом на выданные при освобождении небольшие рубли, как бы бежал потом к своему дому, в дальнем краю улицы маленького городка!

Но не мог, не мог, никак не мог Николай Симонов домой вернуться!..

С Кланькой жизнь у них шла неровная, трясучая — ровно ехали на худой телеге по колдобистой дороге. Поздно он женился, в годах уж, так вышло, а Кланька молода еще была, не обкаталась, не наигралась, молодых мужиков глазами мимо себя не пропускала. Когда Шурик родился, утихла вроде, но сын подрос, опять за свое: ты не такой да не эдакий, другие, мол, при галстуках и книжки читают, про кино судят, а от тебя слова ласкового не дождешься. Так-то оно так, не мастак Николай был на рассуждения культурные и на прочие такие дела, шофером, считал, родился, шофером и помрет, главное бы машину беречь да в аварию не попасть.

В то утро с Кланькой схватились — опять она свои требования к нему. Весь день ездил, зубы сжав, руки тряслись от обиды, от несправедливости ее злой, бабьей. Под конец смены к гастроному подъехал, взял бутылку, чтоб, машину поставив, распить, забыться, и еще бутылку пива заодно, приехал в гараж, ободрал пивную пробку о дверцу, не вылезая из кабины, выпил, вынул ключи, собрался выйти, а тут диспетчер Семина. Так и так, мол, Николай, выручать базу надо, срочный груз со станции вывезти требуется, заказчик рвет и мечет, потому как за простой вагонов штраф берут.

Облокотился он тогда, помнится, о дверцу, подумал-поду-

мал и согласился, забыв о пиве. Про Кланьку все соображал: к чему, считал, домой торопиться, если ты там постылый, ненужный, чужой.

Завел машину, выехал, а у самой станции выскочил под колесо ребятенок, вихрастый такой, белобрысый, на Шурика смахивал. Рульнул тогда Николай резко, но не рассчитал, улица узка была, наехал на человека. Пожилой был мужчина, в парусиновых штанах, с потрепанным портфельчиком, много лет, видать, носил.

Николай ручной тормоз выжал, на руль голову склонил и ничего больше не видел. Как «скорая» мужчину того увезла, как толпа собралась, как милиция приехала. Мальчонка сгинул, словно в тартарары провалился, ладно еще нашлись двое прохожих, дали показания, что рулил он для спасения ребенка, а то бы еще хуже было.

Да уж куда хуже, мужчина с портфельчиком в больнице помер — портфельчик этот и парусиновые, неновые штаны до сих пор ему снятся, — а милиция признала, что шофер был выпивши, провела обследование и бутылку под сиденьем нашла.

Про суд Николай вспомнить ничего толком не мог, понял только, что помогли ему те двое прохожих, да еще хорошо помнил Кланьку: она, сидя в зале, ревела как корова и казала ему кулак.

Но и это мог утишить Николай Симонов, мог спрятать, забыть — то же, что случилось дальше, забыть было бы позором.

В заключении работал как дьявол, пятилетку ему скостили до трех лет, а то, что Кланька наделала, скостить никто не мог.

Сперва он писал ей краткие, кургузые, нескладные письма, и она отвечала — костерила его, корила, что подвел, оставил одну, но отвечала. Потом письма ее стали приходить реже, а затем, как раз к Новому году, в подарочек, ничего себе, пришло враз два конверта: одно от нее, обыкновенное, как всегда, второе от каких-то добрых людей, неподписанное, и в этом втором сообщалось сердечно, что Кланька — потаскуха, связалась с мастером какого-то завода, моложе даже ее, а у него жена и дети.

Николай поверил этому неподписанному письму, поверил сразу и затрясся плечами — первый раз заплакал во взрослом возрасте.

Мужики, жившие с ним, а разный, надо сказать, был на-

родец, умолкли, подставили стакан денатурата, добытый каким-то хитрым образом, но пить Николай не стал, потому как понимал: такое не запьешь, не успокоишь.

Кланька продолжала писать, он складывал ее письма в мешок, но она настигала своими письмами, видно поняв, что он все знает, настигала — через милицию, что ли? — и здесь, в тайге, в партии, куда он устроился, уйдя от тех парней из общежития.

Тут, в группе, никто не досаждал ему разговорами, никто не боялся его, бывшего заключенного, ребята видели в нем другое: выносливость, старание, безотказность, — и он среди них отошел, отогрелся.

Лежа у костра, успокоив работой и плотной едой утреннюю тяжесть, Николай думал о том, что теперь уже не боится людей, не боится, как посмотрят они на него, что спросят. В конце концов, Кланька еще не пуп земли, не последняя инстанция, есть вон и Нюрка-буфетчица, здешняя баба, вдова.

И только мысль о Шурике, белобрысом Александре Николаевиче, саднила душу.

Вглядываясь в костер, в кровавое его пламя, Симонов думал, что все не просто, что Нюрка — это так, заблуждение, и что Шурик — вот кто для него самый главный смысл жизни.

— Какова обычная система связи с группами, которые находятся в поле?

— Дважды в сутки, как правило, рано утром и вечером. Днем группы работают.

— А в случае ЧП?

— Есть аварийная радиоволна, которую наша станция прослушивает постоянно в конце каждого часа.

— Я проверял. И простые и аварийные радиограммы центральная радиостанция принимала четко, исправно. Исправно, то есть вовремя, они передавались и по инстанции. Но я хотел бы поговорить о системе рассмотрения радиограмм.

— Пожалуйста.

— Начальник радиостанции, начальники партий показывают, что очень часто радиограммы групп, адресованные вам как руководителю экспедиции, валялись на вашем столе неделями. Что пренебрежение к документам связи — для вас норма, обычное дело.

— Но в этом случае все было не так.

— Разберемся, как было в этом случае...

24 мая. 22 часа 45 минут.
СЕМЕН ПЕТРУЩЕНКО

— Вечерний сеанс, — напомнил он Славе Гусеву, надев наушники и подкручивая настройку.

Слава встрепенулся, обтер ладонью щетинистый, колкий подбородок, велел привычно:

— Передавай!

Семка перекинулся с радистом отряда обычными приветствиями, поглядел на Гусева.

— Давай! — велел тот. — Работы идут нормально. Закончим объект двадцать пятого вечером — двадцать шестого утром. Последующей связи уточним. Сообщите Цветковой, надоело просить у нее лодку. Ветер теплый, идет резкая потайка. — И рубанул твердой, как лопата, ладонью. — Гусев.

Семка передал радиограмму, попрощался с отрядом, снял наушники.

— А ветер-то правда теплый! — сказал он удивленно. — Я и не заметил.

— Во дает! — засмеялся Гусев. — По брюхо искупался, а что весна, так и не заметил.

— И правда, братцы, — виновато ответил Семка, — совсем мы тут зазимовались. Дома-то май, все, поди-ка, цветет. Управление наше на пляж после работы ездит.

— Греби шире! — откликнулся дядя Коля Симонов. — Не-а, ныне весна запоздалая.

— Да она в здешних местах всегда такая, — засмеялся Слава, — наверху-то река уж, поди, ото льда освободилась, а тут и не думала.

— А я люблю половодье, мужики, — оторвался от бумаги Орелик. — Едешь на лодке, гребешь потихоньку, глядишь — а лес в речку зашел. Черемуха цветет, в воде отражается. И вода черная, вроде неподвижная. Заглянешь в нее — трава, как длинные волосы, шевелится.

— Хе, хе, — оживился дядя Коля Симонов. — Ты у нас, Орелик, прямо этот, как его, рилик.

— Кто, кто? — захохотал Семка. — Рилик? Ну ты даешь, дядя Коля!

Симонов смутился, махнул рукой, полез в спальный мешок, заворочался в нем, словно медведь-шатун, аж полога ходуном заходили. За ним ушел Гусев. Семка сидел у костра и глядел, как пишет длинное, на много страниц, письмо Орелик. Пишет, пишет, не может кончить, даже удивительно, как у него тер-

пения хватает, и, главное, не отправляет свое письмо, ждет, когда сам вернется в поселок.

Семка глядел на костер, на его трепещущие, жаркие языки, переводил взгляд на Вальку, хотел спросить его про то, о чем давно думал, и не решался.

В палатке на разные голоса захрапели Слава и дядя Коля Симонов, с присвистом, с протяжкой.

Семка, пыхтя, забрался в спальник, застегнул его до подбородка, притих. В приоткрытый полог палатки гляделось черное небо. Ветер негромко трепал брезентовый полог.

Притушив костер, влез в палатку Валька. Он быстро захрапел. Теперь уже целый оркестр играл в тайге, а Семка никак не мог отключиться.

Ему представлялась звонкая зимняя аллея — и девочка в конце ее, похожая на одуванчик.

Девочка проходила мимо него, проходила и проходила, как в куске фильма, который крутят много раз подряд, и вдруг Семка услышал плеск.

Он вздохнул и закрыл глаза. «Какой там плеск, — решил он, — вокруг зима...» И уснул.

— Первая радиограмма от Гусева поступила вечером 24 мая.

— Я не признаю эту радиограмму тревожной, требующей каких-либо моих действий.

— А начальник партии?

— Вы опять намекаете на лодку?

— Да.

— Но не могли же мы гнать вертолет ночью. Тем более что авиаторы могут садиться в темноте только в условиях аэродрома или хорошо освещенной и ориентированной площадки.

— Я не говорю про ночь.

— Будем считать, что мы это пояснили. В том, что у Гусева не оказалось лодки, в первую очередь виноват он сам, во вторую — Цветкова, в третью — Храбриков.

— Теперь о второй радиограмме. Утренней, от 25 мая. Когда стало ясно, что группу надо выручать и как можно скорее.

— Меня не было в это время в поселке.

— Вы отсутствовали по служебным делам?

— Безусловно.

25 мая. 9 часов.
КИРА ЦВЕТКОВА

Она просыпалась рано, как бы искупая этим свои недостатки, деловито выходила из дому, не зная толком, чем заняться: геодезисты были в тайге, ей оставалось только следить за ними, поддерживать связь, получать информацию — опытные начальники групп знали свое дело и не нуждались в командах.

В этот раз она проснулась так же рано, как и обычно, но решила перелистать инструкции, конспекты, чтобы обновить в памяти порядок и систему геодезических вычислений — время от времени это приходилось делать, чтобы не оконфузиться.

Раскрыв тетрадку, заполненную аккуратными, маленькими буквами, Кира уставилась в нее невидящими глазами. Ей было одиноко и страшно, она опять подумала о своей судьбе, вспомнила мечту о пединституте. Она даже в загородные походы никогда не ходила, и вдруг — начальник партии.

Кира оторвалась от тетради, обессиленно захлопнула ее, надела куртку. Единственное, что у нее получалось, — отчеты. Она умела их оформлять, подчеркивала разделы, итоги, цифры разноцветными карандашами и поэтому считалась неплохим начальником партии. Но Кира понимала: она только переписывает результаты чужого труда, как бы примазывается к работе других. Кира вышла из дому, побрела по улице, вдыхая сырой, туманный воздух. Делать ей было нечего — надо только зайти ненадолго к радистам, прочитать радиограммы групп, кому-то ответить, что-то просто принять к сведению. Связь находилась в покинутом доме, который экспедиция отремонтировала и приспособила к своим нуждам. Хозяева избы исчезли и не появлялись, не предъявляли своих прав, — наверное, перебрались в город. Кира вошла в дом, обтерев на крылечке липучую поселковую грязь.

— Кира Васильевна! — окликнул ее начальник радиостанции Чиладзе, худой, словно изможденный, грузин с огромными, казалось, во все лицо, грустными глазами. — Кира Васильевна! — повторил он. — Хорошо, что пришли, мы к вам посылать хотели. Тут две радиограммы от Гусева.

— Опять раньше работу кончили? — усмехнулась Кира, вспомнив Гусева, грубоватого, простодушного мужика, который вечно торопился, неизменно перевыполняя план, будто за ним кто-то гнался, кто-то его торопил.

— Одна вот вечерняя, — подошел к ней Чиладзе, протягивая бланк. — А эту сейчас приняли.

Кира пробежала строчки. Первая радиограмма напоминала про лодку; читая ее, она с раздражением вспомнила Храбрикова, которому передала лодку еще неделю назад с наказом немедленно переслать ее Гусеву. Храбриков кивнул, сразу возвращаясь к своим делам, будто Кира — назойливая муха и отвлекает его от важных забот, и, конечно, лодку не перевез, а она, растяпа, забыла проверить.

Кира раздраженно взяла второй бланк, исписанный каллиграфическим почерком, и ею овладела тревога.

«Наблюдается подъем Енисея, — прочла она. — Возвышенность в пойме реки, где находится лагерь, окружена мелким слоем воды. Выходим работу. Предполагаем завершить четырнадцати часам. Этому сроку высылайте вертолет. Гусев».

Кира снова вспомнила Храбрикова, его хорькоподобное маленькое лицо, мелкие серые глазки. «Всегда так, — подумала она, раздражаясь еще сильнее, — всегда мешает, ластится только к Кирьянову, а виноватой будешь ты».

— Ничего страшного, э? — спросил Чиладзе, поблескивая глазами, выражая добродушие и симпатию к ней.

— Пока ничего, — ответила Кира.

Она взглянула в окно. Погода прояснялась, воздух светлел, делая пространства емкими и прозрачными. Кира кивнула Чиладзе, велела поддерживать с группой Гусева связь и вышла на крыльцо.

Этот Храбриков всегда раздражал ее, как, впрочем, и всех остальных начальников партий, проявляя к их делам полное равнодушие... «В конце концов это не может продолжаться бесконечно, — подумала она, стараясь расшевелить себя. — Когда-то и кому-то надо с этим покончить».

По ее мысли, сейчас был самый подходящий момент пойти к Кирьянову, используя его расположение, пожаловаться на Храбрикова, доказать с фактами в руках, что игнорирование им заданий начальников партий может привести к неприятностям, но что-то мешало Кире решиться на такой разговор.

Она не была уверена, что Кирьянов не станет на защиту Храбрикова. И почему выступать против экспедитора должна именно она — ведь есть, в конце концов, начальники партий — мужчины. Она понимала, что жалоба есть жалоба, как ни крути...

Кира сошла с крылечка и нерешительно пошла в сторону

дома Кирьянова. Нет, все-таки она должна была об этом сказать. Это ее обязанность. Речь идет о людях ее партии, она за них отвечает.

Стараясь распалить себя, а в самом деле робея все больше, Кира подошла к конторе, где работал и жил Кирьянов, но его на месте не оказалось, и, когда ей сказали, что начальник ушел к вертолетам, она облегченно вздохнула.

Жалоба на Храбрикова, это неприятное дело, откладывалась на какой-то срок, пусть даже не на очень большой, и это успокаивало ее.

Кира вернулась к себе, снова открыла тетрадь, но в голову по-прежнему ничего не шло.

Неожиданно словно что-то толкнуло ее. Машинально, еще не сознавая, что делает, Кира оделась и выскочила на улицу. По дороге к вертолетной площадке мысль оформилась и созрела: она должна сказать все Кирьянову прямо при Храбрикове. И немедленно послать лодку. Пусть это будет уроком для маленького, облезлого человечка.

Кира шагала, не разбирая дороги, разбрызгивая грязь, и была недалеко от площадки, когда раздался привычный грохот винта и зеленая пузатая машина взмыла вверх, уходя к тайге. Волнуясь, Кира подбежала к избушке возле площадки. Второй вертолет был тут. Кира увидела пилота, рябого молодого парня, совсем мальчишку, и крикнула ему:

— Где Кирьянов?

— Они улетели, — ответил летчик, постукивая гаечным ключом о какую-то железку.

— Кто они? — спросила Кира.

— Кирьянов и Храбриков.

— А куда? И надолго? — настойчиво спросила она, понимая наивность своего вопроса.

Пилот пожал плечами, отвернулся, и тут только Кира заметила, что лопасти хвостового винта с вертолета сняты и пилоты вместе с механиком возятся возле него на расстеленном брезенте.

«Профилактика», — отметила она механически и вдруг увидела у порога избушки небрежно брошенную надувную лодку. Она узнала: это была лодка для Гусева, и она с острой неприязнью подумала о тщедушном и вредном Храбрикове.

— Я хочу вернуть вас к одному своему вопросу. Хочу повторить его. Как вы оцениваете вторую радиограмму?

— И ее я не считаю тревожной. Видите, Гусев же собирался продолжать работу.

— Однако несколько позже он направил новое сообщение. Вот оно: «Уровень воды поднимается. Попытались перенести лагерь триангуляционной вышке. Сделать это не удалось большого объема груза. Остров, на котором находимся, постепенно сокращается. Просим вертолет перенесения лагеря более высокую точку. Гусев».

— Но эта радиограмма пришла намного, а не несколько, как вы выразились, позже.

— Через четыре часа.

— Видите!

— Их можно понять. Они пытались исправить положение своими силами.

— А нас нельзя понять?

— Я хочу повторить один вопрос.

— Слушаю.

— Вы вылетели в тот день по служебным делам?

— Я же сказал. Конечно!

25 мая. 12 часов 10 минут.

ПЕТР ПЕТРОВИЧ КИРЬЯНОВ

День рождения, черт побери!

Он считал себя обязанным быть временами сентиментальным. Для большого, мощного человека очень даже своеобразно проявлять иногда свойства, вроде бы для него чуждые; их надо проявлять, если даже их в самом деле нет; нет, так надо создавать, синтезировать.

В день своего рождения каждый год он вел задушевные беседы с окружающими людьми, валял дурака, представлялся симпатягой, обаяшкой, умницей. В день рождения, выпив, он обожал всплакнуть, рассказать в лицах какую-нибудь притчу, пофилософствовать, стараясь свежо формулировать старые мысли или раскавычивая классиков.

Этот день был как бы смотром его всевозможных дарований, и всякий раз он оставался доволен, убирая в стокилограммовую оболочку, как в пенал, свой действительный характер.

Сейчас, когда вертолет несся над тайгой, оставляя на земле неотвязную тень, и разговаривать из-за треска моторов было

невозможно, Кирьянов как бы внутренне готовился к предстоящему вечеру.

Время от времени он выглядывал в иллюминатор, хотя глядеть по негласному уговору должны были пилоты, знающие, куда и по какой надобности летит сам начальник, и взгляды на землю вызывали в нем чувство приятного удовлетворения.

На сотни километров внизу кипела тайга, однообразная, скучная весной, и на этих сотнях километров он, ПэПэ, был полновластным хозяином. Он работает тут уже несколько лет, его деятельности придавали значение, каждый год увеличивая количество партий, людей, техники. Сибирь осваивалась вовсю, по-настоящему, но сколько еще было до этого настоящего! Сколько первых троп, первых просек, первых отметок на картах, пока не начнется здесь хоть какая-нибудь мало-мальская жизнь.

Нет, все это было впереди, и про себя ПэПэ готовился к будущему, к тому, что заслужено: новым должностям, на этот раз в управлении, а то и выше, к наградам, вполне возможно, орденам, к скромным рассказам в тесном кругу приятелей — впрочем, что же стесняться, можно и в широкой аудитории — о нелегком, суровом, полном лишений и невзгод, как пишут сочинители, труде знатного, умелого первопроходца.

Это, конечно, будет, придет, бесспорно, надо только не загадывать вперед, не гнать динамо, вопрос упирается во время, каких-нибудь в несколько лет.

Кирьянов вспоминал двух геологов, молодых довольно парней, выступавших у них в управлении. Оба получили Ленинские премии за открытие нефти, кандидатские степени без защиты — только по отчетам, и их появление тогда влило в ПэПэ новые силы. Теперь образ двух парней в освещенном яркими огнями зале был для Кирьянова своеобразным эталоном, жизненным стимулом, миражем, который, возникая время от времени в памяти, обнадеживал на дальнейшее...

Он выглядывал в иллюминатор вертолета, властно осматривал таежную равнину и, не смущаясь смелых параллелей, сравнивал себя с Семеном Дежневым. Кирьянов усмехнулся. Что скрывать от самого себя — ему казалось, что даже внешне он походил на Дежнева, если бы вот только волос на голове побольше. Но этот недостаток свой он прикрывал, зачесывая волосы сзади и с боков вперед, а в остальном — в чертах лица — по его мнению, все сходилось.

«Ха-ха! — рассмеялся над собой Петр Петрович. — А вы

порой глупеете, так до орденов и регалий можно и не добраться! — Но тут же успокоил себя: — Ничего, в день рождения можно».

Можно, конечно, можно, а ему, хозяину всех этих необжитых, пустынных мест, «губернатору», как шутят его друзья, можно многое.

Кирьянов вновь скосил глаз в иллюминатор, усмехнулся, вспомнив одного начальника партии, который ушел от него каким-то клерком в геологическое управление. Насчет клерка — это он, ПэПэ, побеспокоился, не лыком все-таки шиты, все-таки кое-что разумеем в устройстве этого мира, но было время, тот начпартии бушевал. На открытом собрании правду-матку резал. Объяснял ему, Кирьянову, что-де для него тайга лишь ступенька вперед, что ему на тайгу наплевать. Тогда он отбояривался, пришлось, говорил красивые тексты, но потом взял крикуна за грудки, — нет, не в переносном, в прямом смысле слова, — поднял его за телогрейку в тихом перелеске, выследив, конечно, заранее, и высказал ему что положено. Чтоб убирался прежде всего и что тайга — она и есть тайга, молиться на нее он не собирается. Он тут хозяин — и точка. Начпартии быстро смотался, молол что-то в городе на Кирьянова, но поди-ка доберись к нему из города!..

Вертолет пошел вниз. Храбриков заметался у иллюминатора, стал подбрасывать мешки к дверце, чтобы Кирьянову мягче было стоять на колене — стрелял он всегда с колена, распахнул дверь, устроил специальную решетку — не дай бог, вывалишься.

Кирьянов приветливо улыбнулся ему, помахал пилотам — они сигналили руками, указывали пальцем вниз — и пристроился на колено. Теплый ветер рвался в открытую дверь. Петр Петрович зажмурился в удовольствии, обратил внимание, что вертолет повис совсем низко, и только тогда, не волнуясь, выглянул.

На большой прогалине, не зная, куда бежать, носились взад и вперед три лося.

Самый большой из них, самец, пугаясь стрекочущего чудовища и черной тени, скользящей по снегу, порывался к лесу, но тень перерезала ему путь, и тогда он круто разворачивался и мчался назад. Это была игра живого и мертвого, игра крови и металла. Она забавляла Кирьянова, он гулко хохотал, предвкушая победу над лосями.

Он поставил удобнее колено, щелкнул затвором и положил ствол карабина на решетку. Пилот на какое-то мгновение за-

вис неподвижно, и Кирьянов неспешно, через ровные интервалы времени, будто робот, выпустил в самца пять пуль.

Оружие приятно отдавало в сильное плечо, карабин харкал злыми, почти невидимыми на солнце всплесками пламени, пули уходили вниз, взрывая снег, но ни одна не достигла цели. Кирьянов, честно говоря, не получил бы удовлетворения, если бы с первого выстрела уложил лося. Он хотел игры, но не короткой, неинтересной. Его увлекал азарт охоты. Он перезарядил карабин и, целясь уже тщательнее, выпустил обойму рядом с лосем. Зверь затравленно метался по прогалине, увлекая за собой других — видимо, самку и детеныша.

К Кирьянову наклонился Храбриков, что-то лопоча.

— Ори громче! — велел ему ПэПэ, не расслышав.

— Вы прямо как в тире, Петр Петрович, — крикнул в ухо Храбриков. — Красиво бьете!

— Красиво? — гаркнул Кирьянов, любуясь собой, своей силой, меткостью, хваткой настоящего промысловика. — Гляди, как будет теперь!

Лось упал, тотчас вскочил, волоча заднюю ногу.

ПэПэ прицелился снова, но на этот раз промазал.

Третья пуля попала лосю, кажется, в позвоночник. Он упал, забрыкал ногами и пополз, оставляя тягучий кровавый след.

Кирьянов устало откинулся от карабина. Посмотрел, жмурясь, на летчиков. Они вопросительно показывали на землю, спрашивая, садиться или продолжать. «Продолжать!» — велел знаком Кирьянов и снова припал к прицелу...

За всю охоту жалость ни разу не поскреблась в его сердце. Удовлетворенно разглядывая свою работу, он махнул пилотам, сигналя, чтобы они возвращались к прогалине, где лежал убитый лось.

— Ну что ж, я еще раз хочу узнать ваше мнение о Храбрикове.

— Я уже говорил. Или вы проверяете меня, не изменил ли я по ходу следствия свое мнение?

— Вы излагали здесь много точек зрения на разных людей. Ради истины надо признать: знаете вы большинство из них весьма приблизительно. Но про Храбрикова говорили крайне положительно.

— Безусловно.

— Вы считаете его человеком, на которого можно положиться?

— Конечно.

— А на пилотов, с которыми вы летели в тот день?

— Ах, вот оно что? Но они тоже получали свое.

— У этих людей хватило совести самим прийти ко мне.

— Я повторяю, они тоже не стерильны.

— Кто подтвердит это?

— Храбриков!

— Вы уверены?

— Конечно.

— Вот его подтверждение.

— Что это?

— Коробка из-под зубного порошка. Откройте.

— Я не понимаю.

— Это пули. Пули вашего карабина.

25 мая. 14 часов 30 минут.

СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ ХРАБРИКОВ

Свежевать лося Храбриков взялся сам. Охотник он был никудышный, но зато славился по части разделки туш еще дома, имея процент с этого своего, как нынче говорят, хобби. Он колол поросят соседям, мог забить корову. Не очень сильный физически, хотя и жилистый, он применял в таких случаях свои скотобойные хитрости — сперва оглушал животину тяжелым ядром, купленным в магазине спорттоваров, просверленным специально для этой надобности и надетым на топорище, а потом колол, целясь заостренной, как бритва, финкой прямо в сердце.

Дома он занимался этим за мзду — приличную долю мяса или за выпивку, и все, кто держал в округе скот, знали Сергея Ивановича как мастера этого дела.

Здесь Храбриков свежевал дичь тоже не зазря. Была у него, задетого однажды Кирьяновым, обозванного едва ли не жуликом, одна своя идейка, вроде бы как страховка мало ли на какой случай.

Для этой своей страховки он купил за двугривенный жестянку с зубным порошком, порошок вытряхнул за ненадобностью — своих зубов у Храбрикова не было — только протезы, — а жестянке нашел другое применение.

«Сучий ты сын, — думал он всегда в таких случаях о Кирьянове, — мальчишка сопливый, нашел кого оскорблять». И, свежуя туши лосей, первым делом выковыривал из них кирьяновские пули, кладя в коробку из-под зубного порошка.

Никто никогда на это занятие его не обращал внимания, Храбриков помаленьку заполнял коробку, мечтая набить ее полной, а потому и шутил в своем стиле, как пошутил сегодня.

Когда вертолет, закончив преследование, вернулся к прогалине, где лежал убитый, как они думали, лось, зверь был еще жив.

Испуганный громом винтов, он приподнялся на согнутые передние ноги, жалостливо крича.

— Ишь ты! — сказал Кирьянов, сдергивая с плеча карабин. — Живучий!

Понимая, что будет дальше, Храбриков, улыбаясь, шагнул к начальнику, тронул его за рукав и просительно сказал:

— Дайте я, Петр Петрович, а? Стрелок из меня никудышный, так хоть малость поупражняюсь.

Кирьянов снисходительно улыбнулся, хлопнул больно его по спине и протянул оружие.

Крадучись Храбриков подошел к лосю на верное расстояние и, целясь в холку, дал три выстрела. Зверь рухнул, не издавая больше никаких звуков, но был еще жив, мотал широкой мордой.

— Что ты, хорек, крадешься? — крикнул Кирьянов Храбрикову. — У него позвоночник перебит.

Экспедитор хихикнул, подступил еще на пару шагов. «А то я не знаю, — ответил про себя Кирьянову, — был бы не перебитый, так и полез бы я тебе на рожон!» Он прицелился снова и, чувствуя сильные толчки выстрелов, закончил обойму.

Вчетвером они принялись втягивать матерого лося в кабину, кантуя его, кряхтя и надсаживаясь, потому что туша не проходила в неширокую дверь. Не помогала даже кирьяновская мощь. Они отступились, закурив, соображая, как быть.

— А ну-ка, орлы, — подумав, засуетился Храбриков. Глаза его засверкали, дряблые щеки порозовели. — Не найдется ли топора?

Топор нашелся, и Храбриков изложил свою идею.

— Бревно кабы не полезло, как поступили б? — спросил он, изображая сметливого простоватого мужичка. — Распилили, разрубили. Вот и мы его разрубим. — Он засучивал рукава, похихикивая. Теперь настала его пора.

Кирьянов поморщился, сказал:

— Ну и мясник ты, дядя! — но протестовать не стал. Отошел вместе с летчиками в сторону, чтобы не забрызгал его находчивый экспедитор.

Храбриков долго рубил лося и ни разу не поморщился за все время.

Закончив работу, вспотев, с лицом, избрызганным красными точками крови, он приветливо, радуясь себе, пригласил остальных к завершению погрузки. Тушу по частям втащили в машину, летчики торопливо заняли свои места, машина поднялась в воздух...

Теперь, доставив добычу в поселок, Храбриков снова занялся разделкой туши. Он сдирал с мяса остатки шкуры, полосовал его на огромные куски, отыскивая при этом блестящие конусообразные пули. Время от времени жестянка из-под зубного порошка негромко взвякивала, еще один кусочек металла ложился на ее дно, и было невозможно выяснить, какая пуля кирьяновская и какая его, Храбрикова.

Он свежевал лося, а соображал другое: как посадить эту дуру девку, начальника партии.

Такой хай сегодня устроила, вспомнить тошно. Тихоня, тихоня, а вдруг заговорила! Лодку, видите ли, он не доставил. Жалко, Кирьянова не было, уже ушел к себе, а то бы он настропалил его против Цветковой. Заставил бы он прищучить ее. Он-то, чай, понимает, что, кроме этих лодок, полно других забот у экспедитора.

Храбриков оторвался от мяса, постучал, задумавшись, финкой по столу.

«Очень может быть, что девка сама к Кирьянову пойдет, — подумал он, — тогда тот метнуть может, тут такая игра — кто на кого раньше наговорит».

Сергей Иванович встал, с трудом подняв миску, набитую мясом, отнес на кухню. Там уже вовсю шла жарка и парка. День рождения Кирьянова отмечали всегда широко и щедро. Оставшиеся в поселке собирались в общей столовой, завозили заранее ящики выпивки, главным образом спирта, напитка для здешних краев и привычного и рентабельного: хошь покрепче — так пей, хошь — разбавляй, получается вроде водки, и тогда возрастает объем: из бутылки спирта — две водки.

Пошутив с поварихами, выхватив со сковородки ломтик поджаренной, хрупкой картохи, Храбриков вернулся во двор, к своим мясным делам и едва снова взялся за нож, как по-

чувствовал на себе чей-то пристальный взгляд. Он встрепенулся, словно жулик, которого застали за воровством, и закрутил головой.

Перед ним, прислонясь к дереву, стояла Цветкова.

Она глядела прищурясь, зло, словно выносила приговор, и Храбриков встал под ее взглядом, чуя недоброе. «Настучала-таки, сучка, — подумал он про себя. — Ну да не испугаешь, видели мы таких».

— Ну вот, — сказала Цветкова, — опоздали вы, Сергей Иванович.

— Никуда я не опоздал, — буркнул он, успокаиваясь, приходя в себя. «С Кирьяновым-то я как-нибудь разберусь», — подумал он, уронив взгляд на жестянку с пулями.

— Опоздали, — повторила Цветкова. — Вот радиограмму держу. — Она помахала листочком. — Им уже не лодка, а вертолет нужен.

«Ага, голубушка! — сообразил Храбриков, уловив в голосе Киры неуверенность. — Чего-то у тебя не так, за меня спрятаться хотишь!» Он почесал лоб, поглядел на нее хмуро и сообщил, выстраивая в цепочку ход своих потайных мыслей:

— Один вертолет на ремонте, другой только с задания вернулся. Вот пообедают и полетят. А еще лучше завтра.

— Завтра! — нервно засмеялась Цветкова, и Храбриков снова уловил это. — Людей заливает, а вы — завтра!

«Раз заливает, — моментально сообразил Храбриков, — вывозить надо немедля, но пусть помучается, подрожит эта дура». И ответил, оглянувшись вокруг, нет ли кого поблизости, свидетелей не найдется ли:

— Ну, раз так, тогда конешно.

— Значит, отправите! — обрадовалась Цветкова, и Храбриков кивнул, радуясь про себя: попробуй-ка докажи, что был этот разговор. И припомнил еще одну подробность про Кирьянова.

Там, на прогалине, когда грузили лося, разрубленного надвое, и Храбриков для аккуратности присыпал снегом кровавое крошево, оставшееся на проплешине, а летчики уже торопливо прошли в кабину, Кирьянов, улыбаясь и трепля Храбрикова за плечо, спросил, кивая головой на тайгу:

— А впрямь ведь, дядя, губерния целая!

— Губерния! — охотно согласился Храбриков.

— А правда, дядя, что меня поэтому губернатором кличут? — игриво спросил Кирьянов.

Цепкий Храбриков понял, к чему этот разговор, обрадовал-

ся ему, подтвердил, отводя глаза и как бы стесняясь передать хорошему человеку, что говорят о нем заглазно:

— Как есть кличут.

Кирьянов зареготал, опять больно хлопая экспедитора по плечу, и Храбриков хихикнул тоже. Хихикнул от души: нет, не зря он жизненный итог такой сделал, что при должности никогда не пропадешь. Не то что на должности.

Подробность эта держалась у него в голове до тех пор, пока Цветкова, довольная разговором с ним, не свернула в избу.

«Петр Петрович не продаст, — подумал он удовлетворенно и хихикнул. — Кабы вот только я его не продал!»

— Юридически пули в жестяной коробке и происшествие на Енисее не связаны между собой. Это особые, отдельные дела.

— Что ж. Вы положили козырную карту. Я действительно не ожидал такого.

— Вы, кажется, полагали, что хорошо разбираетесь в людях?

— Оставим это. Жестянка с пулями — убедительное доказательство. И я готов ответить за это. Но почему вы ставите знак равенства между охотой на лосей и тем, что случилось?

— Но разве это не две стороны одной медали?

— Я не понимаю.

— Понимаете, но не хотите признать. Итак, оставим пока лосей. Вернемся к людям.

25 мая. 15 часов.

СЛАВА ГУСЕВ

Когда на рассвете Семка разбудил его удивленным криком и, высунувшись из палатки, Слава увидел, что холм, на котором расположен лагерь, окружен водой, он не испугался, не растерялся, а велел греть завтрак.

Заспанные и взлохмаченные, вылупились из нагретых спальников. Дядя Коля Симонов и Орелик беспокойно заколготились, озираясь по сторонам, но Славина невозмутимость произвела на них свое действие.

— А что, мужики! — заорал Валька, подбегая к краю снега и брызгая водой в лицо. — Это даже ничего! Речка сама подгребла! Хоть умоемся!

— Снег, обратно, оттаивать не надо, — поддержал его Семка, набирая чайник.

Костер уже трепыхался, будто живой, щелкая сучьями, норовя заговорить, создавая уют и полевую домашность.

— Погодьте орать! — осадил парней дядя Коля. — Еще натужимся счас, похоже по всему, таскать оборудование придется.

Гусев обошел образовавшийся остров по кромке воды. Снег заметно осел, ноги хлюпали в снежной жиже, но глубоко не проваливались. Видно, им повезло: они устроились на холме, основательно подтаявшем снизу, и земля находилась неглубоко.

Счастья, однако, в этом было маловато, приходилось что-то соображать, хотя чем внимательней приглядывался Гусев, тем больше успокаивался: постепенно созревал вариант действий. Он воткнул у стыка воды и снега сучья для ориентира и подошел к костру. Вчерашний ужин дымился, разъяряя аппетит, они забарабанили ложками, успокоившись при виде хорошей еды и хорошего утра.

Солнце, словно играя, пряталось за редкие облака, выбегало снова, синя прозрачную воду, роняя слепящие блики. После завтрака наступал обычный сеанс связи, и, когда Семка настроился, Гусев, не говоря ничего другим, не советуясь, продиктовал радиограмму.

Семка щелкнул выключателем, заканчивая передачу, а Орелик сказал глуховато, видно переживая:

— Слава, может, не надо самим?

Гусев сдержал себя, не выразил ничем своего неудовольствия, спросил:

— Что ты предлагаешь?

— Вызвать вертолет, пока позволяет площадка, и переправить вещи по воздуху.

— Я думал об этом, — сказал Гусев. Он действительно думал об этом и говорил правду. — Только ты плохо знаешь Кирьянова и его прихлебателя.

— Храбрикова? — спросил дядя Коля. Гусев кивнул. — Да уж этот хорек вонюч, — пробормотал Симонов.

— За лишний перегон вертолета устроят канитель. Могут сократить премию.

— Но мы же попали в аварийную ситуацию, — возразил Орелик.

— Тут неглубоко, — не согласился Гусев. — Перенесем, может, не замочив ног.

Валька недовольно умолк, не согласившись, видно, с его

решением, но Гусев постарался сразу забыть это. «Пусть, пусть вырабатывает свои взгляды», — подумал он и, выбрав из сучьев батог покрепче, взвалил на себя чей-то рюкзак.

— Погодь-ка, — остановил его дядя Коля.

Он подхватил штатив в футляре, по примеру Гусева придирчиво выбрал дрын, и они осторожно ступили в воду.

Первый десяток метров к высотке, где стояла триангуляционная вышка, они прошагали легко и быстро, лишь по щиколотку замочив сапоги, и Гусев было обрадовался, что все идет пока гладко.

Прикидывая, он решил, что ничего страшного пока не произошло, просто где-то в верховьях началась бурная потайка, вода залила коренной лед и пошла как бы вторым руслом, а это еще ничего, пережить можно — такая вода быстро не поднимется, может так и простоять тонким слоем до самого ледохода.

Однако радость оказалась недолгой. Идя по щиколотку в воде, Гусев и дядя Коля все-таки несколько раз оступились — земля тут, видать, была неровной, колдобистой, да и плотный слой снега под водой начинал мягчать — приходилось торопиться.

Гусев ощущал, как ледяная вода неприятно жжет ноги, но вида тем не менее не подавал, делая это скорее по привычке, нежели из желания скрыть от дяди Коли.

— Охолонулись? — спросил тот хрипло, с сочувствием и вдруг спросил: — А может, послухать?

— Чего послухать? — не понял Гусев.

— Орелика, — смущаясь, ответил дядя Коля.

Слова эти будто стегнули Гусева — вот пришла мало-мальски хреновая ситуация, и его, начальника группы, решение уже обсуждают кому не лень, — он резко, забывшись, пошел вперед, расхлестывая воду, и провалился по колено.

Симонов помог ему выбраться, они постояли минуту, отдыхая, переводя дух. Ледяная вода как бы отрезвила Гусева. Он постарался взглянуть на себя дяди Колиными глазами. Ей-богу, это начинало походить на Кирьянова, который только и знал, что горлопанил: мои вертолеты, моя экспедиция, моя работа. А у меня, выходит, мое решение!

Он обернулся. От лагеря они отошли уже далеко, высотка с вышкой были ближе, и, смягчаясь, Гусев сказал дяде Коле:

— Давай все же доберемся.

— А я разве что говорю? — ответил Симонов.

Гусев пошел снова, продавливая дрыном подводный снег,

стараясь нащупать твердину, и уже у самого почти холма провалился по пояс.

Дядя Коля стоял сзади, Гусев, приказав ему не трогаться, попробовал было выбраться, но оказалось, выбраться некуда, тут шла низина. По пояс в воде, он продрался сквозь хлябь до подножия холма, вылез, даже не отряхиваясь, поднялся повыше, снял с себя рюкзак и снова вернулся в воду.

Гусев шагал, раздвигая рукой плывущий колючий снег, не чувствуя ног, не чувствуя поясницы, сдерживая себя, чтобы не показать слабости перед дядей Колей и не застонать.

Он принял у Симонова штатив и приборы, снова велел ему стоять на месте, опять вернулся к высотке, уложив принесенное рядом с рюкзаком.

Не оборачиваясь лицом к дяде Коле, Гусев с усилием закусил губу. Боль слабым толчком пронзила тело... «Надо бы выпить, — подумал он. — Спирту. Но аварийный запас, наверное, у палатки». Наклониться и проверить принесенный рюкзак не было сил. Гусев собрался, уняв дрожь, и повернулся к дяде Коле.

— Симонов! — крикнул он. — Вели ребятам сворачиваться! Несите сюда имущество. Я здесь перенесу.

— В себе ли, начальник? — ответил ему дядя Коля, не думая уходить. — Сдохнуть через два дня хочешь? Никаких планов тогда не кончим. И премий не видать.

— Хрен с ней, с премией! — крикнул Гусев.

— Тогда баш на баш, — ответил Симонов. — Что вертолетом, что на гору. Здоровье токо сохраним! За кой ляд ломаться?

— Ничего! — не очень уверенно сказал Гусев, думая о том, что ему надо поскорее выпить, чтобы согреться.

— Себя не жалеешь, ребят пожалей! — крикнул ему дядя Коля.

На это Гусев ничего не ответил. Он постоял, едва сдерживая дрожь, смерил расстояние, отделявшее его от Симонова. Тридцать метров полужидкого снега, пробитого его телом, смотрелись обманчиво и неопасно. Он сжался и шагнул в это месиво, с трудом думая, что теперь остается одно: вертолет.

Уже в лагере обнаружилось — аварийный запас спирта Гусев унес на высотку. Возвращаться снова, идти опять через этот ад не было сил. С трудом, отвергая помощь Семки и Орелика, он переоделся в сухое, но согреться это не помогло.

Снова, не советуясь и ничего не объясняя, он велел Семке вызвать экспедицию по обычной волне и попросить вертолет.

— Может, по аварийной? — настырно спросил Семка.

— По обычной, — упрямо ответил Гусев, жадно глотая крутой кипяток и немного оттаивая. — Пока ничего страшного. Тут пятнадцать минут лета.

Наклоняясь, Орелик подлил Славе заварки. Они посмотрели друг на друга, и Гусев не отвел глаза. Орелик был прав, и Гусев признавал это.

— Не горюйте, ребята, — сказал он, улыбаясь потрескавшимися губами. — В случае, так и не больно нужна нам эта премия.

На другой стороне костра хмыкнул дядя Коля.

— Ты это деньгами-то больно не сорись, — посоветовал он, пошучивая. — Деньги нужны всякому, то есть даже как кислород. И мне, старому, и Семке, молодому, и тебе, многодетному.

Вечно хмурый, дядя Коля шутил редко, но, уже когда шутил, было весело всем и ему самому тоже.

Они рассмеялись.

Гусев лежал на полушубке, брошенном поверх брезента, смеялся, а холодными, несмеющимися глазами отмечал, что сучья, которые он воткнул утром у кромки воды, едва торчат из нее.

— Третья радиограмма, как зарегистрировано, принята в 15 часов 30 минут.

— Она тоже не значилась аварийной. Подчеркиваю — не значилась.

— Да, Гусев был спокоен очень долго. Он верил в экспедицию, верил, если хотите, в вас.

— Но он обязан был выйти на аварийную волну и поднять нас по тревоге. Таковы правила.

— В свое время он сделал это.

— Что такое «свое время»? И разве я виноват? Меня не информировали!

— Знаете, почему не информировали? Вас боялись! А когда Цветкова доложила вам, что вы сделали?

— Был праздник. День моего рождения.

— Кажется, тридцать шесть?

25 мая. 16 часов.

СЕМЕН ПЕТРУЩЕНКО

— Так и сидеть будем? — спросил Семка, оглядывая дядю Колю, Славу, Орелика.

— Плясать прикажешь? — откликнулся Гусев. — Валяй. Это полезно.

— А и то! — поднялся дядя Коля, с треском разминая кости. — Поразмяться не грех.

Шутя, выбивая в снегу глубокие рытвины и подыгрывая себе на губах, он прошелся вприсядку. Обрадовавшись, Семка выхватил расческу, приложил кусочек газеты, задул в свой инструмент, наигрывая пронзительную жужжащую музыку. Дядя Коля наплясался, хохоча, поддел Семку под бок, тот повалился, дурачась, болтая ногами и не переставая наигрывать на расческе бурный марш, — Семка Симонову был не пара, и тогда он поддел Славу, вызывая на бой.

Гусев поначалу отлынивал, отмахивался от дяди Коли, но это было не так-то легко: Симонов захватил Славу за шею, перевернул в снег. Пришлось за ним гнаться, бороться, то уступая, то побеждая, едва дыша, слабея от хохота.

Семка изображал судью, гудел в свою расческу, Орелик был за публику, свистящую, орущую.

Наконец они утихомирились, уселись вокруг костра, отдышались, утирая со лба пот, обмениваясь колкими шутками насчет чьей-то силы, а чьей-то немощи.

— Ты не силен, но широк! — шумел дядя Коля. — Никак тебя не перевернешь на бок.

Публика» хохотала, а Слава отзывался в ответ:

— Сам ты матрасная пружина. Как ни дави, только колешься!

Довольный общим балагурством, желая продолжить, поддержать начатое, Семка сказал:

— Мужики! Теперь потрепемся. Вот когда я в лагерь ездил, мы перед сном в палатке байки рассказывали. Старались страшнее. Только чем страшнее байка, тем больше смеху. Давайте и мы!

— Сказки, значит? — спросил дядя Коля. — Не-а, я сказок не знаю. Вышел из возраста.

— Я тоже, — потянул Гусев. — Вот вздремнуть бы сейчас.

— Ну а правду? — просительно сказал Семка.

— Какую же тебе правду? — усмехнулся Гусев, кладя голову на кулак и прячась под шубу.

Семка посмотрел вдаль, словно выискивая там, какую он правду хочет, обвел глазами воду, разлившуюся вокруг, и придумал:

— Ну, к примеру, про стихийные бедствия, раз мы тут как цуцики загораем.

— Эк хватил, — возразил Гусев, — стихийных бедствий у

нас быть не должно. Разве что отдельные наводнения и частные землетрясения.

— Во дает! — кивнул на него Семка.

— Ему иногда вожжа попадает, — усмехнулся дядя Коля. — Под хвост.

— А я был при одном бедствии, — отозвался Орелик. — На Памире. Ледник там двинулся.

Семка заколготился, подтащил к Вальке спальник, устроился поудобнее.

Орелик засмеялся.

— Ты чего это в рот глядишь? — спросил он.

— Слушаю про ледник.

— Э-э... — шутя толкнул его Валька. — Так, брат, не годится. Сам выдумал, сам первый и рассказывай.

Семка сморщил нос, выпучил глаза.

— Я никаких таких случаев не знаю! Ничего такого не видел!

— Ну тогда поспим, — обрадовался Слава, поворачиваясь на бок.

Семка расстроился. Ему так хотелось хоть раз какой-нибудь, пока все вместе и никто не мешает, как в поселке, и никому не надо идти опять в маршрут, посидеть немного, поговорить, повеселиться, в конце концов. Сколько они вместе ходят и только вечером собираются. Да и то! Поедят, свалятся от усталости и храпят. А он ходит вокруг них или сидит рядом, и поговорить не с кем. Нельзя же так, все дела да дела. А время — мимо, мимо. Потом же жалеть будут — ходили, жили рядом, а поговорить основательно все времени не хватало.

Гусев уже свистел носом, симулируя сон, дядя Коля тоже чего-то скисал, один Валька глядел на Семку выжидающе, и он стал спасать положение, стал спасать эти минуты, когда он дудел на расческе, а дядя Коля плясал и потом боролся с Гусевым.

— Я... это, — торопясь начал Семка, — про бедствия не знаю. Смешным можно заменить?

— Дуй! — велел дядя Коля. — Вали смешное! — И растянул рот, готовый смеяться.

Семка лихорадочно и тщетно перебирал свою короткую жизнь, неинтересные, обыкновенные случаи, свидетелем которых ему приходилось быть, но ничего, кроме глуповатых анекдотов и розыгрышей, не вспоминалось. Он решил рассказать про один розыгрыш посмешнее, это было не так давно, когда Семка уезжал от мамы в другой город, на учебу в ра-

диошколу, и там втроем с двумя приятелями снимал частную комнату.

Поначалу оба товарища очень нравились Семке. Один, Ленька, привез с собой аккордеон и вечерами громко играл, свеся на глаза челку и наклоня голову к инструменту, словно прислушиваясь. Второго звали Юриком, он был сероглаз, неприметен и любил поесть, но зато здорово работал на ключе, обходя остальных и в чистоте и в скорости.

В общем, Семка делил свое добродушие поровну между двумя товарищами до одного случая, вернее розыгрыша, на который толкнул его и Леньку Юрик-мазурик: так они прозвали соседа после этой истории.

Вечером, после занятий, Семен и Ленька пришли домой. Жутко хотелось есть, днем они заняли у кого-то рубль, пообедали, думая дотянуть до завтра — завтра выдавали стипешку, но своих возможностей не рассчитали: по дороге на частную квартиру аппетит разыгрался до невозможности. До стихийного прямо бедствия.

У булочной они проверили карманы, вытряхнули медяки, наскребли восемь копеек, взяли булку, похожую на лодку, перевернутую вверх днищем, и еще копейка осталась на разживу.

Дальше до дому они трусили легкой рысью, надеясь, что Юрик, любивший поесть, уже дома и у него можно будет разжиться сахаром и маслом.

Юрий, верно, был дома, пил чай из эмалированной кружки, перед ним стояли слегка подкопченный дюралевый чайник, пол-литровая банка, наполовину заполненная маслом, слегка синим от некачественного стекла банки, и возлежал солидный куль из грубой желтой бумаги. В куле был сахар.

Семка и Леонид скинули пальтишки, бросили их на кровать, вытащили свою посуду. Ленька налил чаю и сказал Юрику, не очень льстясь, но и не очень грубя:

— Дай-ка сахарку-то!

— И маслица! — добавил Семка.

Юрик поднял на них утомленный взгляд, отер испарину, выступившую на лбу, оставив, однако, бусинки пота под носом, и, распрямляя свое хлипкое тело, велел:

— А вы попросите!

— Ишь ты, — возмутился Ленька. — Как это у тебя просить, интересно, надо?

— Как следует, — проговорил Юрик, прихлебывая чай, — не грубо.

— Да брось ты, — сказал Семка, — давай гони! Вон у тебя сколько.

— Мое, сколько б ни было! — произнес Юрик, придвигая к себе пухленький куль с сахарным песком.

— Все равно не в коня корм, — попробовал убеждать его Ленька, — сколько ни жрешь, вон какой худой.

Но Семка оборвал его:

— Плюнь! Пусть подавится, частный капитал.

Они тогда обозлились здорово, разделили городскую булку пополам, захлебали ее несладким чаем и улеглись голодные.

— Во идиот! — обзывал Юрика из своего угла Ленька.

— Куркуль! — бурчал Семка.

— Мазурик! — придумывал приятель.

— Юрик-мазурик! — досочинил Семка.

Юрик-мазурик молчал, не замечая перекрестного огня ругательств.

Назавтра Ленька и Семен устроили над соседом жестокую расправу.

Мысль о мести пришла им случайно, ни о чем таком они не думали, даже забыли вчерашнее, но, вернувшись домой и не застав привычно жующего Юрика, возмутились снова.

— Вот гад какой! — шумел Ленька, кочегаря остывшую злость.

— Надо ему отомстить! — придумал Семка. — Насолить как-нибудь за жмотство.

Они распахнули тумбочку Юрика, глумясь над ее изобилием.

— Буржуй настоящий! — бормотал Семка. — Сахара — куль, масла — полбанки. Даже тройного одеколону полная бутыль. Давай весь сахар сожрем! — загорелся он. — Или все масло!

— Не съесть, — удрученно сказал Ленька, — а то бы можно.

Он взял бутылку с одеколоном, раскрутил пробку, щедро побрызгался сам, пролил струйку на Семку.

— Пахни ароматно! — приказал Ленька и вдруг вскочил от хохота. — Слышь! — заорал он. — Идея! Давай одеколон в сахар выльем! Во закукарекает!

Семке идея понравилась, они вылили в песок почти полбутылки, принюхались, попробовали песок на вкус и еле отплевались.

Вечером пришел Юрик, принес свой любимый чайник, разложил на столе продукты, набухал в кружку песку, ложек шесть, не меньше, и поднес ее ко рту.

Резкий запах дешевого одеколона шибанул ему в нос, он попробовал чай на вкус, сморщился, тайком взглянув на ребят, но они внимательно глядели в книжки, задумался ненадолго и вдруг с удовольствием стал потягивать чай, заедая его намасленной булкой. Семка и Ленька переглянулись, расширили глаза, едва сдерживаясь от смеха, а Юрик спокойно допил чай, сложил куль в тумбочку — сыпал сахар, наверное, целый месяц, так и не решившись выкинуть.

— Неужто не пахнет? — удивился Семен, когда они оставались одни. — Нос, может, у него заложило?

— Пахнет, — уверенно отвечал Ленька. — Просто жмот. — И поражался: — Надо же, так и дожрал одеколоновый куль.

Эта история врезалась Семке в память, Юрик-мазурик иногда выплывал из нее для того, чтобы поведать о нем другим с удивлением и смехом; смеясь, Семка рассказал о нем и теперь, но засмеялся только Орелик.

— Чего же тут смешного? — спросил Слава Гусев.

Семка растерянно поглядел на него.

— А говоришь, стихийного бедствия не видал, — сказал хмуро дядя Коля. — Я вот по свету полазил, где только не бывал, — проговорил он неспешно, — и скажу тебе, Сема, что этот твой Юрик — самое паскудное гадство на земле. Вошь, гнида, и, что обидно, нет ему переводу.

— Чего хочешь? — спросил Слава. — От старых образуются молодые, каков плод, таков и приплод. Я и то гляжу: все говорят, молодые лучше старых. И новей, и умней, и грамотней. Но вот, рассуждаю, тогда: откуда подлость берется? Гадство всякое. Помрут, мол, старики, пережитки прошлого, останутся одни молодые, ну, бывшие молодые, и все хорошо станет? Ан фиг!

— Ты, Слава, молодых не вини, — возразил ему дядя Коля, — и среди стариков гады встречаются.

— Дядь Коль, — всхохотнул Слава, перебивая его, — и впрямь парень этот, мазурик-то, на хорька нашего похожий.

— И то, — засмеялся дядя Коля. — Вылитый Храбриков.

Семка, все это время молча слушавший рассуждения Славы и Симонова, вспомнил Храбрикова — маленького, щуплого, но, видать, жилистого, мелкие его вертлявые глазки, морщинистое, изношенное лицо — и подумал, что в самом деле Юрик-мазурик смахивает на этого старика.

— Может, папа его, — спросил он, улыбаясь слову, — или дедушка?

Они засмеялись.

— А вот Юрик-мазурик, — вспомнил Семка, оживляясь, —

еще девок подглядывал. Уйдет зимой до ветра, и его нет, нет. Ну, думаем, околел, пошли поглядеть, а он к окну прижался, глядит, как девки без платьев ходят — студентки там у нас рядом жили.

— Вот-вот, — сказал дядя Коля, — точно. Мелкий паскудник.

Они не улыбнулись: от этой Семкиной подробности стало как-то гнусно, и Семка заругал себя: вот тебе и посмешил.

— В 16 часов 20 минут рация Гусева вышла на аварийную волну, передав, правда, довольно спокойную радиограмму. Напоминаю. «Остров, котором находимся, быстро сокращается. Просим вертолет». Ни слова «срочно», ни «немедленно». Просто «просим».

— Слишком спокойная.

— Какие за этим последовали действия?

— Мои?

— Партии, экспедиции? Ваши лично?

— Цветкова радировала в ответ, что вертолет выйдет в ближайшее время.

— И пришла к вам?

— В том-то и дело, что нет! Стала искать Храбрикова.

— И где его нашла?

— На кухне, в столовой. Они поругались.

— Где вы были в это время?

— В столовой. Шел вечер.

— Цветкова не подошла к вам?

— Нет. Она отправилась на радиостанцию и запросила, как чувствует себя группа. Гусев ответил: «Нормально. Ждем помощи».

— «Ждем помощи». Разве этого мало?

25 мая. 16 часов 40 минут.

ВАЛЕНТИН ОРЛОВ

«Аленка, мы вляпались в забавное происшествие. Сидим на острове, окруженном водой, и похожи на зайцев, которых спасал дед Мазай.

Только Мазая что-то не видать, хотя Гусев дал с утра три радиограммы. Опять, наверное, не на месте вертолеты или еще какая-нибудь мура — Храбриков, например, горючее эконо-

мит, — вот мы и загораем в прямом и переносном смысле: солнышко жарит неистово.

Поутру Гусев пытался пройти с острова вброд, искупался основательно, околел и послушал меня: на этот раз правым оказался я. А мой вариант прост — вызвать вертолет, чтобы перенес нас вместе с вещами на недоступную воде точку.

Теперь ждем деда Мазая на вертолете, и я не понимаю только одного: о чем-то беспокоится Гусев, стараясь скрыть это. Но что? Долго не летят? Прилетят. Тут пятнадцать минут ходу. Быстро поднимается вода? Ну и что? Даже для того, чтобы нас затопило окончательно, потребуется, по моей прикидке, не меньше трех часов. А за это время мы сможем выбраться десять раз как минимум.

Так что волноваться пока не приходится, мы, загорая, рассказываем байки по предложению радиста Семки. Он вообще малый молоток, выдумал забавную тему для разговора — о стихийных бедствиях: парень с юмором, учел курьезность ситуации, но сам, правда, толковал совсем о другом — про парня, который не дал им сахару, и они пили несладкий чай. Пересказываю я тебе, понятно, кратко и не очень так: писать всегда труднее, чем говорить. Мужики наши, берендеи эти Гусев и Симонов, Семку не поняли, он хотел посмешить, они же обернули всерьез. А я, пожалуй, в таких случаях — пас. Слишком угрюмо глядеть на жизнь, по-моему, просто скучно. И этот куркуль, о котором говорил Семка, просто глупец, дурак. Жизнь его обкатает.

Я попробовал было выразить это, меня не поняли:

— Гадство, — поучал меня наш малограмотный дядя Коля, — неистребимо!

Видишь, в какой высоконравственной обстановке я живу? Впрочем, ладно, это я с досады. В общем-то, мужики они отличные. Разве что грамотешки не хватает.

Одним словом, за краткой перепалкой настала моя очередь рассказывать байки про стихийные бедствия, и я вспомнил подходящий случай. Как угораздило меня попасть на знаменитый ледник, вернее, на один из его языков.

Только теперь, рассказав эту историю, понял, что тебе о ней никогда не говорил, не приходилось просто, так что, пока ждем вертолета, запишу ее. В истории этой, должен предупредить, есть элементы смеха, так что, излагая ее здесь, на острове, я дал ей название «Стихийное бедствие, происшедшее из-за свиньи».

Дело было после третьего курса, в Средней Азии, куда меня и еще нескольких ребят послали на практику.

Мы жили в жарком городе, где по вечерам на улицах продавали розы, лежавшие в тазах и ведрах. Цветы издавали одуряющий аромат, и мы, бездельничая, бродили по этим улицам, удивляясь женщинам, закутанным в блестящие цветные шали, крикам муэдзина из-под купола мечети, бородатым старцам с тюрбанами на головах, усевшимся пить зеленый чай чуть ли не на асфальте. Времени нам хватало вдосталь — работали мы только по утрам, днем, по законам юга, отлеживались в густой тени, а вечером гуляли и, постанывая от счастья, ели великолепные душистые шашлыки.

Возле мангала, светящегося угольями, а отнюдь не в своей высокочтимой «Гидрометеослужбе», где практиковались, и услышали мы впервые про злосчастную свинью и про страшное бедствие, которое она навлекла.

Держа, как букеты, шампуры, унизанные сочным мясом, шашлычник, путая русские слова, рассказывал нам, что с гор двинулся ледник.

— Инженер виноват, инженер, — поднимал он палец, и мы не понимали, при чем тут инженер. — Свинью притащили к горе, не ешь свинью, слушьяй, ешь баранину, э?

Тут надо сделать отступление и объяснить, что я на курсе считался альпинистом. Ходил в институтскую секцию. Честно говоря, альпинизм этот был липовый: какие у нас горы, сама знаешь. Тренировались мы на полуосыпавшемся каменном столбе, который был в лесу, недалеко от города, и в известковом карьере с некрутыми обрывами, упражняясь в подъемах и спусках с применением страховки костылей и всякой прочей техники. Окрестные мальчишки над нами смеялись. Наверное, со стороны это действительно было смешно: взрослые люди, а валяют дурака на горках, куда можно запросто зайти.

Словом, секция тихо скончалась, никаким альпинистом я не был, не залез ни на единую вершину, но иногда случается так, что слава оказывается сильнее тебя. И я оказался жертвой дутой славы.

Наутро после ненаучной беседы с шашлычником мы узнали научную трактовку вопроса: язык ледника, о котором шла речь, двинулся вниз с курьерской для него скоростью, запрудил речку, вытекающую из соседнего ущелья, и там образовалось мощное озеро. В район происшествия формируется экспедиция, которая полетит проводить съемку, подсчитывать объем водоема, наблюдать движение ледника. Ей требуются люди, одновременно альпинисты и спецы.

Ребята вытолкнули меня вперед, я не сопротивлялся, был

приставлен к трем инженерам, обмундирован в казенную амуницию и отвезен на аэродром.

Лететь было жутковато, особенно когда пересекали какой-то памирский хребет и приходилось идти вдоль тесного каменного рукава.

Обмирая в воздушных ямах, я глядел через открытую дверь на пилотов, натянувших кислородные маски и вжавшихся в штурвалы, озирался по сторонам, холодел: едва не касаясь крыльев, коричневые, словно иссохшие, каменели отвесные обрывы ущелья, а воздушные потоки подбрасывали и роняли самолет, норовя ударить его о стены.

Когда мы сели на краю маленького поселка в огненной от цветущих маков долине, я долго тряс головой и глотал воздух: в ушах лопались какие-то пузыри. Сказывался перепад давления — мы были в горах на огромной высоте.

В поселке, у чайханы, на маленькой площади, предрика, узнавший о прибытии спецрейса, выкрикивал шоферов, желающих отвезти научную группу к подножию ледника. Шоферы топтались в пыли, отворачиваясь, сосредоточенно разглядывая кур, клокотавших в тени грузовушек, и никто не хотел нас везти.

Я глядел на ледник спереди, сбоку, сверху и не мог побороть отвращения. Он походил на жуткую тварь, вылезшую из-под земли. Ледовые глыбы, чёрные от грязи, перемешавшись с осколками поменьше и просто крошевом, передвигались незаметно для глаза, только изредка взрывая тишину утробным грохотом. На кончике своего языка ледник волок останки сооружения, где была электростанция горняков. Снизу и спереди ледник действительно напоминал гигантский язык, усеянный искореженными, беспорядочно смешанными, заостренными глыбами. Лед таял, и с языка текло.

Мы проводили обмеры скорости движения ледника, его возможный объем, передавали все это в город, а оттуда настоятельно требовали: оставить в покое ледник и выяснить объем озера.

Чтобы выполнить это, надо было взобраться на гору. Альпинистом я оказался бездарным, и старший группы, чертыхаясь, буквально волок меня наверх: отступать было поздно. На высокой площадке мы установили приборы. Дул стремительный ветер, сбивая капюшон, наполняя его, и тогда капюшон становился похожим на камень. Страх пронизывал позвоночник, я делал измерения, стараясь не глядеть по сторонам.

Отсюда, сверху, он действительно походил на доисторическое чудище, которое одним боком прижало речку. Образова-

лось озеро, по нашим подсчетам, в несколько десятков миллионов кубов.

Не помню, как я спускался вниз, наверное, ползком, моля мать родную не оставить в беде. В общем, наш старший спустил меня на веревках. Внизу он смерил меня критическим взглядом, приготовился к высказыванию. Но смолчал: я был мокрый от пота. Мы передали наши измерения в город. По подсчетам выходило, что опасность велика. Озеро медленно накапливало мощь и готовилось сразиться с ледником. Ледовая плотина, хотя и мощная, но неоднородная по структуре, могла не выдержать напора воды.

Мы запросили аэрофотосъемку, и вот над нашими высокими горами пролетел самолет, как бы заиндевелый в холодном синем небе. Когда он летел, оставляя прямой инверсионный след, старшему пришла в голову блестящая идея — разбомбить ледник. Он радировал об этом в город, но нам приказали сворачивать работы и прислали за нами машину. С машиной приехал предрика, который отправлял нас в горы. Испуганно озирался на серый лед, уважительно помогал нам и спрашивал, что ему делать. Но как мы могли ответить?

Опасность была известна лишь теоретически, мы только измеряли и подсчитывали, советовать должны другие.

Я уже уехал с практики, был дома, когда узнал: прогнозы подтвердились. Многометровый водяной вал, подхватив вечный лед, промчался по долине. Были жертвы...

Что-то написал я тебе свою притчу и вижу: забавного мало, и поросенок тут ни при чем. Вот и Семка спросил о поросенке, при чем, мол, тут он. Да, дела.

Хотел мужиков наших растормошить немного, а вышло наоборот. Сидят молчаливые».

— Один, если можно так выразиться, психологический вопрос: почему вы так рьяно защищаете Храбрикова? Вас что-то связывает?

— Нет.

— Странно. Вы упорно стоите на стороне интересов экспедитора, а ведь он ведет себя иначе.

— То есть?

— Закладывает вас, как говорится.

— Пули в жестянке — этого еще мало. В конце концов, я заботился о коллективе.

— А рыба тоже забота о коллективе?

— Какая рыба?

— Храбриков все записывал. Смотрите. Числа, когда вер-

толет ходил на станцию. Фамилии проводников. Хранил квитанции об отправке телеграмм вашей жене.

— Я об этом ничего не знал. Может, он хотел сделать приятное?

— Бросьте, Петр Петрович, Храбриков говорит про вас совсем иначе.

25 мая. 17 часов.
НИКОЛАЙ СИМОНОВ

Николай сидел, скукожась, вдавив шею в плечи, и мысли его бродили далеко от этих мест, от этих ребят, от этого времени.

Поперву, когда видно стало, что хвалиться им своим островом ни к чему, начал шутковать, а вот Орелик сбил все, о стихиях говорить подначивал и сам такое рассказал, что теперь ему, дяде Коле, как они его кличут, не до смеха и не до шуткования.

Вспомнил он себя в многодавней давности, странно, будто и не с ним это было, а с кем-то иным: другого лица, другого сложения, другой жизни. И, вспомнив, влез в то изгоняемое годами, забываемое, в то, что норовил он как бы заасфальтировать, сгладить, да так, видать, и не смог.

— Дядя Коля, твой черед!

«Надо ли?» — подумал нерешительно дядя Коля, поднимая глаза и обводя пацанов этих, обошедших его в жизни, расторопных, толковых. «Надо ли и к месту ли сказано будет?» — снова взвесил он, не понимая толком, отчего вдруг после ледника Валькиного пришло на ум покрытое давнолетней забытостью. Какое-то слово, ровно камень, обрушило и повлекло за собой память. «Какое же слово?» — напряженно вспоминал он. — Стихия? Нет... Хотя это, может, тоже стихия? Все же, видать, не оно. Жертвы. Вот жертвы».

Не глядя на парней, заскорузлыми, огрубелыми пальцами выхватил Симонов из костра уголек, прикурил цигарку, отхаркал густо и смачно вечно застуженную глотку и сказал:

— Я про войну скажу.

— А ты воевал, что ли? — удивился Семка.

— Воевал и не говорил? — спросил Славик.

Он мотнул головой, потому что и воевал, и не говорил, и не гордился своей солдатской службой, которая бывает разной: и геройской, и негеройской, обыкновенной, и такой, как

у него, жуткой. Про войну он не рассказывал никому никогда, не говорил и Кланьке, боясь напугать ее, но теперь чувствовал, что не устоит, что расскажет этим пацанам всю про себя правду, что не должен он более держать в себе такое.

В сорок четвертом, восемнадцати лет от роду, необразованного, необученного, его призвали в солдаты и сразу отправили на фронт. Здесь Колька попал в армейские тылы.

Он сперва не больно-то разобрался, понял только, что, хоть и не придется ему стрелять по немцам, винтовку ему все же выдадут, а это было приятно, льстило самолюбию. К тому же он мечтал раздобыть кинжал, настоящий немецкий кинжал с какой-то там надписью по блестящему лезвию и красивой рукоятью со свастикой. Свастику Николай предполагал сточить, а кинжал носить при себе.

Сейчас понять трудно, что́ ему был какой-то кинжал, пацанство еще не выветрилось. Однако оно исчезло скоро. Очень скоро.

По прибытии в часть его направили согласно предписанию к худому, будто лущеный стручок, старшине с лицом, изрытым оспой, шрамами да еще и обожженным: старшина был в прошлом танкистом, горел, но выжил и попал сюда, — так что вместо лица была у него полумаска. Губы, глаза, часть щеки жили, остальное, глянцевито блестя, никогда не менялось.

Увидев его, Колька вздрогнул, старшина усадил его напротив себя и спросил, верно заметив смущение солдата:

— Испугался?

— Не-а, — соврал Николай, а старшина добавил:

— Это, Симонов, еще не страшно. — И удивился: — И кто тебя только сюда направил?

Колька бодро, не тушуясь, сослался на свою необразованность. Но старшина пожал плечами, спросил:

— Ты знаешь хоть, где служить придется?

Колька молчал.

— Не повезло тебе, брат, — вздохнул старшина. — В очень страшное место на войне ты попал. В похоронную команду.

Колька молчал, соображая, что это, конечно, нехорошо, но тут он свой кинжал непременно добудет, потом пошел спать в свое отделение — к старым, молчаливым солдатам, и они оглядывали его удивленно, жалеючи, а его задевала эта непонятная жалость.

Понял он все только поутру, когда, поев, они сели на телеги, запряженные обыкновенными лошадьми, и направились в поле.

Эта езда напомнила Николаю деревню, страду, или сенокос, или сдачу хлеба: вот так же, колонкой, они возили мешки с зерном на хлебосдаточный пункт, он повеселел, замурлыкал, опять поймал на себе жалостливые взгляды, замолчал, хмурясь, а потом зрачки его сами по себе расширились до предела.

Поле прорезали траншеи, и в них, и между ними, и возле обугленных танков лежали мертвые люди...

Наутро старшина отвел Кольку к какому-то офицеру, и тот спросил:

— Хочешь, Симонов, мы тебя отправим куда-нибудь? На кухню, что ли?

Николай молчал, понуря голову.

— Говори, хочешь? — толкнул его старшина, и Колька сказал мертвым, безликим голосом:

— Теперь все равно.

Офицер долго молчал, молчал старшина — его лицо ничего не выражало. Только подрагивали губы и часть живой щеки. Потом они поднялись, и старшина с Николаем вернулись в команду.

Он осунулся, похудел, как его командир, стал молчалив и не боялся мертвых: теперь его глаза видели все, что может видеть человек. Больше ничего не оставалось.

Уже за границей, в Польше, получив несколько медалей — похоронную команду, видно из сочувствия к ее работе, никогда не обходили, — Николай вместе со своими товарищами был неожиданно поднят по тревоге и грузовиками переброшен в незнакомое место.

Дело было ранним утром, стлался туман, на ветках кустов взблескивали капельки влаги. На большой поляне, куда пригнали грузовик, стояли «виллисы», много офицеров, генерал, какие-то люди в штатском и немец в фуражке с кокардой. У немца было мордастое, курносое, совсем не немецкое лицо, длинная голубая шинель застегнута на все крючки. Руки он держал за спиной и опустил их только раз, когда все закончилось и с ним стали говорить люди в штатском.

Пока же команда стояла в сторонке, строем, хотя и вольно, перекуривала перед заданием, а офицеры отмечали на поляне какие-то точки.

Потом они начали копать. Николай думал, это склад снарядов, однажды им приходилось уже работать за саперов, но под снегом и тонким слоем земли было совсем другое.

Это был ров, заваленный расстрелянными людьми.

Лопаты звякали, цеплялись иногда одна за другую; на

поляне, где было много народу, стояла мертвая тишина. Старшина с обгорелым лицом работал вместе со всеми на правом фланге, ведя ровную линию, соответствующую обрезу ямы, и вдруг краем глаза, разгибаясь, чтобы отбросить землю, Николай увидел, как старшина бежит. Бежит к немцу, подняв над собой лопату. Николай молча кинулся ему наперерез, пытаясь задержать, но не успел. Мордастому фрицу повезло: он уклонился, и удар лопаты пришелся по плечу, да и то черенком, который, правда, с треском переломился, хотя черенки к лопатам в похоронной команде насаживали крепкие. Немец упал, старшина с остервенением пнул его пару раз, но его схватили подбежавшие люди, стали оттаскивать, а он хрипел, оборачиваясь к генералу:

— На передовую! Отправьте меня на передовую!

Николай повел старшину в лесок, подальше от рва. Тот послушно переставлял негнущиеся, словно враз одеревеневшие ноги, часто спотыкался, глядел вперед остановившимся взглядом. Пугаясь, Николай негромко звал его по имени, но старшина не отзывался. Николай усадил командира на пенек. Тут было совсем тихо, даже звенело в ушах от такой тишины. Старшина был бледен, и цвет его губ совсем сравнялся с цветом белого лица. Верхушки деревьев тронул ветерок, рядом неожиданно шлепнулась шишка, старшина вздрогнул, и Николай увидел, как торопливо запрыгал кадык над воротом старшины. Из глубины его, будто тяжкий выдох, вырвался нарастающий глухой вой.

Командир всегда был молчалив и угрюм, и ничто, казалось, не пугало его. Маска обожженного лица скрывала его чувства, а сам он, как и все остальные в команде, никогда лишнего не говорил. Теперь что-то сломилось в командире, он рыдал, но это был не плач, а что-то необъяснимое, странное, похожее на приступ или судорогу.

— Не могу! — проговорил старшина сквозь стон. — Больше не могу! Сил нету... Моих вот в таком же рву уложили, слышишь, Симонов. Всю деревню в таком же рву.

Они посидели, старшина притих, потом велел Николаю идти работать.

Вечером команду отпустили на отдых. Николай сходил в лесок за старшиной. Тот все сидел на пеньке, но Симонов не узнал его: за эти полтора, от силы два часа, пока его не было, старшина осунулся и постарел, будто прошли целых десять лет. Он и так был немолодым, бывший танкист с обожженным лицом, но сейчас перед Николаем сидел старик.

Симонов тронул его за руку, старшина поднялся, вздохнул, сказал: «Что-то сердце схватило», — и снова вздохнул.

Они поехали в деревню, где предстояло ночевать все эти дни, пока не закончит работу комиссия и пока они нужны. Вечером, когда уже все легли, старшина позвал Николая.

Он присел к командиру, придвинув поближе «летучую мышь».

— Николай, ты, однако, просись-ка на передовую, — сказал старшина. — Не то худо все обернется. Ты молодой еще, тебе еще жить, любить надо, веселиться. А ты только смерть видишь. Коли не убьют, передовая все заровняет.

Николай кивнул.

— Я за тебя похлопочу, — прибавил старшина.

На рассвете Симонова грубо растрясли. Ничего спросонья не понимая, Николай вскочил, стал наматывать портянки, думал, что тревога, но вокруг тихо, понуря головы, стояли солдаты, товарищи по команде, и он остановился, соображая, посмотрел наконец в угол, где лежал старшина, и, поняв, ощутил, как помимо его воли дергаются плечи. Изба, солдаты, старшина расплылись перед глазами, но он не стыдился этих слез.

Вызвали военврача из комиссии, он увез старшину в пустующую избу, а потом команде сообщили, что старшина их умер от сердечной болезни.

Похоронили командира там же, в прозрачном лиственном лесу. Могилку отрыли быстро, умеючи, а когда отрыли, застыдились своей спорости и долго сидели кружком вокруг старшины у зияющей коричневой ямы. Еще одной ямы, в которую надлежало прибрать еще одного человека, убитого войной.

На передовую Николая не отпустили, он заменил старшину, дошел до Берлина, в солдатских разговорах представлялся как пехотинец, да и кем он был в самом деле, если не пехотинцем, пехом истоптавшим землю. И как истоптавшим!

От того рва и от могилы старшины у Николая начался как бы другой отсчет жизни. Был он пустой, словно вытряхнутый, и жил и глядел вокруг себя скорей по привычке, чем из интересу. Ровно вышла из его жил вся кровь.

— Мы с вами разбирали последовательность, в которой ответственны виновные. Первым вы назвали Гусева, и тут у меня к вам вопросов нет. Вторым — Цветкову. Третьим — Храб-

рикова. За это время, пока мы беседуем, вы не переменили места?

— От перестановки мест слагаемых сумма не меняется.

— Однако изменилась.

— Вы меня просто удивляете. Давайте начистоту. Одно условие — без протокола. Ведь стало меньше одним преступником.

— Я много видел циников, Петр Петрович. Но то, что говорите вы, даже не назовешь цинизмом.

— Вам же, следственным органам, правосудию, меньше работы.

— А вы еще и добренький, оказывается.

— Добренький — понятие отрицательное.

— Это я слышу впервые.

25 мая. 17 часов 20 минут.

КИРА ЦВЕТКОВА

Пиршество по случаю дня рождения Кирьянова шло уже давно, но Кира никак не могла заставить себя пойти в столовую.

Что-то с ней случилось, понимала она, что-то надломилось в этот знаменательный день: перед ней возникали преграды — естественные и искусственные, она пыталась проломить их плечом, слабым своим плечом, но только расшибалась. С ней такое уже бывало не раз: неожиданно, в один день, в одну неделю, месяц или еще какой-нибудь ограниченный отрезок времени обстоятельства, ситуации, не зависящие как будто от нее, прихотливо переплетались, и каждый шаг, каждый поступок, даже самый мелкий, незначащий, приводил исключительно к неудаче.

Сети обстоятельств оплетали ее, и чем энергичнее она действовала, тем бестолковее все выходило. Сегодня был такой день, однако именно сегодня она не склонялась винить нечто высшее — рок, судьбу, случай или что там еще, которые опутывали ее своей незримой властью. Нет, сегодня ее неудачи зависели от людей, только от людей, и она видела, понимала это, сжимая в отчаянии и бессилии свои маленькие кулачки.

Кира была давно готова, одета по-праздничному, в закрытое строгое платье со стоячим воротничком, серое, элегантное, которое очень шло ей; на ногах взблескивали изящные туфельки: среди своих недостатков женщина всегда может най-

ти и выделить достоинства — Кира втайне гордилась маленькими ногами и маленьким размером обуви, это было чисто женское преимущество; волосы она причесала очень изысканно, подкрутив локоны у висков, под Марию Волконскую — в альбоме хранилась репродукция миниатюры с ее портрета.

Все было хорошо, Кира гордилась немногими своими плюсами; среди них умение одеваться со вкусом, негромко, соответственно облику и характеру было основным и раньше; одеваясь празднично, она чувствовала какое-то обновление, внутренний подъем, легкость. Хорошая одежда все-таки вдохновляет, что ли, человека, тем более женщину и трижды тем более, если она одевается так редко, обычно не вылезая из брезентовой робы, грубых чулок и резиновых сапог с высокими голенищами.

Да, Киру радовала хорошая одежда, честно признаться, она ждала дня рождения Кирьянова, думая о редком случае выглядеть хорошо, скромно и непривычно для этих мест, но теперь все было сломано.

Она стучала каблучками по дощатому полу своей комнаты, сжимала кулаки и, не чувствуя приятности одежды, не могла думать без содрогания и ненависти о Храбрикове.

Днем, после возвращения вертолета, она сказала Храбрикову про лодку, потом, позже, про вертолет. Он резал мясо, несчастный мясник, заверил ее, что машину направит после обеда, но через час Кире передали уже аварийную радиограмму.

Она, как девочка, как школьница какая-нибудь, побежала к этому кретину, разыскала его на кухне — прихлебатель, приедала, мразь! — и устроила, не узнавая себя, скандал. Она подстегивала, понукала свое едва просыпающееся самолюбие, в конце концов, она начальник партии, и этот пень на дороге — человеком его не назовешь, — это ничтожество, глядящее в рот одному Кирьянову, должно подчиниться ей.

Она непривередлива и никогда не вмешивалась в эту странную связь Кирьянова с Храбриковым или Храбрикова с Кирьяновым, кто их там разберет, не собиралась соваться не в свое дело, но теперь эта дворцовая игра раздражала ее. В опасности оказались люди, и в этом случае служебные и частные пирамиды, воздвигнутые Храбриковым и Кирьяновым, должны рухнуть — о чем разговор!

После скандала на кухне она хотела немедленно поговорить с Кирьяновым, открыла уже дверь в столовую, но тут же притворила ее. ПэПэ говорил речь, похохатывая, модулируя голосом — речи его всегда отличались бескрайностью и

определенным уровнем исполнительства — приглашенные сидели тихо, словно мыши.

Кира ломала пальцы, нервничала, несколько раз заглядывала в дверь одним глазком, но Кирьянов, покрасневший от выпитого, все говорил и говорил, и она не выдержала, накинула пальто и побежала к радистам. Преодолевая расстояние от столовой до дома, крыша которого была усеяна причудливыми антеннами, она лихорадочно думала, что поступила очень верно, побежав сюда, а не объяснилась немедленно с Кирьяновым. С мерзавцами надо бороться доказательно, сильно, а у нее, кроме эмоций и одной аварийной радиограммы, ничего не было, хотя аварийная радиограмма говорит сама за себя. Однако это можно доказать кому угодно, Кирьянову уж лучше всего предложить более веские доказательства: флегматичную аварийку Гусева он осмеет, и голько. Она бежала к рации, надеясь, что запросит у Гусева подробности, что он наконец объяснит внятно, что там случилось, забьет тревогу.

Радисты — Чиладзе был в столовой — выполнили ее требование, но в ответ на запрос, как чувствует себя группа, Гусев ответил: «Нормально. Ждем помощи». Чертыхнувшись в душе, Кира пошла назад, к столовой, но на полдороге повернула домой. И вот психовала, нервничала, злилась.

Пытаясь успокоиться, она анализировала причины своего состояния. Может, это просто форма женской истерики? Реакция уязвленного самолюбия? Перестраховка безвольного существа, боящегося любой ответственности? И, черт побери, люди, которые просят вертолет, тут совсем ни при чем?

Она прохаживалась по скрипящим половицам. Наверное. Может быть. Даже очень может быть. И истерика, и самолюбие, и, в конце концов, перестраховка не уверенного в себе человека, но не только, не только! Гусев, широкий, костистый, хотя и невысокий, с крабьими, крепкими ухватками, не выходил из головы. Да, он спокоен, даже чересчур, порой просто непробиваем, но тем более! Если он просит вертолет, значит, уже перепробовал все другое.

Кира остановилась у окна. Больше тянуть невозможно. Ее поведение и так походило на вызов.

Она оделась и вышла из дому.

В столовой дым стоял коромыслом, Кира обрадовалась, что, может быть, ее появление не заметят, будет считаться, что она тут давно, но Кирьянов, сидевший в голове стола, заорал истошно, ломая Ваньку:

— Кира Васильевна! Голубушка! Где же вы? — и без перехода: — Штрафную ей! Штрафную!

Окружающие засмеялись, Кирьянов, ломаясь, поднес ей граненый стакан, наполненный спиртом и подкрепленный заваркой.

— Коньячку отведайте, — прогремел он, — нашего, сибирского коньячку, — а сам кланялся, изображая хлебосольного хозяина.

Кира пригубила спирт — все внутри обожгло, но она сдержалась, не закашлялась, приложив все силы, чтоб отвлечь от себя внимание гостей и хозяина. Кирьянов, поломавшись недолго, отошел, и взгляд Киры упал на стулья, составленные в углу.

Там лежали подарки: перевязанная бечевкой и свернутая в рулон мездрой наружу медвежья шкура, три одинаковых транзистора ВЭФ-12, купленные, верно, в небогатом поселковом магазинчике, грузинский большой рог на серебряной цепочке — от Чиладзе, наверное, — и охотничья двустволка. «Сколько же у него этих ружей!» — подумала Кира, соображая, что второпях забыла дома свой подарок, приготовленный для ПэПэ, — изящно изданный двухтомник Лермонтова. Книги прислала Кире подружка; она специально и заранее заказывала подарок, зная по опыту, что день рождения начальника экспедиции отмечается шумно, непременно с презентами. Заказывая книги, Кира искренне хотела выразить свое благородное отношение к Кирьянову — к его уважительности и терпению. Надо отдать должное: не каждый начальник был бы столь снисходителен к ней; этот, зная ее, никогда не попрекал, ругая других, и у Киры не было к нему, как говорится, никаких претензий до сегодняшнего дня.

До сегодняшнего дня... Что же случилось сегодня? Да ведь ничего. Просто она испугалась. Пришли эти радиограммы, она затрепыхалась, и все предстало перед ней в мрачном свете.

Выпили за семью Петра Петровича, он снова принялся со стаканом спирта в руке говорить длинную речь, теперь его слушали не столь внимательно, в столовой висело гудение, брякали вилки, слышался шепоток.

Кира выпила еще чуточку, как будто ненадолго отлегло. Она улыбнулась Чиладзе, поддержала разговор с соседом, немного поела жареной лосятины, вкусной, но жестковатой. Заноза, засевшая с утра, все-таки не выходила. Нет, дело не в испуге. Дело все-таки в духоте, да, да, в духоте. Ей нечем дышать, не хватает кислорода, и, хотя вполне может оказаться, что лично для нее кислород губителен, и ей, и всем осталь-

ным в экспедиции надо вздохнуть. Поглубже вздохнуть, распрямить все клеточки легких.

Кира поднялась. Она не была пьяна, ну, может, самую чуточку, но это не в счет. В голове что-то позванивало едва, а так в ней было чисто и прозрачно.

Увидев ее со стаканом в руке, Кирьянов забренчал ножом о графин, наполненный спиртом. Не так скоро, как вначале, но столь же послушно гости умолкли, перешептываясь: «Тост, тост, тише!» — и, услышав это, Кира демонстративно поставила стакан. По столовой прокатился шумок.

Кира обвела взглядом столовку, поглядела на Кирьянова и вдруг бухнула:

— Какого черта!

ПэПэ, задыхаясь от хохота, молча отвалился на спинку стула, громогласно захлопал в ладоши, крикнул:

— М-молодец!!!

Ему нравилось начало тоста, и эта пигалица выглядела совсем иначе сегодня — надо же, а? — и он скомандовал:

— Просим дальше!

— Какого черта! — повторила Кира, решительно признаваясь себе, что все-таки немного пьяна и что это даже хорошо: трезвой бы она так никогда и не сказала б. — Там люди шлют аварийки, а мы пьем спирт.

Кирьянов сбросил все маски, смотрел пристально, настороженно.

— Петр Петрович, — сказала Кира, оборачиваясь к нему. — Ну когда будет покончено с этим безобразием?

— Кира Васильевна! — нависая над гостями, поднялся Кирьянов. — Здесь, простите, день рождения, а не общее собрание.

— Но там люди!.. — воскликнула Кира, не столь требуя, сколько умоляя, протянув руку к окну. — Там люди, они на острове, их заливает. И я не могу добиться вертолета.

На мгновение в столовой стало тихо, и Кира успела окинуть взглядом лица гостей. Что-то неуловимо сломалось в этом беспечном празднике, лопнула какая-то пружина. Кира поняла это сразу, определив по застывшим или, напротив, неестественно оживленным лицам, что ее бунт — факт не неожиданный, что большинство сидящих тут как будто давно готово к неприятностям, ожидающим экспедицию, и дело тут не в ней, Кире, отнюдь не в ней.

Мимолетная пауза кончилась, гости зашумели, споря пока между собой, потом вскочил начпартии Лаврентьев, близорукий и странноватый, всегда выступавший невпопад на летуч-

ках у Кирьянова, не понимавший его тонких внутренних схем, и крикнул:

— Надо организовать группу спасения!

Кира увидела, как передернулось побуревшее лицо Кирьянова, как он вжал голову в плечи — начиналась обычная игра.

— И вообще, — опять крикнул Лаврентьев, несуразно размахивая руками. — С Храбриковым никогда не договоришься, для него мы все мальчишки!

— Я подтверждаю! — напрягая голос, сказал начальник радиостанции Чиладзе. — Радиограммы идут. Кира Васильевна хлопочет, а ей никто не поможет. Возмутительно просто! Храбриков у нас важней начэкспедиции!

При упоминании Храбрикова партийным секретарем Чиладзе, которого Кирьянов если и не побаивался, то старался не задевать, столовая оживилась еще больше. «Нет, оказывается, у него сторонников тут, кроме ПэПэ, — подумала Кира, — но зато Кирьянов — сторонник серьезный. Что дальше?»

ПэПэ все бурел, склоняя голову, привлекая к себе внимание. Но, странно, то ли от выпитого спирта, то ли еще от чего, гости на хозяина внимания не обращали. Они галдели, возмущались, они обсуждали недопустимость такого поведения Храбрикова. Лаврентьев, севший было за стол, вскочил снова и уже вызывал желающих срочно лететь на спасение.

Кира молча поглядывала на галдящих гостей, приходя в себя, чувствуя если не серьезную поддержку, то единогласное недовольство Храбриковым. Срочно лететь вызывались лысый, хотя и молодой, бухгалтер, Чиладзе и чья-то жена. Кирьянов, молчавший все это время, изучающий обстановку, вдруг вскочил со стула и заорал, надрывая глотку и наводя своим криком порядок и тишину:

— Хра-абр-риков!!! Храбриков! Хр-раб-риков, в конце концов!

— Когда Цветкова таким странным образом, который она выбрала, потребовала от вас хоть каких-нибудь действий, что сделали вы?

— Приказал лететь.

— И только?

— А что еще?

— Нет, ничего. Сумма еще не переменилась. Или вы такой тугодум, Кирьянов?

— Ну, я велел залететь потом еще в одно место.

— Потом или вначале?

— Не помню.

— Я вношу это в протокол.

— Вносите. Такое ваше дело.

— А вот Храбриков помнит, Петр Петрович. Очень хорошо помнит и ссылается на свидетеля. На повариху.

— Нет, не может этого быть, не может... Хотел бы я поглядеть на этого подонка!

— Не волнуйтесь, скоро, возможно, встретитесь.

25 мая. 19 часов.

СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ ХРАБРИКОВ

Руки у него тряслись из-за происшедшего, склеротические щеки раскраснелись от выпитого спирта, урчал желудок — верно, сказывалось не очень прожаренное лосиное мясо, — и вообще он недомогал, вообще он чувствовал себя разбитым, а тут приходилось лететь.

Привычный к грохоту вертолетных моторов, к дребезжанию стенок, сиденья, пола, к тому, что вибрировал он сам вплоть до кончиков пальцев, до мочек ушей, сейчас он раздражался, отчаивался, изнемогал, испытывая неумолимое желание открыть дверь и немедленно, несмотря на высоту, выйти из машины.

Зная глубину своей хитрости, он чувствовал себя сильным, когда удавалось благодаря ей получать преимущество над другими, прямой или косвенный процент хоть какой-нибудь пользы. Но если случалось проигрывать, он трусил, липко потея, внушая самому себе мысли о недомогании, усталости.

Так было и сейчас.

Вертолет летел над тайгой, а Сергей Иванович стервенел от обиды и злобы — все, что произошло в столовой, на этом дне рождения, для которого он столько хлопотал, столько работал, было унизительно. Бог с ним, унизиться иногда не грех, если видишь пользу для себя, тут же не было никакой пользы, а была публичная порка, порка...

Леденея, Храбриков перебирал подробности происшедшего; в таких случаях он не торопился забыть, успокоиться, а, напротив, терзал себя, подзуживал, теребил по частям, по фразам и минутам, словно лоскутья, свою обиду.

Он сидел на кухне, ел лосятину — одну, без хлеба, для пользы здоровью, — резал ее своей финкой на мелкие куски,

и ему было хорошо, очень хорошо. Храбриков любил такие минуты одиночества. На кухне было много людей, но он отвернулся от них к стенке, к бревнам, конопаченным мхом, и был как бы один. Только иногда от плавного течения мыслей его словно отдергивала повариха, толстозадая, обрюзгшая, недолюбливавшая его.

— Ты хоть прожевывай, Храбриков! — кричала она, довольно взвизгивая от собственного остроумия. — А то глотаешь, как енисейская чайка! Подависся, гляди!

Он вздрагивал, посылал ее про себя в соответствующие места и снова углублялся в еду, неторопливо и основательно. Подбородок его блестел в жире; маленькие льдистые глазки как бы оттаивали; в нем звучала внутренняя музыка, невразумительная, без мелодий, означавшая сошедшую к нему доброту и умиротворенность.

Так он ел, не думея ни о чем неприятном, и вдруг из-за прикрытой двери, откуда неслись взрывы хохота, галдеж и рокочущий голос Кирьянова, раздался крик.

Храбриков прислушался, звали как будто его. Он недовольно вытер о штаны масляные руки, наверное, подобревший ПэПэ приглашал к общему столу, спохватившись, что нет ближайшего помощника, а ему больше нравилось здесь, в одиночестве. Вздохнув, Храбриков взял в обе руки тарелку с кусманом лосятины, прикрыл ногой дверь и, повесив на себя улыбку, пошел к общему столу.

Сейчас, в вертолете, вспомнив этот первый шаг в столовую, Храбриков проклял себя за минутное благодушие. Надо же, старый хрен, решил, что его зовут к столу! Особенно его убивала эта тарелка с огромным ломтем наилучшего мяса — он так и стоял с ней до конца и с ней потом вышел. Из всего, что случилось потом, его ничто не угнетало столь сильно, как эта первоначальная промашка, мысль о том, что его зовут к столу, и эта тарелка.

Он вошел, и, уже когда переступил порог, Кирьянов крикнул:

— Хрр-рабр-риков, в конце концов!

Сергей Иванович, улыбаясь, подошел к Кирьянову вместе с тарелкой — гости глядели на него снисходительно, словно на прислугу, и, даже не видя их, Храбриков чувствовал это.

— Храбриков! — воскликнул Кирьянов, прохаживаясь возле него, разыгрывая опять спектакль. — Сколько это может продолжаться?!

Приходя в себя, видя стоящую за столом Цветкову и со-

ображая, о чем будет речь, Храбриков все же слегка ссутулился и дрогнувшим, упавшим голосом спросил:

— Что продолжаться?

Кирьянов прошелся возле него, и Храбриков заметил, как он встал, чтобы казаться еще выше, на какую-то приступку в полу. Что-то должно было произойти, какая-то неприятность, это было ясно, неясно только, в какую сторону и как поведет Кирьянов свой цирк, даст ли возможность экспедитору, от которого, между прочим, не ведая того, зависит и сам, сманеврировать, выкрутиться? Или пойдет, как бульдозер, сквозь чащу?

Насторожась, подобравшись, Храбриков посмотрел Кирьянову прямо в глаза, как бы намекая на существующую между ними связь. Но Кирьянов был непробиваем.

— Долго будет продолжаться это безобразие?! Начпартии просит вас переправить людей в безопасное место, людям угрожает опасность, может, даже смертельная, а вы тут, — он оглядел Храбрикова с головы до ног и закончил уничтожающе, — занимаетесь обжираловкой!

Храбриков вздрогнул, в мутных глазках от обиды навернулись слезы, но он тут же спрятал их, поморгал и сказал:

— Не понимаю, об чем речь?

Цветкова, все еще стоявшая за столом, кажется, поперхнулась. Храбриков заметил, как Кирьянов мельком, подозрительно взглянул на нее, и довершил:

— Про лодку мне Цветкова действительно говорила, тут я виноват, запамятовал, а больше ничего не знаю.

— Как не знаете! — крикнула Цветкова. Заметив, что она побледнела, Храбриков вновь почувствовал себя в форме.

— А так! — удивился он наивно. — Ничего вы мне не говорили!

— Вы что? — всплескивая руками, плачущим голосом закричала Цветкова. — Белены объелись?

— Э-э, — заблеял Храбриков, щуря глазки и мотая головой, — нехорошо обзываться-то, девушка! — Он переходил в атаку, по многолетнему опыту зная: чем наглее он будет себя вести, тем лучше. — Ты ведь мне в дочки годишься, а старика обзываешь.

— Да он подлец! — крикнула Цветкова. — Разве вы не видите?! Подлец! Отказывается от своих слов.

— Ну-у! — протянул Храбриков, победно глядя на Кирьянова. — Дак она пьяная!

В зале стоял шум: не зная истины, люди всегда много и охотно толкуют, строя предположения, догадки, обсуждают

и осуждают. Важно было вызвать симпатии у этих незнающих людей — и Храбриков сказал громко:

— Ишь набралась!

Он пошел к выходу, сутулясь, изображая несправедливо оскорбленного. Цветкова бухнулась на стул, заплакала — громко, истерично, ее бросились утешать долговязый начпартии и Чиладзе. Но Храбриков довольно усмехнулся, подумав: «Съела, сопливая? Съела?»

— Стой! — услышал Храбриков окрик Кирьянова.

ПэПэ кричал властно, словно собаке, но Храбриков, ликуя победу над Цветковой, не заметил этого. Он обернулся.

— Я не знаю, — воскликнул Кирьянов, — как там было! Кто и что сказал или вообще не говорил...

Столовая слушала его внимательно, притихнув, только слышались всхлипы Цветковой, а Кирьянов смотрел лишь на гостей, не замечая как бы ни Цветкову, ни Храбрикова, выключая их из дела, беря решение в свои руки, играя, опять играя.

— Сейчас важно не это! Важно другое! — ПэПэ стоял с наполненным стаканом в руке, но глаза его казались холодными, деловитыми. Стакан был лишь подробностью, он не имел никакого значения в том, что говорилось. — Важно другое! — воскликнул Кирьянов. — Важны люди! Группа Гусева! Их надо спасать! Немедленно! Товарищ Лаврентьев, — сказал он, успокаивая нескладного начпартии. — Никакой группы спасения не надо. Ничего страшного пока не произошло. Храбриков обязан лететь, он и полетит.

Кирьянов поднял стакан. Лицо его опять выражало сердечность и добродушие.

— Выпьем за людей! За тех, кто в поле! За тех, кто решает все! — И перед тем, как выпить, велел Храбрикову: — Слышите? Летите немедленно! Сию секунду!

Храбриков сжался, понимая, что ему приказывают унизительно, властно. Тарелка с куском лосятины снова стала оттягивать руки, он увидел, что гости смотрят на него недоверчиво, с опаской, как на жулика.

Плечи его опустились, он вышел в кухню под придирчивый, насмешливый взгляд поварихи, поставил тарелку на стол.

Заскорузлые пальцы тряслись, как после контузии, в животе противно заурчало. Он натянул картуз, когда дверь из столовой хлопнула и его обнял Кирьянов.

— Ничего, дядя! — хохотнул он, залезая в карман, и при-

бавил, приглушая голос, укорительно: — Нехорошо, нехорошо девушек непорочных обижать!

Храбриков вскинул голову, прищурился, готовясь защищаться, но Кирьянов добродушно поглядывал на него, подмигивал, едва заметно, как бы успокаивая, все понимая и даже присоединяясь.

— Вот возьми, — сказал он, протягивая мятые, потные бумажки. — Долетишь заодно до станции, ящик спирту возьмешь. А то кончается!

ПэПэ хохотнул, больно ударил его по спине, даже зазвенело что-то в груди — оглобля стоеросовая, — и исчез за дверью.

Храбриков мгновение соображал, держа на ладони деньги, потом, веселея, подмигнул поварихе.

— Слыхала? — спросил он.

— Слыхала! — недовольно ответила та.

— Запомни! — привередливо велел он.

— Чего запомни? — удивилась повариха.

— Запомни, что велено мне долететь заодно до станции, взять спирту. — В голосе его слышалось злорадство.

— Ну? — промямлила повариха.

Он ничего не ответил ей, не стал вдаваться в подробности, матюгая ее про себя за бабье тугодумство, и пошел к вертолетам.

Теперь в воздухе его мутило, ему было нехорошо, и единственное, что помогало, что выводило из удручения, — приказ Кирьянова.

Храбриков знал: группа Гусева сидит где-то по дороге к станции. Кирьянов велел купить спирту, но не сказал, что раньше.

Притаившись у иллюминатора, Храбриков глядел в темнеющую тайгу, норовя разглядеть палатку. Когда машина пересекла Енисей, он понял, что внизу вода — она была темнее снега, лежавшего на берегах. Прямо над водой стлался туман. Отмечая эту подробность, Храбриков увидел красную ракету. Она, померкивая, светилась сзади и правее их курса. За ней поднялась еще, еще...

Храбриков прищурил веки, отмечая сквозь ресницы шарики, всплеснувшиеся позади. «Только бы не заметили пилоты, — отметил он, но вертолет летел точно к станции, не зависая, не разворачиваясь.

Сергей Иванович успокоенно закрыл глаза, жалея в душе всесильного Кирьянова за его грубость, невоспитанность и... глупость.

— Я хотел бы подробнее поговорить о Цветковой.

— Говорите, один черт.

— Некоторые утверждают, что у вас близкие отношения.

— Это тоже имеет отношение к делу?

— К сожалению, да. И этим объясняется ваша к ней мягкость. Анализируя характер «губернатора», можно подумать, что так оно и есть, — к остальным вы были строже.

— Просто жалел ее, дуру.

— Теперь ваша жалость исчезла?

— Теперь у меня все к ней исчезло. Вы, пожалуй, правы, от перестановки мест — изменяется. Прежде всего виновата она, Цветкова. В конце концов, она начальник партии и непосредственно отвечает за жизнь людей. Гусев виноват меньше.

— А Храбриков?

— Храбриков вообще сволочь.

25 мая. 19 часов.

ПЕТР ПЕТРОВИЧ КИРЬЯНОВ

Отправив Храбрикова, ПэПэ подсел к Кире и стал, как ему казалось, восстанавливать равновесие.

Гости, настроив для громкости все три подарочных ВЭФа на одну волну, твистовали, шейковали — у кого что шло, — галдели, хохотали, пили. Решительные действия Кирьянова успокоили их, разом прервали минутную смуту, которую внесла в общество Цветкова, и, дрогнув поначалу, обозлясь на ее выходку, теперь Петр Петрович был до чрезвычайности доволен собой. Он опять оказался в форме, и это прекрасно, неповторимо, когда ты сознаешь свое преимущество над толпой.

ПэПэ ощущал приподнятую взволнованность, ему очень нравились этакие бесшабашные гулянья, отключение на краткое, но необходимое время от всяких дел, хлопот, решений. Его дни рождения были как бы венцом справедливости, когда за тяжкий, неблагодарный, ответственный труд приходит долгожданное вознаграждение. Нет, до истинного, полного вознаграждения еще далеко, но эти вечера уже что-то, и что-то немалое, потому что они свидетельствуют о его авторитете среди людей и о преданности их ему. И разве мог он — боже! — допустить, чтобы в его день рождения кто-то из любящих его плакал, переживал, страдал.

— Кира Васильевна,— склонился он к Цветковой, деликатно, держась в рамках приличия, заигрывая и едва обнимая ее огромными лапищами,— Кира Васильевна, успокойтесь, вы правы, конечно же, но теперь все позади!

Кира подняла голову, достала из рукава батистовый платочек, промокнула слезы, внутренне стыдясь себя. Так она еще никогда не срывалась. И хотя дело как будто закончилось благополучно, пусть не для нее лично, для группы Гусева, сама она ничего не приобрела, кроме глупого публичного скандала,— надо все-таки держать себя в руках.

Кирьянов улыбался, поглядывал на нее с видимым удовольствием. Ну вот, кажется, она уже проморгалась, уже отошла благодаря его такту, умению ладить с людьми — когда властно, а иногда деликатно, даже с долей нежности.

Он подвинул к ней стакан, вынудил выпить немного, заесть лосятиной, делая все это снисходительно и в то же время заботливо, добродушно.

— Милая вы моя,— приговаривал он.— Нас, мужиков, прижимать надо, ружье на нас надо наводить, а то тут, в безлюдье и, простите, в безбабье, омедвеживаемся вовсе.

Пигалица, отходя, недоверчиво взглядывала на него, и он, честно признаться, удивлялся ее сегодняшней прыти: устроить такой спектакль у него на дне рождения, разве мог он подумать? Но ничего! Кто-то, а он, ПэПэ, мог уладить и не такое.

Приговаривая, успокаивая Цветкову, Кирьянов, однако, скучал. Спроси его об этом, он ни за что не признался бы, наоборот, театрально захохотал, но факт оставался фактом. Эти гости, орущие, поющие, пляшущие, вновь не обращали на него никакого внимания. Словно отбыли обязательную программу, выслушали, к примеру, доклад, едва дождавшись конца, и теперь дорвались до спирта, до еды, музыки. Улыбаясь, но с трудом сдерживаясь, Кирьянов оглядел публику. Народ был сбродный: несколько поселковых, здешних, приглашенных для количества, остальные — бухгалтер, некрасивая радистка, допущенная в общество из-за отсутствия женщин, завхоз, к которому приехала жена, начальник радиостанции Чиладзе, этот Лаврентьев.

В другом, цивилизованном месте, подумал Кирьянов, эту необразованную голытьбу он не допустил бы близко; единственное, на что могли рассчитывать они, скажем, в городе, так на снисходительный кивок головы при встрече. Здесь же приходилось. Приходилось сидеть с ними, пить спирт, заигрывать, ломать Ваньку, изображать добродушие и щедрость.

«Послать бы сейчас их к черту,— подумал Кирьянов,— врезать кулаком по столу, чтобы проломить фанерную столешницу, да напугать до смерти, заорать, надрывая глотку,— должны же они понимать, с кем пьют!»

Он зевнул, скучая. Цветкова сидела, успокоенная, больше уговаривать ее он не собирался, но и стучать кулаком не собирался тоже. Все-таки вокруг демократия, народность. И он должен быть кумиром окружающих его людей. А тут уж — любишь кататься, люби и саночки возить, само не стронется...

К ним подсели Лаврентьев и начальник радиостанции Чиладзе.

— Пе-етр Петро-ович! — протягивая слова, сказал Лаврентьев, жестикулируя своими аршинными ручищами.— Приструнить этого Храбрикова надо, а то, в конце концов, житья никакого!

— Приструним, приструним! — отговаривался Кирьянов.— Накажем, если надо, а то и уволим. Чего там, в самом деле! Но вы уж тоже! Будьте справедливы. Вон он сколько сэкономил нам. И потом работать с ним надо! Воспитывать! Он человек беспартийный, недозрелый, мы доводить до кондиции его должны.

— Ха, до кондиции! — воскликнул Чиладзе, поигрывая глазами.— Он тут любого из нас сам до кондиции доведет. И похоронный марш сыграет.

— Ну вот, — вскинулся, хохотнув, Кирьянов,— уже о похоронном марше заговорили! Да разве мы на похороны собрались?

Лаврентьев и радист отчужденно молчали.

— Все-таки надо бы с Храбриковым кому-нибудь полететь,— сказал Лаврентьев.— Не ровен час...

— Летите! — беспечно ответил ПэПэ. Занудство Лаврентьева и Чиладзе порядком надоело ему.— Летите,— повторил он снова,— но меня увольте. Я чужую работу делать не намерен.

Наступила неловкая пауза. Вокруг веселились люди, а они молчали.

— На минуточку! — сказал неожиданно Чиладзе.

Кирьянов сначала не понял, чего он хочет.

— На минуточку вас, Петр Петрович,— повторил начальник радиостанции.

Кирьянов нехотя встал, отошел вместе с ним в угол, к орущим во всю глотку ВЭФам.

— Слушайте, Петр Петрович,— волнуясь и потея, проговорил Чиладзе.— Ты что, в самом деле, глупости делаешь? —

Когда Чиладзе волновался, он не только потел, но и путался в обращении, перескакивал с «ты» на «вы» и обратно. — Чего ты, в самом деле, губернатора строишь?

«Ну вот, — подумал Кирьянов, — еще один псих. Власть, видишь ли, чувствует, партийный секретарь. По душам беседует с руководством. В порядке воспитания».

— Знаете что, товарищ Чиладзе, — строго сказал Кирьянов, надо было осадить все-таки секретаря, — не предполагал, что партийный секретарь может собирать обо мне грязные сплетни. Не для того, по-моему, существует партийная организация. Вы должны помогать руководству в реализации планов, а не ставить палки в колеса...

— Какие такие палки? — удивился Чиладзе.

Приходилось быть гибким.

— Ну хорошо, хорошо, — изменил тон Кирьянов. — Разве же я не прав, отправив Храбрикова самого? Оснований для тревоги нет. И вы мне помогите, успокойте людей.

Улыбаясь, он вернулся к столу, стараясь выгнать из себя неожиданную хандру, стараясь искусственно создать хорошее настроение, это он умел, чего ж не уметь, если вон черную икру и ту искусственно научились производить, а настроение уж как-нибудь. Он вскочил, оглаживая светлый, по случаю праздника надетый костюм.

— Кира Васильевна! — крикнул Кирьянов, вновь привлекая к себе внимание, как бы раздвигая других. — Давайте сюда!

Он не повторил приглашения, хотя Цветкова еще сидела, не решаясь, подхватил ее со стула, аккуратно поставил рядом с собой, наклонился, чтобы добраться до ее талии, пошел в старомодном танго. Гости образовали круг. Глядя в глаза Цветковой и смущая ее до краски, ПэПэ выделывал всевозможные сногсшибательные пируэты, вспоминая то, что умел, импровизировал, и все это выходило у него легко, даже изящно, потому что партнерша не мешала ему, он не должен был приноравливаться к ней: партнершу он просто вскидывал, если она не понимала его, переносил по воздуху, как переносят легкую мебель.

В каком-то крутом повороте краем глаза Кирьянов увидел Чиладзе и Лаврентьева. Подхватив пальто и шапки, они топтались у двери. ПэПэ понял их — хотят утащить с собой и Киру, но она, слава богу, не видит их, от спирта и стремительных поворотов, поди-ка, кружится голова, не то что люди, стены плывут у мышки, да и ни к чему она вам,

господа хорошие. Потолкавшись, Чиладзе и Лаврентьев вышли из столовой, никем не замеченные, кроме ПэПэ.

«Пусть летят, в конце концов, — благодушно подумал Кирьянов. — Пусть летят, коли охота, только не паникуют и компанию не рушат».

Танец продолжался, гости посмеивались, однако негромко — Кирьянов танцевал все-таки с начпартии, а там черт знает, какие у них отношения, — ведь иногда даже смеяться надо сознательно, к месту и с толком.

ПэПэ махнул рукой, видя умоляющие глаза Киры; гости, словно бы по команде, расслабились вновь, наполняя стаканы, закусывая, шумя, танцуя.

— А ведь вы, — сказала неожиданно Кира, — вполне обошлись бы без них.

Он кивнул, щедро улыбаясь, потом сообразил, что говорит Цветкова о гостях, отодвинул ее от себя, продолжая танцевать, окинул взглядом. Сначала он думал вразумить ее, дать понять, что психоаналитика не для нее, но неожиданно расхохотался.

— Точно! — хрипло шепнул ей в ухо. Она слегка отодвинулась. Танец разгорячил его, и, видя, что Кира отстранилась от него, он несильным движением прижал ее к себе.

«Ого, — подумал он тотчас, — а я-то думал», — и деликатно переложил ладонь чуть ниже. Цветкова попятилась, он исправился, боясь спугнуть ее, а сам захохотал, как бы продолжая разговор, но думал совсем о другом.

— Точно! — повторил он, наклоняясь к Кире и принюхиваясь к ее приятно пахнущим волосам, и вдруг предложил: — А давайте пошлем их к черту!

Кира не поняла, он разъяснил, что можно сходить на радиостанцию, и эта дурочка обрадовалась, немедленно побежала одеваться. «Надо бы заставить ее выпить, — подумал он, чувствуя, как в висках начинает тукать кровь. — Ну да ладно. Дома, кажется, есть коньяк».

Стараясь быть непринужденнее, он подкрутил на полную мощь транзисторы и, как бы невзначай, вышел за Кирой.

На улице были густые сумерки. Луна просвечивала мутную кисею, образуя возле себя круг, напоминающий белесый нимб.

— Похолодает, что ли? — спросил вслух Кирьянов, беря Киру под руку и поеживаясь от холода.

— А по сводке метель, мокрый снег, — засмеялась Кира. — Ну это синоптики!

Неспешно, прогулочным шагом, они дошли до радиостан-

ции, и Кира совсем было успокоилась. Она делала все, что могла, и оказалось — возможно невозможное. Да, самым удивительным во всей этой истории ей представлялось поведение ПэПэ. Готовясь к своему публичному бунту, она ждала возмущения и ярости Кирьянова, а вышло все гораздо проще и нормальнее — то ли он понял, не дурак же, в конце концов, то ли испугался? А может, опять играет?

Так и не поняв, что произошло с Кирьяновым, Кира толкнула дверь. Посреди радиостанции стояли Чиладзе и Лаврентьев, оба какие-то взъерошенные. «Как они обогнали нас, — удивилась Кира, — улица в поселке одна?..» Тут же она поняла: прозевала что-то очень важное, словно закрыла глаза и на мгновение уснула. Да, да, да! Так оно и случилось. Всех всполошила, подняла на ноги, а сама, успокоенная Кирьяновым, стала думать о случившемся в прошедшем времени. В прошедшем... Почему в прошедшем? Ведь ничего еще не прошло, ничего не закончилось.

Как бы стряхивая с себя оцепенение, Кира шагнула вперед, но ее опередил ПэПэ.

— Ну! — властно спросил он. — Какие новости?

— Не успели, — ответил ему Лаврентьев. — Прибежали на площадку, но вертолет уже ушел.

— А что здесь? — спросила Кира.

— Молчат, — хмуро сказал Чиладзе. — Не откликаются ни по обычной, ни по аварийной волне.

ПэПэ потребовал последнюю радиограмму. Она была краткой: «Нормально. Ждем помощи».

— Неразговорчив, бродяга! — бросил он и повернулся к Кире. — Ничего страшного. Может, батареи подмокли или еще что...

— А если не подмокли? — спросил Чиладзе. Он был собран, встревожен, от праздничного настроения не осталось и следа, а Кира вздрогнула. На вечеринке она взывала спасти группу Гусева, говорила, что им угрожает опасность, а Чиладзе сказал уже не об опасности. О другом.

— Не паникуйте! — сказал шутливо Кирьянов. — Вы же не барышня.

— Я не барышня! — согласился Чиладзе. — Просто я не желаю быть безучастным свидетелем.

— Вы увлеклись праздником, — сказал Кирьянову Лаврентьев. — Выйдите наконец, Петр Петрович, из этого состояния! Там же люди, они погибнут!

— Да, черт возьми! — воскликнул ПэПэ, и Кира вновь увидела прежнего «губернатора». — Я здесь не первый день!

И все это было, тысячи раз было, поймите! И аварийки, и прерванная связь, и так называемые ЧП! И все кончалось нормально!

— Раз на раз не приходится, — возразил Лаврентьев.

ПэПэ сорвался с места и заходил из угла в угол, высокий, широкоплечий, и за ним металась его большая тень. Потом остановился.

— Хорошо! — взмахнул он рукой. — Вот вам доказательства от противного. Я не прав, вы правы. Я спокоен, вы беспокоитесь. Но посмотрим на ситуацию реально. Вертолет ушел. Вторая машина на профилактике. Что мы можем поделать? Вы! Я! Ждать! Нам осталось ждать! Можно было, конечно, вскочить из-за стола, сесть всей компанией в вертолет и коллективно полететь на выручку Гусеву. Но это дешевый энтузиазм, поймите! Энтузиазм наполовину со спиртом. И потом, если действительно виноват Храбриков, пусть он и исправляет свои ошибки. Или я не прав?

Чиладзе глядел в сторону, Лаврентьев стоял потупившись.

— Храбриков за людей не отвечает, — сказал, помолчав, Чиладзе. — Он отвечает за вертолет, да и то отвечает ли?

— Не сгущайте, — ответил твердо Кирьянов, — и возьмите себя в руки. Все будет в порядке. И контролируйте эфир. Если что, докладывайте.

Отдавая команды, Кирьянов был равнодушен. Весь этот психоз выдумала Цветкова. А сейчас его занимало другое, совсем другое. ПэПэ подхватил Киру под руку, они вышли на улицу. Четверть часа, не больше, пробыли Цветкова и Кирьянов у радистов, а погода уже переменилась, как это часто бывало здесь. Луна едва пробивалась сквозь дымку, а с севера дул холодный, обжигающий, мощный ветер. Казалось, невидимая, но плотная и необъятная воздушная стена наваливалась на тайгу, на поселок. Уличная грязь сковывалась морозом, становясь вязкой, лужи хрустели льдом.

Навалясь на ветер своим тяжелым телом, Кирьянов тащил Киру. Она мрачно молчала — видно, выходил на таком сквозняке хмель, а может, опять переживала за Гусева.

— Бросьте! — крикнул ей Кирьянов. — Вертолет уже забрал их, вот весь и секрет, потому молчат.

— Они молчат давно! — ответила Кира. — И потом такой ветер...

— Это порыв! — весело солгал Кирьянов. — Скоро успокоится.

Они были возле кирьяновского дома. За руку, как маленькую, ПэПэ завел Киру к себе.

Потирая покрасневшие щеки, она сидела на диване, и Кирьянов, разглядывая ее, подумал, что эта серая мышка, в сущности, не так уж дурна собой и что, щадя ее в деле, не предъявляя особых требований, какие он предъявлял к другим, он, кроме прочего, подспудно, про себя, имел ее в виду... на будущее.

Эта маленькая мышка могла пригодиться, ведь всякий человек интересен по-своему, любопытной оказалась и она, повысив сегодня голос и этим как бы напоминая о своем существовании, об окончании своего статичного, законсервированного состояния. «Ну вот, — подумал он, ограждаясь морально от предстоящего. — Она виновата сама: если бы молчала, я не обратил бы на нее внимания».

ПэПэ подошел к Кире: поднял ее за плечи, проявляя заботливость и галантность, помог снять пальто, она, ничего не понимая, кивнула, благодаря, и Кирьянов оценил это как одобрение последующих действий.

ПэПэ обнял Киру, обхватив ее за спину, так что она не могла шелохнуться, не наклонился, а приподнял ее, оторвав от полу, к своей бороде, поцеловал по-медвежьи, овладев ее ртом.

Напрягаясь, извиваясь всем телом, Цветкова пробовала вывернуться из его лапищ, но это было бесполезно. Неожиданно Кирьянов ощутил пронзительную боль, вздрогнул и засмеялся — мышь вцепилась в него зубами, даже, кажется, прокусила кожу у запястья, но это только подхлестнуло его.

И вдруг он услышал, как она сказала — спокойно, даже равнодушно:

— Какое производное слово от испанского «кабальеро»?

Он опешил, потом захохотал: «Ну, девка!»

— Какое? — спросил он, останавливаясь.

— Кобельеро.

Кирьянов захохотал вновь.

— Слушайте, «губернатор», — сказала она опять столь же спокойно, — что вы рвете мое платье? Ведь, кажется, я еще не ваша наложница?

Он рассмеялся вновь, отпустил ее на минуту. Завязывался, кажется, деловой диалог.

— Ну так будешь! — успокоил он ее.

Неожиданно, словно выстрел, зазвонил телефон. Чертыхнувшись, Кирьянов отпустил Киру и сжал трубку. Он молчал, слушая, что говорят на том конце провода, потом крикнул, свирепея:

— Но вертолет ушел! Ушел!

Швырнул трубку, обернулся к Цветковой. Она стояла, накинув пальто, из-под которого топорщилось разорванное платье.

— Чертов проповедник! — ругнулся он. — Грузинская кровь заговорила! Требует, видите ли! — и неожиданно велел Кире: — Раздевайся!

— Что там? — спросила она.

— Твой Гусев подал голос. Говорит, падала антенна. Их заливает. Раздевайся!.. — Ему надоело с ней бороться: в конце концов, он не мальчик, и у них не такие отношения, чтобы она могла пренебрегать им. Эта мышь должна уступить сама! Тем не менее ПэПэ шагнул к Кире, повторив: — Раздевайся!

— Между прочим, это уголовное дело, — сказала она совсем спокойно.

— Что? — не понял он.

— То, что вы хотите сделать.

— Дрянь, — ответил он ей лениво, подумав: «А что, такая может! Эта дура все может». — И вдруг заорал сатанея: — Дрянь! Девка! Я тебя вышвырну отсюда!

— Давно пора, — грустно ответила Цветкова, и эта готовность быть вышвырнутой вывела его из себя.

ПэПэ ощерился, походя даже внешне на волка, подскочил к стене, схватил карабин и нажал на спуск, целясь в потолок.

Жахнул выстрел, комната заполнилась дымом.

Он устало швырнул оружие на диван и понял, что противен сам себе.

Цветкова уже исчезла из комнаты, да и игрой была вся эта пальба. Игрой для единственного зрителя — самого себя, и это было отвратительно, невыносимо.

— В 19 часов 10 минут от группы Гусева поступила последняя радиограмма. Связь вновь оборвалась. По каким причинам, вы знаете. Это был уже сигнал бедствия.

— Вертолет в это время уже ушел. Отбросив все предыдущее, скажу честно: я не боюсь ответа. Но тут уж я не виноват. Остальное ложится на Храбрикова.

— Напоминаю: он утверждает со ссылкой на свидетеля, что вы не указали ему, куда лететь вначале — за спиртом или за людьми.

— Доводы подлеца, что тут говорить. Если даже так и я не говорил, куда раньше, неужели нельзя понять?

— Вы стали говорить точнее. Но в том, что Храбриков поступает так, разве не виноваты вы сами?

— Виноват. Я теперь понимаю. Вы занесете это в протокол?

— Да, это мой долг.

25 мая. 19 часов.

СЛАВА ГУСЕВ

Когда кончили рассказывать байки и очередь дошла до Гусева, он был уже натянут, словно тетива, хотя лежал развалясь, непринужденно. Пока говорил дядя Коля, Слава пристально смотрел, как окончательно скрылись в воде сучья, воткнутые им для ориентировки, прикинул по часам и высчитал, что вода поднимается стремительно, примерно по дециметру в час.

Островок таял на глазах, но Гусев был спокоен, зная, что остальные не заметить резкого подъема воды не могут, а если и говорят о чем-то постороннем, то только для того, чтобы убить время, чтобы не дергаться понапрасну. Но теперь, когда очередь дошла до него и Орелик сказал: «Валяй, Славик», — он резко вскочил.

— Вот она, моя байка, — сказал Гусев, озираясь по сторонам. — Видите, что такое стихийное бедствие!

Никто ему не возразил, даже Орелик, и Гусев выбранил себя в душе за утреннюю покорность. Теперь это было очевидно, настолько очевидно, что становилось тошно. Надо было настоять на своем тогда, пусть всем промокнуть, даже заболеть в результате, но перенести лагерь вброд. И хотя, по логике, Орелик был прав, предлагая вызвать вертолет, кроме логики, на свете были еще кое-какие вещи, и уж он-то, Гусев, это прекрасно знал.

Да, знал поговорку: «На бога надейся, а сам не плошай», — всегда ей следовал, но вдруг вот поддался агитации Орелика и дяди Колиному незаметному попреку, сравнил себя с «губернатором», уличив вдруг в себе его черты, озяб и сдался. «Немного же, немного было надо тебе», — корил он себя, думая о том, как спокойно сидели бы они сейчас под триангуляционной вышкой, безбоязненно оглядывая речную стынь, и не думали бы ни о каком вертолете.

Успокаивая себя, стыдя за нервность, которая сейчас передастся другим, Гусев обошел остров.

Южняк сменился северным ветром, вода у закрайков покрывалась тонким льдом, но большое пространство не оставалось неподвижным, и ледок ломался, позвякивая и качаясь на волне. Теперь территория, свободная от воды, походила на язык длиной метров в пятнадцать и шириной метров в семь. Со временем язык превратится в снежный гребень. Впрочем, язык или гребень, какая разница, — если не подойдет вертолет, язык превратится в гребень, а гребень скроется под водой. «Что тогда?» — думал Слава, прикидывая наихудшие варианты.

До холма, где стояла триангуляционная вышка, было метров двести. Утром три четверти из них Слава и дядя Коля прошли легко, изредка оступаясь, и лишь последние пятьдесят — тридцать метров он двигался по грудь в воде. Теперь дорога к вышке была неодолима, он понимал это: упущено слишком много времени.

Скрывая озноб, охвативший его и перемежавшийся неожиданным жаром, Слава подошел к палатке. Костер угас — кончился хворост, только в его глубине изредка попыхивали оранжевые угольки, отдавая последнее тепло. Гусев погрел над ними руки, велел Семке настраиваться на аварийную волну, но радист не шелохнулся. Слава вопросительно поглядел на Семку и почувствовал, как его опять пронзил жар. Он стер со лба выступившую испарину, поторопил Петрущенко:

— Давай быстрее!

Семка поднялся, затоптался на месте и шевельнул посиневшими от холода губами.

— Славик, антенна упала!

Гусев вскочил, в глазах поплыли круги, он обернулся к кустам, куда тянулась антенна. Шест, за который была зацеплена проволочная нить, их единственная связь с поселком, лежал в воде, а антенна исчезла.

Он ругнулся, переходя на крик, но его остановил дядя Коля.

— Не стали тебя будить, — сказал он. — Ты прикорнул, а дрын отвалился. Видно, подтаял снег.

«Верно, — отметил Гусев, — снег, в который воткнута подставка для антенны, осел, может, даже растаял, и все свалилось».

Но спросил, холодея вновь, чувствуя недомогание:

— Чего же не разбудили?

— Какой толк? — сказал Орелик не так беспечно, как утром. — Лезть в воду? Ты уже заболел. Хватит.

Гусев оглядел их — посиневшего, виноватого Семку, угрюмого дядю Колю, Орелика. Эти рационалистические идеи Орелика уже давно надоели ему, он захотел сказать по этому поводу что-нибудь резкое, грубое, но сдержался, насупился, взвешивая положение, измеряя пространство до вышки, где было спасение, до неба, откуда спасение не приходило, до места с антенной — ниточке к спасению.

Из трех вариантов этот был самый близкий, самый простой.

Не говоря ни слова, Гусев медленно, но твердо двинулся по острову в сторону, где лежал, почти затонув, шест, и равномерно, не сбавляя и не прибавляя скорости, вошел в воду.

— Славик! — заорал сзади Семка, бросаясь за ним и шлепая по мелководью. — Славик! Я сам!

— Назад! — прикрикнул Гусев, оборачиваясь, и снова рявкнул: — Назад!

В приказе его были нотки, незнакомые Семке, он послушался и побрел обратно.

Гусев шагал дальше. Удивительное дело, вода не казалась теперь ледяной. Он был в ней уже по пояс, поражаясь как быстро поднялся уровень, прикидывая, что, верно, кроме подъема уровня, резко осел, стаял снег под водой, соображая не к месту, что неожиданный ледоход может ускорить подъем реки, и уж тогда, тогда...

Гусев хмыкнул, отгоняя дурные мысли, взялся одной рукой за скользкие ветки куста, подхватил шест с антенной, воткнул его вновь. Над водой, перерезая небо, протянулась черная нить.

Слава повернулся, чтобы идти назад, сделал несколько шагов, но сзади с плеском вновь обрушилась подставка. Разгребая ледок, он вернулся, теперь уже обеими руками всадил шест в дно. Мерзлая земля под снегом, однако, не поддавалась, шест не держался, и Гусев, обернувшись к острову, крикнул Семке:

— Передавай! Я стану держать!

Издали он увидел, как Семка напялил наушники, засуетился возле своей машинки, затих.

— Давай аварийку! — крикнул хрипло Гусев. — Требуй срочно вертолет!

Семка и Орелик с дядей Колей сгрудились на острове в одну темную кучу и затихли.

Гусев услышал тихий плеск воды, какое-то журчанье и чмоканье.

Он любил воду, любил купаться, не вылезал, бывало, из речки в детстве. Умел таскать раков, рыбачить, закидывая всевозможные снасти, ловить и бреднем и неводом. С детства обученный плавать отцом — тот бросал его с лодки и, подставив корму, потихоньку отплывал, — он мог часами находиться в воде.

Но не в такой воде.

Держа обеими руками шест с антенной, опираясь на него, Гусев ощущал онемелость всего тела. Только голова была горячей. Незаметно для него в сознании стали наступать провалы. Синяя вода перед глазами вдруг становилась серой, чернела, изменяя цвет, неожиданно становилась красной, и на то время, пока все возвращалось на место, приобретая прежние краски, Гусев отключался. Звуки долетали до него с опозданием, как бы сквозь плотную шапку с ушами, обвязанными поверх еще и шарфом. Он забывал, где находится, и едва приходил в себя, усилием воли заставляя опомниться.

Когда Семка принял ответную морзянку, узнав из нее, что вертолет вышел, и заорал, надрываясь на радостях, Гусев его не услышал.

Он стоял, прислонясь к шесту, теряя сознание, слух и волю. Новый крик дошел до него с трудом. Он едва повернул шею.

Три тени на острове подпрыгивали, мелькали. Отпустив шест, рухнувший тут же, Гусев пошатнулся, упал в воду, но, мгновенно придя в себя, поднялся. Ребята приняли его в мелководье, подхватив под руки.

С него текло ручьями, и одежда тотчас леденела, покрываясь тонким, хрупким, но въедливым льдом.

Гусев сопротивлялся, с трудом выговаривая слова, но его донага раздели. Командовал дядя Коля. Велев бросить в костер спальник и загородить Гусева брезентом, он содрал с себя рубаху. Семка напялил на него две пары запасных трусов. Орелик вытянул из мешка трико и кеды. В запасе у дяди Коли обнаружились валенки. Еще один спальник Симонов располосовал ножом, проделав дыры для рук и ног, и Гусев хрипло захохотал. Теперь он походил на черепаху или еще на какую-нибудь странную для здешних мест тварь, но только не на начальника.

Желтый, душный дым, валивший от тряпок, резал горло,

ел глаза, но дядя Коля держал Гусева у самого огня, чтобы согреть хотя бы чуточку. Брезентовый полог сдерживал, прогибаясь, ветер, костер давал тепло, и Гусев постепенно приходил в себя. Провалы в сознании не проходили; время от времени он вздрагивал, словно проснувшись, и все-таки мысль действовала, боролась: «Вертолет не летит, вертолет не летит. А связи больше нет».

Темнота сгущалась. Над головой повисла луна, окруженная туманным кольцом. «Погода переменится, — отметил он. — Возможно, ударит мороз». Он обвел глазами остров. Вода сжимала их все теснее, она плескалась у самой палатки и недалеко от костра. Еще час, а может быть, меньше, и он погаснет. Будет темно и холодно.

Голова походила на ватную, внутри что-то жгло. Он чувствовал, что еще немного, и он потеряет сознание. Ледяная вода не прощает таких купаний.

Однако надо было что-то делать. От него, начальника группы, требовалось действие. Он отвечал за людей и, упустив время утром, обязан спасти их теперь.

— Вы говорите о квалификации происшедшего? Что ж, пожалуйста. Вы предлагаете назвать это халатностью. Если подходить формально, пожалуй, и можно.

— Постарайтесь, пожалуйста...

— Зачем просить. Я называю дело уголовным.

— Вам не хватит доказательств.

— Экспертиза подтвердила доказательства оставшихся в живых: вертолет мог подлететь к группе со времени первой серьезной радиограммы, по крайней мере, десять раз.

— Не учитывая...

— Учитывая посадку на месте происшествия и эвакуацию лагеря. Халатностью это не назовешь. По крайней мере, в трагическом финале.

— Но хоть вначале-то это была халатность. Я просто не придавал значения! Доверился другим! В конце концов, что вам надо? Что вы хотите со мной сделать?

— Спокойно, Петр Петрович. Вы, видимо, утратили чувство меры. Вам кажется все доступным. Вы посылаете вертолет за ящиком спирта. И в этом ящике заключены сразу три преступления: перед людьми Гусева — первое, злоупотребление служебным положением — второе, коллективная пьянка, именуемая днем рождения, — третье! За все это вы ответите на суде.

25 мая. 19 часов 20 минут.
ВАЛЕНТИН ОРЛОВ

Валька увидел, как через силу поднялся Гусев. Нелепый в своем странном обмундировании, он приказывал четко и разумно.

В углу палатки лежал ящик с консервами. Их вытряхнули, а ящик разломали, соединив в нечто похожее на плот. Палаточные опоры придали сооружению некоторую надежность. В ход пошла измерительная рейка, а Семка догадался, вытащил за антенну из воды шест.

Его разрубили, плотик стал крепче.

Работали молча, насмерть крепя дерево, не обсуждая, что, зачем и к чему.

Втайне Орелик упорно надеялся, что вертолет все-таки прилетит и плотик не пригодится. Утром и потом, позже, он был уверен в своей правоте, не собирался отступать и сейчас, обвиняя во всем какие-то иные, не зависящие от них обстоятельства, о которых они не знали, не подозревали и из-за которых так долго не шел вертолет.

Последняя радиограмма, полученная Семкой, вселила в него окончательную уверенность, что все нормально, и он до звона в ушах вслушивался в тишину, старательно, однако, связывая плот.

Но тишину ничто не нарушало, кроме стука обледеневших ветвей кустарника и прерывистого дыхания людей.

В первое мгновение, когда к этим звукам примешался еще один, похожий на гудение шмеля, Орелик, перестраховываясь, не поверил себе и смолчал. Но голос шмеля был все громче, и Валька, ликуя, крикнул:

— Ага! Летит!

Оставив плотик, они сгрудились враз; вдруг не стесняясь больше друг друга и не таясь, громко и радостно заговорили, а Орелик засвистел — пронзительно, переливисто, заложив в рот два пальца, как свистел пацаном. Это было смешно: вертолет находился еще далеко, да и вблизи разве можно расслышать свист сквозь грохот винтов? Но Орелик заливался, не умолкая, и остальные хохотали, размахивая руками, бросаясь к мешкам, собирая их в кучу, чтобы было удобнее и быстрее грузить.

Шмель увеличивался в размере, напоминая теперь уже небольшой темно-зеленый огурец, и в какое-то мгновение

Орелик, как и остальные, отметил, что машина пересекает реку, что она совсем и не видит лагерь. Это было так просто, так элементарно. Ведь уже наступили сумерки, и с вертолета могли не разглядеть их.

— Ракеты! — услышал Орлов хриплый крик Гусева, кинулся к мешку, где хранили патронные гильзы со спасительными зарядами, но его опередил дядя Коля.

Огромными прыжками Симонов подскочил к мешку, склонился и в одно мгновение, даже не поднимаясь, с колена выстрелил. Красный шар послушно взлетел вверх, осыпая за собой огненное крошево, а дядя Коля, не давая остыть ракетнице, стрелял и стрелял.

Догоняя друг друга, ракеты тревожно метались по небу, озаряя низкую облачную кисею и черную, жутковатую от красного света воду.

Вертолет, монотонно тарахтя, прошел над рекой ниже лагеря, исчез за деревьями, не заметив сигналов.

Орелик словно окаменел. Он стоял на краю пятачка, оставшегося от острова, и глядел, не веря, в ту сторону, куда ушел вертолет. Ему казалось, это шутка или оплошность. Сейчас шмель снова вынырнет из-за тайги и возникнет над ними. Но вертолет исчез, уже не слышалось жужжания, и в упавшей на остров тишине Орлов услышал опять хлюпанье обледенелых ветвей впереди, а за спиной — сдержанное дыхание людей.

Он обернулся.

Гусев, дядя Коля и Семка копошились серыми тенями над плотиком. Они молчали, не обронив ни слова с тех пор, как исчез вертолет, и в их движениях Орелик увидел ожесточенность.

Медленно, не понимая происходящего, он подошел к товарищам и повторил исступленно:

— Но почему? Почему?!

Вертолет пролетел мимо, и это было ужасно, глупо, неправильно! Это было ошибкой и ошибкой, только ошибкой! И он не понимал этого, не мог понять!

Гусев обернулся к Орелику, взял его за плечи и крепко тряхнул.

— Валентин! — сказал он осипшим голосом. — Валя! Хватит! Понял? Надо спасаться самим! — И засмеялся хрипло, подбадривая: — Ничего! Спасемся! Теперь нам нужны только силы и терпение.

Плотик был готов, и Гусев принялся сбрасывать с себя спальник. Его движения казались судорожными, какими-то

скованными, и Валька, еще не зная, что затевается, понял: это должен сделать не Гусев, а он.

Истина казалась очевидной, просто элементарной: во всем, что случилось, виноват он. Пусть ему хотелось как лучше, но не зря говорится: благими намерениями устлан путь в ад. Его намерение было благим, но теперь, когда от острова осталось по нескольку шагов вдоль и поперек, это не имело никакого смысла. Вода поднималась, и жизнь их группы зависела теперь от кого-то одного.

Орелик видел, как раздевался Гусев. Как готовился он в третий раз сегодня войти в ледяную воду. И он не должен, не имел права допустить этого.

Орелик скинул с себя телогрейку, подошел к плоту, оттеснил Гусева, который уже склонился над ним, аккуратно сматывая шнур.

— Теперь я! — повторил Орелик. — Теперь я!

Он заметил на себе серьезный, взвешивающий взгляд Гусева и столкнул плот на воду.

— Слышишь, Орелик? — оттянул его за рукав Гусев. — Я тебе ведь сказал. — Он смотрел на Вальку с укором. — Я сказал: сила и терпение. Нам нужны сила и терпение. — Он хрипло, с присвистом дышал. — Не сердись, — продолжал Гусев, — понимаешь, у нас такая работа. А у тебя не хватит сил, чтоб добраться до вышки. Я не уговариваю тебя, дело не в этом. Дело во всех нас. Нам надо спастись обязательно всем. До единого, понял?

Валька поднялся. Слова начгруппы были правильны. Ни мгновения не сомневаясь, Орелик готов плыть к берегу. Но он не мог поручиться лишь за одно, что доберется.

— Ты болен, — сказал Орелик, думая о том, что Гусев тоже может не добраться.

— Я смогу! — ответил Гусев. — Я должен, понимаешь, должен доплыть! — Он помолчал, потом добавил, обращаясь к дяде Коле: — Ты будешь старшим, Симонов! Если что случится со мной, притяните плотик назад, и попробует следующий.

Гусев сжал Вальке локоть, вступил в воду, сделал несколько шагов и, оступаясь, проваливаясь, стал толкать плотик перед собой.

Сперва глубина достигала ему до пояса. Потом он стал скрываться по грудь. Затем поплыл, навалясь на плотик, наполовину топя его и часто передыхая. Ветер резко похолодал, там, где только что прошел Гусев, вода сразу сковывалась тонкой коркой льда.

Орлов травил бухту шнура, вглядываясь в темень, которая стушевала Гусева. Он слышал плеск воды, легкое потрескивание непрестанно нараставших льдин и клял, беспрестанно клял себя за утреннее благоразумие, за свою правоту, которая теперь обходилась такой ценой.

Ни на минуту страх за себя не навещал его. Страха вообще почему-то не было, но было сознание вины перед товарищами, и теперь, когда Гусев, сказав свои слова, исчез в сумерках, тараня плотиком ледяную воду, это чувство вины, которую ничем невозможно искупить, вновь овладело Ореликом.

Дрожа на ветру, он нетерпеливо вслушивался в звуки плещущейся воды и шуршащего льда, определяя про себя расстояние, которое осталось Гусеву.

То, что делал сейчас Гусев, про себя Орелик назвал подвигом, боясь даже думать о мере этого поступка.

Не раз он читал, много слышал о людях, попавших в ледяную воду. Это всегда плохо кончалось — речь не шла, конечно, о каких-нибудь суперменах, сверхзакаленных моржах, — люди заболевали.

Орелик вдруг вспомнил, словно кадры из старой ленты, как лежал он в больнице, подхватил двустороннее крупозное воспаление легких. Это было поздней осенью, он щеголял в болонье и без шапки, подражая моде, потом стал потеть, харкать кровью, свалился, теряя даже сознание на больничной койке.

Не к месту, не вовремя Орелик вспомнил вдруг, как сидел, выздоравливая, на подоконнике в больничной пижаме, махал рукой демонстрантам — мимо больницы текли яркие ноябрьские колонны — и как было сразу и весело и грустно.

Ему, студенту, симпатизировали молодые сестры, делавшие небольные уколы пенициллина, врачи, любившие при случае поболтать о науке, ему делали поблажки и послабления, и Вальке жилось, признаться, неплохо там, в этой больнице, даже нравилось, если бы не один старик.

Старик этот лежал в коридоре: мест не хватало. Его изможденное, морщинистое лицо напоминало коричневую кору усохшего дерева, и старик кивал по утрам Вальке: его кровать стояла против открытой двери в палату. Они не говорили, однажды только Валька остановился на минуту возле него, и старик сказал ему, что у него три таких же, как он, сына. Валька кивнул, стараясь поприветливее улыбнуться, но больше говорить не стал, думая иногда, где же эти сыновья: к старику приходила только жена.

Читая или просто глядя в окно, Орелик часто ловил на себе взгляды старика и смущался, но тот улыбался одобрительно, одними глазами, прикрывал веки, поворачивался к стене и утихал. В пристальных взглядах Валька улавливал странное любование, а иногда зависть. Он тогда не очень понимал это.

Понял позже.

Однажды утром, проснувшись, он пошел в коридор поразмяться и, только возвращаясь, заметил, что кровать, где лежал старик, аккуратно застелена.

— Выписали? — спросил он у медсестры, красноносой и конопатой.

— Выписали, — ответила она, сморкаясь, но позже от врача узнал, что никуда старика не выписали.

Валька понял стариковские взгляды, и ему захотелось плакать. Глотая комок, засевший в горле, он подумал тогда впервые в своей жизни: «Как ужасно, что есть смерть!»

Да, смерть была ужасна, она непоправима — нет ничего страшней даже мысли о смерти. В этом он убедился чуть позже — из-за своей мальчишеской дурости.

Его долго не выписывали: то подпрыгивала, то падала температура. Наконец после утреннего обхода врач объявила, что ладно, так и быть, пусть собирается домой, и Валька понесся по больничному коридору, едва не сшибая нянечек и больных, к телефону, который стоял в приемном покое.

Там никого не было. Он набрал мамин рабочий телефон и, изменив голос, внушительно и сердечно объявил Маргарите Николаевне Орловой, что ее сын, Валентин Орлов, скончался.

Он тут же захохотал, выдав себя, мама обругала его дурнем, а приехав за ним на такси, сказала в машине, что ей делали укол и приводили в себя нашатырем.

Мама у Вальки не была нервной особой — работала инженером на производстве, после ухода отца к другой женщине стала курить и как будто немного огрубела, она не проронила ни слезинки и не дрогнула даже лицом, когда отец уходил, а тут потеряла сознание от неуместной шутки сына...

Орелик вспомнил старика. Вспомнил, как лежал он, уткнувшись в подушку. Он не знал даже имени старика. Нет, дело тут не в чувствительности. Дело в том, что невыносима даже мысль о смерти.

...Травя бухту веревки, прислушиваясь к плеску, доносившемуся из мрака, Орелик подумал без переходов о том, что

ведь вот сейчас, сию минуту, может настать это ужасное, даже сама мысль страшит.

Пока человек жив, его смерть трудно представить. Но когда его уже нет...

Он вслушивался в плеск плотика, который то возникал, то замирал. А вдруг Гусев затихнет сейчас? Затихнет навсегда?

Валька порывисто дернул шнур. Он натянулся, а Слава крикнул из мрака:

— Чего?

Это отрезвило Орелика. Он ответил:

— Норма!

Но мысль о том, что в гибели Гусева или кого-нибудь еще будет повинен он, только он, не отпустила его.

— Итак, протокол заполнен. Осталось его подписать.

— Спросите еще что-нибудь! Может быть, вы что-нибудь недовыяснили.

— Благодарю. Все «довыяснили».

— К чему же вы пришли?

— Я веду следствие, дознание, я опрашивал свидетелей. Прямого убийцы пока в этом деле нет. И все-таки он есть.

— Это Храбриков?

— Нет. Вы. Если бы вы не были таким, какой есть, не было бы и Храбрикова. И ничего бы не произошло. Однако вы не под стражей и вы не прямой убийца. Вы не поднимали нож на человека, как какой-нибудь бандит. Но такие, как вы, страшнее бандитов.

— Эк вы куда! Обвинять легче всего. Следователем или прокурором быть очень удобно: тебя самого не касается. Ты в стороне. А как быть, если руководишь сотнями людей, техникой, ворочаешь миллионами! Я же человек, поймите, просто человек, а разве человек не может ошибиться?

— Ошибаться может. Но не может убить. Не имеет права! И ваша биография споткнулась не на ошибке, нет, не утешайте себя. Вся ваша деятельность, вернее, суть ее, нравственная сердцевина, преступна, понимаете, преступна! Не надо опускать голову. Я не верю, что вы раскаиваетесь. Вы еще не скоро поймете, что наделали и что случилось лично с вами. Одного понять не могу. Разве не было возле вас людей сильных и честных?

— Были! Были! Но не ценил. Отталкивал. Прогонял.

— Видимо, все поняли?

— Ну, если понял? Это учтется? Будет принято во внимание?

— А вы неплохой актер, Кирьянов. Загубленное дарование.

25 мая. 19 часов 30 минут.

НИКОЛАЙ СИМОНОВ

Помалу — по шажочку, по ступне они отступали назад, от кромки воды, напряженно вслушиваясь в хруст льда и дальние всплески.

Слава плыл, борясь за их спасение, и дядя Коля оставался спокоен, в то же время готовясь к худшему. В своей жизни он видел так много смертей, приняв на себя долю других людей, которые получали лишь подтверждение смерти в форме листа бумаги, заполненного стандартно, что уже не боялся этого и мог рассуждать о худшем без страха, без паники, с готовностью принять эту мысль и жить дальше.

Жить дальше, даже если погибнет Слава, его обязывал последний приказ начальника — немногословный, но вполне ясный. Уходя первым, Гусев возложил ответственность за ребят — за Орелика и за Семку — на него. И дядя Коля, признаваясь в этом только себе, выработал план дальнейших действий на тот случай, если Гусев не доплывет.

План был прост, он являлся необходимым продолжением гусевских действий: вытащить плот назад и пойти вторым. А для спасения ребят надо непременно плыть вторым, выбраться на высоту возле вышки, вернуть плот назад, а дальше — тянуть шнур, помогая ребятам скорее преодолеть пространство до суши. Вот все.

Все? В мыслях пока выходило просто, но Симонов хорошо представил, что кроется за этой простотой. Пройти две сотни метров льдистого крошева на хлипком плотике было непомерно трудно, и то, что делал сейчас Слава, дважды уже искупавшийся, превосходило все известные дяде Коле физические испытания. Но он сознавал и иное, скрытое пока от глаз: даже пройдя эти двести метров, не получишь гарантии остаться в живых. То, что называлось у стариков горячкой, подстерегало каждого из них, и, понимая это, Симонов приготовил себе роль второго на случай Славиной гибели вовсе не из геройства, а опять же выполняя приказ и полагая побыстрее протащить ребят до вышки. Помочь им, сократить их купание, охранить

от горячки, к которой молодой организм, может, более уступчив, чем старый.

Размышляя так, Симонов хитрил сам с собой. Горячке мог уступить скорее организм как раз немолодой, но это было теперь не так уж для него важно.

Он оставался старшим среди этих ребят, хотя занимал самую младшую среди них должность, и понимал, отлично понимал Гусева, решившего так. Бывают в жизни события, когда отступают в сторону должности, а вперед выходят возраст, опыт, сноровка. В нынешней ситуации из трех человек, оставшихся после Славы, он был самым бывалым, опытным, и Симонов принял приказ Гусева как должное.

Сумерки обдували его холодными, упругими накатами ветра, влажный шнур, тянувшийся к Славе, обмерз и побрякивал деревянно о корку льда, а вода все подступала и подступала.

В какое-то мгновение Симонов понял, что еще немного, и остров исчезнет совсем, и он принял решение возвести остров искусственный, как бы нарастить ту малую часть земли, что оставалась под ногами. Орелик держал шнур, это требовало внимания, и тогда дядя Коля, мобилизовав Семку, принялся стаскивать в кучу все их имущество — палатку, спальные мешки, рюкзаки, рацию, образовывая из этого спокойно и деловито небольшую высотку.

Теперь они стояли на казенном и своем имуществе, тесно прижавшись друг к другу. Вода медленно пропитывала брезент, покрывая его льдом, островок становился скользким, а Слава все еще не добрался до вышки. Однако он и не сдался. Плеск и стук льда слышались явственно — Гусев добирался до суши остервенело, настырно, наверняка.

Симонов представил себе его: задыхающийся от холода и от внутреннего жара, выбивающийся из сил, с окровавленными, немеющими руками, изрезанными о тонкий, но острый лед. Изредка Гусев подавал голос, кричал что-нибудь несвязное, и дядя Коля, понимая его, немедленно отвечал: одному в этой хрупкой зыби было жутко, неимоверно страшно, и, видно, Слава кричал, чтобы увериться в себе, нащупать ниточку, соединяющую его с людьми, ободрить вымотанный, окостенелый и, может, почти мертвый организм на борьбу, которая не должна, не имеет права остаться бесполезной. Хруст льда и плеск доказывали продолжение этой борьбы, существование Славы, а значит, надежду, и дядя Коля вздрогнул — хотя готовил себя к худшему, — когда все стихло.

Он заорал, загигикал, окликая Славу, требуя подать голос, если живой, и Семка, и Орелик заорали тоже. В их голосах

Симонов услышал страх и тотчас, без перехода — радость: с той стороны, от вышки, с натугой, тяжело кричал Слава. Он выговаривал какие-то слова, на островке разом умолкли, вслушиваясь:

— Порядо-ок! — изнемогая, орал Гусев. — Пью спирт! — Они хохотнули: значит правда порядок! — Тяните пло-от!

— Тяни! — скомандовал дядя Коля, но Орелик и без команды уже яростно мотал шнур. Он шел с натугой — видно, плот цеплялся за льдины. Валька стал помогать Семке.

Симонов смотрел, как споро, по-мужицки молча тянут шнур ребята, и, хотя было совсем не до этого, залюбовался ими. И Валька и Семка вполне могли быть его сыновьями — одному двадцать, другому двадцать три, а ему за сорок, — могли, что же. Но все у него сложилось иначе, и хотя считалось, что женщин после войны много и можно было, конечно, выбрать себе жену, равную по возрасту и понимающую, и народить после войны ребят, Симонов жил по-другому.

Обнесло его, демобилизовался без единой нашивки за ранения, считалось, крепко повезло, но не так это было в самом деле, не так.

Глядя на ребят, тянувших шнур, дядя Коля вспомнил сегодняшний день, ненужную свою откровенность, обругал себя по этому поводу, не очень понимая, зачем это он рассиропился здесь, перед тем, что сейчас...

Мысль, однако, вернулась к тому, послевоенному, к скитаниям с места на место, когда был он неприкаян и не знал, чем заняться: до войны ведь ремесла не было, кроме простой крестьянской работы, а то ремесло, которому научила война, он хотел забыть.

Да, крепко пометила его война, хотя считалось, будто он обнесенный. Правда, пуля не царапнула, осколок миновал, но ведь и другие меты от войны остаются. Сперва он вернулся домой в деревню, работал в поле, как все, но война, как ровно патефон, что ли, раскручивала в нем свою пружину, снились ему по ночам пирамидки, обугленные танки, гробы, он просыпался, глотал самогонку посреди ночи, — после ушел из деревни, убежал от себя. Деревенские девки шутили промеж себя, намекая: «Да, может, Николая не в туда ранило, а не признается», — но он восстанавливать свои достоинства не стал, ни к одной не приблизился. Боялся себя, боялся людей. Боялся, что, заведя семью, родит уродцев, произведет на свет страшные тени войны — слыхал, что и такое бывает.

Он побежал от тягостных воспоминаний по городкам, по артелям, по заводам, но война всюду настигала его, привыч-

ного к смерти, привычного к горю и неслезливого, грубоватого по натуре: даже далеко от бывших фронтов, в глубине Сибири, встречал он воинские могилы, где хоронили умерших в госпиталях.

Потом зацепился в маленьком городишке. Решил получить специальность, выучился на шофера, водил грузовики. Но совсем отлегло, только когда повстречал Кланьку — долгое у них шло ухажерство, потом долгая бездетная жизнь. Наконец Шурка родился... А ведь Шурка мог бы быть уже как Семен или как вон Орелик. Ходили бы по тайге вдвоем, говорили про жизнь, про разное...

Дядя Коля спохватился, вспомнив, по какой нужде попал в тайгу, как оказался здесь, словно бы протрезвел, и стал помогать ребятам.

Шнур натянулся, и плотик не шел. Вначале они пробовали тащить вместе, напрягаясь. Не помогало. Тогда Орелик, отстранив других, принялся бродить по мелководью, окружившему их искусственный островок, как рыболовную снасть из-под коряги, пытаясь освободить плотик от одолевших его льдин.

Не помогало и это.

Взгромоздясь повыше и напрягая зрение, дядя Коля разглядывал черневший в сумраке плот. Он трезво взвешивал обстановку, и получалось куда хуже, чем предполагалось сперва: плот застрял где-то посредине пути, скованный льдом. Тонкий, как стеклышко, под порывом морозного северного ветра он упрочнялся мгновенно, а плотик вдобавок тащил, наверное, перед собой ледяное крошево, увеличивая сопротивление.

Валька все бегал по воде со шнуром, то потягивая его, то отпуская, и Симонов велел ему:

— Брось!

Дальше надлежало единственное. Дальше полагалось исполнить свою часть дела, которую оставил ему Гусев, и дядя Коля, не крикнув ничего Славе, не желая его беспокоить, неспешно держась за Семку, снял сапоги и поаккуратнее, понадежнее подкрутил портянки. Особо обнажаться он не хотел, но, деловито прикидывая, что вода, конечно, тотчас пропитает всю одежду и будет тянуть вниз, снял еще телогрейку.

Расстегивая пуговицы, дядя Коля услышал сильный плеск, а вскинув голову, увидел, что Валька Орлов плывет к плоту, руками ломая перед собой лед.

— Назад! — заорал дядя Коля и кинулся в воду. — Приказываю, назад!

Орелик, однако, не слушая его, торопливо двигался вперед.

«Дурак, — отметил про себя дядя Коля. — Дурачок глупенький, эдак не сто, и двадцать метров не проплывет».

Он настиг Вальку, заграбастал его за живот и потащил назад. Орлов упирался, брыкаясь ногами, будто на пляже или в купальне какой, и дядя Коля беззлобно и деловито врезал ему по лицу. Орелик захлебнулся, ушел под воду, выскочил, тараща глаза, но послушно повернул назад.

На мелководье, у острова, дядя Коля ударил Вальку еще раз, посильнее, метя в подбородок. А делая это, он думал только об одном: привести Орелика в себя, заставить опомниться, дать понять, что здесь не самодеятельность, а геодезическая группа, и, пока они живы, надо уважать приказ.

Валька пошатнулся, но устоял, не проронив в ответ ни слова, и дядя Коля почувствовал себя виноватым. Однако размышлять не приходилось.

— Подай-ка варежки, — велел он Семке, не глядя на Орелика. Потом взял телогрейку, чтобы обламывать ею лед, повернулся.

— Дурачок ты, Валька, — сказал он, смущенно улыбаясь. — Только запыхал меня да охолодил. Глядишь, я бы у плота был.

Он вошел в воду и, уже плывя, крикнул Семке:

— Семен! Ты за старшего! Гляди за этим полоумным!

И засмеялся.

— Ну вот мы и подошли к концу.

— Куда торопиться, поговорим. Вы женаты? Давно кончили юрфак?

— Примерно тогда же, как и вы, но почему вам это интересно?

— Конечно, интересно. Может быть, встретимся как-нибудь? Поговорим, посидим? Коньячок, правда, вздорожал, но ничего, достать зато можно!

— А вы, ей-богу, молодец. И что вас только сможет остановить, если не остановило даже это? Даже гибель человека.

— При чем тут я? Тут виноваты другие! И обстоятельства.

— Вы слыхали такое слово «доброта»?

— Вот-вот, вам надо, чтоб я добреньким был? Чтоб я на себя чужое дело взял?

— Не прикидывайтесь, Кирьянов. Хотите послушать Чехова?

— Ну вот, давно бы так, по-человечески.

— Чехов писал однажды: «Доброму человеку бывает стыдно даже перед собакой».

— Опять вы! А при чем тут я?

— В том-то и дело, что ни при чем.

25 мая. 19 часов 30 минут.

СЕМЕН ПЕТРУЩЕНКО

Семка стоял на куче имущества, сунув руки в карманы, замерзший и испуганный.

В отличие от дяди Коли Симонова, относившегося к событиям с готовностью выполнить свое дело, и от Вальки, который чувствовал за собой вину, Семка не испытывал ничего такого.

Он просто боялся. Боялся и еще жалел.

За спиной у него висело ружье, Славина двустволка, с которой он добывал дичь, разнообразя сытный, но уже слишком концентратный, а оттого тоскливый обед, и ему мгновениями становилось смертельно жаль того, прошлого.

Семке почему-то казалось в отчаянии, что теперь уже все, что ничего не повторится больше, и они никогда не станут выгружать, перекрикиваясь, приборы из грохочущего вертолета, обедать, усевшись кружком у костра, а потом балакать между собой, и никогда уже Валька не станет писать свое бесконечное письмо, а Слава с дядей Колей Симоновым храпеть при этом в спальных мешках.

С дрожью и жалостью Семка предвидел конец, общую смерть, когда их зальет и они останутся здесь, в пойме Енисея, постепенно погрузившись в эту жуткую, стремительно поднимающуюся воду.

Поначалу, до того как вертолет прошел мимо них, ему передавалась Валькина беспечность, тем более что он сам, собственными ушами принял радиограмму о выходе машины. Но теперь все было иначе. Теперь он воспринимал происходящее по-другому, и это подкожное ощущение надвигающейся беды не оставляло его, вызывая страх и непонятные, ненужные, глупые мысли. Одна была особенно навязчива и неотступна.

Оглядывая взбунтовавшуюся реку, перебирая события дня, он снова и снова думал, что их предали. Да, предали! Кто, зачем, почему, Семка не знал, не мог знать и даже предполагать, но не могло же все, что происходило, быть чистой случайностью!

«Странно, — думал Семка, — мы даже ни разу не сказали об этом. О предательстве. Как удивительно, что это даже никому не пришло в голову!»

Он останавливал себя. А может, пришло? Славе, например, не зря он не любил Кирьянова, хотя и не распространялся очень. Да и над Храбриковым все они посмеивались, называя хорьком. В этом прозвище была не только нелюбовь, неприязнь, но и недоверие. И дядя Коля и Слава не верили Храбрикову, человеку с лисьими глазками и обманчивым словом.

Семка не знал толком ни Кирьянова, ни Храбрикова, ему только не нравилась Цветкова, тощая и, как казалось, пустая. «Что ж, — соображал он, — она виновата, начпартии? Может, это она?»

Мысли о предательстве походили на речную волну — то наплескивали, то отступали — и отступали все чаще: Семке казалось невозможным такое. Люди просят вертолет, сообщают обстановку, и никто не обращает на это внимания.

Что-нибудь такое могло быть у маленьких, у ребят, но только не у взрослых.

Семка вспомнил себя в седьмом классе и своего приятеля Демидку Львова. Демка учился в другой школе, но это им ничуть не мешало дружить, и каждый вечер, выучив уроки, Семка шел домой к приятелю, оставив маму одну.

Он делал это беззаботно, естественно, да мама и сама отправляла его погулять, всегда поощряла, как она выражалась, «хорошее товарищество»: у Демки и отец и мать работали в институте, хорошо зарабатывали, прилично одевались; хорошо и небрежно, не обращая внимания на то, что штаны, рубашки, костюмы недешево стоят, одевался и Демка. Семену нравилось в нем это сочетание, хотя сам он ходил в аккуратно штопанных брюках, в курточке с латками на рукавах.

В доме у Демки всегда было тепло, уютно: отбрасывал на потолок яркие пятна зеленый торшер, тихо, как бы вполголоса, играл проигрыватель со стереофоническим звучанием. Семку всегда ужасно смущало время чая. Анна Николаевна, Демкина мать, приносила им на красивом подносе, как господам, чайник, пятнистые, разрисованные ею самой чашечки, которыми она очень гордилась, подвигала хрустальный кораблик, полный дорогих шоколадных конфет, печенье и, усевшись рядом с ними, закинув одну на другую красивые полные ноги, начинала угощать.

Особенно она усердствовала, когда угощала Семку, стараясь при этом взглянуть в глаза, расспросить о школьных успехах, и он прямо не знал, куда деться. Кусок не шел в рот, Семка ерзал в ставшем неудобным мягком кресле, чашечка дрожала на блюдце, норовя кокнуться, и Анна Николаевна шутя предупреждала, чтобы он был поаккуратнее, объясняя всякий раз,

что это ее работа, и после этого Семка вообще готов был испариться.

Иногда он замечал, что, если нет Анны Николаевны, Демка может повторить ее слова. Особенно насчет чашечки. А еще больше — про угощение.

— Ешь, пожалуйста! — великодушно взывал Демид. — У вас-то таких, наверное, нет. — У него получалось грубее, чем у Анны Николаевны, но зато яснее. И Семка иногда, вскакивая, глотал обидные слезы и убегал.

Демидка приходил к нему назавтра, они мирились, потом все начиналось снова, и Семка как-то привык к этим бесконечным угощениям, только иногда задумывался: «Что ж, они, выходит, жалеют меня? Думают, раз мы одни с мамой, так я и конфет не ем?»

Таких, как у Демки, он, пожалуй, не ел действительно, но суть от того не менялась, он улыбался: «Смешные люди! Им кажется, меня надо жалеть!»

Они дружили, бегали в кино, фехтовали на деревянных шпагах, катались на лодке — у Демкиных родителей был знакомый на лодочной станции, Демка хвастался этим и пользовался своим преимуществом, — и Семка ко многому привык, а многое не замечал или просто еще не понимал.

Однажды в каникулы, летом, Демидка объявил, что они втроем — мать, отец и он — едут не на юг, как обычно, а в деревню. Чтобы быть доказательным, он провел Семку в пустой отцовский кабинет. На полированном столе лежали катушки с леской, грузила, крючки разных размеров и блесны, великолепные блесны, посверкивающие латунью.

Семка кивнул, стараясь быть равнодушным, но сердце его запылало от зависти. Счастливчик же этот Демка: у него есть отец, и он едет на рыбалку. В Семкином понимании рыбалка тогда соединялась только с отцом, ведь не могла же мать по примеру Демкиных родителей поехать рыбачить с ним в деревню.

Несколько дней в доме Демки шла суетня, шли сборы. Семка, приходя вечерком, сидел неприкаянно в кресле, его как бы не замечали, сократив с ним разговоры, он чувствовал себя посторонним, уходил печалясь, а мама все спрашивала, что с ним.

Он отмахивался, молчал, потом прибежал возбужденный, сказал, что Демкина семья берет его с собой, засуетился. Мама, конечно, все поняла, одобрила Семкину поездку, собрала рюкзачок с небольшими пожитками и едой. Еды она хотела положить побольше, но был уже вечер, магазины закрылись, а ут-

ром спозаранку уходила электричка, и мама положила запасы из буфета, уж что было: сахар, макароны, хлеб — буханку черного и батон, немного дешевых конфет, консервные банки с треской в масле.

Семка подтачивал напильником единственный свой крючок, пробовал на зуб леску, отыскивал поплавок — ярко покрашенное гусиное перышко.

Неделя пролетела словно во сне. Большой, взрослой рыбалки у Демкиного отца не получилось неизвестно по каким причинам, но ребята удили здорово, просто сотнями таская жадную щеклею на простой хлебный шарик.

Все было прекрасно, они дурели, бегая по полянам, усеянным одуванчиками, отплевывались от назойливых парашютиков, хохотали, плескались в реке, спали в душистом сене.

Потом Семка уехал, а Демид с родителями остался. Пока Демка жил в деревне, а Семка парился в городе, он едва ли не каждый день наведывался к приятелю. Дверь была закрыта, хозяева не возвращались, и Семка жутко тосковал по Демке.

Когда он совсем уж решил, что Демидовы родители, видно, проживут там до осени, дверь оказалась открытой.

Демка был один, он не обрадовался Семену, кивнул, пропуская, потом улегся на диван, стал листать журнал как ни в чем не бывало, словно в комнате никого нет.

— Ты что? — удивился Семен, думая, что Демка, может, заболел или расхандрился, тоже бывает, особенно когда родители накажут. Но Демка молчал.

— Обиделся, что ли? — засмеялся Семен, и Демка нехотя ответил:

— А разве не за что?

— За что же? — спросил он тихо.

— А за деньги, к примеру, — лениво поднимаясь, произнес Демка.

— За какие деньги? — удивился Семен.

— Не стыдно тебе? — вдруг поразился Демидка. — Совсем не стыдно? Неделю прожил, а провизии привез — смех сказать. Консервы вон можешь забрать — мы такие не едим!

Семка обалдело глядел на приятеля, не понимая, шутит он или нет, хмыкнул было, не зная, что и сказать, но Демидка его оборвал.

— Можешь не смеяться! — сказал он. — Лучше плати-ка. С чего это мы должны тебя задаром кормить? Думаешь, моим, раз в институте работают, денежки легко достаются?

Семка ощутил, как окаменело у него лицо.

— Сколько? — спросил он.

— Чего сколько? — не понял Демка.

— Сколько платить? — произнес Семка.

— Ну... — замялся Демка, — не считал, — потом кинул сомнения. — Двадцать пять.

Семка бежал домой, кусая губы, боясь разреветься при всех, на улице, но, переступив порог, дал себе волю.

Мама, слушая, гладила его по плечу, говорила какие-то слова, но он не мог, никак не мог понять: почему, зачем? Зачем такое предательство?

Слезы лились, мамины слова не помогали — они не объясняли, а просто успокаивали.

Неожиданно мама сказала:

— Перестань! Ты ведь всегда был сильным.

Она сказала это жестко, уже не уговаривая, и Семка сразу успокоился. Мама заняла у соседей денег, Семка пошел в институт, где работала Анна Николаевна, разыскал ее, отдал деньги.

Сперва Демкина мать ничего не поняла, спрашивала: «Какие деньги? За что?» Но когда до нее все-таки дошло, Анна Николаевна сжала губы и замолчала, глядя в окно. Она долго думала о чем-то, потом сказала медленно, словно про себя: «Как же так?» И повторила: «Как же так?» Словно Демка ее обманул.

Семка был тогда поглощен своей обидой и не очень вглядывался в лицо Анны Николаевны, не очень старался понять, чего это она задумалась, только уже позже, когда все утихло в нем, когда он подрос и прошло время, он понял, что Демкина мать себя это спрашивала, себя и никого больше.

Анна Николаевна помолчала, решительно взяла деньги и сказала:

— Тебе их вернет Демид. Он принесет сам.

— Не надо, — сказал Семка, но Анна Николаевна не дала ему говорить.

— Молчи! — сказала она. — Молчи!

Демка пришел наутро, принес деньги. Семка не брал, и Демка готов был встать на колени, чтобы его простили. Семка не мог выдержать этой истеричной сцены, не мог глядеть в умоляющее Демкино лицо, он кивнул головой, прощая, они пошли на лодочную станцию, катались в байдарке, но ничего у них не выходило, ничего не клеилось: Демка торопливо говорил о чем попало, Семка отвечал междометиями и, когда стало невмоготу, спросил:

— За что же ты меня так?

— Не знаю, — сказал Демка, мрачнея. — Сам не знаю. Че-

го-то мне жалко стало. Какая-то напала жадность, а я не удержался.

Они встречались потом не раз, но Семку уже не тянуло к Демидке, хотя Анна Николаевна старалась склеить их старую дружбу. Что-то поселилось внутри Семки, какое-то отвращение к Демиду. Он спрашивал себя, поражаясь: неужели жадность может вызвать предательство?

Выходило, может...

Демка все приходил и приходил к нему, и всякий раз, увидев лицо приятеля, Семка вспоминал то предательство и думал, что, раз было однажды, может повториться снова... Демка сказал: жадность. И еще сказал, что не удержался. Но откуда в нем вдруг оказалась жадность — вон Анна Николаевна какая... «Может, — думал Семка, — жадность, предательство и всякая прочая гадость в каждом человеке есть, все дело действительно в том, чтобы удержаться. Чтобы эту гадость в себе утопить, уничтожить?»

Это он думал тогда, мальчишкой. А с Демкой они так и разошлись.

Демкино предательство долго саднило Семкину память, обжигая чем-то горячим, обидным, но потом все прошло, забылось.

А вспомнилось вдруг сейчас. Не к месту, не вовремя.

Предательство Демки касалось только его, здесь же их было четверо. Тогда оскорбили его честь и достоинство, теперь речь шла о жизни.

Семка мотнул головой, отбрасывая эти глупые мысли. «Смешно даже, — подумал он, — разве можно сравнивать детство и то, что сейчас? О нас думают, — решил он, — знают и непременно спасут».

Семка взглянул на небо.

Луна в окаймлении мутного круга равнодушно озирала окрестность.

— Хорошо! Я признаю свою вину. Вы, вероятно, правы. Я не всегда проявлял достаточно человечности, гуманизма, доброты. Но согласитесь: это вина нравственная. Понимаете? Не уголовная, а нравственная. Это из области человеческих ошибок, о которых не говорится в уголовном кодексе.

— У вас дети есть?

— Двое. Жена. В конце концов, не я, а моя семья, сознание того, что я единственный ее кормилец, могут вызвать, ну, не оправдание, так снисхождение? Моральное опять же.

— И у него остался ребенок. Он тоже был единственным кормильцем.

— Я готов искупить свою нравственную вину, если уж вы меня обвиняете. Ну, я могу, скажем, платить алименты на воспитание его ребенка.

— Слушайте, Кирьянов! Я вот гляжу на вас, внимаю вашим речам и никак не могу понять: где же предел вашего цинизма, вашей... впрочем, стоит ли подбирать слова, вашей подлости?

— Жалею, что мы встретились с вами в такой неравной ситуации.

— Ситуация неравная, это верно. И, боюсь, выровнять ее не удастся. Вряд ли судья и народные заседатели захотят увидеть лишь вашу нравственную вину, лишь вашу халатность, хотя и за халатность судят. Вы совершили уголовное преступление, Кирьянов. Я не прокурор и не судья, вы пока только подследственный, но я говорю вам: убийца — это вы!.. Впрочем, достаточно. Следствие окончено. Вы рассказали мне много больше, чем требуется от подследственного, Кирьянов. И вы мне ясны. Мне же хотелось узнать еще лишь одно. Что думал каждый из вас в 20 часов 20 минут 25 мая? Что было с каждым из вас по ту и по эту сторону разделившей вас черты?..

25 мая. 20 часов 20 минут.
ВАЛЕНТИН ОРЛОВ

Орелик сидел на краю островка, и его знобило. В полутьме слышался хруп льда и виднелось небольшое пятно. Дядя Коля продирался к плотику.

Неожиданно для себя Орелик заплакал.

— Дурак! — прошептал он, ругая себя. — Дурак!

— Что ты там шепчешь? — спросил, наклонясь и вглядываясь в него, Семка.

— Это я виноват! — крикнул Орелик. — Я! — заорал истошно, дико, испугав Семку. — Дядя Коля! Вернись!

Семка толкнул Вальку в плечо, и тот заплакал навзрыд, не таясь, полез по привычке в карман ватника за платком и вытащил тетрадку.

В ней было письмо Аленке.

Бесконечное, недописанное письмо.

Лицо Орелика вытянулось. Он смахнул рукавом слезы, нерешительно замер.

Потом стал рвать тетрадку.

Мокрые страницы поддавались легко.

— Свихнулся! — крикнул ему Семка, дрожа и тоже плача. — Свихнулся, да?

Но Орелик исступленно рвал тетрадку. Глаза его глядели в темноту, и вдруг он замер.

— Люди добрые, — пробормотал он. — Помогите!

25 мая. 20 часов 20 минут.

ПЕТР ПЕТРОВИЧ КИРЬЯНОВ

Едкий, желтый дым от выстрела карабина послушно плыл за плечами Кирьянова то в одну, то в другую сторону.

Он метался по комнате, исходя злостью.

Наконец шаги его стали ровней и тише.

Потом остановился, прислушиваясь к себе. Злость угасала, как костер, ее требовалось залить окончательно.

Он подошел к зеркалу, поправил сбившийся галстук, провел, ероша волосы, ладонями по бороде и вышел на улицу, прямо так, в светлом костюме, не одеваясь.

Мороз освежил его, прознобил, и в столовую ПэПэ вошел румяным, в прежнем расположении духа.

— Ну-у! — гаркнул он, открывая ногой дверь. — Наполним бокалы и выпьем их разом!

Гости загудели: спирт уже кончился. Разлили остатки.

— Сейчас приедет машина! — объявил Кирьянов, глядя на часы. — Привезет ящик спирту!

Гости засуетились, рассаживаясь по местам, готовясь к продолжению праздника. Петр Петрович ревниво оглядел их лица.

Чиладзе и Лаврентьева не было. Не было и еще кое-кого. Он запомнил это, сделал зарубку в своей памяти. «Зашевелились людишки, — подумал он. — Крысы прыгают с корабля».

— А пока, — крикнул Кирьянов, — выпьем... — Он подумал, опустив голову, потом снова вздернул бороду. — За нас! — Он приосанился. — За нас! — повторил он. — За покорителей Сибири! За переустроителей жизни! Виват!

25 мая. 20 часов 20 минут.
НИКОЛАЙ СИМОНОВ

Дядя Коля плыл в темной воде, и каждый метр отдавался болью. Телогрейкой он обламывал лед перед собой, но запястья рук были не защищены, и лед резал их. Перехватиться было некогда, неудобно, и он сжимал зубы, думая — странно — не о плотине, не о своей цели, а совсем о неважном теперь деле.

Он думал о Вальке, о том, как ударил Орелика, и хотя понимал, что иначе не мог, что иначе, с разговорами, они проваландались бы еще бог знает сколько, вина перед парнишкой никак его не оставляла. Его все не оставляла мысль, что Орелик годится ему в сыновья, и это беспокоило его особо, будто стукнул он малое дитя...

В какой-то миг он, однако, забыл о нем.

Дыхание стало прерывистым, кровь бухала в висках, тело наливалось усталостью.

Перед глазами пошли красненькие пузырьки. Симонов решил, что это пот, потянулся рукой смахнуть его, выпустил ватник, а взять снова не смог: намокшая телогрейка ушла одним краем вниз, под воду, и потянула его за собой.

Дядя Коля отпустил груз, всплеснулся вверх, вырываясь из власти воды, обрушил лед ладонями, попробовал плыть саженками, но плот был далеко.

Напрягаясь всем телом, выжимая из него остатки сил, Симонов рванулся вперед, сожалея о других — об Орелике и Семке, — Гусев уже выбрался сам, — он вспенил воду и почувствовал без страха, с одной лишь тоской, что правую ногу свела судорога.

Он исхитрился ущипнуть себя изо всех сил за голень, снова рванулся вперед, гребя одной ногой, захлебнулся. На зубах скрипнула льдинка.

Теряя силы, он захотел было крикнуть, но сдержался, как тогда, на войне, чтоб не пугать ребят. «Шурика жаль, — мелькнуло последнее. — Шурика...»

25 мая. 20 часов 20 минут.
КИРА ЦВЕТКОВА

Придя домой, Кира долго стояла, прижавшись к косяку и не включая свет.

Скрипел сверчок, давний ее приятель, в комнате было тепло и тихо, и никуда не хотелось двигаться.

Превозмогая себя, Кира щелкнула выключателем. Лампочка, то светлея, то желтея, осветила бледное Кирино лицо, отраженное в зеркале, расширившиеся, но спокойные глаза.

Она стояла еще минуту, не решаясь распахнуть пальто, потом вздохнула и, не отворачивая взгляда от зеркала, а, напротив, напряженно, словно пытаясь запомнить увиденное, разделась.

Серое элегантное платье, которым она так гордилась, было измято и ободрано. Не сохранив ни одной пуговицы, оно болталось, как тряпка, открывая сорочку.

Решительно и сосредоточенно Кира переоделась, вновь накинула пальто и вновь остановилась у порога.

Прикрыв глаза, Кира представила себя такой, как минуту назад, в разорванном платье, но с напряженным, решительным взглядом.

Она переступила порог.

Плотный, похожий на невидимый парус ветер навалился на ее слабое тело, но она продавила его плечом и пошла.

Ее дорога лежала к домику на окраине поселка, возле которого так и валялась лодка, предназначенная для Гусева.

Она шла к этому домику, означавшему край вертолетной площадки, думая о том, что машине пора вернуться и место ее здесь, на пронизывающем, густом ветру. Подойдя к полю, Кира заметила мутную тень, которая двинулась ей навстречу. Это был Лаврентьев.

— Черт возьми, — сказал он, — хмель вышел, и я кляну себя, что отступился. Надо было лететь с Храбриковым.

Кира не ответила, зябко прячась в воротник пальто.

25 мая. 20 часов 20 минут.

СЛАВА ГУСЕВ

Гусев старался не сидеть. Превозмогая озноб, по-прежнему сменявшийся жаром, он пытался бегать, прыгать, чтобы согреться, но прыжки его и пробежки были несуразны и слабы. Преодоление этих страшных метров до вышки обессилило его вконец, и, хотя он пил спирт из фляжки, спрятанной в мешке,

который удалось перенести утром, болезнь наваливалась все тяжелей и душней.

И все-таки он прыгал и пробегался, согревая себя и готовя к мысли, что ему, может быть, еще раз придется сегодня войти в ледяную воду.

Гусев знал, что дядя Коля плывет к плоту, надеялся на него, был уверен почти как в себе и хвалил Симонова за правильное решение. Нет, Орелика нельзя пускать в воду, не выдержит, как не выдержит и Семка, и они — Слава и Николай — должны теперь сберечь пацанов.

В первый миг, когда с той стороны, с острова, раздался хриплый и невнятный крик Орелика, Гусев решил: что-то неладно у них. Но ему и в голову не пришло ничего про дядю Колю.

Он застыл, собирая остатки сил, и тут только понял, что ребята не такие уж слабаки и не выдержали потому, что беда пришла к Николаю. Не веря еще, он прислушался к реке. Плеск больше не слышался, и Гусев закричал, отчаиваясь впервые сегодня:

— Симонов! Отзовись! Дядя Коля!..

Было тихо, до жути тихо, но Гусев не поверил в это и швырнул свое тело в ледяной кипяток.

Тело не почувствовало холода, он заработал руками, глотая снежную кашу и сдерживая стон.

Он вспомнил Кланьку, которую никогда не видел, — странно, не Николая, а его жену Кланьку, — и сквозь хруст льдинок явственно услышал шум винтов.

Он остановился, понимая тщетность своих усилий, огруз в воде, а потом выхватил из нее кулак, свой широкий кулак и показал его небу.

25 мая. 20 часов 20 минут.
СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ ХРАБРИКОВ

Бутылки в ящике дребезжали, издавая тонкий, комариный звон, спирт плескался в них мелкими фонтанчиками, и Храбриков думал, что спирт теперь этому подлюке Кирьянову уже не поможет.

Тридцать шесть начальнику, планировал повыше взлететь, мол, все впереди, да нет, срежет его Сергей Иванович, как есть

срежет, если будет Кирьянов над ним по-сегодняшнему выхаживаться. «Детей нам вместе не крестить, — думал Сергей Иванович успокоенно, — а там поглядим». Пенсионный стаж — два за год — набегал все это время, можно на худой конец и дома доработать, у жены, у сыновей.

Вертолет крутил воздух, пилоты знали ориентиры, шли теперь как по часам, и лисьи глазки Храбрикова млели: резь в желудке и недомогание прошли, протрясло, видать, проветрило на этом дьявольском самокате, леший его побери.

Поглядывая в иллюминатор, Храбриков увидел змеистую полосу реки, подошел к лестнице, скатанной перед дверцей, поправил ее по-хозяйски, приготовился выбросить по команде.

Машина зависла — это он чувствовал нутром, привыкшим к перелетам, и подумал жалеючи о Кирьянове, о Цветковой, о всей этой шатии-братии:

«Эхма! Да кабы не Храбриков, архангел-спаситель, куда бы вы делись?»

25 мая. 20 часов 20 минут.

СЕМЕН ПЕТРУЩЕНКО

Вертолет трепал воду, плескал льдинами, гнал ветер, надвигая на них темное пузо, из которого вываливалась лестница, похожая на кишку, а Семка плакал, плакал захлебываясь, и нижняя губа его дрожала и тряслась, совсем как в детстве.

Не обращая внимания на треск винтов, не понимая, что не сможет их осилить, он кричал, надрывая голос, и две жилы надувались на шее, синея от натуги.

— Дя-а-дя! Ко-о-ля! — кричал Семка и повторял, изнемогая: — Дя-а-дя! Ко-о-ля!

Память выбрасывала Семке мгновенные картины сегодняшнего дня — вот они обедают, вот дядя Коля пляшет, а он подыгрывает ему на расческе, вот они борются с Гусевым, вот Гусев стоит в воде, поддерживая шест с антенной, а он работает на ключе, и эти всплески памяти ужасали его.

— Дя-дя! Ко-о-ля! — орал Семка в серую простынь, заменившую реку, берег, триангуляционную вышку, горизонт.

— Дя-а-дя!..

Но голос гремящей машины заглушал его хриплый крик, и,

теряя власть над собой, ожесточась, не понимая, что делает, Семка перекинул из-за спины ружье.

Окоченевшие пальцы нащупали спускные крючки, он нажал на оба разом, пламя полыхнуло над головой. Но в последнее мгновение ствол качнулся, отброшенный от вертолета, и оба заряда ушли в небо.

Семка увидел возле своего лица округленные глаза Орелика.

Орелик смотрел непонимающе, отрешенно. Семка сумел разглядеть в его лице решимость и еще что-то неуловимое — это бывает, когда человек неожиданно проснулся и, хотя не понимает, где он, готов действовать.

Это Семка вспомнил позже. А тогда закричал вертолету:

— Подлецы! Предатели!


И. ДВОРКИН



ВОСЕМЬ ЧАСОВ ПОЛЕТА

повесть

ИЛ-18 был брюхат и приземист. Натужно ревя турбинами, он нехотя оторвался от земли, ушел в небо.

Никита Скворцов приник к иллюминатору, ощутил щекой прохладную гладкую поверхность стекла.

Земля медленно поворачивалась внизу, будто подробная, искусно сделанная топографическая карта. Земля песков, каналов и гор.

Самолет сделал плавный разворот и лег курсом на Каспий. Там будет посадка, следующая — в Харькове, а оттуда уж и рукой подать до Ленинграда.

Все точно так, как было совсем, кажется, недавно, только летит Скворцов в обратную сторону, и летит один.

Никита изо всех сил пытался заставить себя не думать о Татьяне, запрещал себе это. Но воспоминания нахлынули на него, затопили.

Многовато все-таки — восемь часов полета. А тогда они промелькнули как один миг, и почему-то всю дорогу Татьяна и он хохотали как сумасшедшие. Им даже сделали по этому поводу замечание.

Желчный, сухолицый старик закричал вдруг, что их смех звучит издевательски во время такого серьезного дела, как полет на аэроплане.

Так и сказал: «На аэроплане».

Никита с недоумением взглянул на него и увидел, что старичок смертельно боится — лицо его казалось костяным от ужаса.

Татьяна тоже поняла это. Она повернулась к старику и мягко сказала:

— Вы не бойтесь. ИЛ-18 очень надежный самолет. Все будет хорошо, долетим.

Старик вымученно улыбнулся, благодарно кивнул и закрыл глаза.

Потом в ресторане Харьковского аэропорта Никите подали совершенно сырого карпа. Татьяне нормально зажаренного, а ему такого, что, казалось, ткни в него вилкой — и карп запрыгает на тарелке.

Мысль об этом так рассмешила обоих, что прибежал обеспокоенный официант. Несмотря на заспанный вид, чувство юмора в нем не дремало.

Нимало не смутившись, он схватил Никитиного карпа и серьезно сказал:

— Этот нехай еще поплавает, он же живей живого, а вы его вилкой в бок. Счас отбивную принесу. Свинячью.

— А хрюкать она не будет? — спросил Никита.

— Не, — ответил официант, — вона вже отхрюкалась, бедолага.

— Он из лиги защиты животных, — сказала Татьяна.

— А неплохая находка для рекламы: котлета с поросячьим визгом, — сказал Никита.

Почему в горе память так беспощадна?.. Почему помнится самая мелочь, каждый жест, слово?..

Когда самолет приземлился в Алиабаде, от голода Никита щелкал зубами, как волк.

Несмотря на весну, на то, что Средняя Азия занимает первое место в стране по количеству солнечных дней, было очень холодно.

Пока выгружали багаж, подошли к величественному толстому шашлычнику.

Нанизанные на шампуры, шкворчали, истекали соком невиданно аппетитные шашлыки. Жарились они на саксауловых корявых сучьях. И терпкий, душистый дым этого знаменитого дерева пропитывал мясо, делал его еще вкуснее.

Никита мгновенно слопал два шашлыка. Он ел так аппетитно, что Таня не выдержала, присоединилась к Никите.

— Что это у вас так холодно, отец? — спросил Никита. — Средняя Азия называется!

Шашлычник важно покачал головой и как величайший секрет сообщил:

— Этим году Сибир на ремонт закрылся. Холодно.

Никита и Таня расхохотались, и шашлычник снизошел — сморщил в улыбке лицо бронзового восточного божка.

Так началась семейная жизнь Никиты и Татьяны Скворцовых.

С Татьяной Никита познакомился в бассейне. В то время он приходил туда уже не плавать, не тренироваться, а просто так, по старой памяти.

Он любил влажный воздух бассейна, глухие звуки голосов, плеск воды, даже неуловимый и устойчивый запах хлорки, который неистребимо присутствовал во всех закоулках этого огромного здания.

Все детство и юность его были связаны с бассейном — ходил он туда с десяти лет. Тренировался истово, фанатично, добился первого разряда, а дальше заколодило, результаты не улучшались, и Никита стал охладевать к плаванию.

Техника у него была, было вроде и желание, но не хватало силенки. И тогда добрый и мудрый Анатолий Иванович Пчелин отлучил его на полгода от воды, заставил заниматься самбо, надеясь, что Никита, накачав немножко мышцы, вернется.

Тренер ошибся.

Азарт борьбы, упоение первых, сравнительно легких побед захватили Никиту всерьез. Он был тощ и легконог, с хорошо поставленным дыханием и развитым плечевым поясом. Борьба давалась ему легко. А тут подошло время призыва в армию, и Никита попал в воздушно-десантные войска. Почти все ребята из его секции очутились в одной части. И началась новая жизнь — размеренная, заполненная тренировками, учебой, стрельбами — суровая солдатская жизнь.

Никита снова приник к иллюминатору, разглядел спичечные коробки домиков, прямоугольники распаханных полей, узкую извилистую ленту реки.

Все было привычно и знакомо.

Он усмехнулся, вспомнив удивительные метаморфозы, происшедшие с ним и его товарищами в день первого прыжка с парашютом.

Возбужденный, горячечно болтающий Никита, только что переживший ужас падения в пустоту, в никуда, а потом — все блаженство плавного спуска, когда вокруг неслыханная прежде тишина и хочется орать, петь, дурачиться, увидел

вдруг трех своих товарищей, понуро выходящих из приземлившейся «Аннушки», таких несчастных, потерянных, что при взгляде на них защемило сердце.

И Никита, и остальные счастливчики опустили головы. Особенно жалок был Витька Норейко — здоровенный парень, борец, весельчак, заводила.

В тот день будто незримая черта разделила их — большинство, которое сумело преодолеть себя, свой страх, и нескольких неудачников — ошеломленных, испуганных яростным сопротивлением своего такого привычного, такого, казалось, знакомого до той поры тела, впервые обнаруживших, что в них живет слепой свинцовый страх перед высотой.

Еще предыдущим вечером, последним перед прыжком, когда большинство ребят притихло, прислушиваясь к себе, мучительно боясь неведомого завтра, Витька ходил по казарме гоголем, похохатывал, хлопал увесистой лапищей по плечам.

— Трясетесь, бобики?! — грохотал он. — Что же с вами завтра будет?

Старшина Касимов, маленький, плотный, как литой меч, скользнул узкими глазами по Витьке, по ребятам, толпящимся в курилке, и тихо сказал:

— Не бойся, Норейко. Не надо бояться.

— Кто?! Я боюсь?! — вскинулся Витька.

Касимов кивнул:

— Все боятся, лучше молча бойся. Чтоб потом не было стыдно.

Старшина ушел, а Витька длинно и точно плюнул в ящик с песком, презрительно дернул плечом:

— Молча бойся! Ишь, воспитатель горных орлов!

На миг Никита поймал его взгляд и увидел застывшую в глазах тоску.

Но Витька тут же подмигнул, улыбнулся лихо и прошел мимо — высокий, статный и красивый.

И вот теперь, в тот миг, когда Норейко неуклюже, осторожно выбирался из самолета, Никита его не узнал: это был другой человек, незнакомый, враз постаревший, с бессмысленными, стеклянными глазами.

В конце концов двое из трех сумели победить свой страх, а Витька не сумел.

Четыре раза поднимался он в воздух. Сам, чуть не плача, умолял об этом, и всякий раз, когда распахивался люк, непреодолимая сила заставляла его цепляться за скамейки, за стойки, за выпускающего.

В конце концов он раскрыл парашют в самолете.

Норейко списали из воздушно-десантных войск.

Никита помнил, как рыдал Витька, забившись в угол казармы, — могучий парень с дерзкими, бесстрашными на земле глазами.

А потом за четыре месяца до окончания службы с Никитой случилась беда.

Во время ночного прыжка ветер отнес его на горелый лес. Острый, как пика, сук пропорол ему бок, проткнул плевру и правое легкое.

Спасло его то, что он сразу потерял сознание и не пытался освободиться. Врачи говорили, что в этом случае сук сыграл роль пробки и кровопотеря была минимальной.

Затем шесть месяцев госпиталя, операция...

Никита выкарабкался. И вспоминать об этом периоде своей жизни не любил.

Он выжил, уехал домой в Ленинград, но со спортом было покончено. Никита приходил в бассейн побарахтаться.

Порой помогал Анатолию Ивановичу возиться с его очередной ребятней — четырнадцати-пятнадцатилетними парнями, живым воплощением пресловутой акселерации — здоровенными, высокими. Возраст выдавали только ребячьи наивные физиономии.

Там он и познакомился с Татьяной.

Подошла к нему тоненькая, затянутая в черный купальник девчонка — прутик прутиком, дотронулась пальцем до бугристого шрама, серпом перехватывающего грудь, и спросила испуганно и участливо:

— Где это вас так?

Никита взглянул на нее с усмешкой: она показалась ему совсем зеленой девчонкой.

— Русско-турецкую войну помните? — спросил Никита.

— Русско-турецкую? — удивилась девчонка. — Что за шутки?

— Какие уж тут шутки, — лицо Никиты стало сурово-значительным, — ятаганами изрубили. Они кривые, ятаганы. Но я дорого продал свою жизнь.

— Бедные турки!

Девчонка покачала головой, а Никита внимательно оглядел ее, увидел длинные ноги, чуть-чуть придавленную тканью купальника грудь, высокую шею, огромные глазищи и понял, что разговаривает со взрослой девушкой.

Никита на мгновение смутился, но тон был уже взят вполне определенный.

— Да-а, жуткая была рубка, — мрачно сказал он, — не

могу вспомнить без содрогания. Лязг, грохот, а головы так и катятся, так и катятся.

— Рукой махну — сразу улочки, другой махну — переулочки! Это про вас? — спросила наивным голосом девушка.

— Ну вот! Соратники уже раззвонили! Совершенно невозможно оставаться скромным, незаметным человеком.

— Да, да... — девушка печально покачала головой. — Я вас понимаю... Трудно быть национальным героем... Но чем же все кончилось?

— А дальше было так: только взмахнул рукой, чтобы, как вы понимаете, проложить очередной переулочек, вдруг слышу хруст, треск, потом темнота, а потом гляжу, а он уже неживой.

— Кто? — удивилась девушка.

— Я, — сказал Никита.

Девушка секунду растерянно смотрела на него, потом вдруг расхохоталась так, что ей пришлось присесть на бортик бассейна.

— Человека убили, а вам смешно.

— Да-а, — сказала девушка, — вы фантастические романы не пробовали писать?

— Нет, — сказал Никита.

— А зря. Большой талант пропадает.

— Может быть, вы представитесь юному дарованию? Меня зовут Никитой, а вас?

— Таней. — Она встала на бортик, поглядела через плечо на Никиту. — А вам больше подошло бы имя Станислав.

— Почему? — удивился Никита.

— Так зовут моего любимого писателя-фантаста. Станислав Лем. — Она сильно оттолкнулась и отвесно, почти без брызг вошла в воду.

Никита видел, как она, красиво вытянув руки, работая одними ногами, идет под водой. Волосы — темный полупрозрачный поток.

Он догнал ее у трапа. Таня собиралась выходить из воды.

— А вы не хотите немножко расширить круг любимых авторов? — спросил Никита.

Таня внимательно и серьезно поглядела на него, и Никите сделалось неловко.

— Нет, — сказала Таня. — Не хочется.

И ушла.

А Никита бешеным кролем промчался из конца в конец бассейна и остановился, только задохнувшись от непривычной скорости.

— Ну что, брат, высекли тебя? — громко сказал он. — И правильно сделали.

Никита так резко повернулся в кресле, что разбудил соседа — меднолицего, сурового старика-туркмена.

— Извините, бабай, — пробормотал Никита и закрыл глаза.

Стоило ему увидеть ту, далекую, Таню первого дня их знакомства, и все снова и снова, как склеенный в кольцо киноролик, начинали прокручиваться события последнего времени.

А лететь еще предстояло восемь часов.

Все, что происходило после знакомства с Татьяной: работа в «Интуристе» (Никита окончил английскую школу, ленинградскую школу № 207, что во дворе кинотеатра «Колизей»), учеба на английском отделении филфака в университете, приглашение на работу в таможню, курсы, практика в таможне аэропорта, — все это казалось Никите всего лишь бледным фоном. А центром, точкой, на которой замыкалось все существование его, была она, Татьяна, Таня.

Никита и Таня сняли комнату у вздорной, суетливой старушонки, которая в любой миг могла постучаться и с неосознанным старческим садизмом просидеть целый вечер, разматывая нескончаемый клубок сплетен о каких-то других старухах, прихлебывая чай, который стал уже ежевечерней утомительной традицией.

— Ну вот что, — сказал однажды Никита, — ни у тебя, ни у меня мы жить не можем. И ждать по меньшей мере год, а то и больше, пока мне дадут квартиру, тоже не можем. Мне предлагают работу недалеко от Алиабада, в горах, на границе. Все говорят — дыра жуткая. Маленький КПП, а в таможне двое — я и мой помощник. Но живут же там люди! Ты согласна?

— Да, — твердо ответила Таня. — Да! Я согласна куда угодно. Я хочу, чтоб у нас был свой дом. Хочу родить тебе дочку и сына. Я согласна.

Оформление документов, сборы — все заняло две недели, две суматошные, радостные, заполненные беготней недели.

Громада Копет-Дага, стеной уходящая в небо, мрачная, безлесая, бескрайняя, поражала.

От центра города до заставы — пятнадцать минут езды на автомобиле.

Проверили документы, поднялся шлагбаум, открылись ворота, и юркий «газик» пошел петлять по серпентинам пограничной зоны.

Дорога была не для слабонервных — крутые петли, карнизы, обрывы, — «газик» поднимался все выше; а горы — основной массив — и не думали приближаться.

Таня сидела притихшая, чуточку испуганная, подавленная дикой мощью гор, в которых она никогда прежде не бывала.

Дорога стала еще круче и красивее. Шофер-пограничник, белобрысый мальчишка, с носом красным и облупленным под непривычным солнцем, как молодая картофелина, сидел, небрежно вывалив в окошко локоть, правил одной рукой. Он так резко брал повороты, что камешки звонко выщелкивало из-под колес, а «газик» заносило к самому краю дороги, за которой начинался отвесный обрыв глубиной во многие десятки, если не в сотни метров. Но физиономия у шофера была такая равнодушная, сонная даже, что Никита не решился сделать ему замечание, хоть и видел, что Таня боится уже всерьез.

«Опытный, видно, небось дорогу эту как свои пять пальцев изучил», — подумал Никита, а вслух спросил:

— Далеко еще до КПП?

— Должно, не очень. Я-то не знаю, — сильно окая, ответил парнишка.

— Что-о? Как это не знаешь? — изумился Никита.

— А чо? Я по ней впервой. Да вы не беспокойтесь, не заблудимся. Эта дорога здесь одна. Другой нету. Доставим.

— Ну вот что, друг ситный, — сказал Никита, — поезжай так, чтоб на спидометре было тридцать километров. Понял?

— Боитесь? — усмехнулся шофер.

— Боимся. Высота нам непереносима. И скорость, — налегая на «о», ответил Никита.

— Шутите, — шофер покраснел еще больше, — небось во-он сколь напрыгали, — он обернулся и ткнул пальцем в значок парашютиста с цифрой 100 на груди у Никиты.

Машина в это время вильнула, пошла к обрыву.

— Да ты на дорогу гляди, черт... облупленный! — заорал Никита.

Шофер надулся, обиделся. Таня толкнула Никиту локтем в бок, незаметно показала кулак.

Никита засмеялся.

— Ладно, служба, не куксись. Скоро домой? — спросил он.

— Через четыре месяца и двенадцать дён, — буркнул шофер.

— Стой! — крикнул Никита.

Шофер мгновенно среагировал, тормознул. Удивленно поглядел на пассажира.

Никита выскочил из машины.

Слева на довольно крутом склоне, метрах в десяти над дорогой, в плоском выступе, выдававшемся из монолита скалы, как сложенная в горсть ладонь, жил родничок, падал вниз плоской струей, переходящей в крошечный ручей, прозрачный, как воздух. Со следующего уступа ручей прыгал вниз игрушечным водопадиком. А вокруг родничка росли какие-то незнакомые Никите цветы. Таня и шофер увидели, на что он смотрит, тоже вышли из машины.

— Красиво, — солидно сказал шофер.

— Ниагара в миниатюре, — отозвалась Таня. — Гляди, Никита, что это за цветы?

— Может быть, это знаменитые эдельвейсы? Сейчас посмотрим.

Никита, лихо перескакивая с уступа на уступ, побежал к роднику.

Добрался он до него вмиг, нагнулся над круглой чашей, в которой кипел родник, и... упал на колени, судорожно вцепившись в камень.

Сердце бешено колотилось где-то у горла, в глазах плавали оранжевые круги, поташнивало. Такое было однажды с Никитой во время марш-броска с полной выкладкой.

«Что это? — удивился Никита. — Что со мной? Глупость какая... Может, я заболел? Но ведь четыре дня назад был медосмотр. Я совершенно здоров!»

Он стоял на коленях, закрыв глаза, и ждал, когда перестанет так суматошно и отчаянно колотиться сердце.

С дороги казалось, что он просто стоит на коленях и любуется цветами.

Наконец в глазах прояснилось, сердце опустилось на свое место, успокоилось. И тогда Никита понял: горы!

Его предупреждали об этом, но он отмахивался, улыбался. Горы! Высота около трех тысяч метров.

Не так уж она велика, но и к ней надо привыкнуть.

Никита собрал небольшой букетик. Цветы были белые, маленькие, с мясистым, сочным стеблем.

Осторожно, стараясь не делать резких движений, Никита спустился на дорогу, протянул Татьяне цветы.

— Красивые, — сказала она и поцеловала Никиту.

Шофер покраснел, отвернулся.

КПП появился неожиданно. «Газик» вынырнул из-за поворота, и внизу, на небольшой седловине, показалось с десяток домиков и два длинных амбара.

К седловине вел пологий спуск, дальше дорога делала петлю, огибая площадь в центре и устремляясь круто вверх. Там, метрах в двухстах, торчала зеленая наблюдательная вышка, а дорогу перегораживали железные ворота.

Чуть в стороне от ворот, по ту сторону забора, возвышалось желтое здание необычной архитектуры — пограничный пост сопредельной державы.

Встречали Никиту и Таню начальник КПП капитан Василий Чубатый и заместитель Никиты Скворцова, инспектор таможни Авез Бабакулиев. Встречали хорошо, так искренне радуясь свежим лицам, с такой готовностью помочь, что Никита и Таня даже растерялись.

Чего уж там помогать! Два чемодана с барахлом да ящик книг — вот и все имущество.

Оказалось, что домик для них приготовлен и даже обставлен. Нельзя сказать, что мебель была стильной — две железные койки, покрытые грубошерстными одеялами, и стол, табуретки, тумбочки, полка для книг. Но на тумбочке стоял стакан с ромашками и огненно-красным маком, полка устлана белоснежной бумагой, табуретки покрашены в веселый алый цвет, а на свежевыбеленной стене в аккуратной рамочке женский портрет. Таня подошла к репродукции, провела пальцем по длинной, гибкой шее женщины и... заплакала.

Капитан Чубатый и Бабакулиев затоптались на месте, закашляли дружно в кулак.

— Я понимаю... Вы уж простите... Мы по-солдатски, — хрипло сказал капитан, — но ребята от души старались... Если что не так, вы извините.

— Что вы! Что вы! — всплеснула руками Таня. — Я так вам благодарна, если бы вы только знали! Это наш первый дом... У нас еще никогда не было своего дома, своего стола, своих табуреток... Вы не глядите, что я реву... Это так... это от радости.

Капитан и Бабакулиев воспрянули духом и шумно потащили Таню на кухню.

В домике было две комнаты и кухня — гордость капитана Чубатого.

Здесь стояли надраенные алюминиевые миски, кастрюли, медные котелки, ложки, вилки, изящные пиалы, большой,

ярко расписанный цветами чайник. И главное — плита, замысловатая, со множеством дверей, вышек с очагом, чтобы жарить шашлыки — на кованой решетке лежали длинные шампуры.

Не плита, а целый агрегат.

— У меня старшина такой печник, на весь округ знаменитый, так и норовят переманить, — добродушно хвастал капитан. — И столяр у меня есть, краснодеревцем до службы работал. Золотые руки. Он вам стол сделал письменный. Вот здесь, глядите.

Он провел Никиту и Таню во вторую комнату, которая, по замыслу, должна была служить столовой и кабинетом одновременно.

Стол был по-настоящему, без всяких скидок, хорош! Современный, легкий, с желтоватой матовой столешницей.

— Нравится? Хорошо, правда? — Капитан заглядывал ревниво в глаза.

На столе стояли два черных, нарочито грубо кованных железных подсвечника, каждый на две свечи.

— А это как? Здорово, правда? — спрашивал капитан.

Никита взял один из них в руки, ощутил приятную его тяжесть, оглядел. Профессионально, с большим вкусом сделанная вещь. Он недоверчиво поглядел на капитана.

— Может быть, скажете, это тоже ваши ковали? — спросил он.

Капитан просиял, на его упругом, румяном, как яблоко, лице было столько гордости, что Никита еще и подыграл ему:

— Ну, это уж, капитан, слишком! У вас тут КПП или филиал Мухинского училища?

— Точно! — закричал Чубатый. — Вот Федотов спит и видит училище Мухиной. Он как узнал, что вы к нам из Ленинграда, так все свободное время из кузни не выходил. Люди, говорит, из такого города, засмеют небось мои поделки. Он после службы в это самое училище собирается. Художник!

— И хороший, — сказала Таня. — Я среднюю художественную школу при Институте Репина окончила, так что разбираюсь немного.

— Ну подвалило Федотову счастье! — обрадовался капитан. — Теперь он от вас не отойдет. Для него удача огромная — со знающим человеком посоветоваться.

— А это что? — спросил Никита.

Он взял со стола округлый голубоватый камень. В полупрозрачной его глубине, будто нарисованная легкими мазками

кисти, виднелась обнаженная женщина. Женщина была розовой. Она стояла на коленях, вернее, сидела, откинувшись на пятки, и ветер раздувал ее длинные волосы.

— Это что? — Никита изумлялся все больше. — Это кто сделал?

— А это сделал аллах, — усмехнулся Бабакулиев, — природа сделала. Случай. Это сердолик. Тут речка есть, там попадаются сердолики — голубоватые, розоватые, оранжевые. Агаты попадаются, халцедоны. Я люблю. Камни люблю. Собираю. Этот забавный. Игра природы. Вам подарил. На новоселье.

Никита знал коллекционеров, сам собирал в свое время марки и понимал, что значит для коллекционера расстаться с украшением своей коллекции. А что этот поразительный по своеобразию и красоте камень мог украсить любую коллекцию, Никита не сомневался.

— Вам не жалко? — спросил он и тут же мысленно выругал себя за свой вопрос.

Авез нахмурился, пожал плечами:

— Вы приехали к нам в горы. Камень красивый. Для радости дарил. Зачем жалко?

— Не знаю даже, что сказать... Спасибо вам, — тихо проговорила Таня. — Всем спасибо. Говорят, человек быстро забывает добро... Это не так. Мы будем помнить.

Капитан и Бабакулиев переглянулись, смущенно хмыкнули, стали прощаться.

— Вы, конечно, устали, — сказал капитан, — отдыхайте, поспите. А потом познакомим вас с людьми, покажем КПП, на вышку сводим, поглядите на заграницу.

— А сейчас нельзя? — спросила Таня. — Мы совсем не устали. Правда, Никита?

Он кивнул. Какой уж тут сон!

— Можно и сейчас! Верно, Авез? — улыбнулся капитан.

— Конечно.

Солдаты были молоденькие. С высоты Никитиных двадцати четырех они казались ему совсем мальчишками.

Сразу всех запомнить было невозможно. Взгляд выделял только троих: кряжистого, почти квадратного старшину Приходько, красавца грузина Гиви Баркая и Ивана Федотова — маленького конопатого паренька, с ушами, пылающими, как пурпурные витражи. Иван, узнав, что Таня окончила художественную школу, обомлел, побледнел так, что веснушки сделались почти черными, и за все время так и не сказал ни одного слова, только не сводил с Тани восторженных глаз.

Никита тоже пользовался вниманием и успехом. Значок парашютиста произвел впечатление, потом разговорились, и, когда ребята узнали, что у него первый разряд по плаванию и самбо, Никита понял, что популярность его подскочила на невиданную высоту.

Капитан Чубатый был рачительный хозяин. Радостно потирая руки и хищно загибая пальцы, он прикидывал, как можно использовать новых поселенцев.

— Значит, так, — говорил он. — Татьяна Дмитриевна может рисовать учить, если кто захочет. Никита Константинович — английскому языку и самбо. Эх, жаль — плавать у нас негде!

Потом вчетвером пошли к границе. Подъем был довольно крутой, но дорога гладкая, накатанная. Никита внимательно следил за Таней.

Она оживленно болтала с Васей Чубатым и Авезом. Но вдруг замолкла, побледнела и остановилась.

Она вцепилась в Никитин рукав, удивленно взглянула на него.

— Ой, что это со мной? — прошептала она.

— Не пугайся. Это горы. Высота. Со мной тоже так было. Помнишь, я за цветами лазил? Я ведь тогда упал у родника. Голова закружилась. Ты не бойся, привыкнем.

— Точно! — сказал капитан. — Со всеми так. Теперь ничего не чувствуем. И вы через недельку не будете. Пойдем медленнее.

Таня передохнула, пошла дальше.

На железных воротах, перекрывающих дорогу, висел здоровенный амбарный замок.

— Граница на замке, — пошутил Никита, — а ключ где?

— А вот он, — и капитан вытащил из кармана ключ, похожий на старинный пистолет. — Карманы рвет, черт, тяжелый. Хоть под камешек прячь!

Таня расхохоталась:

— Под камешек? А если коварный враг пронюхает?

— Шпионы нынче прилетают на реактивных лайнерах с паспортом и визой в кармане, — грустно сказал капитан Чубатый. — Эх, опоздал я родиться! А времена Карацупы прошли.

— Зачем же вы здесь находитесь, если нарушителей нет? — спросила Таня.

— Нарушители, к сожалению, еще есть. Да только какой теперь нарушитель пошел! Горе, а не нарушитель. Ну, жулик какой или дурак, которому сладкой заграничной жизни за-

хотелось, попытается на ту сторону уйти. Ну, с той стороны контрабандист попрется. Поймали тут одного, царские золотые монеты нес. Монеты уж больно новенькие, сдали на экспертизу, а они фальшивые. Жулик, мелочь пузатая. А чаще пастухи с отарой забредут, одна морока.

— Неужели ничего серьезного не бывает? — спросил Никита.

— Бывает, — ответил Чубатый, и глаза его сузились, стали злыми. — Для меня они хуже любого диверсанта...

— Кто?

— Есть такие деятели... Знаете, кто такие терьякеши?

— Нет, — Таня покачала головой.

— Наркоманы. Опиум курят, глотают. По-местному опиум называют терьяк. Носят его из-за кордона.

Капитан говорил с такой болью и ненавистью, что поневоле Никита и Таня ловили каждое его слово.

— Страшное это дело. Поначалу ничего, кроме радости, зелье это не приносит — человек становится веселым, бодрым, ему кажется — горы может свернуть. Эйфория. А потом ему уже не хватает первоначальной дозы, надо больше и больше. и больше... Я видел, что творится с терьякешем, если у него кончился опиум. Жалко и... противно глядеть. Лечат их, спасают, идиотов. Но пока мы намертво не прекратим доступ в страну этой мерзости, клиенты найдутся. Острые ощущения, запретный плод сладок...

— Много их, этих... терьякешей? — спросила Таня.

— Нет. Немного. Но встречаются. Так сказать, родимые пятна проклятого прошлого, — невесело усмехнулся Бабакулиев.

— Да-а, — задумчиво протянул Никита, — белая смерть. Я с ней тоже встречался. Вернее, не с ней, а, выражаясь высоким стилем, с ее вестником. В январе в Ленинградском аэропорту задержали одного типа. Летел из Кабула. Направлялся в Копенгаген. Вез четыре килограмма опиума. Но тип этот оказался просто перевозчиком. Заплатили, купили билет — и лети. Он даже не знал, что везет. Вернулся бы, получил остальную сумму. Придумано неплохо: человек-посылка. При всем желании не может никого выдать. Как ящик.

Никита почувствовал, что самолет пошел на снижение — заложило уши. Значит, скоро Каспий. Сейчас появится стюардесса с леденцами.

Никита сидел, прикрыв глаза. Со стороны казалось — спит.

Мирно спит молодой человек со спокойным, загорелым дочерна лицом.

Стюардесса на миг задержалась около него, но будить не стала, пусть спит человек.

«Странное лицо, — подумала она, — какое-то заострившееся и словно обугленное».

Она пошла дальше.

Никита глаз не открыл. Почему с такими подробностями помнится тот первый день на границе?

Потому ли только, что первые впечатления самые яркие? И тот разговор — слово в слово, до самого незначительного жеста, самой неуловимой интонации?

Или же это ненавистное, трижды проклятое слово — терьяк, звучащее, как хруст ломающейся кости, служит катализатором в его воспоминаниях, помогает восстановить тот день по минутам, секундам?

Терьяк... Белая смерть, хотя он совсем не белый, а бурый, как засохшая кровь.

За разговорами незаметно подошли к сторожевой вышке, присели на плоский обломок скалы у ее подножия.

Метрах в десяти была граница. В этом месте она проходила по гребню горной гряды, дальше начинался крутой спуск, переходящий в обширное плато — безрадостное, без единого деревца, густо усеянное скальными обломками.

Кое-где виднелись разбросанные в беспорядке плоские приземистые дома.

— Так вот она какая — заграница... — сказала Таня.

— Нравится? — капитан улыбнулся.

— Нет. Унылое какое-то место...

— Время сейчас такое, холодно еще. Погодите, летом зазеленеют поля, веселее будет. Летом здесь благодать. Внизу жарища, духота, а здесь хорошо. Ну как, на вышку будем подниматься?

— Конечно! Пошли быстрее, — заторопилась Таня.

— А вот быстрее не стоит, пойдем потихоньку. Вам сейчас лучше все делать неторопливо, пока не акклиматизируетесь.

Бабакулиев идти отказался.

— Неинтересно, сто раз видел, пойду делами займусь. Нам ведь завтра работать, — сказал он Никите и побежал вниз, легко перескакивая с камня на камень.

— Вот черт легконогий, — с завистью пробормотал капитан, — скачет, что твой джейран.

Таня засмеялась:

— Джейран! Звучит! А скажи горный баран — совсем другое дело, обидно. Баран все-таки, хоть и горный.

— А есть здесь они — джейраны? — спросил Никита.

— Ха! Еще какие! Зайдите ко мне, покажу рога — ахнете. Вот погодите, выберем время, возьмем Авеза, у нас есть лицензия на отстрел, он здесь каждую тропиночку знает — охотник заядлый, и отправимся на джейранов.

— А я? А мне можно? — спросила Таня.

— Тоже охотница?

— Нет. Я еще ни разу не пробовала, но очень хочется.

— Ну, если очень хочется — устроим это дело. Вот сходите с солдатами на стрельбище, карабином овладеете, и возьмем вас на охоту.

У Татьяны глаза загорелись:

— Карабином? Настоящим, боевым?

Никита и капитан переглянулись, засмеялись.

— Настоящим. Есть у нас легкий, кавалерийский — в самый раз вам будет.

— Диана-охотница, — хмыкнул Никита.

— Татьяна-охотница, — поправила Таня.

Они медленно, не торопясь поднялись на первую площадку вышки, передохнули и полезли дальше. Ветер продувал насквозь.

На самом верху в маленьком помещении, похожем на крошечную юрту, было тепло. Солдат-пограничник четко доложил капитану обстановку, передал бинокль.

Вдалеке виднелся довольно большой поселок. Дома лепились близко друг к другу. Крестьянин пахал землю. Когда Никита приложил бинокль к глазам, он увидел, что пахарь налегает на ручку сохи, а тащит ее понурый ослик. Видно было, что соха едва царапает сухую землю.

— Да-а, землица у них не больно щедрая, — сказал Никита.

— Мало земли, — подтвердил капитан, — вкалывают до седьмого пота, трудяги, а толку мало. Плохо живут, бедно.

В сторону границы шел солдат в долгополой шинели голубовато-серого цвета. На круглой шапке отчетливо видна была большая кокарда, что-то вроде орла. За спиной торчала винтовка.

— Жандарм, — пояснил капитан, — какой-то новенький, я его не знаю.

— А остальных всех знаете? — спросила Таня.

— Конечно. И жандармов, и жителей поселка. От мала до

велика. — Капитан повернулся к дежурному. — А что мотоциклист?

— Суетится. Шастает из дома в дом, да что-то быстро он оттуда выходит, вроде бы не больно привечают. А недавно переоделся, вдоль самой границы гулял. Конспиратор!

— А что?

— Да он с ишаком к осыпи притопал. У ишака две корзины через спину. Ну как обычно. А мотоциклист щебенку стал в корзины грузить. Только сдается мне, товарищ капитан, этот грузчик первый раз в жизни лопату в руках держит.

— Интересно, — капитан хмыкнул, — занятно получается. Смена когда?

— Через двадцать минут.

— Рашидов?

— Так точно, товарищ капитан!

— Ну, я с ним потолкую, но и ты не торопись уходить. Подробно все ему расскажешь.

— Слушаюсь, товарищ капитан!

Они шли обратно на КПП.

— Третий раз за последнюю неделю появляется этот тип. Прикатит на мотоцикле, бегает, мельтешит, а зачем, непонятно. А тут еще этот фарс с переодеванием.

— Думаете, что... — начал Никита.

— Нет. Не думаю. Слишком все топорно.

— Тогда почему вы беспокоитесь?

— Обязанность моя — обо всем здесь беспокоиться. Может, и нет ничего, какой-нибудь коммивояжер ездит с образцами... Или к родственникам погостить кто приехал. Но ведет себя непонятно, а этого быть не должно.

Стремительно наступали сумерки. Когда поужинали, выпили по случаю приезда бутылочку вина, совсем стемнело.

Наступила первая ночь на границе, первая ночь новой жизни в новом доме.

Так прошел этот нескончаемо долгий день.

Самолет приземлился в Каспии, надо было выходить, ждать предстояло минут сорок.

Над раскаленным полем аэродрома дрожал горячий воздух, иногда под порывом ветра марево раскачивалось, и тогда самолеты, служебные постройки, заправщики казались смазанными, нереальными.

Никита забрел в чайхану. Крытая гофрированным пластиком чайхана была миниатюрной моделью предбанника ада.

В розовой духоте, обливаясь горячим потом, сидели невозмутимые люди в стеганых халатах и вливали в себя пиалу за пиалой кок-чай.

Между столами сновал с расписными чайниками в руках разбитной чайханщик, что-то говорил по-туркменски, шутил и сам же заливисто хохотал над своими шутками.

Чаевники одобрительно кивали, но лаковые лица их оставались по-прежнему невозмутимыми.

Никита попытался войти, но раскаленный, густой до осязаемости воздух словно толкнул его в грудь, и Никита остановился. Нет, надо обладать особой термостойкостью, чтобы пить горячий чай в этой парилке.

«Крупным, наверное, мыслителем был деятель, построивший на солнцепеке сие сооружение, — подумал Никита, — зимой холодильник, летом доменная печь. Все правильно, только поставлено с ног на голову».

Он вспомнил чайхану в Кушке, где жара была почище, чем в Каспии.

Та чайхана была изумительна: с саманной солнценепроницаемой крышей полуметровой толщины, прикрывающей решетчатое возвышение, на котором полулежа пили душистый чай.

Чайхана стояла поперек широкого арыка, и сквозь щели в решетке поднимался освежающий холодок.

Таня и он уже считали себя старожилами. Они успели полюбить и горы, и пески, и арыки, научились пить вприкуску зеленый чай из пиалы, держа ее тремя пальцами снизу, полюбили карачорпу — черный суп, необыкновенную на вкус похлебку, сваренную из сильно прожаренного мяса.

А главное, полюбили людей — неторопливых, добрых и гордых. Они сидели тогда над арыком и были так счастливы, что Никите внезапно сделалось страшно, потому что он знал— такое не дается судьбою надолго. Он взглянул на Таню, увидел ее сияющие распахнутые глазищи, и ему вдруг трудно стало дышать.

Оттого, что солнце плавится в небе и печет нещадно; оттого, что арык лопочет и всхлипывает; оттого, что рядом сидит самый близкий, любимый человек и нежность переполняет душу; оттого, что жить прекрасно и весело.

Объявили посадку. Очевидно, объявили ее давно, потому что, когда Никита очнулся, он услышал конец фразы:

— Алиабад — Каспий — Харьков — Ленинград. Па-авторяю: заканчивается посадка на самолет, следующий рейсом...

Никита недоуменно оглянулся, с трудом возвращаясь со своей продутой чистыми ветрами Рагуданской таможни в раскаленную, душную печь Каспия.

Он прошел мимо нервной девицы-контролерши и равномерно, как автомат, зашагал к своему тяжелобрюхому ИЛ-18.

Издали увидел, что в проеме двери стоит тоненькая бортпроводница, машет ему рукой, а трап собирается отъехать.

Бортпроводница показалась ему вдруг похожей на Таню, и он замедлил шаг. Ему внезапно захотелось, чтобы самолет улетел без него, бросил его здесь одного, потому что знал: еще несколько шагов, и сходство между девушкой и Таней исчезнет.

Он теперь часто принимал других женщин за Таню. Таню первых дней их знакомства.

И странно, он совсем не помнил ее такой, какой любил больше всего, — в ее последние дни: располневшую, стесняющуюся своего живота, в котором зрела новая жизнь. Жизнь, так и не узнавшая, что есть солнце и небо, и горы, и самолеты, и другие люди; что есть любовь и смех, и желтые верблюды в желтых песках, и грохочущие города, и...

«А стюардесса так волнуется там, на трапе, будто происходит непоправимое... Непоправимо только одно — смерть», — мысль была обнажена и жестка, как стальной прут.

— ...вы наконец или нет? Из-за вас на три минуты опаздывает самолет! Самолет, понимаете?!

Он ободряюще улыбнулся бортпроводнице и прошел в салон. Стюардесса вдруг замолкла.

Она увидела глаза. Глаза были выцветшими из-за какой-то нестерпимой боли. И девушка испуганно умолкла, потому что столько боли в человеческих глазах она видела впервые.

А Никита сел в свое кресло и обнаружил, что соседа нет, сошел в Каспии.

За иллюминатором медленно поплыл назад аэровокзал.

После его угловатого уродства разительной была строгая, сдержанная красота самолетов, не утратившая и на земле своей стремительности.

Они спокойно и доброжелательно глядели на своего собрата, неторопливо собирающегося в путь, домой, в небо.

Они не завидовали ему, потому что красивые, сильные и умные не могут быть завистниками. По крайней мере — не должны.

Но почему же так подробно запомнился именно тот день с нелепой борьбой, с упрямцем Приходько? Почему?

Старушка «Аннушка» — трогательная, какая-то домашняя

среди современных могучих лайнеров — прочертила плоскость иллюминатора.

«Здравствуй, старенькая! Не из твоего ли чрева я выпал тогда, семь лет назад?

Роды прошли удачно — родился мужчина, вылупился из нахального, самоуверенного мальчишки.

Тогда я этого не понимал — перепуганный комок, молча вопящий от ужаса, вывалился из тебя, как и положено в положении эмбриона.

Рывок фала, и оборвалась пуповина. Второе рождение состоялось. Спасибо тебе, самолет с ласковым женским именем».

— Будете пить? Есть боржоми и лимонад, — спросила стюардесса. — Попейте.

Никита машинально взял пластмассовый стаканчик, выпил лимонад.

— Спасибо, — сказал он.

— Хотите еще?

— Девушка, умираю! Во рту — Сахара! — жирный голос издалека.

— Так хотите еще? Боржоми очень холодный.

Никита внимательно оглядел стюардессу. Вблизи стали заметны гусиные лапки морщинок у глаз. Но все еще подтянута, как пружина на боевом взводе. И цок-цок — перебирает ногами, как застоявшаяся лошадка.

— Спасибо. Я лучше подремлю.

Короткий, с достоинством кивок. Цок-цок по проходу, покачивая безукоризненными бедрами.

Самолет заложил крутой вираж, сильно громыхнуло, затрясло, как телегу на булыге. Где-то близко мрачно двигался грозовой фронт со своими оперно-сатанинскими эффектами.

И еще один день.

Пришел караван из-за кордона, колонна из девяти машин. Автомобили наши ЗИЛы, но так диковинно разрисованы, будто шоферы изощрялись в выдумке и озорстве.

Единственно общее для всех — марка фирмы.

Начальником колонны, именуемым по старинке караван-баши, был в этот раз на редкость противный тип со странной фамилией Яя.

Угодливый, вертлявый, с удивительно лживыми глазами и помятым лицом человек.

А главное, голос! Будто пропитанный смесью подлости и патоки.

Никите казалось, что, даже не видя Яя, услышав только один его голос, люди должны, крепко зажав свой кошелек в кулаке, бежать от него подальше.

Жилистый, маленький, почти лысый, но надо было видеть, как боялись его шоферы и грузчики!

Здоровенные рабочие парни, простодушные и веселые, они как-то сразу съеживались, сникали под его взглядом, переставали балагурить и смеяться.

Как-то один из грузчиков — друзья его называли пехлеван, богатырь — что-то возразил Яя, тот полоснул его таким взглядом, что у Никиты мурашки по коже побежали. А грузчик тут же умолк, только сплюнул и что-то пробормотал.

Авез Бабакулиев рассмеялся, Яя тоже угодливо хихикнул, но потом подошел к пехлевану, что-то процедил сквозь зубы, и этот огромный, сильный человек стал оправдываться, прикладывая руку к сердцу.

— Что он сказал? — спросил тогда Никита.

— Пехлеван?

— Да.

— Он сказал: гюрза в розовом сиропе.

— Здорово! — Никита искренне расхохотался. — А Яя что?

— Не слышал. Но реакцию грузчика ты видел.

— Да-а. Эх, если бы не дипломатия, с каким бы удовольствием навалял бы я ему по шее за один только его голосишко. Не понимаю, как только ребята его терпят?

— Боятся. Мне говорили, что он с каждой их получки мзду берет.

— И дают? — изумился Никита.

— Дают. За ним стоит кое-кто. Не этого же плюгаша боятся!

— Мафия?

— Что-то вроде этого. А этот Яя странный тип. Говорит почти на всех языках Востока. Французский знает, греческий. Только, боюсь, французы и греки его не поймут.

— Почему?

— Слэнг. Жаргон воров, сутенеров и проституток.

— Гнать его надо к чертям собачьим, — возмутился Никита.

— А за что? Пока никаких претензий нет. Напротив — его колонна одна из лучших.

— Все равно глаз да глаз за ним нужен.

— Вот это правильно. Вася это понимает не хуже тебя. Видишь, у каждой машины пограничник. Да и что он может сделать? В город ему хода нет, на КПП все свои, грузы проверяются.

— Поди проверь их все, — проворчал Никита.

— Ни разу при выборочной проверке ничего не было, а проверять каждый ящик урюка...

— Ладно, Авез, ты мне только не читай лекций. — Никита улыбнулся. — Я же знаю, что хозяева ему голову открутят, если мы партию груза завернем обратно.

В тот день опять явился Яя.

Все было как обычно: оформление грузов — бумажки, бумажки, выборочные проверки картонных, красиво оформленных ящиков, взвешивание, проверка упаковки... Все как всегда.

Странным было только одно: Яя рьяно помогал грузчикам, трудился в поте лица, как заправский пролетарий. В предыдущие же свои приезды он стоял руки в брюки, покрикивал, командовал, а сам палец о палец не ударял.

Никита некоторое время наблюдал за этим неожиданным взрывом трудового энтузиазма, потом подозвал Васю Федотова.

— У нас тут новый ударник объявился, — тихо сказал он.

— Вижу. Может, совесть заговорила?

— Как же! У него на месте совести щетина с палец толщиной. Ты приглядывай за ним.

— Есть! — Иван улыбнулся. — Товарищ капитан тоже приказал глаз не спускать.

— Правильно сделал.

Никита и сам все время старался держать в поле зрения этого крайне неприятного ему человека. Ничего подозрительного не происходило. Ваня выполнял свои обязанности подчеркнуто открыто — он просто ходил за Яя по пятам. Но тот работал всерьез, подгонял грузчиков, весело скалил свои желтые, прокуренные зубы, подмигивал Ивану.

Иван был невозмутим, строг и непроницаем.

«А помогает работать грузчикам, очевидно, потому, что хозяева хвост накрутили, — подумал Никита, — нечего, мол, бездельничать, невелика персона».

Да, все стало на свои места...

Груз сдали, груз приняли, и колонна ушла к себе, за кордон. А с ней и неприятный тип, караван-баши Яя, и какой бы темной личностью он ни был (предположительно), к работе его никаких претензий не имелось.

Дотемна провозились они с Бабакулиевым в своей «конторе» — обшарпанной, насквозь прокуренной комнате с двумя письменными столами и допотопным, огромным, как танк, сейфом. Капитан шутил, что, если прорезать в нем амбразуры, получится непобедимый дот.

Комнату украшали только яркие календари «Совэкспорта» за разные годы, развешанные по стенам.

Когда Никита пришел домой, он застал идиллическую картину. За столом, заваленным красками, карандашами, фламастерами, бумагой и еще десятками необходимых художнику вещей, работала Таня.

Еще в Ленинграде она получила заказ на цветные иллюстрации к детской книжке. Это было огромной удачей для начинающего художника-графика, первой по-настоящему творческой работой.

Никогда не предполагал Никита, что рисовать цветные картинки для детской книжки такой тяжкий труд.

Тяжкий, но радостный, потому что надо было видеть, как радовалась Таня, когда работа ей удавалась!

И тогда Таня закатывала «званый ужин» — готовила какие-то неведомые, замысловатые, но необычайно вкусные блюда, чистила все в доме, драила, и делала это в охотку — весело, без натуги.

Приходил Бабакулиев с очередным своим сердоликом, Вася Чубатый приносил гитару, Гриша Приходько тихонько, боясь что-нибудь задеть, расколоть ненароком, пристраивался в уголок, и начинались вечера, после которых трое холостяков несколько дней ходили задумчивые, и думы их нетрудно было угадать. Таня была королевой на этих вечерах, а Никита таким же подданным, как и остальные, — ни больше ни меньше. Так уж повелось, такова была традиция (а возникла она и укрепилась очень быстро).

Тепло было на этих вечерах, и забывалась тяжелая служба и то, что рядом граница, а вокруг голые мрачноватые горы.

Лопали за обе щеки Танину стряпню, нахваливали, потом Приходько помогал Тане мыть посуду.

Никита и Вася Чубатый «резались» в шахматы.

А Бабакулиев колдовал над кофе, никого не допускал к священному ритуалу.

Несколько раз пыталась Таня пригласить любимца своего Ваню Федотова. Он очень вежливо, но твердо отказывался. Таня недоумевала, все допытывалась — почему, но Иван только опускал голову, молча переступал с ноги на ногу и краснел.

Он был солдат и жил со своими товарищами в одной казарме, а старшина и капитан были его командирами. Он не мог и не хотел...

— Оставь его в покое, — сказал Никита, — он прав. Существует солдатская этика.

Когда Никита возвратился домой после долгого дня бегот-

ни, писанины и любования мерзкой рожей Яя, он застал такую картину.

Таня работала над иллюстрациями, а напротив нее, на краешке стула, сидел Ваня Федотов и тоже рисовал — Таню. Оба так увлеклись, что не слышали шагов Никиты. Он стоял в проеме двери и улыбался, и глядел на них.

А они его не видели. И чем дольше он глядел, тем отчетливее понимал, что Ваня Федотов влюблен в Таню.

Татьяна была единственной женщиной на КПП — да еще молодой, да еще красивой и доброй. И не мудрено, что тайной любовью к ней переболели поголовно все. Как корью. Никита знал это. Естественно, знала и Таня.

Ведра всегда были полны водой. А дров напилено и наколото было бы лет на десять, если бы не взбунтовался Никита. Не хотел он лишать себя отличной утренней зарядки.

Дом становился постепенно своеобразным музеем солдатского творчества. Каких только поделок тут не было! И забавные фигурки, вырезанные из дерева; и плетенные из цветного провода корзиночки, шкатулки, абажуры; со вкусом сделанный бронзовый нож для бумаг с наборной рукояткой; очень красивые, с загнутыми носами домашние туфли; разнообразные рамы для Таниных рисунков; роскошные рога архара; тщательно выделанный рог для питья... Всего и не перечислишь. Причем все эти подарки делались тайно, прикладывалась только лаконичная записка: «Для Татьяны Дмитриевны».

Солдатам нравилась эта таинственность. Они играли в нее, как мальчишки.

Вася Чубатый безошибочно узнавал автора очередного подарка, удивлялся:

— Откуда они только время берут, дьяволы? Уж, казалось, передохнуть некогда, а поди ж ты! Каждый день свежие подворотнички, сапоги драят по десять раз на дню. Гиви Баркая усы отпускает. Слезно выпросил разрешение — какой, говорит, я грузин без усов! Ох, гляди, Никита, ох, гляди!

— Не надо, Вася, не смейся, — говорила Татьяна, — это они по невестам да по мамам тоскуют.

Но, глядя на Ивана, он понял, что здесь совсем иное.

Иван с такой нежностью, с такой тоской и преданностью смотрел на Таню, что на мгновение в душе Никиты шевельнулась ревность. Но она тут же сменилась жалостью к этому чистому, одаренному, тонко чувствующему парню из крохотного городка Кологрива, что на реке Унже.

Безнадежная любовь...

А может быть, это прекрасно — первая и безнадежная? Мо-

жет быть, это научит его ценить и беречь любовь другой женщины, которая должна, обязательно должна встретиться ему в будущей, долгой его жизни?..

— Да-а, рядовой Федотов, а еще пограничник! Так тебя, Ванюша, и из наряда, чего доброго, уволокут. Десять минут уже наблюдаю, а ты и ухом не ведешь.

Таня засмеялась и подбежала к Никите.

Иван по обыкновению покраснел:

— В наряде я не рисую, Никита Ильич.

— Ну это руками, а в воображении-то? Бывает ведь?

Иван опустил голову.

— Бывает, — прошептал он, — только я с этим борюсь.

— Ну, давайте-ка, братцы, поужинаем. Я, как две собаки, голодный. Есть что-нибудь, Таня?

— Есть. Ребята на ручей ходили. Форель принесли.

— У-у-у! — оживился Никита.

— Никак нет! Я не буду, — вскочил Иван.

— Опять начинается? — Таня укоризненно покачала головой.

— Брось ты свои китайские церемонии, — посоветовал Никита.

— Никак нет. — Иван упрямо наклонил голову. — Я уже ужинал. — Он улыбнулся. — Я читал, что к работающему желудку приливает три четверти крови. За счет мозга. Лучше всего думается на голодный желудок.

— Ты хочешь сказать, что, съев эту форель, я вот тут же, на глазах почтеннейшей публики, поглупею на три четверти? — Никита расхохотался.

Таня и Иван тоже.

— Ну, вы личности творческие, вам голодать полезно. А мне после целого дня общения с одним очаровательным иностранцем необходимо подкрепиться даже за счет моего бессмертного мозга.

Иван нахмурился:

— Да, тип... Когда он тут парня одного, грузчика, при мне так саданул по печенке, у меня просто в глазах темно стало. Еле сдержался...

— Это ты мне брось, — Никита говорил серьезно, — что за дамские разговорчики: «еле сдержался»?! Служба такая. Думаешь, мне целовать его охота? Ты ничего не заметил?

— Ничего. Во все глаза глядел. А он будто чувствует, скалится только.

— И я ничего, — задумчиво сказал Никита, — и все же на сердце как-то неспокойно.

— Не знаю... Уж больно он суетился сегодня. Больше, чем обычно.

— В том-то и дело.

— А может быть, это просто кажется вам? — спросила Таня. — Оттого, что он вам неприятен?

Иван пожал плечами.

— Может быть, — задумчиво сказал Никита, — может быть.

Он плохо спал в ту ночь. Вертелся, вздыхал. Шлепал босыми ногами по выскобленным доскам пола, часто ходил пить. Потом долго сидел на кухне, курил, глядел упорно в одну точку и не понимал: что такое творится с ним?

Утром он вновь обошел склад, внимательно оглядел штабеля ящиков. Конечно, он мог взять любой из них и проверить. Но что толку?

Ящики стояли одинаковые — яркие, чистенькие, с синими надписями по желтому фону.

На одном только виднелся едва заметный след пятерни. Видно, шофер какой-нибудь помогал грузить, оставил след вымазанной в машинном масле ладони.

Но Никита не поленился вскрыть его. Ничего. Урюк лежал плотной массой — оранжево-желтый, полупрозрачный, отборный.

«Что-то ты, видать, заработался», — пробормотал он.

Три дня были относительно свободны. Никита помогал Тане по дому, тренировал солдат, которые после того знаменитого поединка слушались Никиту, как господа бога, в рот ему глядели, будто знает он какое-то волшебное, петушиное слово.

Тренировались они с таким желанием, с такой радостью, что и Никите тренерские обязанности доставляли истинное удовольствие.

Никогда не подозревал он в себе педагогических наклонностей, даже удивился, обнаружив их. Удивлялся спокойствию своему, когда какой-нибудь новичок бестолково делал все не так, наоборот, не понимал очевидных, казалось бы, вещей. Удивлялся радости своей, когда ученик схватывал сказанное на лету.

Особенно его восхищали успехи Гриши Приходько.

Ей-богу, он не радовался так собственным успехам в свое время!

А потом пришли наши автомобили за грузом, и стало не до самбо.

Как обычно, Никита присутствовал при погрузке. Первым на пятачок перед складами лихо влетел ЗИЛ с веселым, разбитным шофером лет сорока.

Он выскочил на землю, присел, разминая ноги, и улыбнулся так, будто выиграл международную автогонку.

Никиту поразили зубы шофера — ослепительно белые, какой-то странной волчьей формы.

«Да если бы у всех такие были, — ухмыльнулся Никита, — зубные врачи вывелись бы на земле».

Никита частенько помогал при погрузке. Бабакулиев этого не одобрял.

— Це-це-це! — качал он головой. — Инспектор-грузчик! Силы девать некуда, лучше с Приходько поборолся бы. Какое, понимаешь, уважение иметь будешь?

— Это в тебе восточные предрассудки голову поднимают, — смеялся Никита, — помоги лучше, авторитету это не повредит. Авторитет такая штука: или он есть, или его нет. Работой еще никто авторитета себе не подрывал.

— Это не моя работа, — обижался Авез.

Он ходил важный, сосредоточенный, официальный — хозяин!

А Никита с хохотом таскал ящики. Ах, хорошо поразмяться! Он схватил очередной ящик с урюком, как вдруг услышал голос:

— Эй, сюда неси! Эй, таможня, кому гавару!

Никита удивленно обернулся и увидел, что кричит тот самый шофер, приехавший первым. И лицо его было совсем не улыбчивым, а злым.

Никита поставил ящик на землю.

— Ты чего это? Боишься, груза на твою долю не хватит? — Никита взглянул из-под ладони: солнце мешало. — Не бойся, под завязку загрузим.

— А я гавару, сюда неси! — Шофер даже ногой топнул.

Никита пристально поглядел на шофера.

— Ты чего это тут разоряешься? — спросил он. — Ты дома женой командуй, понял?

— Да я так... Понимаешь, думал, ближе ко мне... Я не командываю, дорогой... — смешался шофер.

Никита удивился еще больше. Он уже стоял около чьего-то грузовика, а до машины того, с волчьими зубами, было метров пятнадцать.

— Ты вот что, если голову напекло, иди в тень. Посиди, — посоветовал Никита и передал ящик парню в кузове.

На миг мелькнула на его боку мазутная пятерня.

Никита заколебался было. Но ящики все несли, наваливали друг на друга.

Никита попытался закурить. Руки тряслись, ломали спички, прикурить удалось с четвертой попытки.

«Худо, брат». — Никита жадно затянулся и тут же с отвращением скомкал сигарету.

Дым показался отвратительным, горьким, с каким-то мыльным привкусом.

Эх, если бы можно было вернуть то мимолетное мгновение, когда взгляд скользнул по тому проклятому меченому ящику!

«Кретин, ты думал, что самый умный и проницательный! Сказал бы Бабакулиеву! Васе Чубатому сказал бы! Ведь не зря же ты вскрывал этот чертов ящик! Почти вскрыл».

Никите показалось, что он говорит вслух, он огляделся. Ничего. Впереди спокойные затылки, сзади дремлющие лица. «Керим Аннаниязов! Это имя на всю жизнь как проклятие. Он неуличенный убийца. И он жив. И через двенадцать лет выйдет на свободу. Да и сейчас он жив, жив, ест, спит, дышит, двигается, а они нет, они нет...

Но ведь он пальцем их не касался? Все равно — он первопричина.

А может быть, первопричина находится гораздо дальше? Плевать, что тех я не видел своими глазами, а его видел».

Сильно захотелось пить, нестерпимо захотелось, язык стал неповоротливым и шершавым. Никита встал, прошел по проходу в закуток между первым и вторым салонами — пристанище стюардесс.

Вибрация и грохот были здесь очень сильными. Но две авиадевушки болтали непринужденно, не повышая голоса, и, кажется, отлично слышали друг друга.

Когда Никита вошел, обе удивленно и, как ему показалось, чуть испуганно взглянули на него, и Никита понял: говорили о нем.

— Дайте попить, — попросил он.

Обе поспешно потянулись к шкафчику, столкнулись руками, но не улыбнулись.

Одна молча открыла бутылку боржоми, вторая подала стаканчик. Две пары глаз серьезно глядели, как он пьет.

«Почему при мне люди перестают улыбаться? Или, может быть, у меня лицо такое, при котором не улыбаются?»

— Девушки, у вас есть зеркало? — спросил он вдруг.

Они ничуть не удивились, одна молча раскрыла сумочку, вытащила зеркальце.

Никита внимательно, сосредоточенно стал разглядывать себя. «Лицо как лицо... Вот только глаза... Как у больного спаниеля... Но у спаниеля глаза карие, а у меня светлые...»

— Вы не знаете, у спаниелей бывают серые глаза? — спросил он.

Они изумленно переглянулись, одна чуть заметно отодвинулась.

— У кого?!.

«Ясно. Теперь все ясно. Они думают, что я сумасшедший. А это не так? Нет. Не так. К сожалению. Возможно, для меня и лучше было бы на время выпасть из бытия, завернуться в безумие, как в кокон, а потом, когда вся горечь осядет, проклюнуться в жизнь другим, обновленным.

Что это? Неужели кокетничаю?

Нет, пожалуй... Просто мозг защищается. Сам, непроизвольно. Лучшая защита — самоирония».

— Спаниель — это такая охотничья собака. Она похожа на сеттера, только поменьше, с длинными ушами, до земли. Спаниели очень милые псы, — сказал Никита и попытался улыбнуться, — только все сплошь кареглазые.

— Вам очень плохо? — тихо спросила вдруг та, которая ругала его в Каспии. Он угадал вопрос по губам.

— Да, — сказал Никита. — Спасибо за воду.

Он повернулся, чтобы уйти, но она дотронулась до его руки.

— Хотите еще? Очень свежий боржоми.

«А ты лучше, чем я думал. И эта подтянутость, и стройные бедра, и костюм, сидящий как перчатка, — все это совсем неплохо. Просто работа у тебя очень тяжелая, и ты немножко устала от нее, и в жизни, наверное, у тебя не все ладно, даром что красивая. Иной раз красивым еще трудней».

— Хочу, — сказал Никита и взял стаканчик, — прекрасный боржоми. Большое спасибо.

Он ласково сжал ей руку повыше локтя. Она чуть прикрыла веки — ответила.

Никита ушел.

Яя появился через два месяца, когда Никита решил, что уж никогда его не увидит. Такой же угодливый, суетливый и противный. Да и с чего бы ему перемениться за столь короткий срок?

И на этот раз он помогал грузчикам. Нет, Никита все-таки не забыл того мимолетного, тяжелого взгляда шофера, когда он передал ящик с мазутной пятерней в другую машину.

Ваня Федотов по-прежнему ходил по пятам за караван-баши, а Никита отмечал те ящики, которые тот таскал само-

лично. Но ящики были абсолютно одинаковые, и точно запомнить нужные ему было невозможно.

Никита примерно только отмечал места, куда ставил свою ношу Яя. Он напряженно вглядывался, но никакой пятерни на ящиках не было.

— Никита, ты становишься маньяком. Не пришлось бы тебе менять профессию, — сказала Таня. — Таможенник с манией подозрительности — это ужасно. Профессиональная непригодность.

— Таможенник должен быть подозрительным.

— В нормальных, разумных пределах. Если к этому есть веские основания.

— А пятерня?

— Господи, да ты же сам говорил, что проверил этот дурацкий ящик и ничего не нашел! Думаешь, шоферы и грузчики, прежде чем начать работать, отмывают руки, как хирурги?

— Ладно, я сделаю еще один опыт. Посмотрим.

Он проделал этот опыт. Но эксперимент провалился. Наградой эксперименту были насмешки.

Было так.

Для контрольной проверки Никита взял те ящики, которые самолично отгружал Яя. Он ничего не сказал Авезу, и тот очень удивился, когда Никита вывалил из одного ящика все сухофрукты и проверил чуть ли не каждую урючину. Ничего не было. Упаковать вновь, как было, Никита не сумел — около трети урюка не влезало обратно.

— Ящик испорчен. Некондиция, — констатировал Авез.

— Составим акт. Высчитаем из моей зарплаты, — буркнул Никита. Он был зол на самого себя, но упрямство, о котором он даже не подозревал, заставляло его действовать дальше.

За грузом автоколонна пришла через два дня.

И снова первым влетел, сияя, как победитель автогонки, тот шофер. Никита уже знал его имя.

Керим Аннаниязов, Керим Аннаниязов, Аннаниязов Керим.

В паре со своим грузчиком он погрузился первым. Никита наблюдал. Из тех ящиков, которые отгружал Яя, в машину Аннаниязова попали два или три. Не больше.

И те, перемешанные в кузове с другими. Никита не смог бы отыскать. И все же, стиснув зубы, он решился на свой опыт. Подошли еще три отставших от колонны грузовика. Никита подозвал Бабакулиева и капитана Чубатого.

— Я хочу перегрузить груз с этого ЗИЛа, — он показал на машину Аннаниязова, — в эти три. Поровну. А его загрузить другими ящиками.

— Зачем? — изумился Бабакулиев.

— В чем дело? — Капитан насторожился. — Что-нибудь неладно? Объясни, в чем дело?

— Не знаю, — честно признался Никита. — Не знаю, но все равно сделаю. Я что-то чувствую, а что, не знаю.

Капитан Чубатый внимательно поглядел на Никиту.

— Бывает, — медленно сказал он, — пусть перегружает. Если чувствует — пусть. Беды не будет. А чтобы не обижались грузчики, дам солдат.

Никита подошел к Аннаниязову.

— Ехай-ехай! Готов! — браво доложил тот.

— Нет, не готов, — сказал Никита. — Сейчас груз с вашего автомобиля перегрузят в другие машины. А вашу заполнят новым.

Никита глядел в глаза шоферу. Сначала ничего, кроме недоумения, в них не было. Потом вспыхнуло бешенство. И какое!

Пограничники начали проворно разгружать машину.

Аннаниязов завертелся волчком, он бросился сперва к автомобилю. Остановился. Подбежал к Никите. На миг показалось, что он ударит его. Но шофер только закусил губу, потом плюнул Никите под ноги и процедил длинную фразу на родном языке, глядя ему в глаза горящими глазами.

Раздался резкий голос Бабакулиева. Он подскочил к шоферу и хлестал его звенящими, гортанными фразами.

— Я лучший шофер... Первый всегда... Зачем время отнимаешь? Зачем рабочий человек карман лезешь? — забормотал он. — Зачем унижаешь?!

Никита вдруг почувствовал стыд.

«Может быть, и впрямь я зарываюсь? — подумал он. — Конечно, обидно мужику — первый прикатил, первый загрузился — и вдруг такое. Я же ему явно высказываю недоверие. Но как он взбесился! А впрочем, восточный человек, горячий. Ладно, дело сделано. А перед Керимом извинюсь».

— Извини, — сказал он, — разгрузка и погрузка займет десять минут — видишь, как солдаты работают. Ты ничего не потеряешь. Приедешь первым. Извини.

— Не смей извиняться перед ним! — гневно крикнул Бабакулиев. — Это он перед тобой извиняться должен!

— А что он сказал? — спросил Никита.

— Непереводимо, — буркнул Авез. — Раньше за такие слова убивали.

— Вот как? — Никита вскинул глаза на Керима.

Тот приложил руку к сердцу, поклонился.

— Извини. Горячий... Ой, беда... сердитый, плохой я... кипяток.

— Еще раз такой горячий будешь, пропуск в погранзону навсегда потеряешь, — холодно сказал Бабакулиев. — Это я тебе обещаю, Бабакулиев Авез. Запомни.

Керим опустил глаза. Но чего-чего, а раскаяния в них не было.

Потом, когда колонна ушла, Никите пришлось отбиваться:

— Ну вот он я, вот! Режьте меня, пилите, грызите!

— Что ты, дорогой, что ты? — ужаснулся Авез. — Тебя нельзя резать! Таможенная служба лишится единственного телепата и провидца! Мы тебя беречь будем как зеницу ока. Что ты сейчас чувствуешь, скажи?

Никита сделал несколько многозначительных пассов, задумался.

— Чувствую, что Авезу Бабакулиеву и Василию Чубатому не терпится съесть шашлык из молоденького барашка, который собирается зажарить Татьяна Скворцова.

— Ты гений! — потрясенно ответил Авез.

— Вы очень ценный человек, товарищ Скворцов, — сказал капитан Чубатый.

— А откуда ты узнал про барашка? — спросила Таня.

— Их мозг испускает одинаковые биотоки, — сказал Вася.

— Чей?

— Товарища Скворцова и барашка, — отомстил капитан.

Они с хохотом вошли в дом. Бабакулиев стал готовить мясо, доверяя остальным только черную работу: носить дрова, растапливать плиту, чистить шампуры.

И потом в знак особого расположения позволил Тане насаживать на них кусочки мяса — сочного, проперченного, посоленного, политого уксусом и переложенного кружками лука.

Обжигаясь, ели они шашлык, зубоскалили, поддевая друг друга, смеялись.

— Эх, жалко — Грицка нету! А все ты со своими японскими штучками, — капитан погрозил Никите шампуром, — гляди, если сманят от меня старшину, из тебя самого шашлык сделаю.

(Сманили-таки. Смотри «Краткую хронологию».)

— Вот увидишь: он их там всех разложит, — сказал Никита, — а я ведь ему только самые начатки показал! Со старшиной ты, Вася, распрощайся. Быть ему чемпионом Союза, а если попадет в хорошие руки, то и повыше бери.

— Но-но! Намнут моему Приходько шею, и бросит он эти глупости. Хоть бы намяли! — капитан молитвенно сложил руки.

— Не надейся. Он уникум. Такая силища и реакция одновременно — это талант. От бога. Никакими тренировками не выработаешь.

— А здорово он тебя в последний раз уложил! Любо-дорого глядеть, — подковырнул капитан.

— Сам-то сбежал из секции! Авторитет потерять боишься?

— Никитушка поддался. Никитушка добрый. Он самаритянин и альтруист, — сказала Таня елейным голосом.

— Да, да! Помним, помним, как он ноги выворачивал бедному Приходько прямо с мясом. Пока мог! — сказал Бабакулиев. — Это было страшное зрелище.

— Вот приедет Приходько, прикажу ему, чтоб завязывал товарища Скворцова морским узлом, — погрозил капитан.

— Не губите, товарищ Чубатый Вася! — вскрикнула Таня.

— Послушай, Василий, а чего ты народ обманываешь? — спросил Никита.

— Как это?

— А так. Какой же ты чубатый, если под бокс стриженный.

— Ха! Чудак человек! Это же маскировка. Пронюхают ковар-р-рные враги: грозный капитан Чубатый появился, станут искать, глядеть, где чубатый, где кудрявый? А я — вот он я, вроде бы неопасный для них человек, замаскированный своим полубоксом, неожиданно как выскочу, как выпрыгну — цап-царап! — и в сумку! Понимать надо, товарищ Скворцов! Это вам не урюк потрошить!

Никита не переставал вспоминать и оценивать мельчайшие детали сегодняшнего дня. И ничего не находил. Ничего, кроме взрыва бешенства шофера Керима Аннаниязова.

Но это все эмоции... Мало ли людей, готовых вспылить, взбеситься и по ничтожнейшему поводу!

И все бы забылось, не осталось бы ничего, кроме досадного чувства ошибки, если бы не письмо...

Поздней ночью, когда в горах по ночам уже подмораживало, днем тянул пронзительный ветерок с ледников, а изо рта стали вылетать кусочки пара, Никиту послали в командировку. В город, расположенный в оазисе, в самом центре пустыни Каракумы.

Лучшего времени для поездки туда просто невозможно было выбрать.

Палящая, до шестидесяти градусов на солнце, убийственная жара спала. Люди вздохнули свободней. Это было время изо-

билия, время, когда земля отдавала человеку стократно все, что он в нее вложил.

Никита и Таня никогда не были в Каракумах, да и вообще плохо знали край, в котором жили.

Горы, Алиабад, два дня в Кушке, и все.

А Каракумы... Что они знали о Каракумах? Одна из величайших пустынь земли, самый большой канал в мире — Каракумский, верблюды, саксаул, солончаки, киргизы, перекати-поле... Что еще? Еще, пожалуй, конфеты «Каракум».

Немного.

Они так радовались, будто отправлялись в далекую экзотическую страну.

Впрочем, так оно и было — и расстояние порядочное, и экзотики хоть отбавляй.

В том городе, куда они ехали, находилась школа сержантского состава пограничных войск. Готовили в ней сержантов самых разных, необходимых погранвойскам специальностей — инструкторов службы собак, строителей, механиков, оружейников, радистов — всего не перечислить.

Никита должен был прочесть краткий курс лекций по основам таможенного дела, и он лихорадочно готовился все предотъездные дни. Штудировал учебники, писал конспекты, перечитывал лекции. Не хотелось ему ударить лицом в грязь. Да и начальство подчеркивало важность этой командировки, потому что погранвойска — неисчерпаемый резервуар кадров для таможенной службы. Очень многие таможенники — из бывших пограничников.

А в школе были собраны лучшие из них.

Таню одолевали свои заботы. И она не хотела ударить в грязь лицом. За восемь месяцев в горах, отлученная от первоисточников прихотливой моды, она боялась выглядеть чересчур провинциально.

Для того чтобы привести свои туалеты в достойный вид, ей необходимо было окунуться в ближайший крупный очаг цивилизации и прогресса.

Короче, назрела необходимость спуститься с горных вершин в Алиабад.

Никита посмеивался:

— Уж не думаешь ли ты, что мы едем в Париж? В этом городишке небось в парандже ходят еще. Возьми спортивный костюм и кеды. Ну купальник на всякий случай да сарафанчик с халатиком. И все дела.

— Много ты понимаешь! Именно в таких маленьких городах особенно пристально следят за модой. Это москвичка или

ленинградка может себе позволить пренебречь или пойти наперекор всемогущей. А в провинции — шалишь! Тут слово ее — закон.

— Да откуда ты это знаешь?

— Не веришь, не надо. Короче, завтра еду в Алиабад.

Вместе с Таней ехал Ваня Федотов. Ему поручалось закупить кое-какие книги, бумагу и краски, необходимые для оформления ленинской комнаты.

Надо было видеть, как он обрадовался! Он пытался хмуриться, ему хотелось казаться озабоченным, деловым и серьезным человеком, но пухлые губы его помимо воли поминутно разъезжались в блаженной, чуточку даже растерянной улыбке, будто он сам в глубине души не верил своему счастью.

Ребята завидовали Ивану черной завистью.

— Почему Федотов? Почему Федотов?! — хмурился Гиви Баркая, нервно подкручивая любовно выращенные усы.

— А что ты в красках да кисточках маракуешь? — отвечали ему.

— Пфа! При чем краски-кисточки?! А если опасность??! Что Федотов рисовать будет?! А я, как барс, я...

— Какая опасность?! Что она — в джунгли едет?

— Какая опасность? Пфа! Много ты знаешь! Красивый женщина, незнакомый город, мало ли что!

— Ты, Баркуша, за Ваньку не беспокойся. Он за Татьяну Дмитриевну самому шайтану глотку перервет. Он ее знаешь как уважает?

Солдаты не видели Никиту и поэтому говорили совершенно свободно. Бурно обсуждался вопрос о том, как Иван уважает Таню и за что. Сошлись на том, что за дело.

«Пацанье вы, пацанье! Уважает! Конечно, уважает. Но он же влюблен в нее смертно!» — думал Никита.

Они уже говорили с Таней об этом. Бессловесная, робкая, но явно всерьез, любовь Ивана беспокоила Таню.

Просто оттолкнуть, перестать общаться?

За что? Да это просто и невозможно было сделать здесь, на КПП, где все и вся на виду.

И она решила вести себя с ним, как прежде, ровно, дружелюбно, мягко.

Никита тоже считал это правильным.

Но одно дело спокойно намечать линию поведения, а другое — глядеть на Ивана, когда он рядом с Таней...

«Газик» медленно полз вверх из седловины, чтобы затем начать головокружительный спуск по серпентине древнего торгового тракта.

Никита проводил его взглядом и ушел в дом, сел работать.

О том, что произошло в Алиабаде, он узнал несколько позже.

Впрочем, там ничего и не произошло, кроме одного странного эпизода, которому Таня не придала значения. В одном из магазинов ей вдруг показалось, что ее хотят обокрасть, залезть в сумочку. Она инстинктивно дернула сумочку к себе и увидела спину метнувшегося в толпу мужчины. Сумочка была открыта. Таня усмехнулась: в сумке, кроме пудры и туши для ресниц, украсть было нечего, деньги лежали во внутреннем кармане замшевой куртки.

Таня щелкнула сумку, сказала:

— Ванюша, ко мне сейчас один тип в сумочку забрался.

— Кто?! — Иван рванулся вперед. Таня удержала его.

— Удрал. Да он ничего не утащил, а ты с другой стороны шел, тебе не видно, не переживай.

Иван помрачнел. Он казнил себя за ротозейство. А Таня веселилась:

— Жалко, что спугнула, надо было поглядеть на его разочарованную физиономию!

— Жалко! Хоть бы толкнули меня локтем, Татьяна Дмитриевна! Я бы этого жулика не выпустил! — волновался Ваня.

— Будет тебе, Ванюша! Ну его к богу, — сказала Таня, — пошли лучше краски выбирать.

Это были магические слова. Все остальное сразу перестало существовать.

Записку Таня нашла в сумочке на следующий день, уже дома.

Но Никите не показала. Не хотела расстраивать его перед командировкой, добавлять лишних дум и хлопот.

Через день они улетели.

Вот где был подлинный Восток — яркий, шумный, разноязыкий и чем-то неуловимо таинственный Восток без бутафории.

Старый город с его кривыми улочками, зажатыми с обеих сторон высокими глухими дувалами, с минаретами, торчащими, как пальцы, уставленные в небо, с плоскокрышими глинобитными домиками, будто специально был выстроен для съемок фильма «на восточную тему».

Здесь вполне мог жить Али-Баба и промышлять Багдадский вор.

Но воплощением этого самого «восточного духа» был базар.

Никите показалось, что базар на площади равен половине

всего города. Это был симбиоз рынка, заваленного грудами фруктов, овощей, висящих гроздьями ободранных бараньих туш, с тем, что в России называют барахолка, толкучка, толчок. Здесь можно было купить все — от белого, неописуемо важного верблюда до ржавой гайки или пары драных калош на одну ногу.

Здесь яростно били себя в грудь и бросали мохнатые бараньи шапки-тюльпеки наземь, торговались; надсаживаясь, кричали торговцы, расхваливая свой товар; вопили, взбрыкивали ошалевшие от слепней ишаки; чадили пряным дымом десятки мангалов, на которых жарились сочные шашлыки.

После горной кристальной тишины в этом бурлящем людском водовороте кружилась голова. Но Таня уверенно, будто она всю жизнь ежедневно бывала на таких базарах, вела Никиту вперед, сновала меж рядов, весело прицениваласъ к какой-нибудь невероятной, метрового диаметра, папахе, беседовала с продавцом целебной смолы — мумиё, расспрашивала, как делается ядовито-зеленый жевательный табак нас.

Больше всего поражали ковры. Ярчайшие, с замысловатыми узорами, они лежали прямо в пыли, на земле, и люди ходили по ним, топтали их, не вызывая со стороны продавцов никаких возражений.

Оказалось, что делается это специально. Первозданная яркость резала глаз, но после того, как по ковру проходили тысячи ног, его чистили, отмывали, и узор приобретал благородную блеклость, столь ценимую знатоками. И это не было подделкой под старину — так повелось испокон века.

Невозможно, противоестественно было побывать в Каракумах и не увидеть знаменитого канала.

Пограничники договорились со строителями, и в последний выходной день Никита и Таня махнули на вертолете в Ничку, новенький поселок строителей, выросший на берегу искусственной реки.

МИ-1 имел столь легкомысленный вид, что просто не верилось в его способность летать. Этакая стрекоза с тоненьким хвостиком! Но он взревел, лихо подпрыгнул, повисел малость на одном месте, будто озираясь — не забыл ли чего, и деловито поплыл над городом.

Промелькнула мутно-зеленая лента обмелевшего Мургаба, остались позади последние деревья и дома, и распахнулась пустыня.

Необъятная, от края до края, в гребешках барханов, в редкой шерсти саксауловых зарослей, в грязно-белых пятнах солончаков.

Никита глядел сквозь выпуклый иллюминатор вниз и думал, что истинную, осязаемую прелесть полета можно ощутить в наше время только на такой вот стрекозе да еще, пожалуй, на воздушном шаре. А то упакуют тебя в сверхзвуковой лайнер, выстрелят с одного аэродрома, посадят на другой, и неясно, летел ли ты или висел на месте, а земля в это время крутилась под тобой своим ходом.

МИ-1 был нетороплив. Он казался домашним и ручным, как велосипед.

Внизу скользила по пескам худощавая его тень, от нее лениво шарахались отары овец, а мальчишки-чабаны азартно пытались догнать ее на приземистых своих лошаденках.

Пески внизу, казалось, часто-часто истыканы палкой: лунки лепились вплотную друг к другу.

— Что это? — прокричала Таня.

Кричать приходилось прямо в ухо, иначе ничего не было слышно.

Никита недоуменно пожал плечами, но вдруг увидел, как несколько неподвижных столбиков, замерших у лунок, разом мгновенно исчезли в них.

— Суслики! — заорал он. — Или тушканчики!

Пески, пески...

Глаза уже стали уставать. И вдруг, как бесшумный зеленый взрыв, лента канала.

Даже отсюда, сверху он поражал своей грандиозностью.

Петли первоначального русла спрямлялись, новый водный тракт был прям, как луч. Черные работяги землесосы плевались пульпой, гнали ее по трубам в сторону и вгрызались, вгрызались в пески.

Почти тысяча километров искусственной полноводной, шириной до ста пятидесяти метров реки. Тысяча! И почти столько же предстоит еще сделать.

Исполинский, невероятный труд!

Никита глядел и думал, что хорошо бы каждому новобранцу показывать это, чтобы до самых печенок прочувствовал, что ему доверено защищать.

Таня глядела не отрываясь, и на лице ее было изумление. И радость. И никаких слов не надо было говорить.

Ничка оказалась аккуратным, чистеньким поселком. Вокруг домов курчавились молодые сады — люди здесь поселились всерьез и надолго. А потом был катер на подводных крыльях и полет по каналу меж высоких, поросших камышом берегов.

Именно полет, иначе не назовешь — сто пятьдесят километров проскочили за два с половиной часа.

В аккуратном, прохладном домике полевой гостиницы Каракумгидростроя Никиту и Таню встретили как некогда утерянных и вновь счастливо обретенных близких родственников. Смотритель гостиницы, крепкий, с пожизненным загаром и веселыми глазами старик балагур, заядлый охотник и рыболов, развил такую бурную деятельность, что Никита и Таня только смущенно переглядывались.

Пока они плескались в теплой воде канала, поспела уха. Разомлевшие после еды, они блаженно растянулись на тончайшем песке у самого берега и молчали. Слишком много впечатлений принес этот прекрасный день.

А потом был вечер, и низкие, мохнатые звезды над головой, и душистый костер из саксаула, и шашлык из молоденького козленка.

И разговоры... разговоры... Неторопливые, без суеты, тихими, будто боявшимися нарушить первозданность окружающего мира, голосами.

Но этот вечер был последним вечером покоя, потому что утром следующего дня Таня показала Никите письмо. Написано оно было аккуратным почерком и довольно грамотно.

«Скажи своему мужу, цепному псу и ищейке, пусть скорей уезжает с границы. Иначе умирать будет плохой смертью».

И все.

Лист был большой. Текст уместился в две строчки на самом верху. Все остальное место занимала черная пятерня. Рука, оставившая отпечаток, была в перчатке.

...Заложило уши — самолет шел на посадку.

«Не курить!» — зажглось на табло.

— Не буду, — сказал Никита.

«Одного не могу понять, зачем они написали эту записку? Ведь не получи я ее, может, и не стал бы больше проводить свои бесплодные опыты с Аннаниязовым. Зачем? У меня ведь не было никаких улик.

Это я знаю. А они? Они откуда это знали?

Я дважды смешал им карты, и потом они понимали, что рано или поздно те ящики, которые уплыли из их рук, попадут в магазин. Кто-нибудь купит урюк, и все раскроется, начнется следствие...

Но пока суд да дело, система могла еще сработать не раз. А я мешал. И они понесли огромные убытки.

Нет, рассчитали они все правильно, логично, по крайней мере.

А вдруг струшу?!

И я ведь чувствовал, что это всерьез, и Таня чувствовала... Даже мысли не возникло, что это шутка.

Почему?

А черт его знает. Для шутки слишком уж угловато все проделано».

Так сказал тот майор, прочитав принесенную Никитой записку и подробно расспросив его.

Никита скрипнул зубами и почувствовал, что на него смотрят. Он вскинул глаза. Стюардесса. Та самая.

Она невольно вздрогнула, столько ненависти было в глазах Никиты.

Никита вскочил, взял ее за руку.

— Я напугал вас? Я просто думал, вспоминал... — забормотал он. — Простите.

— Я понимаю... — она улыбнулась. — Сейчас посадка. Вы, пожалуйста, ничего не ешьте в аэропорту, не перебивайте аппетит. После Харькова будет обед.

Она осторожно высвободила руку и ушла.

Некоторое время он глядел ей вслед. Никита понимал: девушка явно выделяет его, но это не тешило самолюбия, не давало радости.

В тот день на берегу Каракумского канала Никита узнал еще одну новость: Таня беременна. Уже два месяца. Молчала, хотела удостовериться, теперь знала точно.

Услышав об этом, Никита некоторое время недоверчиво глядел на Таню, взял ее на руки и побрел вдоль воды.

— Танюха моя, Танюха... — шептал он.

Караван прикатил по первой пороше. Внизу было еще тепло, а в горы уже пришла зима.

Караван был последним в этом году. Скоро снег занесет перевал, мороз покроет льдом крутые виражи дороги, и только бесстрашный «газик» с двумя ведущими осями, обутый поверх покрышек в цепи, сможет осторожно преодолевать коварную серпентину.

Последний караван привел Яя.

На этот раз он вел себя необычно. Ни тени угодливости, суетливости, подобострастия. Тощий, жилистый, с приплюснутой змеиной головой и сухими петушиными ногами, обтянутыми

клетчатыми брючками, он был надменен и сух. И на этот раз он помогал сгружать ящики, но делал это неторопливо и даже важно.

А Никита ходил за ним следом и помечал его ящики. Незаметно, в то время, когда Яя выходил из склада. Но последний ящик он пометил демонстративно, на виду у караван-баши.

Надо было видеть, как позеленел Яя!

Он просвистел что-то сквозь стиснутые зубы, круто повернулся и вышел.

Бабакулиев уже провел контрольную проверку, оформил бумаги, и Яя, не дав отдохнуть людям, визгливыми, яростными криками разогнав их по машинам, развернул колонну и поспешно увел ее к себе за кордон.

Помеченных ящиков было тринадцать, чертова дюжина.

Потрошить их все не имело смысла, упаковка была столь тщательна, что восстановить бы ее наверняка не удалось. Никита уже убедился в этом однажды.

Аннаниязов, безусловно, заметил бы переворошенные ящики, и все сорвалось бы.

Его надо было брать с поличным, схватить за руку.

За полчаса до прибытия автоколонны, возглавляемой, как обычно, Аннаниязовым, на КПП прибыл майор Михайлов, тот самый, которому Никита передал записку. Полностью в курсе предстоящей операции были только капитан Чубатый и Бабакулиев.

Всем свободным от нарядов и дежурств солдатам капитан приказал собраться у склада.

— Поможете загрузиться, — коротко приказал он.

Но, очевидно, ребята почувствовали напряжение, в котором находился их командир, обратили внимание на серьезные, хмурые лица Никиты и Бабакулиева.

Солдаты сбились кучкой, закурили и о чем-то перешептывались, настороженно поглядывая на незнакомого майора.

Появление лихого автоджигита Керима Аннаниязова до мелочей напоминало все предыдущие его появления.

Он влетел на площадь, круто развернул свой мощный ЗИЛ — щебенка брызнула из-под колес — и резко осадил его ровнехонько напротив ворот склада.

Что бы ни думал Никита об Аннаниязове, в чем бы ни подозревал, он искренне восхитился шоферской его уверенностью и артистизмом.

Сияя острозубой улыбкой, Аннаниязов приветливо поздоровался со всеми и, не теряя ни секунды, принялся помогать грузчику и солдатам загружаться.

Первый же ящик, который он легко пронес на плече мимо Никиты, был из той же самой чертовой дюжины Яя.

Никита переглянулся с майором Михайловым, тот незаметно сделал предостерегающий жест: не торопись.

Бросив в кузов еще пару ящиков, Аннаниязов обошел вокруг машины, деловито, исконным шоферским жестом попинал скаты, потом открыл капот и стал ковыряться в моторе.

Минут через двадцать автомобиль был загружен. Ни одного помеченного Никитой ящика больше не попало в него.

Никита подошел к Михайлову.

— По-моему, пора, — сказал он.

— Да, начинайте, — ответил майор.

Никита сделал знак Васе Чубатому, капитан понимающе кивнул в ответ.

— Слушай мою команду, — негромко сказал он, и, когда солдаты обернулись к нему, приказал: — Разгрузить машину!

Солдаты сноровисто принялись за разгрузку.

Никита наблюдал за Аннаниязовым. Тот медленно разогнул спину, захлопнул капот.

Пропеченное солнцем лицо его посерело. Некоторое время он стоял, опустив голову, будто раздумывая, машинально вытирая ветошью руки. Потом он весь напрягся и, по-медвежьи косолапя, пошел на Никиту. Но в двух шагах от него Аннаниязов остановился.

Он молча глядел на Никиту, медленно сжимая и разжимая кулаки.

— Ты опять? Издеваешься? Ты цепной собака, ищейка! — он прохрипел, будто выплюнул длинное, грязное ругательство.

— Больше в погранзоне не будешь, — сказал Бабакулиев и встал между Никитой и шофером. — Я тебе обещал.

— Да! — закричал Аннаниязов и так рванул рубаху на груди, что брызнули пуговицы. — Я рабочий человек! Да! Зачем оскорбляет?! Он! Люди смеются! Издевается! Нарочно! — На губах его выступила пена, толстая темная жила набухла на лбу.

— Успокойтесь, — холодно сказал майор. — Честному человеку принесут извинения. А теперь не мешайте.

Машина была уже разгружена. Гиви Баркая и Ваня Федотов, подававшие ящики с кузова, спрыгнули на землю, закурили.

Никита и Михайлов подошли к помеченному ящику, и Никита решительно вскрыл его.

В ящике лежал урюк. Обычный, плотно спрессованный, нежно-оранжевого цвета, полупрозрачный отборный урюк.

Никита выпрямился, рассеянно огляделся.

«Неужели ошибся?» — мелькнуло в голове.

Майор Михайлов неторопливо снял верхний слой — ничего! Подцепив ножом, снял слипшуюся пластину второго слоя — тот же урюк. Обычный урюк.

С пунцовым лицом, прикусив нижнюю губу, Никита растерянно глядел в ящик. Он боялся оглянуться. Боялся встретиться с насмешливыми взглядами Васи Чубатого, Авеза Бабакулиева, с торжествующим — Аннаниязова.

Он вглядывался в открытый ящик и вдруг почувствовал: что-то неладно. Он еще не понял, в чем дело, медленно присел на корточки, и тут до него дошло — следующий слой урюка был не такого цвета, как два предыдущих, он был чуточку темнее.

Еще не веря своей догадке, осторожно, будто боясь спугнуть удачу, Никита выковырял из пласта одну урючину, развернул ее нежные липкие створки, и в руках у него оказался бурый комочек размером с горошину. Никита понюхал, но и без этого все было ясно. В руках он держал терьяк.

Пресловутый терьяк, опиум-сырец, медленную смерть.

Весь остальной урюк был начинен такими же, похожими на сгустки засохшей крови комками.

Вася Чубатый и Бабакулиев склонились над ящиком.

И в это время раздался крик.

Никита резко обернулся и увидел Аннаниязова, бегущего к своей машине.

Ему наперерез метнулся Ваня Федотов. Дальнейшее произошло мгновенно, но Никите показалось, что это происходит в вязком медленном сне.

Движения окружающих и его собственные сознание фиксировало словно бы заснятыми ускоренной киносъемкой — они казались тягучими, противоестественными в своей неторопливости.

Вот Иван бросается к Аннаниязову, у того что-то взблескивает в руке. Нож. Аннаниязов бьет Ивана ножом в живот. Ваня складывается пополам и медленно падает, а Аннаниязов уже в кабине.

Вот плавными скачками бежит он сам, Никита, и успевает вцепиться в борт грузовика в тот самый миг, когда он резко рвет с места, чуть не стряхнув Никиту с себя.

Но он с трудом подтягивается и переваливается в кузов. Машина, из которой выжимают все ее силы, натужно ревет мотором, преодолевает длинный подъем-тягун и на полном хо-

ду летит вниз по дороге, а КПП, пограничники, автомобили исчезают из глаз.

Да, этот мерзавец был первоклассным шофером! Самые крутые виражи он брал, почти не снижая скорости, резко, так что задние колеса повисали над пропастью. Лежа на дне кузова, Никита изо всех сил цеплялся за борт.

«Куда он несется, идиот! Он же знает — дорога уже наверняка перекрыта. Застава поднята в ружье!»

Никита заметил впереди крутой поворот, и вдруг Аннаниязов резко затормозил. Открылась дверь кабины, и шофер выскочил на дорогу. Машина по инерции шла вперед. В последний миг Никита успел перемахнуть через задний борт, выпрыгнуть на дорогу, и тотчас ЗИЛ резко клюнул носом и, плавно кувыркаясь, полетел в пропасть. Вот он все меньше и меньше, потом рыжий всплеск пламени и глухой взрыв.

Все это произошло в считанные секунды. Когда Никита обернулся, Аннаниязов карабкался по крутому склону горы.

Он успел подняться всего на каких-нибудь три-четыре метра, потому что голая каменная стена была почти отвесна.

— Стоять! — крикнул Никита.

Аннаниязов вздрогнул, нога его судорожно заскребла по откосу, нащупала крохотный выступ и тут же сорвалась.

И шофер, обдирая в кровь руки и лицо, съехал по склону вниз на дорогу.

Сверху послышалось жужжание мотора — приближалась машина. Они стояли метрах в пяти друг от друга, лицом к лицу.

У Аннаниязова в руках был нож. Узкий, с хищно задранным носом, страшный нож — клыч. Тот самый, которым он ударил в живот добрейшего парня на свете — Ваню Федотова.

Аннаниязов пригнулся и пошел на Никиту. Он скалил свои волчьи зубы и торопливо, с придыханием бормотал:

— Пес... Грязная собака... Сейчас помирать будешь... Сейчас, сейчас тебя резать буду...

Он оттянул локоть назад, собираясь ударить снизу. Никита сделал обманное движение, и Аннаниязов попался — он сделал выпад, и в тот же миг руки Никиты впились в его запястье. Никита резко присел, выворачивая руку с ножом ладонью вверх, и так же резко выпрямился, ударив плечом в локоть бандита.

Раздался отвратительный хруст ломающегося сустава и нечеловеческий рев. Нож упал на землю.

Аннаниязов вопил с выпученными, белыми от боли глазами

и держал перед собой сломанную в локте, висящую под прямым углом руку.

На какой-то короткий миг Никите сделалось жалко его — правая рука Аннаниязова была изувечена на всю жизнь. Но он тут же вспомнил медленно падающего Ваню, и жалости не стало.

— Этой рукой ты больше никого не ударишь, — сказал он.

Но Аннаниязов не слышал. Он выл от боли и слышал только ее — свою боль. Из-за поворота показалась машина с пограничниками.

Ивану повезло. Нож скользнул по бляхе ремня, вспорол мышцы живота и проколол брюшину. Все внутренние органы остались целыми. Уже через час после ранения он был доставлен в госпиталь, и хирург, латавший его, сказал капитану Чубатому и Никите, что парень родился в сорочке, ему неслыханно повезло, нож прошел в сантиметре от печени.

Этот же хирург сшивал порванные сухожилия и накладывал гипс на руку Аннаниязова, перед тем как отправить его в тюрьму.

— Ну а ты, братец, получил свое сполна, — сказал он и повернулся к Никите: — Это вы его так?

— Да.

— Круто, круто! Но справедливо. В том, что солдат остался жив, этот тип не виноват. Не меньше месяца парень пролежит.

Аннаниязову сделали обезболивающий укол, и прежняя наглость вернулась к нему.

— Рука живой будет? — спросил он хирурга.

— Не знаю, — ответил тот, — может и высохнуть.

Аннаниязов повернулся к Никите.

— Помни! — сказал он. — Ты, собака, помни меня!

— Надо бы тебе, негодяю, обе руки открутить, — брезгливо проворчал Вася Чубатый и отвернулся.

Следствие по делу торговца наркотиками Аннаниязова длилось четыре месяца. В самом конце февраля состоялся суд. На скамье подсудимых оказались, кроме шофера, еще четыре человека.

Никита Скворцов выступал на суде основным свидетелем обвинения.

Дело это взбудоражило весь город.

А Никиту больше всего интересовало, кто же был покупателем терьяка.

Выяснилось, что в подавляющем большинстве были древние старцы, неизлечимые наркоманы, терьякеши, готовые за кусочек снадобья продать душу черту.

Но было и другое, то, что вызывало возмущение и ненависть алиабадцев: мерзавцы, сидящие на скамье подсудимых, растлевали мальчишек, хулиганистых юнцов, любителей острых ощущений.

Сначала те получали терьяк бесплатно, пробовали из лихости, не подозревая, чем это кончается.

Потом... Потом, когда приходило привыкание, из них можно было веревки вить. Юнцов этих было немного, но они были. Всех, кого обнаружили, направили на принудительное лечение.

— Благодарите Скворцова, — сказал их перепуганным родителям пожилой судья, — считайте, что вашим недорослям крепко повезло — отделались легким испугом.

Аннаниязов вел себя на суде нагло. Когда Никита выступал с показаниями, он поднял над головой скрюченные пальцы правой руки и громко сказал:

— Помни!

Аннаниязова осудили на двенадцать лет заключения в колонии строгого режима. Разные сроки получили и его сообщники.

Когда Никита выходил из зала суда, к нему подбежал мальчишка лет двенадцати, сунул в руки лист бумаги и убежал. Никита развернул записку. Корявыми буквами было нацарапано: «Будишь плакать кровавыми слезами».

Никита аккуратно сложил листок и спрятал в карман.

Тане он ничего не сказал. Через два с половиной месяца должен был появиться новый человек на земле. Сын. Или дочь. И Никита не хотел волновать Таню. Да и не принял он на этот раз угрозу всерьез. И потом не мог простить себе этого.

В Харькове в самолет села группа иностранных туристов, вернее туристок. Толпа сухощавых, радостно возбужденных дам весело взяла ИЛ на абордаж, растеклась по проходу. У Никиты было такое впечатление, что все они если не близнецы, то очень близкие родственники — одинаковые угловатые фигуры, одинаковые волосы платинового цвета, экстравагантность в одежде. И даже эта экстравагантность, собственно и

предназначенная для того, чтобы выделяться из массы, делала их одинаковыми.

Дамы без возраста. Тот ставший привычным во всех аэропортах мира, примелькавшийся стереотип «путешествующей американки», глядящей на мир сквозь рамку видоискателя фото- или киноаппарата. Пожалуй, только личные врачи да таможенники имели возможность узнавать их истинный возраст.

Никита, равнодушно наблюдая за суетой усаживания бодрых путешественниц, машинально отметил, что стюардесса неплохо говорит по-английски.

Она перехватила Никитин взгляд, смущенно улыбнулась — в это время одна из экспансивных авиастарушек прикрепляла ей на грудь какой-то круглый значок величиной с небольшое блюдце.

Никита отвернулся.

Снова выплеснулся в памяти весенний Алиабад — пропитанный, перенасыщенный солнцем и запахами свежей новорожденной листвы. Город, который видел сейчас Никита, был более реален, чем настоящий, и в этом была какая-то странность, тревожная и раздражающая.

В который уже раз Никита перебирал тот день по минутам, шаг за шагом, слово за словом.

Дрожали на тротуарах нежные тени акаций — сквозные, замысловатые кружева. На Тане было свободное, скрадывающее изменившуюся фигуру светлое платье, походка ее стала осторожной и плавной. И была она такой молодой и свежей, что встречные издали начинали улыбаться ей.

Таню смущали эти взгляды. Она коротко взглядывала на Никиту, прихваченные первым весенним загаром щеки краснели.

Вдруг Таня остановилась:

— Есть хочу. Умираю, хочу есть. Шашлык хочу и много-много зелени.

— Хоп! — Никита по-восточному хлопнул над головой ладонями. — Кутить так кутить.

Они зашли в кафе напротив женской консультации. Таня ела с таким аппетитом...

— Подозрительно, — сказал Никита. — Не лопаешь ли ты за троих?

Таня рассмеялась:

— Вот бы здорово!

— Тебе не страшно? — тихо спросил Никита.

— Чего? — удивилась Таня.

— Боли.

Таня перестала улыбаться, отложила вилку.

— Страшно, — сказала она. — Одно утешение, что всех людей на земле родили их матери...

— Кроме Адама и Евы, — глуповато сказал Никита.

— Адам! Это был мужчина! Вот попробуй сотвори что-нибудь толковое из своего ребра!

— Только шашлык по-карски, если ты каннибалка.

Так они болтали всю эту чушь, а разговор был последним...

— Я побежала, — Таня чмокнула его в щеку. — Это недолго.

Он следил из окна кафе, как она вошла в подъезд консультации, видел, как туда прошмыгнул какой-то парень. Подумал: ему-то туда зачем?

Видел, как он выскочил оттуда и быстро пошел по улице.

Ошибся парень дверью...

И вдруг что-то толкнуло сердце.

Опрокидывая стулья, Никита ринулся из кафе, вбежал в парадное и увидел...

Она лежала на площадке лестницы между первым и вторым этажом.

Лежала в любимой своей позе — свернувшись калачиком.

Никита не видел лестницы, не видел подоконника, не видел площадки...

Он глядел на Таню, и ему казалось, что она просто устала и прилегла отдохнуть.

А дальше... Что было дальше, Никита помнил плохо. Он машинально делал все, что нужно, но одна мысль бухала в голове, как набат: поздно! поздно!

Он понял это в тот миг, когда поднял Таню.

Негодяй ударил подло, по-бандитски точно — сзади, в шею у основания черепа. Наповал.

Убийцу искали не только те, кому положено это по штату.

Уже было известно, что это брат Аннаниязова. Никита и Ваня Федотов рыскали по всем закоулкам, по всем базарам, по всем забегаловкам — молчаливые, с почерневшими лицами и яростными, жесткими глазами.

И худо пришлось бы подлецу, если бы они его нашли. Его нашли, но не Никита и Ваня.

Даже своим крохотным, сумеречным умишком преступник

понимал — пощады не будет, и отбивался яростно, как хорек, попавший в западню.

После суда Никиту вызвал начальник таможенной службы республики и сказал:

— Вот что, Скворцов, тебе надо уезжать отсюда. Ты погляди, на кого ты похож — лицо серое, как чугун. Изведешься ты здесь. Короче, я тебе устроил перевод на родину. В Ленинград. Доволен?

— Хорошо, — вяло ответил Никита.

— Ну и славно, раз хорошо, — сказал начальник и тихо добавил: — Жить-то надо, Скворцов, что ж поделаешь — им уже не поможешь. У меня дочь погибла в горах, альпинистка. Я понимаю, ты уж поверь.

— Верю, — так же вяло ответил Никита.

— Иди сдавай дела. Прощай. — И начальник отвернулся.

А на заставе, на заставе...

Перед отъездом к Никите подошел Иван. Долго молчал, опустив голову. Потом вскинул глаза, прошептал:

— Я никогда не забуду Татьяну Дмитриевну!

— Я тоже, — ответил Никита.

И вдруг Ваня заплакал совсем по-детски.

А Никита не мог плакать, не мог...

Вася Чубатый и Бабакулиев поднесли вещи Никиты к машине. В основном это были солдатские поделки — подарки Тане. Никита взял их все до одной.

— Ничего не скажу тебе, Никита. Ничего, — проговорил наконец Вася Чубатый. — Что уж тут скажешь. Одно только: всем нам очень тяжело. И знай, где бы ты ни был, что бы ни случилось — только позови...

— Мы тебе друзья, Никита, — сказал Авез Бабакулиев, — мы братья.

— Я знаю, — Никита до боли прикусил губу, — я знаю.

Самолет вдруг резко тряхнуло. Взвизгнула соседка — моложавая американка, туристка. За иллюминатором было черным-черно. И только вдали взрывались голубые сполохи. Самолет задрожал.

Прошла по коридору стюардесса с бумажными мешочками в руках. Лицо ее было белым до синевы, как снег под луной.

Никита остановил ее.

— Гроза? — спросил он.

— Да, — негромко ответила она и быстро добавила: — Обойти не удалось, вернуться нельзя — горючего не хватит. Будем пробиваться.

— Ну что ж, остается только молиться, — усмехнулся Никита, — вот моя соседка уже и начала.

Действительно, американка вынула из-за корсажа золотой крестик на цепочке, целовала его и что-то быстро шептала. Никита разобрал только:

— Езус Крайст. Езус Крайст — Иисус Христос. Иисус Христос...

А потом началось!

Огромную махину самолета швыряло с крыла на крыло легко, словно стрекозу. Он ухал в воздушные ямы, клевал носом, оседал на хвост. Такого Никита еще не испытывал.

«Страшно мне? Пожалуй, да. Но и страх какой-то равнодушный. Телу страшно. А мне нет. Знаешь, Таня, если бы я верил в загробную жизнь, я был бы, пожалуй, счастлив сейчас...»

Молния ударила так близко, что самолет шарахнулся от нее, будто боясь обжечься.

Никита никогда так близко не видел молнии. Она была толстой, с добрый ствол дерева, пронзительно-голубой и какой-то ворсистой, словно шерстяная нитка.

Никита повернулся к соседке и понял, что она потеряла сознание.

Он вновь приник к иллюминатору и увидел в крыле, едва проглядывающем в туче, черную полукруглую дыру.

«Все. Конец». — Никита удивился своему спокойствию, но внутри что-то противно задрожало, и кто-то маленький в нем яростно заверещал пронзительным голосом: «Жить! Жить! Жить!»

Никита напрягся, выпрямился в кресле. И вдруг тугой солнечный свет ударил по глазам, и сразу стало так светло, синё и спокойно, будто и не было никогда этого кошмара, который все-таки был всего секунду назад, — самолет пробил грозовой фронт.

Никита осторожно посмотрел в иллюминатор, отыскивая дыру в крыле. И неожиданно жаркая краска стыда залила его: из-за высокого ребра жесткости выглядывал полукруглый кусочек цифры 6, последней цифры номера самолета, написанного на крыле.

«И верно — у страха глаза велики», — подумал Никита и покосился на американку, словно та могла прочесть его мысли.

Никита чуть не вскрикнул от удивления. Вместо моложавого существа рядом с ним сидела глубокая старуха. Слезы смыли

толстый слой косметики, отклеили роскошные ресницы, обнажили морщинистую дряблую кожу.

Бедная женщина была еще в обмороке. Но вот она открыла глаза, и Никита деликатно отвернулся.

Он услышал радостный вскрик, потом долгое бормотание, где упоминался Езус Крайст, и слова: «На кого я похожа!»

Женщина судорожно завозилась, щелкнув замком сумочки.

Когда через десять минут Никита обернулся, рядом с ним снова сидела моложавая женщина с роскошными ресницами.

Самолет идет на посадку. Внизу проплывает панорама Ленинграда. Вон Гавань. Вон чаша Кировского стадиона.

Чуть закладывает уши. Появляется стюардесса с подносом конфет. Никита качает головой, отказывается.

Она наклоняется к нему:

— Испугались?

— Да, — говорит Никита.

— И я! Это был ужас какой-то. Я летаю пятый год и такого не видела.

— Да, — говорит Никита.

— Меня зовут Мариной, — девушка явно ждет, чтобы Никита представился.

— Красивое имя, — с трудом сквозь сжавшееся горло проталкивает слова Никита.

Девушка ждет еще мгновение, но Никита молчит. Тогда она поворачивается и уходит.

Шасси самолета касаются земли, несется серая лента бетонной полосы, американки начинают взбудораженно суетиться, обвешиваться фотокиноаппаратурой.

ИЛ-18 останавливается, подают трап. Надо выходить. Надо начинать новую жизнь, жизнь без Тани. А как?

Никита остается в самолете один. Дальше невозможно уже тянуть.

Он берет свою сумку, идет к выходу. Там стоит стюардесса

— До свидания, Марина, — говорит Никита как можно мягче, — спасибо, что довезли.

Они мгновение глядят друг другу в глаза.

Никита выходит на площадку трапа.

Шумят, смеются люди. Басом ревут самолеты, ползет, выгнув прозрачные усы, машина-поливалка. Это жизнь.

Два мира сейчас на земле: один — это Никита со своей бедой, второй — все остальные люди.

Никита понимает: надо слиться с этой шумной, суетливой, спешащей живой жизнью, стать ее частицей. В этом спасение.

Забыть ничего нельзя. Просто надо жить дальше.





Э. ХРУЦКИЙ

ХРОНИКА ВИДЛИЦКОЙ КОММУНЫ

повесть

СЕЛО ВИДЛИЦА.
10 АВГУСТА 1973 ГОДА. УТРО

Вода была черной. И солнце отражалось в ней, словно в старом зеркале. Позже, к обеду, Ладожское озеро станет светлым и радостным, почти таким же, как небо над ним. А рано утром кажется, что ночь окрасила воду густой, почти чернильной темнотой.

Еще совсем рано. Устав за неделю, спит село Видлица. Только первый рыбак выехал на промысел. Ветер с Ладоги доносит прерывистый стук мотора. Он совсем теплый, этот ветер. Теплый и упругий. И пахнет он рыбой и мокрыми сетями.

Тихо. Так тихо, что кажется, здесь никогда не нарушалась незыблемость и покой. Но я хочу рассказать не об озере, не о лесе по его берегам. Мой рассказ о том времени, мужественном и прекрасном, когда ветер с Ладоги пах порохом и дымом. О людях, строящих и защищавших Советскую власть в Видлице. О питерских коммунарах и крестьянах-карелах, о матросах, ставших пограничниками и чекистами. Их всех вместе объединяло одно дело, высокое и чистое. Они боролись за утверждение на земле коммунистических идеалов. Поэтому я и назвал свой рассказ «Хроника Видлицкой коммуны».

СЕНТЯБРЬ 1918 ГОДА.
ПЕТРОГРАД.
ФИНЛЯНДСКИЙ ВОКЗАЛ

15 сентября 1918 года к перрону Финляндского вокзала подошел поезд. Из теплушек и классных вагонов вывалилась на перрон голосистая толпа. Раненые в измазанных глиной шинелях, юркие личности в теплых бекешах, закованные в зипуны мешочники. У выхода чекисты в коже и матросы-балтийцы проверяли багаж и документы. Вот уже кого-то повели в комендатуру вокзала, отбросили в сторону чьи-то мешки, какая-то баба голосила надрывно и тонко:

— Документы!

Пауза. Потом короткое: «Проходи!» Или еще короче, как выстрел: «Задержать!»

Документы Михаила проверял худой чекист в вытертой кожаной куртке. Пока он читал истертые на сгибах, пожелтевшие бумажки с синей печатью Путиловского завода, Розенштейн успел как следует разглядеть его. «Наверное, туберкулезный, — подумал Михаил, — такое же лицо было у Вани Свиридова в саратовской тюрьме. Худой совсем, а румянец пятнами».

— Проходи, товарищ Розенштейн, — чекист протянул ему документы и, видимо, сразу же забыл о нем. Очередь напирала. Михаил поправил на плече мешок и через зал, набитый людьми, вышел на площадь. Она была непривычно пуста. Вернее, слово «пуста» не совсем точно характеризовало ее. Люди у вокзала были. Но совершенно исчезли извозчики и трамваи.

— А что, трамваи не ходят? — спросил Михаил старичка в фуражке гражданского ведомства.

Тот повернулся, оглядел его всего, начиная от заляпанных грязью сапог и кончая мятой солдатской фуражкой.

— А это вам лучше знать, гражданин «товарищ»!

Пенсне старичка алмазно блеснуло на солнце.

— Да, да, лучше знать. Это по вашей милости не хватает угля электростанциям. Я здесь ни при чем. Так что придется вам пешочком.

Голос старичка ехиден, глазки под стеклами прищурены хитро, бородка клинышком торчит, словно указательный палец.

— Ну что ж, пешком так пешком, — усмехнулся Михаил, — мы привычные, только вы-то чему радуетесь?

— А я не радуюсь, гражданин солдат, а рыдаю...

— Не стоит, если из-за трамвая, то напрасно, скоро пустим. Пешком даже лучше, прогулки пищеварению помогают. — Михаил повернулся, а старичок еще долго глядел ему вслед.

Над городом висело неяркое осеннее солнце. Но все равно оно было щедрым, это солнце. И город в его лучах казался щеголеватым, как кавалергардская кираса. Тепло горели купола соборов, золотился адмиралтейский шпиль, нарядно блестели зеркальные стекла домов. Свежий ветер с залива тащил по тротуарам клочья афиш и декретов. Каждое утро их срывали, чтобы наклеить новые. Они словно отсчитывали лихорадочный пульс времени. «Товарищ! Спеши, открыта первая пролетарская студия живописи!», «Отдадим осьмушку хлеба голодающим детям Петрограда!», «Посетите кафе «Синий уголок». Поэзия, эрос, утонченные наслаждения!» «К жителям Петрограда. Г. К. сообщает...»

Михаил на ходу читал аршинные буквы плакатов. Узнавал жизнь столицы Северной коммуны.

ПЕТРОГРАД. ПУТИЛОВСКИЙ ЗАВОД

— Михаил! Мишка!.. Розенштейн!.. Ну, брат, тебя не узнать. Ишь, бороду какую запустил, чистый генерал Скобелев. Откуда ты?

— С фронта, из-под Пскова.

— Надолго?

— Не знаю. Вызван в распоряжение Петроградской партийной организации. А ты-то как, Василий?

— А я, брат, на фронт. К Сиверсу в отряд, на Дон. Так что, видишь, и поговорить нам с тобой некогда.

Они обнялись.

— Значит, прибыл Розенштейн. — Глаза у председателя заводского комитета Путиловского завода красные от бессонницы. Голос хриплый, сорванный криком на митингах и руганью по телефону.

На столе наган, из-под бумаг выглядывает чайник эмалированный, обломанный кусок хлеба.

— Садись, Розенштейн, разговор у нас будет. Правда, недолгий разговор, со временем — во, — председатель ребром ладони по горлу провел. — Ты о положении в Питере знаешь?

— Знаю.

— Поедешь в Олонецкую губернию, в Видлицу.

— Это туда, где чугуноплавильный завод наш?

— Туда. У нас нет дров. Нет у завода топлива. А лес лежит в Видлице, много леса. На заводе Видлицком нет рабочего контроля. Местный Совет уцепился за это и постановил считать завод предприятием частным и налогом его обложил. Понимаешь? Вот то-то. А управляющий наш налог платить отказался, вот и остановилось дело. Не разрешает местная власть лес вывозить. Кому-то там выгодно, чтобы Путиловский завод встал, а есть сведения, что уходит наш лес на финскую сторону. Мы назначаем тебя председателем контрольной комиссии. В помощь тебе даем Александра Некрасова.

— Слесаря?

— Его. Других помощников на месте ищи. Помни только, Видлица село пограничное. А что на границе делается, тебе не объяснять. Из Мурманска по железной дороге в сторону Петрозаводска англичане с беляками наступают, так что можно ожидать всего. Так что получай мандат и езжай топливо Питеру добывать.

— Я ж с поезда только.

— Ясно, Михаил, отдохни. Сутки тебе на отдых, на всякие тары-бары, и двигай в Олонецкую губернию в помощь тамошним большевикам.

ОКТЯБРЬ 1918 ГОДА. СЕЛО ВИДЛИЦА

«Товарищи. Я делегирован Путиловским заводом, заводским комитетом в село Видлицу Олонецкого уезда. Ознакомясь с местными рабочими и крестьянами, где оказалось Совдеп эсеровский и наших организаций нет. Среди же публики возможно найти сочувствующих, и есть возможность организовать коллектив коммунистов. Я, член Российской Коммунистической партии большевиков с 1903 года, считаю своей обязанностью организовать коллектив коммунистов. Поэтому прошу мне прислать Устав партии и 35 членских билетов, а также указать в отдельности то, что нет в уставе. Как быть с теми товарищами, у кого нет рекомендации члена партии (я должен

сказать, кроме меня нет коммунистов)? Второе, какие брать взносы с пограничников Красной Армии?

Член Петербургской организации Российской Коммунистической партии (большевиков) № 1240 членской книжки Михаил Евстафьевич Розенштейн 28 сентября 1918 г.».

Что говорить. Село Видлица видное. Немного таких в губернии. Зажиточное село. Дома в нем добротные, благо строевой лес рядом. Лучший, конечно, у кулачья. У Тухкинена двухэтажный, рядом такой же Куйкина, рыбника, чуть подальше Никитина-купца, и усадьба Гаврилова-мукомола. Весь народ в селе сплошь в долговых расписках у купца. По переписи 1913 года, в селе купцов числилось семь, потомственных почтенных граждан — десять. А остальных — более двух тысяч. Некогда, видно, было земскому статистику пересчитывать мужиков. Более двух тысяч, и весь разговор.

До уездного центра Олонца — сорок пять верст лесом. Кажется, что за расстояние, плевое дело добраться, а все же трудновато. А какой толк добираться, на Совет жаловаться смысла нет, в Олонце в уездном Совете эсеры верховодят. Правда, перешла власть в губернии к большевикам, но все же влияние эсеровское особенно сильно было в Пудожском, Олонецком и Повенецком уездах. Эсеровские Советы всячески тормозили декреты губернского большевистского комитета. Особенно декрет о создании комитетов бедноты. 11 июля 1918 года ВЦИК принял Декрет «Об организации деревенской бедноты и снабжении ее хлебом, предметами первой необходимости и сельскохозяйственными орудиями». Декрет подписали: Председатель ВЦИК Свердлов, Председатель Совета Народных Комиссаров В. Ульянов (Ленин), секретарь В. Аванесов.

4 августа того же года в Олонецкой губернии было принято «Положение о коммунистах деревенской бедноты». Но прошел месяц после принятия декрета, а в Видлице мало что изменилось. Сидел секретарем Совета сын Гаврилова — Митька, эсер, бывший прапорщик. Он только погоны с френча отцепил, да вместо Георгиевского креста на грудь красный бант приколол, вот и все перемены.

А земля, рыбный промысел как был у Тухкинена, да Никитина, да Куйкина, так и остался. А о Гаврилове и говорить нечего, сынок — власть.

ВИДЛИЦКИЙ ЗАВОД. НОЧЬ

Ему снился поезд. Бесконечный, конца вагонам не видно, и окон на тех вагонах нет, и буферов нет, и сцеплений. Один длинный выгнутый змеей вагон. Ему надо сесть, и он стучит в дверь кулаком. А стук гулко разносится по всему поезду.

Розенштейн проснулся от этого стука. Несколько секунд он лежал в темноте, еще не отойдя ото сна. Потом понял, что кто-то стучит в оконную раму.

Михаил пошарил ногами сапоги, они выстудились на полу, и ноги после тепла словно в холодную воду попали, набросил на плечи шинель, достал из-под подушки наган. Он не пошел сразу к окну. Стал у стены рядом с ним, начал вглядываться в темноту. За чернотой стекла белело чье-то лицо.

— Кто там?

— Егоров, уполномоченный Петрозаводского ЧК. Мне Розенштейн нужен.

— Сейчас открою.

Михаил зажег свечу и пошел отворять дверь.

Гость устало опустился на табурет у стола. Был он невысок, худощав, в очках с металлической оправой.

— Ну, здравствуй, председатель комиссии.

— Здравствуй, уполномоченный.

— Устал я, к тебе добираясь, — Егоров снял очки, протер стекла платком, — дорога длинная, а нужда срочная очень.

— Чаю согреть?

— Надо бы, да времени мало. Так что давай, Михаил Евстафьевич, поговорим.

— Ишь ты, уже и отчество мое знаешь.

— Дело немудреное. Я письмо о тебе в губкоме читал, письмо с Путиловского. Очень вовремя ты приехал, товарищ Розенштейн, очень вовремя. Ты с обстановкой знаком?

— В общих чертах.

— Значит, считай, что незнаком. Вот ты письмо писал, в нем правильно говоришь, что Совет в Видлице эсеровский. Поэтому главное сейчас взять власть в свои руки. Комитет бедноты и должен стать властью.

— Это я понимаю. А как с местным Советом быть-то?

— Ну, от тебя, путиловца, политкаторжанина и участника социалистической революции, я этого вопроса не ожидал.

— Понял, это мнение твое или уездной партийной организации?

— И мое, — Егоров опять полез за платком, — и организа-

ции. Но о другом я тебе хочу рассказать. Видлица — село пограничное. Застава здесь есть, отряд пограничников. Но этого мало, обстановка требует от всех, чтобы именно здесь стал наш опорный пункт. Кулачье хлеб и лес за кордон вывозит. С той стороны люди приходят к ним. На сопредельной стороне, в Мансиле, Карельское просветительное общество. Знаешь, что это такое?

— Нет. — Розенштейн встал, взял кисет со стула, около кровати, — не знаю ничего об этой организации. Ничего.

— Под этой вывеской работают фактически определенные круги финской буржуазии, которые хотят захватить Карелию. Они формируют отряды, вооружают их. Будто бы карелы сами восстали против большевиков. А тогда они защиты у Финского правительства попросят. Ясно?

— Теперь ясно.

— Помни другое. Там же, в Мансиле, и белые офицеры собираются. А сообщники их здесь, в Видлице. У нас на этот счет точные данные есть. Вот поэтому нам и нужно, чтобы село стало опорным пунктом нашим на границе. Поможет тебе, Быков, начальник погранотряда, и его комиссар Розов. Ну я пойду. Мне еще на заставу нужно. Ждем мы кое-кого...

ДОМ ГАВРИЛОВА. НОЧЬ

— Что-то я вас не узнаю, господин прапорщик. Нет, не узнаю. Вы же власть, секретарь Совета, и вдруг такое странное, мягко говоря, настроение.

Сегодня ночью к Гаврилову пришел гость из-за кордона. Бывший Митькин командир батальона капитан Сомов. Он сидел за уставленным закусками столом, курил пахучую американскую сигарету, щурил от дыма зеленые, как у кота, глаза.

— Так как же?

— А что, господин капитан, думать-то, — старший Гаврилов, большой, грузный, сидел, по ночному времени, за столом в одной исподней рубахе, — что думать-то? Питерского комиссара мы, конечно, кончим. Дело в другом. Когда?

— Скоро, господа, очень скоро. Союзники начинают наступление с севера. Шюцкоровцы вооружены, формируется русская офицерская дружина. Скоро. Но до этого времени Видлица должна быть нашим опорным пунктом.

— Скорей бы, — Гаврилов-старший перекрестился, — скорей бы, а то совсем житья не стало. Ты чего молчишь, Митька?

— А чего говорить, — лениво цедя слова на гвардейский манер, сказал Митька, — в эти два дня все сделаем. Не в первый раз.

— Рад, что не ошибся в вас, — Сомов поднялся, — пора.

— А закусить, — засуетился Митька, — как же, господин капитан?

— Потом, потом. Мне к рассвету на той стороне быть надо.

ГОСГРАНИЦА РСФСР. НОЧЬ

Дождь перестал, и сразу же стало тихо-тихо. Настолько тихо, что было слышно, как на той стороне в Мансиле надрывно лает собака.

— Закурить бы, — прошептал Розов, — два часа лежим, мочи нет, а, товарищ Егоров.

— Тихо. Нельзя. Ночь слушай.

Уже с полуночи они лежали в кустах у границы: уполномоченный ЧК Егоров, комиссар погранучастка Розов и трое бойцов. С той стороны надежные люди сообщали, что в Видлицу пошел человек. Только сообщили поздно, когда нарушитель пересек границу. Зато Егоров точно знал тропинку, по которой он пойдет обратно.

Третий час уполномоченный ЧК с пограничниками лежали в мокрых от дождя кустах.

Егорову очень нужен был этот человек. Арест его помог бы совершенно точно уличить эсеров в связях с заграничными белогвардейскими организациями. Месяц лазил уполномоченный по границе, ждал. И вот наконец дождался.

Где-то за ним затрещали кусты, за воротник поползли холодные капли. Видно, пограничник перевернулся на другой бок. Егоров беззвучно выругался.

И снова тишина.

Шаги он услышал внезапно. Они были легки и быстры. Кто-то шел к границе. Егоров толкнул Розова и потянул из-за пазухи наган.

А шаги все ближе и ближе. И вдруг стихли. Глаза, привыкшие к темноте, уже различали смутные очертания человека. Но брать его было нельзя. Нарушитель мог уйти, а он был нужен живым.

До границы осталось метров триста. Один рывок оставался до границы. Пять минут ходьбы. Поэтому Сомов слушал ночь. Она была тревожной, эта ночь. Потому что за каждым кустом его могла ожидать засада.

Капитан нащупал в кармане гранату, снял с предохраните-

ля второй маузер. Ничего. Если что, он прорвется. Сколько в наряде может быть человек? От силы двое. А у него два маузера, по три запасные обоймы к каждому и граната.

Ничего. Он прорвется. Сомов постоял, послушал и сделал первый шаг.

Егоров слышал металлический щелчок. Слышал даже скрип кожи. «Он, — подумал чекист, — точно он, так скрипит только кожаная куртка».

Из-за кордона точно сообщили, что нарушитель будет одет в черную кожанку с защитным правым рукавом.

«Пусть подойдет ближе». — Егоров сжался для прыжка.

— Стой! — крикнул за его спиной, вскочив, ломая кусты, пограничник. — Стой, стрелять буду!

Сомов выстрелил на голос и, падая, рванул из кармана гранату.

«Ничего, их двое, пробьюсь».

Граната грохнула глухо и страшно, на секунду вспышка взрыва вырвала из темноты кусты, черные от дождя деревья, человеческую фигуру с раскинутыми, словно для полета, руками.

Сомов кинулся вперед сразу за взрывом, стреляя из маузера веером, как из пулемета.

— Эх, не взять, — крикнул комиссар Розов, — уйдет он, слышь, чекист! — он выпустил по огонькам выстрелов девять тяжелых пуль из своего кольта.

Егоров услышал, как шагах в десяти кто-то упал, с треском ломая кусты. Искали они минут десять, шаря фонарем по мокрой земле. Человек лежал на боку, подобрав к животу колени, откинув в их сторону руку с бесполезным маузером...

...Капитан Сомов был мертв.

ВИДЛИЦА. ДОМ ГАВРИЛОВА

Из окна Гаврилов-старший видел питерского комиссара. Розенштейн шел по улице чуть сутулясь, но крепко, по-хозяйски. «Ишь гуляет, сволочь, ничего, недолго осталось».

— Митрий, Митька!

В комнату вошел сын. Был он в белоснежной рубашке, в офицерских галифе с высоким корсажем, в вычищенных до антрацитного блеска сапогах.

— Чего, папаша, чего вы орете на весь дом?

— Спишь долго да жрешь сладко, а он, видишь, гуляет.

Митька подошел к окну, поглядел, лениво потянулся и сказал, закуривая:

— Недолго, папаша, гулять ему. Либо сегодня, либо завтра. Он к озеру ходить любит. Стоит там, думку свою комиссарскую думает, а ведь озеро оно и есть озеро, камни ужас до чего скользкие...

ВИДЛИЦА. ДОМ БОГДАНОВА

Розенштейн шел к Богданову. Ночью, после того как ушел Егоров, он долго думал над словами чекиста. Сразу после приезда он написал письмо в Петрозаводский комитет партии. Когда писал, собирался выполнить поручения завкома, помочь местным беднякам, да обратно в Питер. Но теперь выходило наоборот. Нужно здесь порядок навести. Не наведет, дров питерский рабочий не получит. Сложное здесь дело. Намного сложнее, чем казалось.

Но, несмотря на это, Михаил твердо знал одно — необходимо сколачивать бедняков крестьян и рабочих и брать власть в свои руки. И делать это нужно прямо сейчас. Потому что времени у него нет, в Петрограде ждут, там крепко надеются на него.

Дом Богданова стоял за церковью. Маленький, неказистый, окна у самой земли. Михаил отряхнул веником сапоги и толкнул дверь.

В просторной горнице на лавках по стене и у стола сидели мужики, человек десять. Большинство в старых солдатских шинелях. Это обрадовало Михаила. Значит, народ бывалый, из фронтовиков. Он поздоровался с каждым за руку и сел к столу.

— Разговор у нас, товарищи, будет недлинный. Решать нам пора, как дальше быть. Скоро год, как Советская власть существует, а у вас в Видлице все как раньше.

Мужики молчали, только дымили самокрутками.

— Ты, товарищ Богданов, председатель комбеда, как ты интересы трудящихся защищаешь, — Розенштейн ткнул окурок в консервную банку, — как, скажи мне?

— Дорогой ты мой товарищ Розенштейн, у них же Совет, власть, а мы что?

— У Керенского тоже власть была, только она нам во где, — Михаил ребром ладони по горлу провел, — скинули ее. Понял, чему нас партия учит? Власть брать надо. Я хочу вам одну газетку прочесть.

Розенштейн достал из кармана «Известия Олонецкого губсовета».

— Слушайте, — он откашлялся и начал: — «Товарищи бед-

няки деревни! Довольно вам страдать и выслушивать нравоучения власть имущих зажиточных крестьян — кулаков деревни, которые под видом благодетелей затемняют вам разум и дают вам хлеб по цене, по которой вам нет возможности купить, или прячут от вас хлеб, зарывая его в землю, или продавая его спекулянтам, тогда как они на это не имеют никакого права. Сейчас ваша жизнь висит на волоске. Вы можете умереть с голоду, если не возьметесь за ум и не организуете комитетов крестьянской бедноты и не возьмете хлеб от богатеев на учет для правильного распределения между всеми голодающими. К вам, товарищи бедняки, идет навстречу центральная ваша рабочая и крестьянская власть, которая не остановится ни перед чем и поможет вам всеми имеющимися средствами выйти из этого тяжелого положения.

Быстро организуйте комитеты крестьянской бедноты и организованно приступайте к учету и распределению продуктов первой необходимости.

Довольно спать, время снов прошло, с вами не посчитаются, если вы не возьмете власть в свои руки и не подчините всех мироедов под свое влияние.

За вами огромная сила как в деревне, так и в городе, вас большинство. Неужели вы не заставите замолчать тех, которые вас называют лентяями и разъединяют вас?

Все бедняки в одну общую семью. Общими усилиями мы победим и выйдем из безвыходного положения и спасемся от голода.

Группа партии коммунистов — организаторов комитетов крестьянской бедноты Олонецкой губернии».

Кончив читать, Михаил отложил газету и полез за табаком. Мужики молчали. Переглядывались, ждали, кто начнет первым.

— То, что ты прочел, товарищ Розенштейн, — к столу подошел невысокий, светловолосый человек, — это все нам ясно. И что власть в свои руки брать, там тоже понятно.

— Ты извини, товарищ, как тебя зовут? — спросил Михаил.

— А зовут меня Гавриловым Михаилом, фронтовик я, «георгий» имею, крестьянин-безземельник, короче, батрак. Семья моя, товарищ представитель, сам пятый, а жрать нечего. Гну спину на Тухкинена, на сволочь эту. А он, между прочим, член нашего Совета.

— Так что же ты мне доказать пытаешься? — усмехнулся Михаил. — Что, товарищ член комитета бедноты?

— А я доказывать ничего не собираюсь, не к чему мне доказывать. Ты говоришь, власть надо брать, а как?

— Риторика это, товарищ Гаврилов...

— Ты меня непонятными словами не забивай, Розенштейн, ты мне оружие дай, а то у кулачья по пяти стволов на человека, а у нас...

— Оружие будет. Теперь к столу садитесь. Подумаем, с чего начать.

ДЕРЕВНЯ ПОГРАНКОНДУША. КАБИНЕТ НАЧАЛЬНИКА ПОГРАНОТРЯДА

Утром на подоконнике начальник погранотряда Быков нашел письмо. Видимо, ночью кто-то бросил его в открытую форточку. На желтоватом конверте гладкой, неместной бумаги надпись: «Поручику Быкову». Он распечатал конверт, достал письмо.

«Мы, Союз офицеров, патриотов России, предупреждаем Вас, бывший поручик Быков, что у Вас есть последняя возможность вернуть себе офицерское звание. Переходите границу и присоединяйтесь к истинным патриотам России. На размышление даем три дня.

Союз офицеров Северного края».

«Ишь ты, — подумал Быков, — всего три дня. Немного они дают мне подумать. А потом что?..»

Он еще раз перечитал письмо. Последние строчки недвусмысленно говорили о том, что через три дня ничего хорошего ему ждать не приходится. Правда, это было уже третье письмо. Интересно, как оно попало сюда. Часового спрашивать бессмысленно. Если бы он что-нибудь заметил, то наверняка поднял тревогу.

«Надо показать письмо Розову и Егорову», — Быков открыл ящик стола и спрятал конверт.

Вернуть офицерское звание... Он вспомнил жаркий июль пятнадцатого года, летний лагерь Александровского военного училища. Линейку, посыпанную желтым, речным песком, палатки, выстроившиеся повзводно, гулкую медь училищного оркестра по вечерам. Лагерный сбор только начинался. До желанного производства оставалось три долгих месяца.

Вечером юнкера спорили о положении на фронте, говорили о преимуществах военного производства. Там, на позициях,

иногда подпоручик за год становился полковником. Все боялись только одного, как бы не кончилась война. Она представлялась им батальной картиной из «Нивы». Подтянутые солдаты с винтовками наперевес бегут за молодым стройным офицером. В воздухе разрывы шрапнели, похожие на елочную вату, фонтаны взрывов аккуратны и строги.

Война виделась им как огромный военный праздник: золотое оружие, Владимир с мечами, эмалевый офицерский «георгий» над карманом френча, старый генерал, утирающий слезу, серебряный крик альта, трубящего атаку.

Вечером в палатку первого взвода пришел ротный портупей-фельдфебель юнкер Головин.

— Господа, мне по секрету сообщили, что завтра внеочередное производство.

— Как? Кто сказал? Это правда? — раздавались взволнованные голоса юнкеров.

— Тихо, господа, тихо, — возмутился Головин, — это секрет, ждите утра.

Легко сказать — ждите. Неужели утро и будет тем самым долгожданным и прекрасным днем! В эту ночь они спали плохо. Они ждали утра.

Плохо спал и «господин обер-офицер» Саша Быков. Золотые с двумя звездочками погоны открывали для него дорогу в удивительный и счастливый мир. С завтрашнего утра его жизнь должна покатиться по каким-то неведомым, но прекрасным рельсам. Отец его Сергей Васильевич Быков был военным чиновником, работал в арсенале. Умер он, когда Саша перешел в третий класс гимназии. После его смерти они переехали в маленькую дешевую квартирку в одном из доходных домов на Мясницкой. В комнате матери появилась огромная неуклюжая пишущая машинка «Ремингтон». Пенсии отца и заработков матери не хватало. Сашу определили на казенный счет в Московский кадетский корпус. Потом он поступил в Александровское военное уличище.

Все эти годы в корпусе, потом в училище он с нетерпением ждал производства, ждал, когда станет самостоятельным и начнет помогать матери.

Утром занятия отменили. Взволнованные юнкера толпились в курилке. Они обступили командира первой роты капитан Трофимова.

— Господа юнкера, — улыбался капитан, — я ничего не знаю.

— Ну, Пал Палыч, господин капитан, ну скажите, — слышались голоса юнкеров, — миленький Пал Палыч.

— Господа, господа, я ничего не знаю, но хочу сказать по секрету, что вы счастливчики.

...Ах, как понимать эти странные капитановы смешки? Как понимать их?..

А потом запела труба. И старший выпускной курс выстроился по плацу. И голос начальника училища в гулкой тишине:

— «Его императорское величество государь и самодержец всея Руси высочайше соизволил начертать следующие милостивые слова. Поздравляю досрочно моих славных юнкеров с производством в первый обер-офицерский чин. Уверен, что на полях сражения они покроют себя неувядаемой славой. Верно будут служить престолу и отечеству.

На подлинном начертано — Николай».

Так он стал офицером. Всего три дня погулял подпоручик Быков по нарядной Тверской. Играло солнце на золоте погон, блестел эфес шашки, шпоры тонко и празднично отсчитывали шаги... Потом был фронт, совсем непохожий на литографии из «Нивы». В окопах пахло потом и гнилью. Солдаты в лохмотьях, нехватка снарядов, горькая пора отступлений, и слово «измена», словно змея, ползущая вдоль окопов.

Он много понял там, подпоручик, а потом командир охотничьей команды поручик Быков. Нет, он не стал большевиком, но революцию принял сердцем и остался вместе с солдатами. После октября семнадцатого года наступила растерянность. Офицерское звание немедленно делало его врагом тех, кто строит новый мир. Поручик Быков, боевой офицер, оказался ненужным и лишним.

Дорогу ему помог найти бывший полковник Текстер, уездный военный руководитель в Олонце.

Так Быков стал начальником погранотряда.

Сначала кое-кто косо поглядывал на него: мол, бывший офицер, золотопогонник. Но после стычек на границе с белофиннами пограничники, матросы с Балтики, поняли — свой... Нет, он не хотел возвращать себе старое звание. Его вполне устраивало новое — товарищ командир.

В дверь постучали.

— Да! — крикнул Быков.

Вошел дежурный, кинул руку к козырьку фуражки, начальник требовал железной дисциплины.

— Товарищ командир, к вам посетитель.

— Кто такой?

— Какой-то штатский. Мандат проверил, из Питера он, с Путиловского.

— Проси.

Быков поднялся из-за стола и пошел навстречу посетителю.

— Здравствуйте, я начальник погранотряда, фамилия моя Быков, зовут Александр Сергеевич, чем могу...

— Я Розенштейн Михаил Евстафьевич, из Питера к вам. Мне товарищ Егоров посоветовал обратиться. — Михаил хотел сказать к «тебе», но внимательно оглядел своего собеседника, затянутого в офицерский френч, поглядел на его гладко выбритое лицо и ровный пробор и закончил: — К вам.

— Знаю, — Быков указал на стул, — прошу садиться. Меня предупредил товарищ Егоров. Что вам нужно конкретно?

— Завтра, товарищ Быков, мы власть в Видлице в свои руки возьмем. Начнем трясти кулаков, а для этого нам оружие нужно. Мы отряд хотим создать, отряд коммунаров, и вам на границе службу поможем нести.

— А какова предполагаемая численность вашего отряда?

— Я думаю, что-нибудь около ста тридцати человек.

— Это же прекрасно. У нас будет надежный обеспеченный тыл. Мы, безусловно, поможем вам оружием. Я думаю, дадим на первое время пятьдесят карабинов и пулемет, потом, когда сформируете отряд, вооружим всех.

— Спасибо, товарищ Быков.

ВИДЛИЦА. ДОМ ГАВРИЛОВА

— Говорил я тебе, щенок! — У Гаврилова-старшего даже лысина кровью налилась. — Не успел, не успел... А он успел. Оружие от пограничников привез, две подводы. Если сегодня не уберешь, всему конец. Иди.

ВИДЛИЦА. ВОЛОСТНОЙ СОВЕТ

Митька Гаврилов по-хозяйски заседал в Совете. Еще бы, секретарь, власть местная. Председатель и заместитель в губернии да в уезде на эсеровских собраниях глотку рвут. Пускай покричат. Только пустое это дело, ненужное. С большевиками не на митингах ругаться надо, а воевать. Ничего, придет время. Скоро придет. Совсем скоро.

Вечерами дома Митька доставал из шкафа зеленый мундир с серебряным шитьем и серебряными с одной звездочкой погонами. Эх, какая была жизнь! После школы прапорщиков папаша сунул кому следует и определил Митьку в первый гвардейский корпус. Мог ли он подумать когда-нибудь, что попадет в гвардию? Война помогла. Из-за нехватки офицерского

состава открыли дорогу в привилегированные полки всем, без исключения. Пуле ведь без разницы, чей ты сын, купца или потомственного дворянина.

Все было в короткой Митькиной офицерской жизни. Окопы под Ригой, где насмерть стоял гвардейский корпус, и недолгая счастливая жизнь в Петрограде. Митька дрался отчаянно, знал, что только храбростью сможет заработать очередную звездочку и остаться в гвардии.

В окопах все было проще. Офицеры жили все вместе в землянке. Постоянная опасность порождала демократизм в отношениях.

Потом, когда их отвели в Петроград, Митька сразу же почувствовал разницу между кадровыми гвардейцами и офицерами военного времени. Митька остался как бы за невидимой чертой вежливого высокомерия, и перешагнуть ее не было никаких сил.

Но ныне времена другие. Теперь власть не у кичащихся родословной дворян, а у тех, у кого деньги. У них власть, у Гавриловых и других. Ишь, какой приходил к нам капитан Сомов, тихий да вежливый. Конечно, он его, Митькин, командир, что и говорить, но на поклон идет к Гаврилову: мол, помоги копейкой нищему офицерству.

Ничего, его, Митькино, время наступит и снова будут Петроград, и оперетка на островах, и девочки, у которых белье как пена. А пока Митька «проводил» решения центральной власти. Все циркуляры из уезда и губернии «под сукно» клал и отписывался: мол, принял к сведению, исполняю. Расчет правильный. Большевики пока далеко. У них поважнее дела есть. А пока соберутся, многое изменится. Вон, что капитан Сомов говорил: все, мол, готово, только сигнала ждут.

У Митьки ныне одна забота. Неспокойно стало в последнее время. Приехал из Питера бородатый большевик. Сидит в комбеде, письма куда-то пишет, рыскает по деревне.

Вчера за ужином отец прямо сказал Митьке:

— Ты, Дмитрий, гляди, не к добру этот Розенштейн суетится, видимо, задумал что. Так надо: или мы его, или он нас. Ты ребятам скажи, чтобы они его втихую завтра. — Гаврилов-старший выразительно щелкнул пальцами.

А что он, Митька, сам не знает, что делать. Ему дважды повторять не надо. Сегодня в Совет прихватил с собой наган, в стол сунул. Придет надежный человек в обед, заберет «пушку», и прощай, гражданин красный комиссар. Пошел, мол, на озеро, оскользнулся на камнях — и концы в воду. А на озеро господин большевик очень ходить любит. Сидит перед закатом,

смотрит, смотрит. Думу свою коммунистическую думает. А что в том озере прока или красоты? Тьфу... Вода одна! В озере другое главное — рыба. Видать, о ней Розенштейн и размышляет.

Что-то не идет человек, задерживается. Вот сволочь... Ага, вроде шаги. Точно, идет. Митька двумя руками поправил волосы, чтобы пробор прямой был, как у суболтерна из третьей роты поручика барона Дитца, френч одернул. Все-таки власть и гвардии офицер. Никакого-нибудь там, номерного Ундомского, в котором подпрапорщиком служил «надежный человек».

Дверь распахнулась. В комнату вошел Розенштейн. По-хозяйски вошел, спокойно и тяжело.

«Рук из карманов шинели не вынимает», — подумал Митька и спросил:

— Вы ко мне, товарищ уполномоченный?

— Печать, денежные суммы у тебя где, гражданин Гаврилов?

— Это как же понимать?

— А как хочешь, так и понимай. Клади печать, ключи клади на стол.

Митька усмехнулся недобро, одними глазами, потянул тихонько ящик стола.

«Ну погоди, комиссар...»

— Сиди спокойно, — Розенштейн вынул руку из кармана шинели. В его огромном кулаке наган казался маленькой, изящной игрушкой.

— Это... Это произвол, — голос Митька сорвался, — самоуправство...

— Клади ключи, печать и вон отсюда.

«Сейчас полезу в стол, как бы за ключами», — злорадно подумал Митька...

В комнату вошли двое из комитета бедноты. Вошли, сняли короткие драгунские карабины и стали за Митькиной спиной.

«Так вот что они с заставы привезли...»

— Подчиняюсь насилию, но я в Олонец, в Петрозаводск...

Розенштейн подошел к Митьке вплотную, взял за френч. Лацканы угрожающе затрещали.

— Ты потом жаловаться будешь, а сейчас вон! Проверим отчетность, если что утаил, революционным судом будем судить.

Розенштейн, как котенка, вытолкнул Митьку из комнаты.

— Ну вот и совершили бескровную революцию в волостном масштабе. Товарищ Германов, ты как коммунист — Розен-

штейн вынул из стола ключи и печать, — принимай власть, а в Олонец мы сегодня же напишем, и еще наган этот себе возьми, сгодится.

После обеда поползли по Видлице слухи. Кажется, не такое уж большое село, чего только не говорили. Бабы старались кто во что горазд. Они и Митьку Гаврилова видели убитым у забора за церковью, и питерского комиссара, потопленного в колодце, и матросов в красных кожаных штанах...

Много говорили в деревне. Говорили и ждали, а что же дальше.

ДОМ ГАВРИЛОВА

— Ну что, гвардии прапорщик?.. Что? Верно о вас говорят — курица не птица, прапорщик не офицер...

— Папаша...

— Я тебе уже двадцать четыре года папаша. Ты в Питере с мамзелями шипучее вино пить умеешь, а как до дела — дерьмо, помет куриный.

— Папаша, я офицер...

— Ты? Да у меня любой приказчик с лесной биржи больше офицер, чем ты. Собирай своих дармоедов, чтобы к вечеру кончить Розенштейна этого. Вот уж послал бог наследника... Теперь я сам за дело возьмусь.

ВИДЛИЦКИЙ ЗАВОД. КВАРТИРА РОЗЕНШТЕЙНА

Вернулся он поздно. День был тяжелым, но радостным. Почему-то все время его не покидало ощущение праздничности. После обеда они собрали в Совете крестьян и рабочих с завода, долго спорили, решали, что же надо сделать в первую очередь. Сформировали отряд самообороны и частично вооружили его. Первыми винтовки получили бывшие фронтовики. Но пока этого слишком мало. Сегодня опять пришла телеграмма из Питера. Завод ждет дрова, город ждет хлеба. А что ты для этого сделал, большевик Розенштейн?

Михаил подкрутил лампу, сделал свет ярче. Нужно написать письмо на завод, рассказать обо всем, что происходит здесь. О классовой борьбе на этом маленьком клочочке карельской земли.

«О местной обстановке сообщаю следующее...» — написал Михаил...

Выстрела он не слышал. Просто звякнуло окно, и разлетелся по горнице керосин из разбитой лампы.

В темноте Розенштейн рванул из кармана наган и выскочил на крыльцо. Никого.

По двору кто-то бежал, тяжело бухая сапогами.

— Стой! — Михаил поднял наган.

— Миша, жив, а я-то думал... — послышался голос Некрасова.

— Жив я, жив, Саша. Видишь как. В открытую пошли, сволочи. Работа Гавриловых.

— Факт. Их работа.

— Собирай наших, пойдем правопорядок именем революции устанавливать.

Собрались быстро. Михаил взял с собой пять человек. Над селом полыхнул к небу огонь.

— Пожар! — крикнул кто-то.

— Бегом! — скомандовал Розенштейн.

Они бежали по ночной дороге. Сапоги скользили по грязи, приклады винтовок больно били по боку. Они бежали, а навстречу им все больше и больше разгоралось зарево, и ударил церковный колокол глухо и тревожно.

— Розенштейн... Товарищ Розенштейн...

В желтоватом колеблющемся свете Михаил различил Трофимова.

— Михаил Евстафьевич, — задыхаясь, крикнул он, подбегая, — Гавриловы дом подожгли, а сами ушли!

И словно в подтверждение его слов, вдалеке на границе затрещали и затихли выстрелы.

ПОГРАНКОНДУША. ЗАСТАВА

— В чем дело? — спросил комиссар Розов. — Почему стрельба?

Он стоял посреди комнаты босиком, и голые ступни стыдливо белели под широченными клешами.

— Прорыв, товарищ комиссар, — устало сказал начальник заставы, — прорыв в сторону границы.

— Ушли?

— Двое. Одного подстрелили.

— Кто он?

— Ребята говорят, что местный кровосос, кулак и купец Гаврилов.

— Митрий, прапорщик бывший? Где тело? — Розов начал натягивать сапоги.

— Нет, товарищ комиссар, папаша ихний. Так сказать, Гаврилов-старший.

— Ах этот, тоже сволочь порядочная. А за то, что тех двоих отпустили, я с вас спрошу по всей строгости.

СЕЛО ВИДЛИЦА. ВОЛОСТНОЙ СОВЕТ

Народу набилось много. В комнате протиснуться негде. Кто успел, уселся на дощатые скамейки, а остальные в коридоре толпятся. Почти все село пришло. Интересно. Новая власть народ собирает. В воздухе повис горький махорочный дух. Куртки, шинели, фуфайки, полушубки.

Отдельно у двери степенные мужики. Эти одеты получше, побогаче. Сидят тихо, курят папиросы. Что им новая власть, они сами власть. Деньги-то у них и земля. А эти пусть себе митингуют, от разговоров еще ни у кого денег не прибавилось.

А зал шумит. Не терпится залу. Ну где же власть-то новая? Наконец появились: Розенштейн, шинель, как на смотру, застегнута, козырек фуражки глубоко на лоб. Ермаков, тот попроще, в черной суконной куртке, Богданов — этот тоже свой, председатель комбеда. Матрос Розов — пограничный комиссар, ишь, маузер по колену бьет. Да еще незнакомый какой-то. Шинель на нем солдатская, наган на поясе, на голове фуражка с синим околышем, вроде из студентов.

— Ребята, — сказал Богданов, пробираясь к столу, — давайте табак палить не будем, а то некурящим мочи нет.

— А ты закури, — посоветовал кто-то из зала, — закури, и легше станет. Враз поймешь.

Но все же цигарки гасить начали.

— Товарищи, дорогие товарищи беднейшие крестьяне и рабочие, — начал Богданов, — собрали мы вас, чтобы спланировать нашу дальнейшую жизнь. Вот ведь как получается, дорогие товарищи беднейшие крестьяне и рабочие. Я понимаю так, что нехорошо у нас получается. Скоро год, как в России дорогая наша Советская власть, а что изменилось в нашей волости?

— Ничего! — крикнул кто-то.

— Правильно, — сказал Богданов, — ничего. А почему? Да потому, братцы, что эсеры-предатели не хотели народу жизни дать. Тормозили они решения большевистского комитета. Мешали они нам. Но теперь, товарищи беднейшие крестьяне и рабочие, существует у нас в Видлице своя власть — наша, пролетарская. К нам из губернского центра приехал агитатор товарищ Аронов, давайте его послушаем.

Молодой человек в шинели встал, привычным движением скомкал в кулаке студенческую фуражку.

— Много лет, — голос его был звонок и свеж, — много лет мечтали люди о создании самого совершенного общества. Общества, где нет бедных и богатых, общества, где все блага поровну делятся между людьми. Веками боролись за это люди. У них не было четкой программы, не было достаточных сил.

Аронов говорил о крестьянских восстаниях в средневековой Европе, о Разине и Пугачеве. Он вспоминал немецких ремесленников, на знамени которых был башмак, и Степана Разина, Пугачевский бунт и взятие Бастилии, народников и парижских коммунаров.

— И вот наконец, — продолжал он, — впервые в истории большевики создали первое в мире государство рабочих и крестьян. Государство, в котором не будет бедных и богатых...

— Товарищ агитатор, ты скажи мне на милость, — поднялся высокий крепкий мужик в рваном полушубке, — вот, к примеру, я никогда своей земли не имел. Не было ее у меня. А семья немалая, сам шестой. Так как же мне быть? Где я деньги возьму, чтобы прикупить себе землички? Объясни мне, сделай милость, даст мне новая наша крестьянская власть деньги?

— Понял вас, товарищ, как ваше имя?

— Трофилов Степан.

— А дальше?

— Отчество, что ли?

— Отчество.

— По отцу Прокопьевич.

— Так вот, Степан Прокопьевич, для покупки земли новая власть вам денег не даст...

— Все мне ясно, — Трофилов махнул рукой и начал пробираться к выходу.

— Денег не даст, — продолжал Аронов, — она вам безвозмездно даст землю, товарищ... — Аронов повернулся к Богданову.

— Трофилов, — подсказал он.

— Трофилов, — закончил Аронов.

— А где же эту землю возьмет наша власть? — спросил кто-то из зала. — Вся, что есть, уже полностью поделена.

— Как поделена? — крикнул Аронов. — У одних все, а у других жалкие клочки. Наша власть отберет землю у богатых, отдаст ее крестьянину безземельному.

— Стоп, — со скамейки у входа поднялся местный кулак Уно Тухкинен, — вот вы, товарищ молодой человек, очень красиво нам про старое время рассказали, пояснили, как народ за свою свободу боролся. За это вам спасибо. Но что касается

земли, здесь разобраться надо. Я, например, богатый человек, значит, по-вашему, кровосос и экс... тьфу, слова-то этого не выговорю.

— Эксплуататор, — усмехнулся Аронов.

— Именно так, вы человек ученый, вам видней. Но землю свою я приобрел. Деньги за нее платил, отрабатывал ее, холил.

— Ну, положим, работал не ты, батраки работали... — зашумел зал.

Уно побледнел:

— Да работали, я им за это деньги платил. Иначе бы многие из вас с голоду подохли...

— Гляди, благодетель, — крикнул кто-то, — ты скажи лучше, сколько платил!

— Мало было, не работали бы. Никого я на свое поле под ружьем не гнал, сами просились. Так что с моей землей теперь будет? Значит, меня с нее вон! Голодранцам ее отдадут!

Зал замер, ожидая ответа.

— Не совсем так, гражданин, всю землю мы поделим поровну между жителями села. Создадим артель, работайте в артели, получайте свой пай, живите как все.

— Ах, как все, — Тухкенен даже задохнулся от злобы, — а где они были, когда я своим горбом под Читой деньги зарабатывал, золото мыл, у казаков-староверов батрачил? Где они, — он показал рукой на зал, — где были? Молчишь? Так знай, землю свою не отдам. Нет такого закона, чтоб работающего мужика обирать.

Уно повернулся и, растолкав людей у выхода, вышел из зала, за ним потянулись остальные: Никитин, Дымов, Куйкенен.

— Товарищи, — из-за стола президиума поднялся Розенштейн, — вы видели, как ушли с нашего собрания классовые враги. Им не по душе все то новое, что несет народу партия большевиков. Программа партии Ленина предельно проста — мир, хлеб, равноправие. Долгое время в губернии, уезде, даже в вашей волости руководили эсеры, партия, которая давно уже продала себя всевозможным хозяевам и хозяйчикам. Что говорить о них, если эсеровский, меньшевистский Совет Мурманска во главе с Юрьевым вошел в сговор с английскими, французскими и американскими интервентами. Положение наше, товарищи, нелегкое. С севера движутся на Карелию войска интервентов.

Михаил остановился передохнуть, оглядел зал. Слушали внимательно.

— Мы здесь, в Видлице, на переднем рубеже РСФСР, на границе мы, — Розенштейн расстегнул крючки воротника, — мы, партия большевиков, призываем вас, товарищи, объясниться, тогда мы вместе будем работать и вместе нашу власть защищать.

Зал грохнул аплодисментами.

— Давай резолюцию, — к столу президиума подошел крестьянин Андрей Ромоев, — вынесем, товарищи, нашу резолюцию.

Через полчаса Розенштейн зачитал резолюцию:

— «Считать единственной защитой беднейшего населения партию коммунистов (большевиков), которая с первого дня своего существования гордо несет знамя освобождения трудящихся масс. Нас окружают внутренние и внешние враги. Нашему Советскому правительству мешают англо-франко-американские капиталисты. Они ведут войну против нас, рабочих и крестьян. Но мы уверены, что партия и Советская власть сумеют расправиться с ними и заставят этих шакалов убраться из пределов Советской России.

Да здравствует великий вождь, товарищ Ленин!

Да здравствует Коммунистическая партия!»

Зал молчал. Потом чей-то хриплый голос затянул: «Вставай, проклятьем заклейменный...»

И сотни голосов подхватили, торжественно и грозно: «Весь мир голодных и рабов».

В маленьком доме волостного Совета гремел «Интернационал».

На этом же собрании постановили организовать волостной коллектив РКП(б). Председателем его был избран Михаил Евстафьевич Розенштейн.

НОЯБРЬ. СЕЛО ВИДЛИЦА.
7 НОЯБРЯ 1918 ГОДА

Розенштейн чинил гимнастерку. Ну что ты будешь делать, продралась на локте. И надо же в такой день. Шил он аккуратно, почти по-женски. Швы ложились ровно и точно. Научился. Да чему не научишься в ссылке — всему без бабьего глаза. Стуча сапогами, вошел Саша Некрасов.

— Ты, Миша, прямо как моя бабка нитку откусываешь. Она всегда сестрам моим говорила: зашить хорошо полдела, надо нитку откусить как нужно.

Михаил внимательно поглядел на рукав.

— Вроде не очень заметно?

— Да вроде нет.

— Вот и хорошо, — Розенштейн натянул гимнастерку, — а то председатель комячейки с рваным рукавом на такой праздник пойдет. День-то у нас сегодня какой. Пора.

Они вышли на улицу. Утренний мороз сковал землю, и она гудела под сапогами. Неяркое солнце серебрило снег на обочинах, блестело на хрупком ледке, затянувшем лужи. Небо было чистым и туманно-синим.

— Смотри, Саша, — сказал Розенштейн, — даже погода сегодня как на заказ, для нашего праздника.

Они шли по улицам села, мимо домов, украшенных красными флагами, здороваясь с празднично одетыми людьми.

У волостного Совета их ждали Богданов, Германов, Розов.

— В самый раз пришел, председатель, поздравляю, — комиссар Розов крепко пожал ему руку, — сейчас Быков подойдет, комитетчики соберутся, и начнем.

— А вон и его благородие товарищ Быков, — усмехнулся Германов, — ишь идет, как на строевом смотру.

Начальник шел, аккуратно обходя лужи. Дымчатая офицерская шинель была туго перетянута наплечными ремнями портупеи, фуражка чуть набок, сапоги начищены.

— Ты, Германов, это брось, — повернулся к нему Розов, — если бы все офицеры такими были, давно уже бы гражданская война кончилась. Еще раз услышу насчет благородия...

— Ладно ты, порох! Пошутить нельзя...

— Ты с женой ночью шути, а с нашими командирами не позволю.

Быков подошел, бросил ладонь к козырьку.

— Здравствуйте, товарищи. С праздником. У меня все готово, комиссар.

— Пошли, ребята, — улыбнулся Розов, — пошли парад принимать.

На площади перед домом погранучастка выстроились пограничники, рядом с ними местный отряд коммунаров.

— Ах, молодец Быков, — шепнул Розов Розенштейну, — гляди, Евстафьевич, гляди...

Розенштейн оглядел строй. Действительно, молодец Быков. На всех бойцах новые шинели, пуговицы начищены, сапоги блестят. Теперь ясно, что два дня назад привез он из Олонца. Нелегко ему было достать новое обмундирование. Михаил на собственном опыте знал, что значит выбить из интендантов хотя бы новые обмотки.

Стоит на площади отряд. Блестят штыки, эфесы командирских шашек, солнечно сияют начищенные медные пуговицы и ободья барабанов.

— Рота, р-а-в-н-я-сь! С-м-и-р-н-о! — командует командир первого взвода.

— Для встречи справ-ва! С-л-у-ш-а-й! Н-к-а-ра-ул!

Ударил барабан, в два приема звякнули винтовки. Взводный с шашкой «подвысь» печатал строевой шаг навстречу представителям власти. В трех шагах он замер, звякнув шпорами.

— Товарищ начальник. Отряд красных пограничников совместно с подразделением местной самообороны построен для торжественного марша по случаю первой годовщины революционного праздника! Докладывает краском Орлов!

Орлов сделал шаг вправо, опустил шашку.

— Здравствуйте, товарищи бойцы!

— Здрасс!

— Поздравляю вас с первой годовщиной Октябрьской революции!

По рядам прокатилось протяжное «ура». Его подхватили жители села, столпившиеся на площади.

Перед строем вышел комиссар Розов.

— Бойцы, командиры, добровольцы и гражданское население. Приветствую вас в этот торжественный день, в первый наш пролетарский праздник. Тяжелое положение у нашей республики, но мы, вооруженный народ, будем стойко защищать рубежи РСФСР!

И снова прокатилось над площадью «ура».

— К торжественному маршу, — скомандовал Быков, — первый взвод прямо! Остальные напра-во! Шагом арш!

Звонко ударили барабаны. Печатая шаг, шли пограничники и сельчане-добровольцы.

После парада начался митинг. Первым выступил Розенштейн. Он говорил о том, как по-новому будут жить в новой Видлице.

— А теперь, товарищи, я предлагаю отправить телеграмму нашему любимому вождю Владимиру Ильичу Ленину, — председатель комячейки достал из кармана бумагу.

— «Москва, товарищу Ленину.

Видлицкий коллектив коммунистов-большевиков села Видлицы Олонецкой губернии, красноармейцы, рабочие и крестьяне приветствуют народного комиссара товарища Ленина с праздником годовщины Октябрьской революции.

Да здравствует власть Советов!

Да здравствует Красная Армия!
Да здравствует Советская республика!
Ура товарищу Ленину!»
Согласны, товарищи?
И одной грудью крикнула площадь:
— Соглас-ны!!!

17 ноября 1918 года. Из информации видлицкого коллектива коммунистов о праздновании годовщины Октябрьской революции.

«...Вечером комитетом местного коллектива коммунистов устроено было празднование — народный вечер — в большом казенном доме лесного ведомства на средства, испрошенные в уездном исполкоме. Устроители народного вечера — члены комитета и члены партии, учащиеся местной школы, рабочие и служащие завода и почтового ведомства — под руководством председателя т. Розенштейна принимали участие как в исполнении номеров программы вечера, также и личным трудом в украшении самого здания, отведенного для празднества. Уже с начала вечера все комнаты наполнились публикой. После приветственной речи председателя Розенштейна на сцене началось исполнение программы: поставлены были живые картины, чтение-декламация стихотворений, подходящих по содержанию ко времени и празднеству, и пение революционных песен. В антрактах и после окончания игры на сцене публике был предложен чай с закусками.

Комитетом местного коллектива коммунистов были отпущены средства на устройство празднества для учащихся и всех детей местного населения.

Видлицкий коллектив коммунистов».

ВИДЛИЦА.
КОНТОРА ЛЕСНОГО ВЕДОМСТВА

Теперь оставалось самое главное. Люди были готовы, они ждали этого решения комячейки. Пора было организовать лесную трудовую артель. Пора начинать главное — заготовку дров для Питера.

Об этом думал Розенштейн, идя сегодня на первое организационное собрание, в контору лесного ведомства.

Когда Михаил вошел в здание лесного ведомства, зал был уже полон.

«16 ноября 1918 года. Из протокола собрания крестьян Видлицкой волости Олонецкого уезда по вопросу организации трудовой артели.

Председатель местного исполкома тов. Германов, открывая собрание, просит произвести выборы президиума настоящего собрания, причем избраны: председателем И. Г. Ермаков, товарищем председателя В. В. Пиккарайнен и секретарем В. С. Михниев.

Президиумом собрания был прочитан устав организуемых лесных артелей и в общих чертах разъяснено значение артелей и необходимости организации их. Постановили принять к сведению.

Прибывший на настоящее собрание тов. Розенштейн в своей краткой, но содержательной по смыслу речи обрисовал общую картину разрушения всего старого хозяйственного аппарата страны и устройство такового на новых, свободных началах, где вся промышленность государства должна сосредоточиться в руках самих рабочих и крестьян, и указал на громадное значение организуемой трудовой артели для крестьян и рабочих.

По всесторонним обсуждениям настоящего вопроса мы единогласно постановили организовать трудовую артель с принятием нормального устава лесных артелей и в честь великого вождя пролетариата назвать ее «Артель имени товарища Ленина». Товарища же Розенштейна, как более передового работника, человека, который своим опытом в будущем может принести немалую пользу артели, мы единогласно избираем почетным членом вновь организуемой артели.

Членские паевые взносы определить в 20 руб. для каждого вступившего в артель члена...

Подлинное подписали: председатель собрания И. Ермаков. Секретарь Михниев. Граждане: В. Ермаков, П. Кононов, И. Ананьев».

До конца октября в артель имени Ленина вступило 126 человек.

ВИДЛИЦА. ВОЛОСТНОЙ СОВЕТ

— Ну что, товарищи, — спросил Розенштейн, — что делать-то будем?

Только что была зачитана телеграмма из Питера. Город ждал дров.

— Скоро морозы, станут заводы. А у нас здесь будут умирать люди от голода. Так как, власть?

— Очень просто, — встал председатель комбеда, — завтра начнем изымать излишки хлеба у кулаков. И сразу же начнем заготовку дров. Пиши протокол, товарищ Германов.

ВИДЛИЦА. УЛИЦЫ СЕЛА

Утром следующего дня пополз по селу слушок: мол, хотят у кулаков хлеб отбирать. Посудачили об этом да перестали. Не верилось. Все же власть не позволит самоуправства. Только в обед увидели бабы, собравшиеся у колодца, как из комитета бедноты вышли семь человек. Впереди Розенштейн в расстегнутой шинели. Шел твердо, как хозяин. У дома Тухкинена остановились.

Михаил постучал в ворота. За забором завыл, забился на цепи кобель. Розенштейн постучал сильнее.

— Что, подождать не можете? — Ворота распахнулись, сам Уно Тухкинен заслонил широкой спиной свой дом, хлебный амбар, скотник.

— Гражданин Тухкинен, Совет постановил, чтобы ты сдал излишки хлеба.

— Это зачем же?

— В помощь питерскому пролетариату.

— Пролетариату, говоришь, товарищ уполномоченный? Ну, если ему...

Уно опустил руку в карман, вынул горсть семян.

— На, подавись, — швырнул он их Розенштейну в лицо.

Швырнул и сразу же навалился на ворота, пытаясь снова закрыть их. Но не успел. Ворота распахнулись, и Уно отлетел на середину двора.

«Скорее винчестер взять!»

Он прыгнул на крыльцо, но сзади на плечах повисли двое. Уно бил кулаками, крутился, стараясь сбросить с себя чужую тяжесть. Вдруг что-то твердое обрушилось на голову.

Он очнулся от боли. По лицу текла горячая липкая кровь. Уно вытер ее рукой и долго глядел на пальцы. Потом он поднял голову. В его дворе на его подводу грузили его хлеб... Никогда в жизни он не был так бессилен, как сейчас. Его охватила апатия, полное безразличие ко всему происходящему. Ему казалось, что все это не имеет никакого отношения к нему, Уно Тухкинену.

Потом телега уехала, ушли и комитетчики. Только кобель бился на цепи, лая придушенно и хрипло.

А Уно все сидел, прислонясь к крыльцу, и сплевывал кровь.

ГОСГРАНИЦА РСФСР

«Ну погоди, сволочь! Ты у меня еще попрыгаешь. Вспомнишь, кто такой Тухкинен. Погоди, Розенштейн. Я подожду. Совсем немного подожду, а потом вернусь. Может, через месяц, а может, и того раньше. Только теперь приду не один. Приду так, как ты ко мне приходил».

Тухкинен закрыл глаза и увидел Розенштейна в рваной гимнастерке, избитого у стенки амбара. Увиденное было настолько желанным, что Уно показалось, вот уже стоит Розенштейн у стены. Он даже палец положил на спуск обреза. Ничего, придет его время. Поползает на коленях председатель Видлицкой комячейки. Только шалишь! Зря портки протираешь. Пощады не будет никому. Всех под корень. Тухкинен даже не заметил, как под ним подтаял снег. Овчинная куртка и ватные брюки намокли, тело неприятно холодило. Он решил перевернуться на живот и перевернулся, осторожно, опасаясь, как бы предательски не хрустнула ветка. И тут он увидел пограничника шагах в сорока. Потрепанная шинель на нем была аккуратно пригнана и туго затянута ремнем и патронташем.

«Армия, — злорадно подумал Тухкинен, — даже сапог целых нет».

На всякий случай он осторожно поднял обрез. Обрез был хорош. Сделал он его из американского винчестера. Двенадцать толстых патронов с тупыми пулями плотно лежали в магазине.

Когда-то, очень давно, этот винчестер Тухкинен добыл у «ходи» — китайского купца. Было время! Промышлял он тогда золотишком и контрабандой под Кяхтой, на монгольской границе. Часто винчестер выручал его в те времена. И теперь вот опять сгодился. Когда начали коммунисты хлеб шуровать по амбарам у соседей, Уно ночью отпилил ствол у винчестера, приклад обрезал. Жаль, конечно, было — такого ружья во всей Олонецкой губернии не сыщешь, но зато обрез прятать удобнее.

А солдат шел по тропинке. Шел хозяином, не боясь и не прячась.

Палец свело на спусковом крючке. Всю жизнь испортили. Настоящий хозяин, как волк, в кустах хоронится. Ох, сколько бы он отдал, чтобы всадить в этого парня тяжелую тупоголовую пулю. Но нельзя. Прибегут на выстрел — конец. Он даже

зубами заскрипел от ненависти. Заскрипел и испугался, не дай бог услышат. Но ничего, он еще подождет.

Из своего убежища Тухкинен видел Мансилу. Первое пограничное село на финской стороне. Там его ждали. Свояк там крепким хозяином был, да еще один человек ему рад будет, лейтенант Матускайсис из финской пограничной стражи. Только вот лейтенант границей не очень интересовался. У него другие дела были, в основном на советской стороне.

Скорей бы темнота только.

А солнце, как назло, не хотело опускаться. Оно повисло над верхушками елей. Большое, яркое, по-северному неласковое. Когда же наконец уберется оно за лес? Ничего, он к холоду привычный, будет ждать. Он в своей жизни много ждал, но всегда добивался своего. Кем он был-то еще десять лет назад? Да никем. Местом пустым. Но дождался своего часа. И стал крепким хозяином.

...Когда это было? Давно. Давно очень. Никто не знает об этом. Молодость, молодость. Нет, не хотел он лес валить. Не хотел, и все. Деньги нужны были сразу. Немедленно. Чтобы дело свое завести, чтобы дом под железной крышей поставить, чтобы жену взять красивую да богатую. А как все это сделаешь? Как? В кармане полтора рубля серебром, из приказчиков за шельмовство выгнали. Как сделаешь? Как?

Нашел тогда он дружка. Отчаянного, развеселого парня. Вышли с ним на Олонецкий тракт, почтовую пролетку ждать. А что пользы с той пролетки? Есть. Есть польза. В ней, кроме писем да посылок, деньги везут. Переводы. А дело неопасное и крови на них немного. Ямщик да почтальон. Ямщик трус, а почтальон старенький совсем. У него револьвер ржавый, без патронов да сабля тупая. Всего страха-то на пять минут, а зато есть деньги на первое обзаведение. А с напарником зачем делиться? Топором ему по голове, и нет никакого напарника. А самому до срока в Россию податься, а там... Ищи ветра в поле. Если с умом те деньги в торговлю вложить — большие капиталы нажить можно. А кровь, жизнь человеческая? Да разве в этом дело, человека бог на землю послал, он и прибирает к себе на небо, так что раньше, позже, какая разница. Там, наверху, им, убиенным, спокойнее будет. Тише. Благостнее.

На дорогу вышли, как смеркаться стало. Тракт пустой, лес шумит. Стояли, грели руки. Теплая рука мягкая, у нее удар сильнее.

— Что-то не едут, — сказал напарник, — ну их к лешему, Уно, давай обратно пойдем, в трактире погреемся, а завтра караулить станем.

— Молчи. Слышишь, молчи. Жди.

И точно, только луна начала выглядывать над лесом, как зазвенел, забился вдали почтовый колокольчик.

Только тройка выехала из-за поворота, а они на дорогу, наперерез коням. Эх, если бы на два дня раньше пошли, все было бы в порядке. Не знал Уно, что вместо старого почтальона, ушедшего на пенсион, сидел новый, из кавалерийских офицеров, выгнанный из полка за пьянки и дуэль.

Страшно и глухо ударил «смит-вессон». Вспышка пламенем вырвала из темноты усатую рожу в лихо сдвинутой набекрень офицерской фуражке. И снова ударил выстрел, пуля обожгла щеку Уно. Даже не взглянув на лежащего напарника, бросился он в лес, а вслед ему: тах-тах-тах, и пули застучали по пихтам.

Как он ушел тогда? Видимо, спас бог. Подался тогда на восток, к китайской границе. Верные люди говорили, что можно там большие миллионы нажить. Путь неблизкий, как добирался, лучше не вспоминать. Но все же добрался.

Ох и лихой же народ жил в тех местах! Особенно забайкальские казаки — отчаянные люди. Они тоже по-разному жили. Кое-кто в достатке, а кое-кто одни шаровары с желтыми лампасами имел. Уно нанялся в батраки к старшему уряднику Серафиму Велихову. Богатый был казак Серафим, богатый курень имел, хозяйство. У него, единственного из всей станицы, работали в поле американские машины: косилка и сноповязалка. Собирался Серафим к весне локомобиль купить, приспособить его, как мельницу. А для этого человек знающий необходим. Вот он и взял Уно, вроде как механика, но платил словно батраку.

— Ты, — сказал Серафим, — для меня человек темный. Кто такой, не пойму никак. Какой ты веры? Черт тебя разберет. Не русский, не бурят, не китаец. Ты мне карел не говори. Я нации такой не знаю. Ты для меня вроде как бы чухонец. Я их в Петербурге предостаточно повидал. Ну это даже неплохо. Чухонская вера — работящая. И народ у них сметливый и жиганистый. А мне такие работники нужны.

Позже, много позже понял Уно смысл Серафимовых слов.

Поселился он в пристройке вместе с еще одним батраком Алешкой. Странный это был батрак. Алешка почти не работал, ходил часто и носил казачью форму с красными лампасами. Потом Алешка рассказал Уно, что сам он родом из станицы Лабинской на Дону, а сюда в Верхне-Байкальскую пришел после каторги. Убил он по пьяному делу соседа, вот и загремел в Нерчинский острог.

— Ты гляди, брат, — сказал Алешка, — выгоду свою не проворонь. Здесь так, к какому берегу пристанешь, — он усмехнулся белозубо, тряхнул пшеничным поседевшим чубом, и пошел, засунув глубоко руки в карманы шаровар.

Эх, знать бы, где она выгода! Не упустил бы он ее. Никогда бы из рук не выпустил. А пока Уно ремонтировал машины, сам удивляясь, в общем, пока жить можно было. Только одного никак не мог понять Уно, почему Серафим все время ухмылялся в бороду, глядя на него.

Как-то, уже осенью, под вечер Алешка сказал Уно:

— Собирайся, с хозяином пойдешь.

— Куда?

— Закудакал, как мужик все равно. Где надо, там и поедешь.

Сказал и отошел, но почему-то вдруг показалось Уно, что словно у кошки блеснули Алешкины глаза зеленым пламенем.

Выехали ночью, когда совсем темно стало. Впереди Алешка с Серафимом, сзади Уно. Он все ехал и думал, зачем его спутники ружья взяли. За околицей пустили коней рысью. Уно отстал. Уж больно непривычно было скакать на лошади с жестким казачьим седлом. Проехали они верст пять. У подножия сопки, поросшей кедрачом, остановились.

— Подождем, — сказал Серафим и снял винтовку, — ты, Алешка, смотри, если что, стреляй сразу.

— Да не учи ты меня, не маленький чай. Лучше за чухонцем гляди, а то ить у него шаровары небось мокрые.

— Ты как, — повернулся хозяин к Уно, — боишься небось?

— А чего мне бояться. Как я понимаю, за это дело плата особая?

— О деньгах не пекись. Не береди душу по пустякам. Полсотни получишь.

— Да за такие деньги...

— Поглядим.

Где-то сбоку затрещали сучья. Серафим с Алешкой встрепенулись, вскинули винтовки.

— Кто едет?!

— Не бойся, Велихов, это мы, — раздался из темноты хриплый голос. На поляну выехали двое.

— Порядок?

— А ты как думал. Давай деньги, бери товар. Только гляди, без обману.

— Много я тебя обманывал.

— Это тем разом было. А чичас другая жизня.

— На, — Серафим протянул Уно сверток, — передай им и товар возьми.

Уно словно во сне взял деньги и подъехал к тем двоим.

— Давай. Новый, что ли? Серафим, откуда человек?

— Не бойся, человек надежный.

— А где Степан?

— Его хунхузы подстрелили.

— Жаль, хороший варнак был. Да бери ты, чего боишься.

Незнакомец сунул в руки Уно березовый туесок.

— Все, Серафим. Жди вести, — неизвестный свистнул, и лошади, ломая ветви, унесли своих хозяев в чащобу.

Утром Серафим зашел в комнату и протянул Уно «катеринку».

— Бери. Да что видел, забудь. С умом ты при мне большой капитал нажить сможешь.

Только потом Уно узнал, что в туеске был опиум. Выращивали мак и делали из него одурманивающую массу неизвестные ему люди. Серафим покупал у них опиум, а потом менял его у золотоискателей-китайцев на золотой песок (шихту). В общем, Велихов на все руки мастером был. Он скупал пушнину по дешевке, продавал хунхузам спирт и патроны, получал с китайской стороны контрабандный чай и шелк. При его лихом деле совсем неплохо зажил Уно. Он прикинул, что года через два, скопив несколько тысчонок, сможет податься домой в Видлицу. Но разве эти несколько тысчонок идут в сравнение с деньгами, которыми ворочает Серафим! Слезы одни... Самому, самому дорваться до золота. Вот было бы дело. Взять большой куш — и домой. А то служба опасная, а деньги не очень-то и большие.

Это зимой случилось. Под рождество самое. Через год примерно, как Уно к Серафиму нанялся. Выехали утром. В сани лучших коней запрягли. Ох, не кони были, злодеи, разбойники чистые. Несли они санки в тайгу, только полозья по-поросячьи визжали на поворотах. Тайга вся белая, сугробы в два человеческих роста. Деревья от мороза трещат. А на небе солнце, яркое и холодное. И снег как «шихта» блестит. Э-э-ий, казенные!

На облучке Алешка, треух на затылке, тулуп расстегнут, нипочем ему мороз. Крутит кнутом Алешка. Кони аж по дороге стелются. Торопится Серафим. Большую партию песка и самородков взять хочет.

Только не такой сегодня Серафим, как всегда. Настороженный, резкий, как взведенный курок.

Что-то задумал Серафим. Ох, что-то задумал.

А санки летят навстречу солнцу.

— Тпру-у, — натянул вожжи Алешка, — стой!

На дороге трое. Стоят спокойно, но ружья наготове держат. Китайцы.

— Принес, ходя? — крикнул Серафим.

— Моя принес, а твоя?

— Моя тоже, — засмеялся Велихов, — и опий и спирт. У нас без обману. Где товар?

— Вот, — китаец мешок снял, — сейчас вешать «шихту» будем. Менять будем.

И вдруг Алешка с саней в снег. И из карабина трах-трах. Один из китайцев смешно подпрыгнул и ткнулся головой в сугроб.

Гулко ударила винтовка Серафима, и еще один остался лежать в сугробе. Видно, в запале никто не заметил, как третий, падая, ударил по саням из винчестера. Упала одна из лошадей, у Серафима треух обило, Уно пуля разорвала рукав. Но вновь ударил Алешкин карабин. И третий золотоискатель остался лежать грязным комочком на белом снегу.

— Все, Леша, — Серафим подошел к убитым, поднял мешок, — ружья собери! — крикнул Уно. — Эх, сволочи «ходи», какого коня загубили.

— Да не жмись, — Алешка снял шапку, вытер вспотевший лоб. — Ты за это золото два табуна купишь.

— Глянуть надо, что за шихта. А то, может, напрасно души нехрещеные загубили.

— Придумаешь, души, впервой, что ли, — Алешка подошел к коням, начал обрубать постромки, — лошадь бы закопать, вдруг кто узнает?

— Не узнает. Они новую подбили. Ее в станице никто не видел, слава богу.

Уно собрал ружья, положил их на руки, как дрова, повесил через плечо патронташи. Он шел к саням, проваливаясь в снег, обходя красные пятна крови.

Золото он увидел, заглянув через плечо Серафима. Песок и самородки. На секунду ему показалось, что в мешке спрятаны крупицы солнца. У него нехорошо забилось сердце, на глаза словно упала пелена. Вот оно, богатство. Вот дом свой, дело.

А Серафим завязывал мешок.

Алешка, справившись с упряжью, разворачивал хрипящих коней.

— Вот так, чухонец, — Велихов засмеялся, — так-то оно, золото, достается. А ружьишки-то у них хороши. Винчестеры.

Американской работы. На, — он протянул Уно одно из ружей, — владей. Помни казака Велихова.

И снова сани неслись по дороге. Уно лежал и гладил холодную ложу винтовки.

«Так-то оно, золото, достается», — вспомнил он недавние слова Серафима. Да, золото достается смелым. Трус всю жизнь в батраках или приказчиках спину гнет. Уно вскинул винчестер и дважды в упор выстрелил. Потом он гнал коней, а вслед за ним летело эхо. И выстрелы звучали в ушах. Лошади храпели, а Уно все бил их кнутом, стараясь уйти от этого страшного места. Потом он остановил лошадей и подошел к сосне, и его долго и мучительно рвало...

...Да, старался добывал, рисковал жизнью. Для чего? Чтобы этим голодранцам отдать все. Ничего, он обязательно вернется. Все же деньги и золото он с собой унес. А с ними он везде хозяин.

Наконец он промок окончательно, и его начало колотить от холода, как замерзшую собаку, солнце ушло за лес. Тухкинен полежал еще минут тридцать, дожидаясь, когда совсем стемнеет. Это были самые длинные тридцать минут в его жизни. В ста шагах граница, в километре Мансила... Но застава недалеко, и черт его знает, когда им взбредет в голову выйти на границу...

Наконец он встал, огляделся. Тихо. Тогда Тухкинен упругим, неслышным шагом старого контрабандиста двинулся к границе. Остановился он у самой Мансилы. Отдышался, посмотрел назад. Черно, даже огня не видно. Выпустить, что ли, в их сторону пяток пуль? Но он передумал, погрозил кулаком и пошел навстречу собачьему лаю и огонькам деревни.

ДЕКАБРЬ. ВИДЛИЦА.
ВОЛОСТНОЙ СОВЕТ

— Ну давайте подведем итоги, — сказал председатель Совета Германов, — ты, товарищ Ермаков, найди директиву из центра о чрезвычайном десятимиллиардном налоге на буржуазию. Нашел? Глянь, сколько на нашу волость ложится? Сколько? Сто шестьдесят пять тысяч.

— Деньги немалые, — Розенштейн встал, подошел к окну, — но ведь в доход государству мы переводим ценности, реквизированные у Тухкинена...

— Кстати, о нем, — вмешался в разговор уполномоченный ЧК Егоров. — Уно таки перешел границу. Трех матерых врагов

упустили мы, товарищи. Гаврилова Митьку с дружком и Тухкинена. Наша это вина. Тут я кое с кем говорил, они мне точно сказали. Уно не простит этого. У него повадка волчья, бандитская. Теперь всякой пакости ждать можно.

— Это ты точно, — прогудел из угла председатель комбеда, — я его хорошо знаю, батрачил на него.

— Вопрос с Тухкиненом — дело серьезное, но о нем мы позже поговорим, сейчас дело о госналоге и ремонте мельницы. Нет у нас денег на ее ремонт. Хлеб у кулачья взяли, у одного Гаппиева пятьдесят мешков, а молоть где?

— Я, товарищи, об этом написал в правительственное правление Путиловского завода, — сказал негромко Розенштейн, — питерцы нас поддержали. Прислали нам тысячу рублей на ремонт.

— Вот это здорово, — Германов аж привстал со стула, — чего же ты молчал, Михаил?

— А зачем раньше времени. Прислали нам деньги, теперь об этом и говорить можно. Но я о другом сказать хочу. Вчера заседала комячейка, и вынесли мы следующее постановление.

«Ввиду того, что существующая в с. Видлице народная библиотека в настоящее время не функционирует, войти в сношение с волостным Советом и уездным отделом народного образования об открытии действий библиотеки и командировании библиотекаря. Поручить учащимся местной школы, членам партии, учителю И. В. Королеву и учительницам Р. Ф. Красновской, П. И. Лазаревой и В. М. Охотиной выяснить положение дела в народной библиотеке и познакомиться с инвентарем книг библиотеки.

Председатель Розенштейн
Секретарь Королев».

— Вот так, товарищи члены волсовета, — закончил чтение Розенштейн.

— Погоди, Михаил Евстафьевич, погоди, — сказал Ермаков. — Мы здесь о деле важном, о госналоге говорим, а ты о книгах. Да разве сейчас до чтения?

— Ты рассуждаешь не как бо́льшевик, — голос Розенштейна стал твердым. — Недостойно рассуждаешь, Ермаков. Книги — это знания. А большевики должны читать все время, чтобы запас культуры пополнить. Когда же нам за книгу браться, если не сейчас? Я в ссылке учился и опять учиться буду. Больше того, мы на селе учебу для взрослых организуем, а молодых, таких, как Трофимов, в Питер пошлем в Комакадемию.

Михаил достал кисет.

— Прав Розенштейн. Что говорить, библиотека дело нужное. И решение мы о ней примем сегодня же, но что все-таки с госналогом делать?

Германов потер рукой красные от бессонницы глаза.

— Что делать будем?

— Сколько на нас ложится? — поинтересовался Егоров.

— Немало. 165 тысяч.

— Вчера в Видлицу прибыли из Петрозаводска лесопромышленники братья Гайдуковы, — Егоров усмехнулся, — видимо, узнали об артели. Сейчас шустрить начнут, вот с них, с миллионеров, тысяч сто и получим, остальное с кулачья.

— Дело, — поддержал Ермаков. — Гайдуковы — известные кровососы. А кто к ним пойдет, ты?

— Нет, брат, я уполномоченный ЧК. К ним кого-то из коммунистов надо послать и милиционера.

— А где мы милиционера-то возьмем? — засмеялся Богданов. — У нас как урядника убрали, так «власти» нет.

— Милиционера вам прислали, товарища Ромоева Ивана, сейчас я его позову.

Егоров вышел и вернулся с невысоким человеком, одетым в штатское пальто, перетянутое ремнем с кобурой.

— Знакомьтесь, товарищи, вот это и есть Иван Ромоев. Парень он боевой и исполнительный, а главное — делу нашему предан.

ВИДЛИЦА. ДОМ ГАЙДУКОВЫХ

— Богато живут, — сказал Ромоев, — очень уж богато.

— Что, заробел? — усмехнулся Михаил.

— Я не к тому. Раньше такие дома только издали видел. А сейчас...

— А сейчас ты власть. Вернее, представитель ее. Раньше урядник к Гайдуковым зайти боялся, а теперь ты иди смело.

— А чего же ты ноги, товарищ Розенштейн, вытираешь? — засмеялся Ромоев.

— Смелость не значит хамство. Мы их не арестовывать идем, а налогом облагать.

На дверях был прибит звонок с кованой надписью: «Прошу повернуть».

— Прочитал, — спросил Михаил, — вот и верти.

Звонок глухо трещал за дверью. В доме было тихо, словно вымерло.

— Крути сильнее, — сказал Михаил, — что они, спят в такую рань?

— Нет, не спят. Из окошка на втором этаже разглядывают.

— Ишь, глазастый, все замечаешь.

— Работа такая.

Наконец где-то в глубине дома послышались шаги. Кто-то за дверью долго возился с запорами. Наконец открылась совсем узкая щель, придерживаемая цепочкой.

— Кто такие? Кого надо? — прохрипел голос из темноты прихожей.

— Откройте, — сказал Розенштейн, — мы к Гайдуковым из волсовета.

— Власть новая, что ли?

— Именно так.

— Сейчас.

Человек захлопнул дверь, звякнул цепочкой и впустил Розенштейна и Ромоева в прихожую.

— Погодите, хозяину доложу.

— А нам годить некогда, — неожиданно зло сказал Ромоев, — я работник милиции и без докладов к таким хозяевам ходить могу.

Теперь только в полумраке прихожей Розенштейн как следует разглядел человека, открывшего дверь.

«Все-таки профессия откладывает на людей отпечаток. Посмотришь на этого, сразу видно — приказчик. Во всем видно, начиная от пробора и кончая штиблетами».

— Значит, вы теперь вместо станового? — спросил приказчик.

— Нет, я вместо полицмейстера, — ответил Ромоев и, глядя в недоверчивые глаза собеседника, скомандовал: — Веди!

Они прошли через две комнаты, мимо мебели в чехлах, мимо массивных медных ламп, стоящих прямо на полу, мимо огромного серого от пыли рояля.

— Давно не были-с, — извиняюще пояснил Ромоеву приказчик, видимо, сравнение с полицмейстером здорово повысило милиционера в его глазах, — не успели-с убрать-с. Прислуга-с разбежалась. Время-с такое. Прости, господи.

Наконец он распахнул одну из дверей и доложил:

— К вам-с новый полицмейстер-с, Нил Степанович.

Из-за огромного черного дерева письменного стола навстречу поднялся высокий мужчина в серой пиджачной паре. Был он брит, ниточка пробора разделяла светлые поредевшие волосы.

Хозяин изо всех сил старался быть похожим на крупных петербургских предпринимателей. Пожалуй, это ему удавалось. Только руки, большие, со сплющенными пальцами, выдавали в нем бывшего мужика.

— Прошу, граждане, — Гайдуков наклонил набриолиненный пробор, — прошу. Семен, прими одежду у гостей.

— Нам некогда, гражданин Гайдуков, — резко, чтобы сразу провести черту между этим купцом и ими, представителями новой власти, сказал Розенштейн, — мы пришли, чтобы ознакомить вас с решением Совета.

Михаил положил на стол выписку из протокола. Гайдуков надел очки, долго, внимательно читал бумагу.

— Садитесь, — сказал он, — может быть, сигару желаете?

— Нет, благодарю.

— А вы, гражданин полицмейстер?

— Некурящий.

— Тогда закусить.

— Давайте ближе к делу. — Михаил сел и сразу же утонул в глубоком кресле у стола.

— Как угодно-с. Так вы предлагаете нам с братом уплатить сто шесть тысяч рублей?

— Не предлагаем, а приказываем согласно решению Советского правительства.

— Понятно-с. Кто же подписал это решение?

— Председатель Совета Народных Комиссаров Ульянов (Ленин).

— А не указали наш новый глава правительства, где братья Гайдуковы эти деньги возьмут-с?

— Вот что, — Розенштейн едва сдержался, — на размышление вам три часа. Ясно? Через три часа либо деньги, либо конфискация всего имущества.

— А может, поладим?

— Здесь вам не лесная биржа, да и мы не купцы, — усмехнулся Михаил.

Гайдуков поглядел на этого человека. Увидел его глубоко запавшие глаза, в глубине которых горел недобрый холодный огонек, и понял, что с ним торговаться излишне.

— Я должен посоветоваться с братом, — сказал он.

— Пожалуйста, — Михаил встал, — срок вам известен.

Через три часа братья Гайдуковы внесли деньги. А утром следующего дня, забрав из дому самое ценное, укатили в неизвестном направлении.

1919 ГОД. ЯНВАРЬ.
ВИДЛИЦКИЙ ЗАВОД.
КВАРТИРА РОЗЕНШТЕЙНА

Иногда ему становилось грустно. Ощущение это приходило внезапно, без всякой видимой причины. Когда-то в тюрьме он читал роман, забытый на нарах одним из ушедших на этап эсеров. Роман был банальным и восторженным, таким же, как человек, читавший его до него, — экзальтированный мальчишка-реалист, поверивший в красоту жертвенности и мрачную романтику савинковского террора.

Михаил давно забыл автора романа; давно забыл, о чем он был, собственно, написан, в память врезалась история одного из персонажей, сельского учителя, который говорил приблизительно следующее — грустит тот, кто не может заполнить день трудом. Говорил он это молодой, красивой и порочной бабе, склоняя ее на «путь служения народу».

Но его день был расписан, как график поездов на Финляндском вокзале. А может, и плотнее. Он начинался в шесть утра при полной темноте и кончался поздно ночью. Иногда Михаил приходил домой и долго сидел у стола в мокрых сапогах и тяжелой шинели. Не было сил раздеться. Уезжая из Петрограда, он думал, что организует заготовку дров, отнимет хлеб у кулачья и вернется обратно. А там уже видно будет, куда пошлют. Но видлицкие дела захватили его всего.

Более того, Розенштейну казалось, что всю свою жизнь он прожил именно здесь, поэтому ему так дорога каждая мелочь в этом карельском селе.

Он даже не мог подумать раньше, что бывает столько работы. В октябре на холодном ветру, в дождь и слякоть устанавливали телеграфную связь между Видлицей и Тулмозером. Потом нужно было собирать теплую одежду для Красной Армии. Уже месяц приходилось три раза в неделю преподавать на краткосрочных курсах агитаторов. Практически всю программу вел он, Аронов и большевик-учитель Соловьев.

Потом вспыхнуло восстание в соседней Ведлозерской волости. Кулачье савинковского общества сформировало боевой отряд и захватило волостной центр. Правда, продержались эти сволочи недолго, отряд чекистов за два часа подавил восстание. Но сигнал был серьезным. Видимо, савинковские кулаки просто поторопились. Одни они бы никогда не решились на это. Значит, ждали поддержки из-за кордона.

17 декабря коммунисты Видлицы собрались на экстренное собрание и обсудили вопрос о ведлозерском восстании. Вот она, резолюция, по сей день лежит в ящике стола:

«Провести широкую агитацию среди населения волости, разоблачая преступную контрреволюционную деятельность ведлозерских кулаков, поднявших восстание против Советской власти.

Установить круглосуточное дежурство членов партии при волостном исполнительном комитете Совета.

Установить связь волостного комитета РКП(б) со всеми населенными пунктами волости».

Эту резолюцию в тот же день он зачитал на первом волостном съезде Советов и комитетов бедноты. Это был интересный съезд. Делегаты со всех концов волости говорили много и откровенно. И пусть речи их иногда не слишком грамотны и даже корявы, в их искренности заключалась высокая выразительность событий, происходящих в деревнях в это время.

Съезд принял постановление во исполнение решения VI Всероссийского съезда Советов о слиянии сельских Советов с комитетами деревенской бедноты.

Но главное, что делегаты, разъехавшись по местам, создали новые партийные ячейки. С их помощью в Верхнегорском, Нижнегорском, Кукшегорском и Погранкондушском крестьянских обществах начали работу первичные коллективы РКП(б).

Это была большая победа. Именно о ней думал Михаил, когда писал свое первое письмо в Петрозаводский комитет партии.

Вчера всем активом провожали они молодых ребят, Лобского, Трофимова и Тюлина, в Петроград на политические курсы. Подучатся, вернутся обратно. Здесь очень нужны политически грамотные люди. Сейчас пропагандистская работа самое главное. Нельзя закрывать глаза на то, что Карельское просветительное общество и Комитет освобождения беломорских карел постоянно ведут агитацию против Советской власти. И чего греха таить, крестьянин-середняк, некоторые ремесленники прислушиваются к голосам их агитаторов.

На улице ветер стучал в оконное стекло. Бил в стену дома снежными зарядами. Начинались морозы. Михаил подошел к окну и долго всматривался в черноту ночи. Она была бесконечна и таинственна. И самое плохое заключалось в том, что именно в этой ночи наверняка кто-то переходил границу. Кто-то грел за пазухой холодный металл маузера, чтобы потом брызнул ненавистью и огнем вороненый ствол.

Но все же, несмотря ни на что, Михаил был по-настоящему

счастлив. Теперь, когда ему сровнялось сорок лет, он занимался делом, ради которого боролся всю жизнь.

ПЕТЕРБУРГ. МАЙ 1893-го

День был солнечен и сух. Слабый ветер гнал по улицам пыль и обрывки газет, с Обводного канала нестерпимо пахло гнилью.

Мужчина и мальчик четырнадцати лет перешли по пешеходному мосту через канал и направились к Дровяному переулку. В конце его в доме казарменного типа — фабрика заготовления государственных бумаг.

Они вошли в контору. За столом сидел полный лысый человек, смотритель фабрики Смирнов.

— Чего вам? — спросил он, не поднимая глаз от толстой конторской книги.

Мужчина поклонился и протянул письмо. Смирнов внимательно прочитал его и, повернувшись к писарю, сказал:

— Надо уважить, Василь Иванович хлопочет. Прими мальчонку в кредитно-справочное отделение. Заполни на него листок.

«Михаил Евстафьевич Розенштейн.

Мещанин города Луги Петербургской губернии.

Родился 21 ноября 1879 года в городе Ораниенбауме.

Сын солдата.

Окончил курс начального городского училища.

Принят в кредитно-сортировочное отделение мальчиком».

ПЕТЕРБУРГ. АПРЕЛЬ 1898 ГОДА. КОНТОРА ФАБРИКИ

Жилет еле сходился на животе у Смирнова. При каждом шаге звенели бесчисленные брелоки на толстой, надувного золота цепочке от часов.

— Значит, так ты своего благодетеля, Василия Ивановича, благодаришь. Дерзкий, с мастером ссоришься, народ подбивал приказчика избить.

Смирнов сделал паузу. Лысина его налилась кровью. Михаил глядел на упругий живот управляющего. При каждом слове брелоки подпрыгивали, словно живые.

«Они на мух похожи, на больших жирных мух», — подумал он и усмехнулся.

— Смеешься! Да я тебя в участок... К приставу... В жандармский корпус... в кандалы. Вон с моей фабрики, щенок!

— Не ори, — спокойно сказал Михаил, — ишь как разорался, аж черепушка покраснела.

Он повернулся и, гулко хлопнув дверью, вышел из конторы.

ПЕТЕРБУРГ. 1903 ГОД. ОКТЯБРЬ. КОНТОРА ФАБРИКИ

Новый смотритель был элегантен и сед. Серая в полоску визитка, черные брюки, галстук в горошек. Вертя в руке красивую трость с серебряной наядой, он заглянул через плечо писаря, читавшего документы Розенштейна.

— Оформляйте его. Что? — повернулся он ко второму писарю, что-то жарко шептавшему ему на ухо. — Кто он?

Управляющий повернулся к Михаилу.

— Ну как же так, голубчик? Зачем же вы оскорбили покойного господина Смирнова? Впрочем, о покойниках плохо не говорят, но был он порядочная свинья. Оформляйте его. Оформляйте. А я поехал.

Восемь лет назад из этой же конторы уходил озлобленный хамством и несправедливостью мальчик, возмущение которого вылилось в единственную доступную для него форму протеста — грубость и драку. Сейчас перед управляющим стоял вполне зрелый, двадцатичетырехлетний молодой рабочий. За эти восемь лет он работал в мелких мастерских и артелях, где эксплуатация и унижение были еще сильнее. Именно там он приобщился к революционной борьбе.

Восемь лет назад он ушел отсюда озлобленным мальчишкой, а вернулся пролетарием с опытом классовой борьбы.

Через месяц после возвращения на фабрику заготовления государственных бумаг Михаил объединяет вокруг себя передовых рабочих и организует социал-демократический кружок.

ПЕТЕРБУРГ. 1906 ГОД. ОКТЯБРЬ. ДЕПАРТАМЕНТ ПОЛИЦИИ

У действительного статского советника Рочковского болела голова. Поэтому доклад управляющего канцелярией он слушал вполуха. От ротмистра нестерпимо пахло душистой помадой,

мундир на нем был слишком голубой, серебряные эполеты не по уставу велики.

«Господи, — подумал Рочковский, — кто протежирует в департамент этих хлыщей? Почему они не идут в гвардию? Наше дело такое деликатное. Оно требует душевности и человеческого расположения. Ну как может рабочий расположиться к эдакому конфетному красавцу. И чего он бубнит, болван, прости господи».

— Таким образом, ваше превосходительство, — продолжал ротмистр, — наш агент Ушаков уличен в связи с нами и присвоении двух тысяч рублей.

Наконец голос управляющего канцелярией прорвался сквозь тупую головную боль.

— Погодите-ка, погодите-ка, ротмистр, — сказал Рочковский, — это какой Ушаков?

— Тот самый, ваше превосходительство, которому охранное отделение поручило организацию рабочего клуба.

— Так что же вы молчите?

— Я докладываю...

— Что печать?

— Пока молчит.

— Срочно дайте знать Цензурному комитету. Чтоб ни единой строчки об этом, ясно, ротмистр?

— Так точно, — управляющий сдвинул каблуки, звякнул шпорами.

— Известен инициатор этого дела?

— Так точно, ваше превосходительство, руководитель социал-демократического кружка, рабочий с той же фабрики Михаил Евстафьевич Розенштейн.

— Выкрест?

— Никак нет, обрусевший чухонец.

— Выслать его. — Рочковский задумался. — Выслать на территорию его далеких предков.

— Уж все готово, ваше превосходительство, завтра его отправят на земли Великого княжества Финляндского в деревню Коакимяки.

ПЕТЕРБУРГ. 1913 ГОД. ОКТЯБРЬ.
НОЧЬ.
КВАРТИРА РОЗЕНШТЕЙНА

«Одни рабочие хотят продлить забастовку не долее двух дней, другие решили бастовать и долее.

Особенно агитируют за эту забастовку рабочие означенного (Путиловского) завода, известные отделению по принадлежности своей к местным социал-демократическим организациям: Антон Адамов, Митревич, Василий Петров, Иванов, Михаил Евстафьев Розенштейн; Иванов и Розенштейн состоят уполномоченными больничной кассы Путиловского завода.

Из доклада Петербургского охранного
отделения министру внутренних дел».

Он проснулся и услышал шаги. Тяжелые казенные сапоги с перезвоном грохотали на лестнице. И этот перезвон, отсчитывающий шаги, грубый и громкий, говорил о том, что на его этаж поднимается несколько городовых. Только у них так лязгающе гремели шпоры. Михаил встал и начал быстро одеваться. Ему не хотелось, чтобы полиция застала его раздетым. Когда стоишь в исподнем перед одетым, невольно чувствуешь их превосходство. В прихожей забился звонок. В дверь застучали властно, по-хозяйски.

— Иди, — сказал он Анне, — открывай. Не бойся, — ответил он на ее молчаливый вопрос, — у меня дома ничего нет.

Михаил, сидя в комнате, услышал, как прихожая наполнилась топотом и звоном. Дверь распахнулась, в комнату вошел молодой, розовощекий жандармский поручик.

— Господин Розенштейн? — спросил он, приложив руку к козырьку голубоватой фуражки.

Михаил молча встал.

— Попрошу паспорт, вот разрешение на произведение в вашем доме обыска, — офицер сделал паузу, — посему прошу добровольно выдать оружие, взрывчатые вещества, нелегальную литературу и средства для ее печати.

— Вы меня с кем-то путаете, господин офицер, у меня ничего подобного нет.

— Дай бог, дай бог, — усмехнулся поручик и, повернувшись к двери, скомандовал: — Скобелин, начинайте!

В комнату вошли двое полицейских и жандармский унтер-офицер. Поручик уселся на стул, расстегнул шинель, достал из кармана золотой портсигар.

— Не желаете? — протянул он папиросы Розенштейну.

— С удовольствием, если это не противопоказано.

— Помилуйте, сделайте одолжение.

Они закурили, ароматный дымок пополз по комнате. Вот так просто. Пришел в гости добрый знакомый, милый офицер. Вон

как он сидит картинно. В одной руке папироса, другая поигрывает серебряным темляком сабли, нога на ногу. Свет играет на лаковых голенищах. Поручик чуть подергивает ногой в такт одному ему известному веселому мотивчику, и шпора, серебряная шпора, малиново подпевает — дзинь-дзинь-дзинь.

Он не глядит на своих людей. А зачем? Скобелин дело знает. Трещит кровать, все ящики комода на пол вывернуты, летят из шкафа женские вещи... Сейчас стены простукают, половицы поднимут.

— Напрасно ищете, господин офицер, — улыбнулся Михаил, — ничего нет.

— Да я вас отлично понимаю и уверен, что у вас ничего нет, — открыто, обаятельно в ответ улыбается жандарм, — служба, батенька, порядок такой, к сожалению.

А Скобелин, маленький, с лицом, словно у лесного гриба, унтер, вовсю старается. Вот он шинель уже скинул, шарф отодвигает. В коридоре испуганно понятые жмутся. Поручик шпорой дренькает.

— Ничего, ваше благородие, пусто как есть.

— Вот видите, — поручик опять улыбнулся Розенштейну, — а вы беспокоились. Кстати, ознакомьтесь с этой бумажкой.

Михаил взял в руки бумаги с гербами и печатями, увидел только одну строку «взять под стражу». И стал одеваться.

28 января 1914 года за принадлежность к социал-демократической партии, за организацию забастовок, за проведение в своей квартире нелегальных партийных собраний ранее содержащийся под арестом в Петербургской полицейской тюрьме Михаил Евстафьев Розенштейн по постановлению министра внутренних дел был выслан в Харьков сроком на два года.

«Начальник Губернского
Жандармского управления
3 мая 1914 г.
№ 681 г. Харьков

Секретно.

Господину Харьковскому губернатору.

Настоящим докладываю, что ссыльный Розенштейн вошел в состав Харьковской социал-демократической организации и,

по сведениям агентуры, близок к члену Государственной думы М. К. Муранову, большевику, от которого имеет полномочия по выбору и посылке делегата от харьковских социал-демократов большевиков на конференцию, созываемую Международным социалистическим бюро.

Полковник Озеров».

31 июня 1914 года, после трехмесячного содержания в харьковской тюрьме, М. Розенштейн был этапирован в ссылку в город Саратов.

«Начальник Саратовского
Жандармского управления
20 апреля 1916 г.
№ 456. Саратов.

Секретно.

Господину Саратовскому губернатору.

М. Е. Розенштейн и Ю. К. Маслов являются весьма вредными для государственного порядка и общественного спокойствия, как серьезные партийные работники, убежденные социал-демократы, примыкающие по своим убеждениям к большевикам...

Полковник Иванов».

В конце апреля 1916 года М. Розенштейн согласно постановлению Министерства внутренних дел был этапирован в Тургайскую область в ссылку сроком на три года.

Освободила его революция. Михаил вернулся на Путиловский завод и сразу же включился в революционную борьбу.

Ночью Михаил проснулся от ощущения близкой опасности. Казалось, что каждый сантиметр темноты насквозь пронизан ею. Он достал из-под подушки наган и долго сидел, не зажигая света, опустив на одеяло руку с оружием. Метель окончилась, ветер растаскал облака на небе, и в окно лился зыбкий и призрачный лунный свет. Он смешал контуры, и все предметы в комнате становились неясными и расплывчатыми, словно во сне.

Над миром висела тишина. И Михаил был один в этой ночи, один со своими мыслями, со своим страхом и болью. И тогда он вспомнил Анну и понял, что необходимо как можно быстрее вызвать ее, потому что именно одиночество плюс повседневное нервное напряжение вызывали ощущение опасности. Сегодня, вспоминая прожитую жизнь, он мало места в ней отвел Анне, но ночью на него нахлынула такая горькая мужицкая тоска, так захотелось, чтобы рядом был дорогой ему человек!

В шкафу стояла подаренная Быковым бутылка с самогоном. «Надо выпить, вот так взять и выпить стакан. Алкоголь разрядит нервную нагрузку, и я засну».

Михаил, шлепая по холодному полу, подошел к шкафу, достал бутылку, звякнув горлышком, налил полстакана, потом подумал и налил с краями. Там же, стоя, двигая кадыком, гулко, как непрожеванный кусок, проглотил пахнущую сивухой жидкость, и сразу стало тепло.

Потом он уснул, и ему снился Обводной канал, вода, подернутая ряской, и смоленые бока лодки.

ТЕРРИТОРИЯ ФИНЛЯНДИИ. СЕЛО МАНСИЛА

Митька Гаврилов с прапорщиком Трофимовым шли мимо аккуратных крепких домов Мансилы. Уже третий месяц они жили здесь, на самой границе с РСФСР. В селе формировалась добровольческая офицерская дружина. Правда, народу пока было немного, всего восемьдесят человек, но командир дружины подполковник Шумейко крепко надеялся, что в скором времени с той стороны еще придут люди.

А пока офицеры жили праздно и сыто. Финские власти отвели им несколько домов на окраине села, продуктами снабжали регулярно и вдоволь, даже форму выдали. После отсоединения на финской территории осталось несколько русских интендантских складов. Целыми днями офицеры играли в карты, кое-кто пытался волочиться за местными дамами, к вечеру напивались и, вспоминая прошлое, пели тоскливые и протяжные романсы. Правда, по утрам командир дружины проводил «строевые смотры». Подполковник Шумейко требовал, чтобы офицеры тщательно следили за своим внешним видом. На провинившихся накладывал арест, но вместо отсидки на гауптвахте за неимением таковой вычитал дни наказания из жалованья.

Настроение у офицеров было нервное. Бессмысленное сидение у самой границы вызывало ропот и недовольство. Отношения с финскими властями становились натянутыми, многие не хотели признавать независимость Финляндии, полученную из рук большевиков, считая ее по-прежнему Великим княжеством.

Все чаще и чаще начинались разговоры о том, что в Архангельске формируется с помощью союзников новая русская армия и, мол, пора подаваться на север к генералу Миллеру. Местные финские власти всеми силами противились этому. Им было выгодно держать на границе такую хорошо обученную и вооруженную воинскую единицу. Она могла сыграть важную роль при наступлении на РСФСР. Но пока Хельсинки молчали. Никаких приказов, касающихся начала интервенции, не поступало.

Ни Митьку, ни его коллег младших офицеров, всех до одного выходцев из богатых семей пограничных деревень, не устраивало вынужденное безделье.

Несколько дней назад Митька Гаврилов чуть не подрался со штабс-капитаном Зыковым, который звал офицеров в Архангельск. На севере Митьке делать было нечего. Его дом там, за границей, и там он должен свести счеты с большевиками и комитетчиками.

После обеда, когда Митька с Трофимовым уселись играть в стосс, к ним прибежал посыльный фельдфебель Мяж и передал приказ Шумейко срочно прибыть к нему.

Подполковник жил в самом центре села. Полдома с отдельным входом ему любезно предложил местный лесопромышленник. В доме помещался штаб дружины.

Над крыльцом развевался трехцветный флаг, у дверей дежурил часовой. Офицеры, сбивая снег с сапог, поднялись на крыльцо.

В штабной комнате сидели Шумейко, его помощник капитан Силин, финский разведчик лейтенант Матукайсис и Уно Тухкинен.

Митька с Трофимовым замерли у порога, кинув руки к папахам.

— Заходите, господа, — Шумейко встал из-за стола и сделал шаг навстречу офицерам, — раздевайтесь, садитесь.

Прапорщики скинули полушубки, оправили френчи и уселись к столу.

— Я пригласил вас, господа офицеры, чтобы поручить важное и ответственное дело. Вы знаете, что командует красны-

ми пограничниками бывший наш товарищ, поручик Быков.

Шумейко сделал паузу, оглядел собравшихся.

— Этот ваш товарищ, — зло сказал Уно, — хуже собаки.

— Попрошу, господин Тухкинен, не перебивать, — повернулся к нему подполковник, — так вот, господа, мы посылали «товарищу» Быкову письма, вчера для личной беседы к нему отправился поручик Горбовский. На наши письма Быков не реагировал, Горбовского арестовал.

— Вот сволочь, — вырвалось у Митьки.

— Помолчите, — нахмурился Шумейко, — нашим финским друзьям, — лейтенант Матукайсис поклонился, — стало известно, — продолжал командир дружины, — что наши верные друзья на той стороне подготовили транспорт с хлебом. Ваша задача, господа, — в голосе подполковника зазвенел металл, — помочь транспорту с хлебом перебраться через границу и ликвидировать изменника Быкова.

— И Розенштейна, — добавил Уно.

— И Розенштейна, — согласился Шумейко, — в общем, действуйте сообразно обстановке, людей я вам дам, инструкции получите у нашего финского союзника.

Матукайсис опять наклонил голову.

ФЕВРАЛЬ.
ГРАНИЦА РСФСР. УТРО

Ночью снега не было, и следы были совсем четкими. Они аккуратной цепочкой пересекали границу и терялись в лесу. Быков, покусывая мундштук папиросы, внимательно разглядывал их.

— Шло человек семь, товарищ командир, — сказал один из пограничников. — Точно вам говорю. Я из Сибири, промысловик, там любые следы считать научишься. А потом я всю войну в охотничьей команде прослужил.

Быков молчал. Он и сам знал, что сегодня ночью границу нарушили семь человек. Только кто они и зачем шли?

— А может, контрабандисты спирт понесли? — сказал второй боец.

— Нет, — ответил Быков. Он наклонился и начал раскапывать снег рядом со следом. — Вот глядите. — На ладони лежал мокрый патрон от маузера.

— Контрабандисты с этими штучками не ходят. Значит,

банда прорвалась. Объявите тревогу. В село сообщите председателю комячейки, пусть его люди будут наготове.

ВИДЛИЦА.
ВОЛОСТНОЙ СОВЕТ. ДЕНЬ

Посыльный от Быкова нашел Розенштейна в волостном Совете. Гремя замерзшими сапогами, он ввалился в комнату и протянул председателю комячейки пакет.

— Ты у печки присядь, — посоветовал ему Розенштейн, вскрывая конверт. Он дважды внимательно перечитал написанное, чуть присвистнул.

— На словах что-нибудь передавал?

— Нет, только письмо.

— Тогда иди, только осторожно. Знаешь обстановку?

— Знаю, председатель, распрекрасно она мне известна.

— Иди.

Розенштейн увидел в окно, как, скользя сапогами, бежит по улице посыльный, вздохнул и вышел в коридор. Он остановился у двери с написанной от руки табличкой «Волостной милиционер».

Ромоев, разложив на столе карабин, смазывал затвор ружейным маслом.

— А, председатель, — Иван вытер правую руку о штаны, — заходи, садись.

— На прочти, что Быков нам пишет, — протянул Михаил Ромоеву пакет.

Через час с небольшим улица села заметно оживилась. К волостному Совету начали собираться вооруженные коммунары.

— Куда это вы, мужички? — спрашивали любопытные бабы. — Никак война?

— Ага, точно война, с турками. Ученье у нас, дура, — ответил кто-то.

— В такой-то мороз. Бедные, бедные.

К вечеру все выходы из села были перекрыты. Усиленную охрану поставили у почты, у склада с зерном, на мельнице и лесопилке.

— Ну, теперь будем ждать? — спросил Германов Розенштейна.

— А что нам остается еще?

— То-то и оно.

ГОСГРАНИЦА РСФСР. ВЕЧЕР

У опушки леса Егоров сказал Розову:

— Ты, комиссар, со своими ребятами дальше не ходи. Дальше моя служба начинается. И гляди, чтобы никто не появился.

— Ладно, уполномоченный, иди по своим секретным делам. — Розов поднял воротник шинели. — Только недолго, видишь, ветер какой.

В лесу ветра почти не было. Темнело. Огромные сосны, мохнатые от снега. Егоров шел одному ему известной дорогой. Если проследить за его следами, то могло показаться, что человек просто заблудился. Но если присмотреться внимательно, то становилось ясно, что в этой видимой хаотичности есть своя цель и строгая закономерность.

Наконец чекист добрался до огромной расколотой надвое молнией сосны. Остановился, перевел дыхание, прислушался. Тихо. Егоров поглядел на часы, нет, все верно. Неужели связной от «Латыша» не придет? Где-то хрустнул снег. Егоров достал из кобуры наган, взвел курок. Опять раздался хруст, теперь совсем рядом.

— Кто идет? — спросил вполголоса чекист.

В ответ раздалось три щелчка. Со стороны границы к Егорову шел связник от нашего человека, который в списках ЧК числился под псевдонимом «Латыш».

ВИДЛИЦА. ВОЛСОВЕТ. ВЕЧЕР

Уполномоченный ЧК Егоров докладывал обстановку. В комнате председателя волостного Совета собрались все члены Совета, члены партячейки, Быков и Розов.

— Таким образом, — говорил Егоров хриплым, простуженным голосом, — от нашего товарища, работающего за кордоном, стало известно, что на нашу территорию проникла банда из семи человек. Задание у них — вывезти в Финляндию хлеб, припрятанный кулачьем, убить товарищей Быкова и Розенштейна.

— Вот сволочи! — сказал кто-то.

— Собирается обоз с хлебом, — Егоров закашлялся и кашлял долго, надрывно, до слез, — собираются в лесу у деревни Кинелахте. Докладываю вам, товарищи, свой план.

ВИДЛИЦА. КВАРТИРА БЫКОВА. НОЧЬ

Начальник штаба погранрайона Быков жил на втором этаже. Занимал он две комнаты. Практически он обходился одной, во второй за неимением шкафов лежали вещи. Жилая комната была обставлена по-спартански: койка, стол, три стула, гвозди в стене, на которые хозяин и гости вешали шинели. Над кроватью висела шашка с позолоченным эфесом и надписью на нем «За храбрость» и красным анненским темляком. Вечерами свет лампы падал на позолоту эфеса, и он блестел, как единственная красивая и дорогая вещь в комнате. У кровати, на тумбочке, стояла всегда запертая деревянная шкатулка, предмет насмешек комиссара Розова. Балтийский матрос считал, что там Быков хранит письма от неизвестной девицы.

На самом же деле там лежали четыре ордена, полученные поручиком Быковым на полях войны, белая офицерская кокарда и две пары погон — юнкерские и офицерские. Шкатулку эту Быков никогда не открывал, содержимое ее никому не показывал, но тем не менее был твердо уверен, что настанет день и Советская власть разрешит особым декретом ношение погон и орденов, естественно тем, кто их честно заработал.

Этой ночью Быков пришел домой, засветил лампу, а сам ушел в другую комнату, там еще с вечера сидели двое пограничников. План Егорова был простым — задержать убийц прямо на квартире начальника штаба. Уйти бандиты не могли, дом был незаметно оцеплен.

Быков с бойцами второй час сидели в темной комнате. Хорошо, что можно было курить, пограничники догадались занавесить окно.

Время шло медленно. Но Быков не замечал его, он вспоминал свой единственный отпуск с фронта.

Они шли с Наташей мимо Патриарших прудов, была глубокая осень, и вода в прудах стала черно-свинцового цвета с красными пятнами кленовых листьев. Наташа куталась в синюю бархатную шубку, и пахло от нее какими-то горьковатыми и тонкими духами.

А он читал ей Бальмонта.

Я мечтою ловил уходящие тени,
Уходящие тени погасшего дня,

Я на башню всходил, и дрожали ступени,
И дрожали ступени под ногой у меня.

Наташа слушала стихи, закинув голову, беспомощно щуря глаза. А Саша читал дальше, глядел на ее тонкий профиль, и руки у него холодели от нежности.

Господи, как бесконечно много отделяет его от той московской осени, от стихов, мамы, Наташи...

И чем выше я шел, тем ясней рисовались,
Тем яснее рисовались очертанья вдали,
И какие-то звуки вокруг раздавались,
Вкруг меня раздавались от Небес до Земли, —

прочитал Быков шепотом.

— Вы чего, товарищ командир, — спросил из темноты один из бойцов, — молитесь, что ли?

— Нет, Карпов, это стихи.

— А-а-а, — с недоумением протянул он.

...И в это время внизу хлопнула дверь. Хлопнула мягко, чуть слышно. И сразу же три сердца в темной комнате забились стремительно и настороженно.

Шагов они не слышали. Один из пограничников осторожно открыл дверь. Теперь они видели все в ее светлом квадрате, их же из той комнаты заметить было нельзя.

У входа тихо заскребли сапоги. Потом кто-то надавил на ручку, дверь распахнулась, и в комнату ворвался человек в полушубке, засыпанном снегом. В руке его был наган.

Он остановился на пороге, увидев, что комната пуста. Тогда он сделал шаг к распахнутой двери. И тут Быков выстрелил. Человек шагнул еще раз и тяжело рухнул, выбросив перед собой руку с наганом.

На лестнице загремели чьи-то торопливые шаги, потом хлопнула дверь, кто-то вскрикнул, послышался шум борьбы.

Быков, перешагнув через убитого, спустился вниз. В прихожей пограничники вязали руки невысокому человеку в серой офицерской папахе. Он уже не вырывался, только повторял как заведенный: «Сволочи... сволочи... сволочи...»

ЛЕС У ДЕРЕВНИ КИНЕЛАХТЕ. НОЧЬ

Луна ушла, и в лесу стало совсем темно. Было тихо, только фыркали невидимые во мраке лошади. Обоз уже весь собрался, не хватало четырех саней.

— Большой обоз, — сказал Митька Гаврилов, — как бы не засыпаться. Я думал, саней пять... А здесь двадцать, нужно на две группы разбиться, иначе границу не перейдем.

— Так и сделаем, — ответил Тухкинен, — ты поведешь одну, а я вторую.

— Только учти, чуть что на границе, сразу стрелять и лошадей не жалеть.

— Ладно.

Вдали послышался скрип полозьев, коротко и звонко заржала лошадь.

— Вот сволочь, — выругался Митька, — как бы им глотки-то позатыкать?

— Ничего, — Уно встал с саней и пошел встречать приехавших.

До Митьки донеслись обрывки разговоров, чье-то покашливание.

— Митрий, а Митрий Петрович, — позвал из темноты Уно, — ты пойди-ка сюда.

Митька неохотно встал и подошел к приехавшим.

— Это покойного Гаврилова Петра Епифаныча сынок, офицер, — объяснил кому-то Тухкинен и обратился к Митьке: — Ты бы этому обозу дал бы двух офицеров, а то у приехавших с оружием туговато.

— Ладно, сейчас распоряжусь, пошли, — бросил он Уно, — давай скорее, не то завалимся как пить дать.

— Ничего, коммунарам не до нас. Они сейчас небось поминки справляют. Ты что думаешь, зря твои офицеры в Видлицу пошли?

Митьке показалось, что невидимый в темноте Уно смеется.

— Они отвлечь их пошли. Уберут двух товарищей, а остальным не до нас.

— Значит, чтобы вывезти этот несчастный хлеб, и затеяна вся история?

— А ты думал? Хлеб — деньги.

— Значит, люди зря пошли головы подставлять? — В Митьке закипала тяжелая ненависть.

— Ничего, двумя офицериками больше, двумя меньше, — Уно вплотную придвинул лицо к Митьке, так что заблестели ровные, словно у волка, зубы, — за деньги еще десятерых наймем.

— Сволочь ты, — сказал без злобы Гаврилов, — сволочь.

— Ну, это там разберемся, в Мансиле.

Они подошли к саням, и Митька опять присел на мешки.

— Сходи позови офицеров, — сказал он Уно. Тот ушел в голову обоза.

Сначала Гаврилов почувствовал озноб. За шиворот снег попал, потом где-то под сердцем зашевелилось чувство опасности. Он ощущал это спиной, нервами, всем своим существом. Так бывало на фронте перед ночной атакой.

Подчиняясь одному чувству самосохранения, Гаврилов тихонько дернул вожжи, выводя сани на обочину дороги. Он и сам не заметил, как в руке у него оказался маузер...

Лес ожил сразу. Затрещали кусты вдоль дороги, и чей-то хриплый от мороза голос крикнул: «Ложись! Вы окружены!»

Митька стеганул лошадей, они рванули с места, посыпались в снег мешки.

— Стой! — крикнул кто-то невидимый. Гулко ударили винтовочные выстрелы.

Митька, настегивая лошадей, обернувшись, бил из маузера. Пулей сорвало с него папаху.

А он настегивал лошадей, повторяя только одно: «Господи, пронеси, господи, пронеси... господи...»

Со всех сторон темноту прошивали красные иголки выстрелов. Лошади стелились по снегу, словно хотели вырваться из упряжи.

«Только бы не завалили лошадь».

Наконец выстрелы и пули остались позади, и тут Митька увидел, что в санях кто-то есть.

— Убью, — ткнул он ствол маузера, — убью, гад.

— Ты что, — Митька узнал голос Тухкинена, — совсем от страха ошалел, ваше благородие. Я это.

И тут Гаврилов понял, почему так легко шли сани. Уно на ходу скинул на дорогу мешки с зерном.

— Ну, — спросил Митька хрипло, — как коммерция, ваше степенство? Хлебушек где? Где деньги, на которые офицеров покупать собрались?

Уно молчал. Только дышал хрипло и часто. Так он молчал до самой границы, молчал, когда они пересекли ее, и только у Мансилы сказал, ни к кому не обращаясь, в темноту:

— Погоди же, Розенштейн, погоди.

МАРТ. ВИДЛИЦКИЙ ЗАВОД

Петроград ждал леса. Топливный голод в городе достигал невероятных размеров. Правда, заводы пока работали. Холодный город отдавал последние остатки топлива предприятиям, работающим на оборону республики.

Об этом Розенштейн знал из писем, которые почти ежедневно приходили из Петрограда. Но самое обидное заключалось не в этом. Дров этих было сколько угодно. Лес целый. Трудовая лесная артель работала хорошо. Да и с прошлого года сохранилось кое-что. Гайдуковым, Тухкинену да Никитину не удалось сплавить лес финским промышленникам. Совсем другое волновало председателя комячейки: как переправить это богатство в Питер? С хлебом проще, погрузили его на подводы и отвезли на железнодорожную станцию. Лес же надо сплавить. А для этого техника необходима.

Еще осенью почти месяц всем селом (жителям помогали и красноармейцы-пограничники) сняли с мели полузатопленный буксирный пароходик «Путиловский завод».

Снять-то сняли, а вот с ремонтом тяжеловато. Это не телега и не сеялка. Корпус, конечно, починить несложно, а с машиной труднее.

Утром, подходя к мастерским, в которых ремонтировали «Путиловский завод», Михаил думал только об этом. Уже неделю он весь день слесарил здесь, если надо, помогал токарям, сменял у горна уставших кузнецов.

Всеми работами руководил его питерский товарищ Саша Некрасов. Он был и за инженера, и за снабженца, и за токаря. Два дня назад Некрасов уехал в Петрозаводск, на Онежский завод, может быть, там удастся достать вышедшие из строя детали.

В мастерских было сумрачно, пахло раскаленным металлом, свежей стружкой и машинным маслом. Привычный, ставший за много лет родным запах труда.

— Ну, как дела? — спросил Михаил у кузнеца Афанасьева.

— Хорошие дела, председатель. Очень хорошие, — кузнец вытер ветошью правую руку и протянул ее Михаилу, — приехал Некрасов с час назад. Привез деталей для машины мешка четыре. Теперь к апрелю кончим.

— А где же Александр?

— Спит вон там. Намаялся в дороге очень, — Афанасьев ткнул пальцем в угол цеха.

Михаил пошел туда и увидел, что на куче ветоши, укрывшись брезентом, спит Некрасов.

«Действительно, устал, если может спать в таком шуме», — подумал Розенштейн.

Ну что ж, теперь он был спокоен: в апреле пароход спустят на воду, и потянет он бесконечные плоты, потянет дрова для Петрограда.

Михаил вышел из мастерских, пошел к озеру. Весна уже

чувствовалась. Солнце хоть и северное, а пригревает, снег пожух и пахнет как-то особенно остро, ночами на озере с пушечным гулом лопается лед.

Розенштейн вышел на берег Ладоги. Лес, все еще рождественский, блестел под солнцем, у самого откоса вмерзли в лед сотни кубометров бревен.

«Ничего, скоро мы лес отсюда увезем», — сказал Михаил и полез в карман за табаком. Он решил посидеть у озера. Совсем немного. Хоть полчаса. Просто так сидеть, смотреть на лед, солнце, лес на правом берегу и вдыхать пьяный мартовский воздух.

ВИДЛИЦА. ВОЛОСТНОЙ СОВЕТ

— Товарищи, — Ермаков встал, — открываю совместное заседание волсовета и партячейки. Кому слово? Ты, что ли, Розенштейн? Подождешь?.. Ну тогда я, если разрешите.

Он достал из папки бумагу, пробежал ее глазами и продолжил.

— Значит, дело такое. Наш рабочий класс обязался в апреле буксир спустить на воду. Верно я говорю? — повернулся он к Некрасову.

— Верно, Ермаков, верно.

— Вот и хорошо. Конечно, товарищ Некрасов у нас вроде именинника. В старое время ему вполне можно было бы медаль или крест какой-нибудь дать. Но наша власть пока этих знаков не завела, поэтому хотим мы от волисполкома наградить товарища Некрасова часами с боем.

Ермаков подошел к шкафу и вынул большие бронзовые настольные часы.

— Правда, украшения, фигуры, так сказать, от старого режима остались, но кому как, а мне, например, такие бабы нравятся, — он указал пальцем на двух полуобнаженных бронзовых красавиц, поддерживающих циферблат.

Собравшиеся дружно захохотали.

— Нечего ржать, дело житейское, а жинка Некрасова в Питере, пусть пока на бронзовых полюбуется, — протянул Ермаков часы Некрасову.

— Ну, вроде с первым вопросом все. Теперь ко второму. Прошлым месяцем отбили мы у кулачья двадцать подвод зерна, двести пятьдесят пудиков. Часть Армии Красной, но кое-что и себе оставили. Так вот, товарищи, вчера пытались наш хлебный склад подпалить. Спасибо милиционеру, успел застрелить поджигателей. Но фактов таких немало, и вы все

о них прекрасно знаете. Днем мы хозяева, а вечером вторая власть появляется.

— А куда же ЧК с милицией смотрит? — спросил с места Германов.

— Ты, Михаил, прикинь — милиционер у нас один, а работы у него...

— Так что ты предлагаешь?

— Организовать постоянное дежурство наших добровольцев. Пусть несут службу, как красноармейцы-пограничники.

— Дело, — согласился Ермаков, — так и поступим.

ХЕЛЬСИНКИ. ВЕЧЕР

Стены комнаты были обшиты дубовыми панелями. Шаги глушил огромный пушистый ковер. За большим овальным столом сидели трое.

— Господин барон, — сказал начальник разведки, — наши люди вновь узнавали отношение верхушки белого движения к независимости Финляндии.

— Ну и что? — Голос у барона холодный и ломкий.

— Все так же, как и раньше: ни Деникин, ни Юденич, ни Колчак не хотят признавать независимости Финляндии.

— Я сам служил в императорской гвардии, русский генерал, — барон взволнованно заходил по кабинету, — но мне стыдно за моих бывших сослуживцев. А впрочем, что с них взять. Они командуют армиями, а кругозор у них как у ротных.

— Да, это все так, — мягко сказал третий, до сих пор молчавший, — вот сегодняшний «Таймс», там пишут. — Он надел пенсне: — «Если мы посмотрим на карту, то увидим, что лучшим подступом к Петрограду является Балтийское море и что кратчайший и самый легкий путь лежит через Финляндию. Финляндия является ключом к Москве».

— Это все правильно, — начальник разведки взял газету, — но война со страной, безвозмездно подарившей нам независимость, вряд ли будет популярна в народе. Не забывайте, что и у нас велико влияние местных коммунистов.

— Ну это уже ваша епархия.

— Не все сразу, — начальник разведки развел руками, — подождите немного.

— Господа, — барон остановился у камина, — нам нужна Карелия. Пусть не армия начнет наступление. Как с нашим корпусом?

— Он готов, обучен, вооружен.

— Тогда с богом. Начинайте. Границу должны перейти эти люди и белые дружины. Задача — захватить Беломорскую Карелию, а там время покажет.

АПРЕЛЬ

«В Южную Карелию внезапно ворвались отряды белофиннов, которые повели наступление в двух направлениях: на Видлицу — Олонец — Лодейное Поле и на Тумозеро — Пряшу — Петрозаводск. Их продвижение в глубь Южной Карелии угрожало тылу и левому флангу наших войск, действовавших севернее Петрозаводска.

Военная обстановка в Южной Карелии».

ДЕРЕВНЯ ПОГРАНКОНДУША

Рано утром командир продотряда Иван Алексеев собрался в Видлицу. Все-таки праздник — пасха. Нужно было побывать у родственников, обязательно повидать однополчанина. Да и потом в Совете есть дело.

На улице играла гармошка. Братья Игнатовы начали праздновать раньше всех. Перебор частушек несся над непроснувшимся селом, приглашая людей на праздник.

— Ваня, сосед, — крикнул игравший на тальянке Степан Игнатов, — иди христосоваться!

Иван подошел, и они троекратно поцеловались. От братьев сладковато пахло первачом.

— Уже разговелись, — засмеялся Иван.

— А то! Пойдем к нам, по стакану, и иди себе в Видлицу.

— Нет, ребята, я лучше пойду, от вас еще никто на своих ногах не уходил.

Братья довольно захохотали. Были они плечистые, русоголовые, первые драчуны и скандалисты в деревне.

— Погоди, — засмеялся Степан, — Мишка сейчас сбегает, принесет чуть разговеться.

— Ну если быстро... — Алексеев так и не договорил, он увидел, что вдоль забора идет человек с винтовкой.

— Кто это? — спросил Иван. — Вроде не наш.

— Да это же Егор Кярхана, кулак из Мансилы, — прошептал Степан Игнатов, — гляди, Ваня, с винтовкой он.

Внезапно финн повернулся и вскинул винтовку.

— Стой!

— Да ты чего, Егор, — обиженно сказал Степан, — своих не признаешь?

— А, это ты, — Кярхана успокоился, — иди домой, тебе на улице делать нечего. Сейчас будет война, мы пришли вас освобождать. — Финн говорил с сильным акцентом.

— Слушай, Степан, — зашептал Игнатову Алексеев, — это война. Понял? Беги в Видлицу, а я на заставу. Предупредить. — Игнатов поглядел на сразу посерьезневшее лицо Алексеева.

— Мы с Мишкой успеем, не подведем.

ЗАСТАВА ПОГРАНКОНДУША. ДОМ РОЗОВА

Никогда Иван так не бегал. Даже когда был новобранцем в лейб-гвардии Волынском полку. Он добрался до дома, где был штаб комиссара Розова, и начал бить кулаком в дверь.

— Кто там? — на крыльцо выскочил заспанный боец. — Это ты, товарищ Алексеев?

— Розова мне, Розова, — задыхаясь, проговорил Иван.

— Пошли, пошли, — засуетился пограничник, — никак несчастье какое?

— Финны в деревне, финны.

— Ты что несешь, — в сени вышел Розов, — пьян, что ли?

— Гляди, — Иван кивнул головой на окно.

По улице шли три финна в темных куртках, вел их человек в русской офицерской форме с погонами прапорщика.

— Трофимов, — скрипнул зубами Розов, — Гаврилова Митьки друг первый, большая сволочь. Что делать будем?

Алексеев вбежал в комнату и вырвал из пирамиды винтовку.

— Они думают, что ты спишь, пусть войдут. — Он хищно клацнул затвором.

— Некогда, надо на заставу спешить. Тревогу поднять.

— Я в Видлицу людей послал. — Иван вскинул винтовку, ловя на мушку сквозь стекло темную фигурку врага. — Давай, комиссар, я одного сниму, и на прорыв.

— Давай.

Выстрел слился со звоном стекла. Один из шюцкоровцев, подпрыгнув на месте, повалился на бок.

Розов распахнул дверь, выскочил на крыльцо и выстрелил в Трофимова. Прапорщик, так и не успевший расстегнуть ко-

буру, свалился около ворот. Два других финна убегали к деревне.

— Бегом на заставу, — скомандовал Розов.

И тут они услышали выстрелы со стороны заставы. Там шел бой.

ПОГРАНКОНДУША. ЗАСТАВА

Финны наступали. Черные фигурки хорошо были видны на фоне блестящего снега. Их было много, и казалось, что двигались черные пни. Застава отбивалась. Но что могли сделать двадцать пять винтовок?

Тогда Розов решил оставить заслон и отходить к Видлице.

ВИДЛИЦА. КВАРТИРА БЫКОВА

У начальника погранрайона Быкова случилась неприятность. Отвалилась подметка от сапога. Три дня Быков лазил по границе, подвязав сапог проволокой, промок, натер ногу. Нужно было идти домой в Видлицу, сменить обувь. А как пойдешь? На границе неспокойно. Так еще ни разу не было. Закопошились финны. Вчера только группа человек двадцать хотела прорвать границу, оставили пятерых на нашей территории и ушли.

Быков понимал, что это неспроста. Недаром верные люди предупреждали: мол, скапливаются шюцкоровцы в пограничных деревнях. А что он сделать может, когда у него в отряде всего двести бойцов на многие километры границы. Нужно идти в Видлицу, поговорить с Розенштейном, пусть пришлет на подмогу своих добровольцев.

Из дому Быков добрался к полудню. Надел новые, тонкой кожи, сапоги, сшитые после того, как присвоили ему в семнадцатом году звание поручика. Собирался он тогда в отпуск, хотел пройтись по Тверской. Да не вышло. Началось наступление, потом отступление, потом госпиталь, ну а потом закружил поручика Быкова ветер революции.

Наскоро попив чаю, Быков заторопился в Совет. Только дверь закрыл, как где-то совсем рядом хлопнул выстрел.

Быков привычной хваткой рванул из кобуры наган. Прислушался. Тихо. Апрельское солнце прорвалось в полутемную прихожую сквозь кружок от выпавшего сучка, пыль плясала в ярком столбе света.

Быков совсем уже хотел спрятать наган, как внизу бухнула дверь и в дом шагнул финский офицер.

Быков выстрелил и мимо привалившегося к стене финна выскочил на улицу.

За домами гулко хлестали винтовочные выстрелы, где-то у Совета, торопясь, ударил пулемет. И тут Быков увидел Розенштейна. Председатель комячейки бежал вдоль заборов в одной гимнастерке, в руке у него дымился наган.

— Быков, товарищ Быков, к церкви беги! — Розенштейн обернулся, из-за угла выскочили четыре финна с короткими карабинами в руках. Михаил прислонился плечом к забору и в сторону солдат из нагана — раз! раз! раз! Один упал, остальные прилегли у заборов и ударили из карабинов.

ВИДЛИЦА. ДВОР ЦЕРКВИ

Ни Розенштейн, ни Быков еще не знали, что утром этого дня, 19 апреля 1919 года, шюцкоровцы вместе с белой добровольческой дружиной, перейдя границу на стыке двух погранучастков, начали наступление на Видлицу — Олонец — Лодейное Поле и на Тумозеро — Пряшу — Петрозаводск.

К началу наступления Видлица сразу же оказалась в тылу войск интервентов.

Розенштейн считал бойцов. Только что они отбили первую атаку. Отбили без потерь. В церкви засело тридцать коммунаров, патронов хватило. Церковь и ограда вокруг были сложены из прочного кирпича, так что ни винтовки, ни даже пулеметы были не страшны.

— Отсидимся вполне до прихода своих, — сказал он Быкову, — пушек, видать, у них нет, ну а пулеметы нам не страшны.

— Отсидимся-то, может, и отсидимся, но нужно послать к нашим с донесением. — Быков достал из кармана тетрадь. — Ты пока отбери пару бойцов порасторопнее, а я напишу.

Решили: гонцы пойдут с темнотой. А пока ждали. Финны, потеряв человек десять, угомонились. Боец, наблюдавший за селом с колокольни, передавал, что шюцкоровцы накапливаются во дворах, видно, скоро атака.

Вдруг от крайних домов к церкви, подняв над головой белый флаг, зашагали двое. Один, видно, финский офицер, у другого, высокого, затянутого в зеленоватый френч, золотом блестели офицерские русские погоны.

— Митька Гаврилов, — Акимушкин зло выплюнул цигарку, — торговаться идет.

— Эй, Розенштейн, выходи! Давай переговоры начнем! — крикнул Митька Гаврилов.

Розенштейн и Быков, поправив пояса гимнастерок, вышли за ограду.

— Финское командование, — нагло прищурив светлые глаза, начал Митька, — предлагает вам сложить оружие...

— Я, комендант погранрайона, — шагнул вперед Быков, — немедленно предлагаю покинуть территорию Российской Федеративной Республики. В противном случае вся тяжесть ответственности ляжет на финскую сторону.

— Грозишь? — засмеялся Митька. — Да нет уже никакой «хведерации» вашей, понял? Уже англичане Петроград взяли...

— Вот что, Гаврилов, — Розенштейн оглядел Митьку всего — от кокарды, белевшей словно кусок рафинада на околышке, до серебряных щеголеватых шпор. — Насчет Питера это ты врешь. Раз. А два — учти, подойдут наши, пощады не жди. А сдаваться, это три, мы не будем. Попробуй возьми нас. Так переведи своему, — Розенштейн кивнул в сторону финна.

— Я все понял, вы неблагоразумны, — сказал внезапно финский офицер по-русски и зашагал прочь. За ним засеменил Митька.

— Ну, Быков, жди атаки, — усмехнулся Михаил, — сейчас они полезут — страшное дело.

Финны пошли в атаку без крика. Спокойно, деловито, словно на учениях, они переползали по оврагам, прятались за могильными холмиками кладбища.

Розенштейн искал цель. Дважды фигурки солдат в коротких серых куртках закрывали прорезь прицела. Появлялись и исчезали. Наконец он все же подцепил одного на мушку. Плавно, как на стрельбище, спустил курок. Солдат вздрогнул и остался лежать, словно грязно-серый бугорок.

Выстрел послужил сигналом. Тридцать винтовок торопливо забухали из-за ограды.

Но финны все ползли и ползли, казалось, их невозможно остановить ружейным огнем. И тогда с колокольни ударил пулемет.

Они отбили атаку. Вторую за эти два часа. Но они точно знали, что бой будет таким же длинным, как и остаток дня. А с озера дул весенний ветер, и пах он водой, рыбой и сырыми сетями. И трава пахла, первая в этом году трава, и солнце, яркое и холодное, никак не хотело уходить за озеро.

А в домах голосили бабы, слыша, как лопаются у церкви винтовочные выстрелы. И бились они головами в красных углах. Молились за своих мужиков перед стертыми ликами старых икон.

Но вот наконец кончился день. И ночь, темная и густая, словно рассол, закрыла село.

И тогда двое осторожно переползли через ограду и осторожно ушли к лесу. А вслед им в темноту смотрел председатель комячейки. Очень хотелось ему верить, что дойдут эти двое. Потому что знал он, что надеяться может только на быструю помощь из Олонца. А иначе... Ох, не хотел он думать, что будет иначе. Только думай не думай, а...

— Патронов у нас на три хорошие атаки. — Быков подошел, чиркнул зажигалкой. Желтый язычок пламени на секунду осветил обросшее за день, сразу осунувшееся лицо коменданта.

И внезапно Розенштейну стало мучительно жаль его, и себя, и вот тех ребят-коммунистов, лежащих у церковного забора.

— Значит...

— Вот это и значит, Михаил, что ты не маленький, думать надо. Я посты расставил, остальным отдыхать, иди и ты поспи, потом сменишь меня.

— Добро.

Спал ли он? Розенштейн и сам не мог понять этого. Просто, казалось, на секунду впал в забытье и проснулся сразу, лишь только коснулся его плеча Быков.

Ежась от холода, он обошел посты и сел, прислонясь спиной к ограде. Какие-то обрывки воспоминаний проходили перед его глазами. Он гнал их, хотелось думать о чем-то очень важном и главном, хотелось даже в мыслях своих быть чище и строже. Но не выходило, и вспоминал он какие-то мелочи, ненужные и нелепые. Думал о том, как у него, у новобранца, украли ложку и приходилось ему хлебать щи прямо через край котелка. Вспомнил он ротного в запасном полку штабс-капитана с диковинной фамилией Деверную. А вспомнив ротного, вспомнил он и Митьку Гаврилова и пожалел, что не щелкнул его тогда в Совете. Одна мысль о Гаврилове заставляла Розенштейна ненавидеть жестоко и сильно и снова вернула его в реальность.

«Ну погоди, гад, погоди». Захотелось перелезть через стену и бежать туда, к домам. Найти Митьку, поднять его из постели...

— Товарищ Розенштейн...

— Что? Что такое?!

— Смотри!

Он поглядел и понял — конец.

Прямо перед церковью стояло два орудия. Видно, ночью

их притащили сюда, вырыли для них огневые и установили на прямую наводку.

— Буди Быкова! Поднимай людей! Все к...

Он не успел кончить, первый снаряд рванул прямо на крыльцо церкви. Тугая волна больно ударила по лицу, запахло паленым гребешком.

— Все в церковь! — крикнул Михаил. Огромными прыжками пересек двор и уже в дверях увидел, как низко над землей разорвалось шрапнельное облачко.

Сколько длился этот бой? Минуту? Может, двадцать?

Михаил не помнил. Он только слышал, как визжала врывающаяся в разлитые окна шрапнель, как кричали люди, тяжело прощаясь с жизнью, как бился пулемет под руками.

Вдруг наступила тишина. И Михаил понял, что он остался один. Замолчал пулемет, сжевав до конца ленту, прекратила стрелять артиллерия. По кладбищу, не прячась, шла в атаку офицерская дружина. Шла спокойно, в рост, словно на учениях. Шла, поблескивая золотом погон.

Видимо, еще жившее в нем чувство самосохранения заставило его подняться по разбитой лестнице на колокольню.

Михаил посмотрел на олонецкую дорогу. Посмотрел, не надеясь, видимо, все из-за того же чувства. Пусто. А офицеры уже были на церковном дворе. Он слышал, как они смеются, как разговаривают беззаботно и громко. Михаил расстегнул кобуру, вынул наган. Семь патронов. Даже не семь, а пять. А вдруг последний даст осечку? Рисковать нельзя. Розенштейн сунул руку в карман шинели, и вдруг горячая волна радости захлестнула его. Он нащупал рубчатое яйцевидное тело гранаты «мильс», вынул ее, почему-то осторожно сдул крошки табака, потом привычно выдернул чеку и бросил вниз.

— А-а-а!

— Господи, кого же это?

— Вы болван, прапорщик!

— На колокольню. Там он!

Михаил ждал, глядя в черный провал люка. Когда первый по плечи высунулся над полом, он выстрелил, а потом еще четыре раза.

Снизу забухали выстрелы. И тогда, последний раз взглянув на олонецкую дорогу, на солнце, на озеро, он поднял дуло нагана к виску.

Уно поднялся вслед за офицерами на колокольню и увидел своего врага. Розенштейн полулежал, прислонившись спиной к стене. Он был почти как живой, только из черной

дырочки у виска медленно текла кровь. Уно на секунду посмотрел в его остановившиеся зрачки, и ему стало страшно. Даже мертвый Розенштейн был сильнее его и поэтому внушал Тухкинену мистический страх. И ему захотелось кричать, кричать от страха, и он спрятался за спины, а потом быстро спустился по разрушенной лестнице. Он стоял среди офицеров, у которых были равнодушно-усталые лица, словно у батраков-поденщиков после сенокоса, и никак не мог прикурить, больно уж дрожали руки.

ЛЕС У ВИДЛИЦЫ

Розов сидел на трухлявом пне, привалившись спиной к дереву. Когда шюцкоровцы обошли заставу с фланга, он, оставив часть бойцов прикрывать отход, начал отступать к Видлице. Там Розов хотел, соединившись с коммунарами, держать оборону до подхода главных сил.

Они отходили по полю, девять оставшихся в живых, огрызаясь винтовочными выстрелами, стараясь как можно дальше оторваться от противника. Но шюцкоровцы почему-то не очень наседали, и это начало беспокоить Розова. Потом он услышал в селе стрельбу и понял, что в Видлице враг. Тогда одним броском он увел своих в лес.

Разведка, которую комиссар посылал в село, доложила, что там полно финнов, но наши засели в церкви и держатся.

— Ничего, — сказал бойцам Розов, — там Быков и Розенштейн, они не такие люди, чтобы поддаться. Скоро из Олонца подмога подойдет, тогда и мы с тыла ударим. В таком деле десять человек роты стоят.

Ночь они прождали в лесу, без пищи и огня. И вот наступило утро.

— Что-то тихо, комиссар, — подошел к Розову один из бойцов, — странно это...

И вдруг до леса донесся глухой басовитый удар.

«Орудие, — понял Розов, — финны подтащили орудие». Потом они услышали еще несколько выстрелов, и наступила тишина.

Комиссар вскочил, выдернул из кобуры кольт.

— За мной, в село. — И побежал к видлицкой дороге.

Его догнали, повалили на землю, вырвали из рук оружие. А в Видлице вспыхнула оружейная стрельба, вспыхнула и умолкла. Потом наступила тишина.

Розов лежал на земле и плакал, он слишком хорошо знал, что это такое. Потом он встал, кто-то протянул ему револьвер.

— Все, — прохрипел комиссар, — все. Идем на Олонец.

Он повернулся к селу и долго, словно прощаясь, смотрел в его сторону.

— Ничего, — сказал он наконец, — мы вернемся, и плохо будет тем, кто остался в живых.

ОЛОНЕЦ. ВОЕНКОМАТ

«Весьма срочно. Военкому Егорову. 21 апреля.

Сегодня рано утром отряд белофиннов не установленной пока численности внезапно перешел границу, занял деревни Погранкондуша, Видлицу и наступает на Тулоксу.

Командир полка Стрелков».

Уездный военком Филипп Егоров прочитал телефонограмму дважды, потом повернулся к дежурному и приказал вызвать всех работников — Текстера, Николаевского, Кунжина, Томашевского, Ермакова.

— Я на телеграф.

— Связи нет, — встал, увидев военкома, молоденький телеграфист. — Лодейное Поле не отвечает.

— Дела, — Егоров взглянул в испуганные глаза телеграфиста, — значит, задание тебе следующее: как только наладится твоя машина, немедленно звони мне. Понял?

— Так точно, товарищ военком.

У военкомата строилась караульная рота. Командир, увидев Егорова, начал подравнивать строй. Но военком махнул ему рукой и вошел в здание, сегодня не до парадов было.

Все вызванные собрались у него в кабинете. Заместитель Егорова, бывший полковник Текстер, что-то чертил на карте.

— А, Филипп Иванович, — поднял он голову, — я предупреждал об этом.

— Владимир Андреевич, — Егоров улыбнулся, — опять старая песня о недоверии.

— Никак нет, просто преступная безответственность некоторых лиц.

— С этим мы разберемся, а пока, товарищи, давайте срочно разработаем план оборонительных мероприятий. Телеграфной связи нет. Поэтому необходимо послать в Лодейное Поле донесение. Вот текст: «В Тулоксе идет бой с белофиннами, связь с Лодейным Полем прервана, подозреваю попытку окружения Олонца, прошу помощи».

— Владимир Андреевич, распорядитесь, чтобы из числа караульной роты выделили пару бойцов, хорошо знающих местность.

— Будет исполнено, Филипп Иванович.

— Теперь, товарищи, — Егоров сделал несколько шагов по кабинету, — это относится к тебе, Ермаков, — он повернулся к председателю уездного исполкома, — объявляем мобилизацию советского актива, коммунистов и рабочих в Олонецкий отряд.

— Товарищ военком, — сотрудник военкомата Кунжин достал из полевой сумки лист бумаги, — мы тут с Владимиром Андреевичем все точно рассчитали, вместе с караульной ротой такой отряд составит триста человек.

— Прекрасно, это уже военная единица, равная батальону.

За дверью кабинета послышался шум, спокойный голос дежурного, потом кто-то заматерился громко и зло.

— Это еще что такое? — удивился Текстер.

Дверь распахнулась, и на пороге вырос обросший щетиной человек в рваном матросском бушлате.

— Вы кто, — начал Егоров, а потом, вглядевшись, крикнул: — Розов, комиссар Розов!

Розов сделал несколько шагов по комнате и тяжело опустился на стул.

— Вы привели погранотряд, комиссар? — спросил Текстер.

— Привел, — Розов не мог говорить: спазма сжимала горло, — привел. — Он указал рукой на окно.

Егоров посмотрел на улицу. У забора штаба сидели на земле несколько человек в заляпанных рваных шинелях. Он начал чисто автоматически считать их. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь...

— А где же Быков, где Розенштейн, где коммунары?

Розов молчал, только руками сжал спинку стула, чтобы не заплакать.

ВИДЛИЦА

Их вели по улицам села. Пятерых коммунаров, оставшихся в живых. Они шли плотно, поддерживая друг друга. Светило солнце, ветер был по-весеннему теплым, из открытых окон дома Гайдуковых надрывно орал граммофон:

Ты будешь первым,
Не сядь на мель,
Чем крепче нервы,
Тем ближе цель.

Пять человек в кровавых бинтах и разорванной одежде шли к кладбищу. По бокам колыхались жала штыков конвоя.

Только что местный суд под председательством местного попа Морошкина приговорил пятерых коммунаров к смерти. Суд заседал в здании волостного Совета, над дверью которого уже прибили вывеску «Волостная управа». Венчал ее основательно затертый двуглавый орел.

В комнате, куда ввели коммунаров, за столом, покрытым трехцветным флагом, сидели Морошкин, Уно Тухкинен в финской форме и подполковник Шумейко в парадном мундире. В углу, в кресле, скромный в своем сером френче, почти без знаков различия, лейтенант Матукайсис.

Гнусаво и длинно священник перечислял все грехи и преступления стоявших в комнате. Его голос, липкий, как патока, наполнял комнату дремотой.

— Погодите-ка, святой отец, — Шумейко хлопнул ладонью по столу, — что вы там читаете? Давайте более конкретно. Прямо по фамилиям.

— Ромоев Иван Андреевич, — начал поп, — волостной милиционер.

— Сволочь, — по-волчьи ощерил зубы Тухкинен, — самая первая у них сволочь после Розенштейна.

— Ты меня не сволочи, гад, — крикнул Ромоев, — ты мне руки развяжи, я с тобой!..

— Молчать, — рявкнул Шумейко.

— Оняиев Алексей Никифоров, крестьянин, 19 лет, — продолжал поп, — Дяжов Василий Иванов, крестьянин, 27 лет; Волков Василий Иванов, крестьянин, 21 год; Ромоев Иван Андреев, 29 лет, волостной милиционер...

— Смерть, — крикнул Уно, — всем смерть! — На губах его пузырилась слюна.

Их вели по улицам, а из окон горестно смотрели на них бабы, крестились, закрывали ладонями глаза детей. Никому из них не хотелось умирать в этот яркий весенний день... Да и зимой и осенью не хотелось умирать. Потому что слишком мало прожили на этой земле, слишком мало сделали из того, что задумали.

Когда они вышли из зала суда, у Ромоева мелькнула мысль о побеге. Но шюцкоровцы окружили смертников плотной стеной, и не было даже самой малейшей возможности прорвать эту цепь штыков. Оставалось одно — умереть как подобало большевикам.

Их привели на кладбище, где загодя вырыли неглубокую могилу. От свежей земли шел пар и дурманящий дух. Конвой ждал. Казнь не начинали.

Наконец из поповского дома появился Митька Гаврилов.

Он шел покачиваясь, ноги разъезжались, словно не свои, а зеленый парадный мундир с серебряным воротником был расстегнут, и ослепительно белела нижняя рубашка.

Митька подошел к осужденным, несколько минут тупо разглядывал их. Потом икнул:

— Кто из вас большевики, спойте громче... всех... «Боже, царя храни...», тот жив... останется. — Язык у него заплетался, казалось, что прапорщик говорит с полным ртом.

— Ну! — Митька поскользнулся, один из шюцкоровцев услужливо поддержал его за локоть.

Тогда вперед шагнул Ромоев.

— Правильно, господин милиционер, начинайте, — осклабился Гаврилов.

Ромоев шагнул вплотную к нему и плюнул офицеру в лицо.

Митька качнулся назад, заскреб пальцами по кобуре, доставая наган, и выстрелил.

Это и послужило сигналом. Конвой открыл огонь.

26 ИЮНЯ. ШТАБ ОЛОНЕЦКОГО ОБОРОНИТЕЛЬНОГО УЧАСТКА

— Прошу, товарищи командиры, — начальник штаба Федор Машеров распахнул дверь, приглашая участников совещания пройти к нему.

Когда все расселись и закурили, Машеров расстелил на столе карту.

— Только что из Видлицы вернулась разведка. Ею установлено, что в селе скопилось огромное количество оружия и военного снаряжения. Теперь прошу перенести на ваши карты места расположения огневых точек противника. Вот здесь, — Машеров показал карандашом на устье реки Олонки, — батарея дальнобойных орудий. Нанесли? Так, дальше. На правом берегу у старой часовни восемь полевых 40—50-миллиметровых пушек. На территории завода главный штаб и казармы. Там же госпиталь и склады. Особо прошу артиллеристов отметить госпиталь. Чтоб ни один снаряд в нем не разорвался.

Сегодня ночью наших разведчиков передадут на миноносцы «Амурец» и «Уссуриец», они будут корректировать огонь.

Машеров налил стакан воды, выпил.

— Теперь о самом главном. Корабли флотилии высадят десант у устья реки Тулоксы и у села Видлицы. Наши сухопутные части после артподготовки начнут атаку в пять утра по всему фронту. Уточним детали.

26 ИЮНЯ.
ШТАБ ОНЕЖСКОЙ ФЛОТИЛИИ

В кают-компании все было по-старому. Командующий флотилией Э. Пацержанский любил твердый морской порядок. За стеклом иллюминаторов плескалась вода, солнце играло на полированных панелях. За столом собрался командный состав флотилии.

— Сегодня в 22.30 отряду в составе посыльного судна «Петрозаводск», миноносцев «Уссуриец» и «Амурец», минного заградителя «Яуза», сторожевых судов «Ласка» и «Видры» и колесного парохода с десантом выйти на траверз села Видлицы, подавить огнем орудий береговую оборону и способствовать всеми силами высадке десанта.

БОРТ ПОСЫЛЬНОГО СУДНА «ПЕТРОЗАВОДСК»

Суда шли кильватерной колонной за «Петрозаводском», и командующий скорее угадывал, нежели различал хищные очертания миноносцев за кормой. Где-то в конце кильватера шлепал по воде колесный пароход с десантом. И именно этот совершенно штатский пароход был самым главным среди мощных военных кораблей.

Волны не было, и «Петрозаводск» шел ходко и ровно, как на учениях в Финском заливе в хорошую погоду. В темноте не видно было берегов, и командующему казалось, что его судно идет не по Ладоге, а по Балтийскому морю.

БОРТ МИНОНОСЦА «АМУРЕЦ»

— Подходим к Видлице, командир, — доложил вахтенный.

— Время?

— Четыре пятьдесят пять.

Где-то на берегу ударили орудия. Над миноносцем просвистели снаряды, и далеко за бортом выросли фонтаны воды.

— Из полевых бьют, — крикнул вахтенный, — калибр небольшой!

— Вполне достаточный, чтобы сделать нас покойниками. Зовите артиллериста и разведчика-корректировщика.

В пять тридцать флотилия открыла огонь из главного ка-

либра. Тяжелые снаряды морских орудий сметали береговые батареи противника, накрывали казарму и штаб. В бинокль было видно, как в селе начались пожары.

Под прикрытием огня десантные суда пошли к берегу.

УСТЬЕ РЕКИ

Пароход, напрягаясь из последних сил, бил лопастями колес по воде.

— Быстрее, твою мать, — орал командир десанта старичку капитану, — быстрее!

— Быстрее не могу, — старик был невозмутим, — у меня озерный пароход, а не эсминец.

С берега били пулеметы. Пули били по деревянной обшивке, с визгом рикошетировали о металлические поручни. Бойцы лежали на палубе, плотно прижавшись к мокрым доскам. Только пулеметчики, устроившись прямо на рубке, поливали берег огнем.

Но все же берег приближался медленно. Берег, огрызающийся свинцом. Где-то на озере гулко ударили орудия, и в устье реки встали тяжелые фонтаны воды.

— «Амурец» бьет, — крикнул командир, — прикрывает нас! Приготовиться!

Пароход еще не подошел к берегу, а уже с его бортов посыпались люди. Они бежали по пояс в воде и ругались витиевато и страшно. Вот первые достигли берега и бросились в штыки. Над окопами заметался красный флаг.

СЕЛО ВИДЛИЦА.

Розов бежал мимо разбитых орудий, мимо мешков с песком, мимо трупов. Он первым со своим отрядом высадился в Видлице. Берег был чистым, но на улицах еще отстреливались отступавшие шюцкоровцы.

Почти без потерь они добрались до площади, и тут ударил пулемет. Он бил вдоль улицы, и металлическая его строчка перечеркнула дорогу. Матросы залегли.

— Вперед, — кричал Розов, — вперед, балтийцы!

Они поднимались, но пулемет снова бросал их на землю. Тогда Розов достал гранату и пополз на это окно, из которого дышала смерть.

Лента кончилась. Митька Гаврилов открыл приемник и начал закладывать новую. Вдруг что-то пролетело мимо него, словно большой булыжник.

«Граната», — подумал Митька и увидел столб огня, который закрыл небо и солнце.

Видлица горела. Бросая оружие, шюцкоровцы уходили к границе. Розов шел по освобожденному селу к кладбищу.

— Где? — спросил он у старушки, стоящей около ограды.

Она поманила его рукой и повела вдоль могил на другой конец города мертвых.

— Здесь они, сынок.

Розов стоял над свежей могилой и снова вспоминал их живых, улыбчивых, смелых: Сашу Быкова, Мишу Розенштейна, Сашу Некрасова, Володю Аронова...

А ветер с Ладоги пробивался сквозь запах гари, и был этот ветер свежим и крепким, как рассол. И нес он новую жизнь для села, для всей Карелии, для всей страны.

— Мы здесь памятник поставим, — Розов снял бескозырку, — из мрамора имена их выбьем. Пусть помнят потомки, кто пролил кровь за их счастье.

«Постановление Петроградского горсовета. 1923 г.

...Переименовать Лихтенбергскую улицу на улицу имени верного сына революции Михаила Розенштейна».

СЕЛО ВИДЛИЦА.
10 АВГУСТА 1973 ГОДА. ДЕНЬ

Наверное, тогда, пятьдесят с лишним лет назад, было такое же небо, и солнце было точно такое, и ветер с Ладоги.

Мы стоим там, где раньше была церковь. Я, автор этих строк, и восьмилетний Борька, сын моих квартирных хозяев. Мы стоим у гранитного обелиска, и Борька медленно читает мне выбитые золотом фамилии. Он читает, а я тихонько глажу его теплую от солнца голову.

АНДРЕЮ ГЕОРГИЕВИЧУ МЕРКУЛОВУ в этом году исполнилось бы 50 лет. Из них тридцать лет он отдал литературе. Творческий путь его начался в 1942 году, когда после окончания школы Андрея Меркулова не взяли в армию по состоянию здоровья, он пошел работать на авиационный завод и одновременно начал заниматься в литературном объединении при «Молодой гвардии». В московских газетах публиковались первые его стихи, очерки и корреспонденции. В конце войны Меркулов окончательно ушел в журналистику. Он заканчивал газетные курсы при ЦК КПСС и Центральную комсомольскую школу, работал в газетах «Московская правда», «Московский комсомолец», журнале «Молодой коммунист». Став профессиональным журналистом, Меркулов много ездил по стране, накапливал жизненные впечатления для своей будущей писательской работы. Его тянул Север, привлекали мужественные люди суровых и одновременно романтических профессий — землепроходцы, летчики, моряки. Увлекали ситуации, в которых наиболее ярко проявляются героические черты характера человека. Вероятно, эта тяга к романтике была заложена еще в детстве, она явилась прямым следствием той постоянной творческой атмосферы, которая царила в семье. Отец Андрея Меркулова был одним из основателей советской мультипликации, а дядя — известным художником-северянином.

В начале пятидесятых годов Андрей Меркулов поступает на заочное отделение Литературного института имени Горького. Его добрыми наставниками были известные писатели Валентин Овечкин, Сергей Антонов и Константин Паустовский. Они же дали ему рекомендации для вступления в Союз писателей СССР. Учась в Литинституте на семинаре Паустовского, Меркулов публиковал свои рассказы в «Октябре», «Огоньке», «Молодом колхознике». С последним из них — «Молодым колхозником», который позже был переименован в «Сельскую молодежь», — Андрея Меркулова связала долгая творческая дружба. Он стал членом редколлегии этого журнала.

За два десятка лет после окончания института Меркулов выпустил в свет более десяти книг. Не придерживаясь хронологии, скажем, что все они составляют своеобразную художественно-публицистическую летопись «По следам века». Пристальное внимание к конкретному факту в творчестве Андрея Меркулова сочетается с глубокими публицистическими раздумьями о судьбах поколений, ушедших, ныне здравствующих и только входящих в жизнь.

Рядом с вымышленными героями живут и трудятся те, чьи имена золотом вписаны в историю Советского государства. Подобное сочетание документалистики и художественной прозы, как показало время, становится все более характерным для нашей литературы. Книги Меркулова, связанные общими проблемами и нередко общими персонажами, можно разделить на четыре своеобразных цикла. Это борьба за покорение высоты, освоение окраин нашей земли, заветы революционной романтики, а также герои и традиции наиболее примечательного явления нашего столетия — Москвы.

Первая книга Андрея Меркулова «Крылья земли», кото-

рая увидела свет в 1954 году, была посвящена летчикам. Вероятно, большую роль здесь сыграли наиболее сильные впечатления юности, когда в годы войны будущий писатель своими руками собирал боевые самолеты, встречался с теми, кто вскоре населит его рассказы и повести. Эту особую тягу к авиации сумел разглядеть в студенте Литинститута Валентин Овечкин. Он первым и натолкнул Меркулова на мысль написать документальную книгу о летчиках-испытателях. Позже по этой книге был поставлен фильм «Цель его жизни». Герои книги Андрея Меркулова — люди редких судеб и необычайного мужества. Профессия летчика-испытателя долгие годы была мало известна широкому кругу читателей. В противоположность обширной литературе об авиации вообще книги об испытателях были весьма редким явлением. Видимо, поэтому еще бытует иногда неверное представление о людях этой профессии. Мы сталкиваемся порой с полярными точками зрения, когда одни утверждают, что летчики-испытатели — любители острых ощущений, а другие, считая их профессию абсолютно безопасной, готовы отнять у них право на риск и даже гибель во имя любимого дела. Первой же своей книгой Андрей Меркулов определил личную точку зрения, свой подход к теме авиации.

В романтической литературе прошлого есть такое выражение — «призрачные острова». У Меркулова «призрачные острова» — это всего лишь красивое название вполне реальных дел. Ежедневный подвиг летчика-испытателя — вполне реальное и конкретное дело, потому что испытатель прежде всего инженер, вооруженный опытным самолетом, и свои ощущения он должен уметь перевести на язык цифр и формул. Только в этой плоскости и рассматривает он свою работу.

«Профессия летчика, — говорил Юрий Александрович Гарнаев, — всегда была романтичной, теперь уже мы, опытные летчики, не романтики, а фанатики своего дела. Мы его любим и не променяем ни на что».

Юрия Александровича хорошо знали в редакции «Сельской молодежи». Он был другом журнала, его автором. Часто приходил в редакцию, а потом уезжал выполнять новое задание...

Мы помним тот жаркий августовский день, когда в редакцию пришел совершенно ошеломленный и растерянный Андрей Меркулов и на все вопросы смог сказать только два слова: «Погиб Гарнаев». Профессия летчиков-испытателей, по их собственным словам, не всегда ведет к долголетию, но смерть Гарнаева казалась невероятной. В наборе находился большой очерк Меркулова о Юрии Гарнаеве. Теперь это, по существу, был уже некролог. А менее года спустя в издательстве «Молодая гвардия» вышла книга Андрея Меркулова «В путь за косым дождем» (1968), посвященная памяти Юрия Александровича Гарнаева.

Эту документальную повесть о тех, кто уходит в небо, о летчиках-испытателях можно с полным правом назвать публицистической книгой о героизме и романтике нашего века. Кстати, о романтике. Это слово настолько широко вошло в жизнь, что им определяют множество явлений, вплоть до

«охоты к перемене мест». И не случайно книга начинается с диспута о романтике. Не найдя более или менее точного определения этого слова, автор пустился в поиски романтики на край света, на Северный полюс. А оказалось, что романтика, как с юмором замечает автор, в этот момент заботилась о меховых штанах для писателя, чтоб он не обморозился. И была она большая и грузная, принявшая облик известного полярного летчика Бориса Осипова, — самая обыкновенная романтика, живая, а не книжная. Юрий Гарнаев, любимый и, несомненно, главный герой повести Меркулова, со свойственным ему лаконизмом высказался в свое время по поводу ложных представлений о его работе: «Игрок тешит себя, а мы работаем. Для нас это значит жить. Жить во что бы то ни стало! Это делает твою волю напряженной и острой. Ты начинаешь соображать быстрей, чем это кажется возможным... И ты будешь жить, если не сделаешь ни одной ошибки. В этом вся трудность — не сделать ошибки. Обижаться на опасность не приходится. Такая профессия».

В одной из глав книги Меркулов рассказывает простую и в то же время удивительную историю об авиационном механике, всю жизнь проработавшем в Арктике. В любой мороз он принимал и отправлял самолеты. И когда в мотор неудобно было пролезть с отверткой, он, послюнив палец, примораживал его к гайке и наживлял ее. От этого концы его пальцев потрескались, но их чуткости мог позавидовать любой часовщик.

Следуя за автором книги, мы становимся очевидцами сегодняшних событий в авиации, совершаем экскурсы в историю, к Джимми Коллинзу и Сент-Экзюпери, ворошим пожелтевшие страницы газет, устремляемся в фантастическое будущее. И все это служит одной главной цели: исследовать психологические мотивы подвига, создать впечатляющий образ нашего современного героя. В этом стремлении Андрея Меркулова возвратить героизму и романтике их первозданную чистоту, очистить значения этих слов от всего неискреннего и временного, пожалуй, основное достоинство книги. За повесть «В путь за косым дождем» Андрей Меркулов был удостоен звания лауреата премии имени Николая Островского.

В том же, 1968 году была опубликована еще одна книга Меркулова — «Белый след». Она тоже о летчиках. Это повесть, основой для которой послужили первые рассказы писателя. В предисловии к ней известный летчик-испытатель Герой Советского Союза Сергей Николаевич Анохин писал: «Рассказы Меркулова, по существу, документальны — они основаны на фактах и деталях, которые писатель мог узнать только от самих летчиков... Писатель как бы переносит читателей с земли в те ситуации, в которых приходилось бывать испытателям, в том числе и мне лично».

Говоря о том, что профессия испытателей была мало известна широкому кругу читателей, необходимо добавить, что причиной этого обстоятельства была не только трудность изображения характеров этих людей, когда ничем не приукрашенный факт, как правило, оказывается красноречивее любого вымысла, но и в значительной степени секретность самой

работы. Если в «Белом следе» при всей документальности этой повести действуют вымышленные герои — Струнов, Ливенцов, Корнев, то в последней книге «Проверено на себе», которую незадолго до смерти подготовил к печати Андрей Меркулов, он раскрыл подлинные имена своих героев — Сергея Анохина, Юрия Гарнаева, Олега Гудкова и других рыцарей неба.

Вышедший в издательстве «Молодая гвардия» в 1966 году роман «Поход на рубеж земли» положил начало второму циклу в творчестве писателя. По-прежнему отдавая дань романтике, пользуясь острым приключенческим сюжетом, Андрей Меркулов тем не менее оставался верен своей главной теме — теме мужества и героизма. Действие разворачивается на Камчатке. Экзотическая живописная природа, столкновение сильных характеров, яркие человеческие типы — все эти атрибуты романтической литературы в данном произведении помогали автору с наибольшей полнотой показать внутренний мир героев, осваивающих окраины нашего государства, утверждающих высшие гуманистические законы нашего общества. Разумеется, их мужество и целеустремленность мало чем отличаются от тех же качеств летчиков-испытателей. Однако, тщательно исследуя совсем, как оказывается, не романтическую жизнь и быт своих героев, Меркулов в самых обыденных, житейских явлениях стремился раскрыть их удивительную человеческую крепость, духовную ценность и богатство.

Героиня романа молодая журналистка Елена Веснина встречается читателям и в книге Меркулова «Ледовая свадьба», которая публикуется в этом томе «Подвига». И снова перед нами Арктика с ее суровым бытом, сложными человеческими взаимоотношениями, с острой, напряженной борьбой характеров, с философскими раздумьями о психологической подоплеке подлинного героизма.

Еще в 1963 году была опубликована книга очерков Андрея Меркулова «Разведчики призрачных островов». Она явилась результатом длительных поездок писателя в Арктику и на Северный полюс, на Камчатку и Командоры, в Саяны и Забайкалье. Встречи с людьми, близкими творчеству Меркулова, — с геологами, рыбаками, летчиками, полярниками — дали богатейший материал, позволивший писателю создать и «Поход на рубеж земли», и «Ледовую свадьбу».

Несколько лет Андрей Меркулов тщательно изучал жизнь выдающегося советского полководца Михаила Васильевича Фрунзе. Писатель проследил его путь, собрал богатый архивный материал. Результатом этого труда явился роман «Надежный караул», который выходит в скором времени в издательстве «Советский писатель». Действие романа протекает как бы в двух плоскостях: историческое повествование и рассказ о поиске неизвестных документов о Фрунзе. Герой книги ивановский журналист Ефим Гриднев, увлеченный биографией Михаила Васильевича Фрунзе, отыскивает неизвестные документы о жизни его соратников по борьбе, встречается с потомками героев революции. Форма, которую избрал для своего романа Меркулов, позволила ему не только в остром, динамичном ключе рассказать о жизни и деятельности великих революционеров, но и насытить книгу публицистически-

ми раздумьями о преемственности поколений, об ответственности молодежи перед высокой памятью своих отцов и дедов, о воспитании мужества и коммунистической убежденности.

Будучи профессиональным писателем, Меркулов не бросал журналистику. В газетах и журналах постоянно печатались его очерки и рассказы о людях родного города — о москвичах. Недавно в издательстве «Знание» вышла его книга — «Легенды наших дней». Герои этого сборника очерков — всемирно известный скульптор-антрополог Михаил Михайлович Герасимов, токарь завода «Компрессор» Валентин Груздев, знаменитый полярный исследователь Иван Дмитриевич Папанин и многие другие известные и неизвестные нам герои столицы. «Легенды наших дней» — удивительное открытие тех, кто живет с нами рядом, это взволнованные рассказы о творчестве, о мужестве, о верности своему делу.

ЛИХАНОВ АЛЬБЕРТ АНАТОЛЬЕВИЧ родился в 1935 году в городе Кирове. После окончания школы он поступил на факультет журналистики Уральского государственного университета в Свердловске. Получив диплом журналиста, Лиханов возвращается в родные места и некоторое время работает литературным сотрудником «Кировской правды», а затем его назначают редактором молодежной газеты «Комсомольское племя». Работа в комсомольском печатном органе, постоянное тесное общение с молодежью и подростками дали Лиханову богатый и обширный материал для его будущей литературной деятельности. В 1964 году он стал собственным корреспондентом «Комсомольской правды» по Западной Сибири, много и активно выступал на страницах газеты.

В 1966 году его отзывают в аппарат Центрального Комитета ВЛКСМ. Альберт Лиханов становится инструктором отдела пропаганды и агитации, а через год — ответственным секретарем журнала «Смена». Одновременно он ведет большую работу по выпуску 50-томника молодежной прозы Сибири в качестве главного редактора этого издания. Принят в члены Союза писателей СССР.

В 1963 году, когда выходит в свет первая повесть Альберта Лиханова «Да будет солнце!», определяется главная тема в творчестве писателя. Это — тема подростков. Важность детской проблемы в искусстве и литературе, большую сложность показа взаимоотношений маленького человека с миром взрослых не раз отмечали выдающиеся писатели, художники, актеры. Известно высказывание К. С. Станиславского, где он говорит, что для детей актеры должны играть так же, как и для взрослых, только еще лучше и серьезнее. Особую ответственность писателя в решении детской темы не раз подчеркивал Аркадий Гайдар и многие другие.

Следуя лучшим традициям детской и юношеской литературы, Лиханов не боится вводить в свои произведения острые и конфликтные ситуации, не стремится приукрасить или упростить сложные человеческие отношения и, наконец, ре-

шительно отдает на детский суд пороки и пережитки прошлого, к сожалению еще бытующие в нашем обществе. И вместе с тем он ясно ставит перед подростком нелегкую проблему выбора. Это и выбор жизненного пути, и необходимость осознания себя личностью, и выбор друга и наставника. Подростковую тему в творчестве Альберта Лиханова можно рассматривать в двух аспектах, связанных с конкретными историческими условиями развития общества.

Военная суровая пора, раннее возмужание мальчишки, живущего нуждами и заботами своей деревни. Память о погибших, доброе слово о тех, кто своими руками заново поднимал и восстанавливал разрушенное хозяйство. Таковы проблемы, которые волнуют автора в ряде произведений, отметивших крепкое и по-своему глубоко пережитое начало его творческого пути. Таковы его книги «Теплый дождь» (Западно-Сибирское издательство, 1968), «Музыка» («Детская литература», 1971), «Сыновья» (Западно-Сибирское издательство, 1971). За повесть «Крутые горы» из сборника «Музыка» Альберт Лиханов был удостоен 2-й премии на Всесоюзном конкурсе детской и юношеской литературы в 1971 году. Другая повесть из того же сборника — «Деревянные кони» — уже знакома читателям «Подвига». Редакция публиковала ее в шестом томе за 1972 год. Суть этой повести, казалось бы, несложна. Городской мальчик Коля на лето приезжает к своему другу в деревню. Однако попадает он в самый разгар жатвы, когда вся деревня выходит в поле. А в деревне этой несколько инвалидов, старики, женщины и дети, рано принявшие на себя груз ответственности вместо семидесяти не вернувшихся с войны отцов.

Очень точно и лаконично рисует автор картину взросления подростка, впервые в жизни столкнувшегося с подлостью, суровой действительностью, нуждой и также впервые осознавшего подлинную человеческую дружбу, ощутившего неподдельную теплоту, заботу друг о друге, героическую сущность окружающих его людей. В трудные дни обращается однорукий председатель колхоза к своим односельчанам.

«...Я хочу сказать, чтобы вы, товарищи женщины, старики и ребята... чтобы вы простили нас, мужиков. Простили нас за то, что мы обещали вам вернуться, а слова своего не сдержали или вернулись вот такие, — он со злостью хлопнул себя по пустому рукаву... — В каждую деревню не вернулись солдаты, но у нашей Васильевки особый счет к фашистам... Но у нас особый счет и к Родине. Мы ей должны за себя и за ваших мужей. Мы должны работать так, чтобы никто не чувствовал, что только шестеро мужчин вернулись в Васильевку с войны. Все должны знать: солдаты — и мертвые и живые — вернулись! Вернулись с победой!»

Трагическая и звенящая нота в голосе председателя сплачивает людей. Перенапрягаясь и сами голодая, они сдают государству двойной план по хлебу. И в этой суровой недетской борьбе за урожай Вася, друг Коли, взваливает на себя трудную взрослую работу и, выбиваясь из сил, мечтает завершить недоделанное погибшим своим отцом. Главный мотив повести можно было определить одним словом — доброта. Людская активная доброта побеждает подлость, именно она

прибавляет силы обессиленным рукам, и только она — доброта — воспитывает в человеке, впервые увидевшем настоящую жизнь, веру в справедливость и высокий гуманизм нашего общества.

Другой аспект в творчестве Лиханова определен жизнью и бытом современной семьи, нравственными проблемами, волнующими нынешних юношей и девушек. Эти проблемы он поднимает в «Лунном береге» («Молодая гвардия», 1968), повести «Чистые камушки» («Детская литература», 1969), романе «Лабиринт» («Молодая гвардия», 1971) и «Обман». Три последних произведения вышли в издательстве «Молодая гвардия» в 1974 году в сборнике под общим названием «Семейные обстоятельства».

Размышляя о книге Лиханова, лауреат премии Ленинского комсомола писатель Анатолий Алексин пишет: «Воспитывает человека вся сумма слагаемых нашей жизни: школа, комсомол, спорт, общественная жизнь, театр, книги. Но большую часть времени мы проводим в семье, и эти отношения определяют наше настроение и нашу работоспособность... Хорошо, когда в семье царят взаимное уважение, лад, заинтересованность детей и взрослых. Не сразу можно разобраться в причинах ссор и неудовольствий, потребуется немало стараний и такта, чтобы привести к согласию семейные обстоятельства...» Мальчишек Лиханова, его героев, говорит далее Алексин, «отличает стремление и способность к самостоятельным решениям, чувство ответственности за свои поступки. Они действуют, эти мальчики, они ошибаются, но не перекладывают своей вины на других; они сами выбирают свой путь».

В чем же суть этих произведений Лиханова?

Боевой разведчик, отец Михаськи, вернулся с фронта, но, оказавшись в мирной, непривычной ему жизни, стал приспосабливаться, ловчить, теряя любовь и уважение собственного сына. Таковы «Чистые камушки».

В романе «Лабиринт» Лиханов показывает тяжелую, деспотическую обстановку в семье Толика, где, оказавшись слабовольным, отец переложил весь житейский груз на жену и сына.

В «Обмане» мать Сережи скрыла от него правду об отце, придумала легенду, что он был летчиком и погиб. Сережа мечтает стать летчиком, но мать умирает, а отчим предает его.

Дети должны уважать взрослых, как бы говорит своими произведениями Альберт Лиханов. Но он тут же добавляет, что эта истина не может быть односторонней. Взрослые также должны уважать детей, видеть в каждом из них будущего человека, помогать подростку воспитывать в себе характер, самоутверждаться в жизни. Писатель глубоко уважает своих героев, он стремится не просто показать жизнь этих всех мальчишек и девчонок, но помогает им увидеть самих себя собственными глазами, почувствовать вкус к настоящей жизни, учиться не быть в ней равнодушными.

Новая повесть Лиханова, которую редакция публикует в этом томе «Подвига», написана о взрослых. «Паводок» не первое «взрослое» произведение писателя. У него были рассказы, в которых автор поднимал острые психологические проблемы уже не детского мира. Вот и в этой повести он рассказывает

о группе изыскателей, попавших в критическую, смертельно опасную ситуацию, ведущих борьбу за спасение имущества, но столкнувшихся с эгоизмом, черствостью и преступным равнодушием начальника геологической партии. Разные человеческие типы собрались в повести. Робкие и сильные, кичащиеся своею силой. Вчерашний мальчишка-романтик и бывший заключенный; эгоист, проходимец и целеустремленный, умный, идущий на подвиг и самопожертвование руководитель геологической группы. Ведя рассказ от имени всех этих людей, буквально поминутно прослеживая ту трагическую ситуацию, в которую попала группа, Лиханов сумел создать яркие и запоминающиеся человеческие характеры, исследует психологическую подоплеку двух таких полярно противоположных жизненных явлений, как преступление и высокий человеческий подвиг.

ДВОРКИН ИЛЬЯ ЛЬВОВИЧ живет и работает в Ленинграде. Ему 37 лет. По образованию он инженер-строитель. До 1966 года Илья Дворкин работал на многих стройках страны, возводил мосты, пробивал тоннели, писал стихи, выпустил поэтический сборник.

В приложении «Подвиг» писатель выступает впервые, хотя его литературная деятельность началась почти десять лет назад. Все произведения Ильи Дворкина издавались в ленинградских издательствах, и были это в основном детские книжки.

В 1965 году увидела свет его повесть «День начинается утром». Речь в ней шла о судьбах мальчишек одного из южных городов, не оккупированного фашистами. Но идет жестокая война, и мальчишки не могут оставаться в стороне от нее. Вместе со взрослыми они также совершают подвиги, выслеживают немецких шпионов, словом, живут бурной жизнью тех, кому в дальнейшем выпало на долю осознать, что война — это не увлекательные приключения, а суровые трагические будни.

Следом за этой книгой Дворкин публикует ряд детских повестей: «С парусом за спиной» (1966), «Трава пахнет солнцем» (1967), «Львы живут на пустыре» (1968), «Обида» (1971).

С 1966 года, когда Илья Львович Дворкин был принят в члены Союза советских писателей, он занимается только литературным трудом.

В 1970 году ленинградское издательство выпускает в свет книгу И. Дворкина «Одна долгая ночь». Это крупное произведение, посвященное судьбам тех, с кем автор бок о бок работал, будучи инженером-строителем. По существу, «Одна долгая ночь» — это производственный роман с очень жестким напряженным сюжетом, динамичным развитием действия.

На стройку приходит молодой инженер, выпускник института Александр Балашов. Случилось так, что его сразу же назначают руководителем небольшого, но сложившегося рабочего коллектива, со своими традициями, своими неудачами и победами и опытным бригадиром Сергеем Филимоновым. По-разному встретили рабочие приход нового мастера, да-

леко не сразу поняли они суть характера молодого руководителя, заняли выжидательную позицию. По сути, действие романа и заключается в этом завоевании доверия коллектива, в длительном и нелегком процессе достижения Балашовым полного понимания с окружающими, когда руководитель наконец получает моральное, а не формальное право руководить людьми. Несмотря на разницу в характерах и образовании, и Балашов и Филимонов очень близки друг другу. В чем-то похожи их судьбы, оба несут бремя большой ответственности за вверенный им коллектив. Ведя повествование то от имени Александра Балашова, то от имени Сергея Филимонова, Илья Дворкин как бы подчеркивает эту их духовную общность. Рабочая среда неоднородна. Попадаются временные люди, заботящиеся лишь о своем кармане, попадаются откровенные подлецы. И в таких ситуациях автор раскрывает то, что мы называем словом «коллектив». Трагическая случайность, когда жертвой обвала становится один из рабочих, судебное разбирательство причин несчастья являются кульминационной точкой неторопливого, казалось бы, рассказа. До предела обострены человеческие взаимоотношения, каждый из героев в преддверии завтрашнего суда сам судит себя по наивысшему счету. И в этих бессонных ночах, когда Балашов, прожив как бы заново всю свою жизнь, берет на себя всю ответственность, а Филимонов приготовился дать бой, отстаивая своего начальника, раскрывается психологическая подоплека сущности советского человека, вовсе, может быть, и не героя, но всегда готового на любой гражданский подвиг во имя торжества справедливости.

Читая роман, постоянно убеждаешься, что написать его мог человек, близко и досконально знающий труд строителя. Описание производственного процесса, который, к сожалению, нередко в произведениях на подобные темы становится едва ли не самоцелью, в «Одной долгой ночи» служит тем фоном, на котором автору легче всего показать наиболее тонкие психологические нюансы своих героев, раскрыть их в деле. Именно в деле, а не в словах, речах, диалогах. Эта параллель — человек и его дело — лейтмотив и сверхзадача романа.

Илья Дворкин — автор ряда рассказов и повестей, которые в разное время публиковались в журналах «Пионер», «Костер», «Нева», «Аврора». В будущем году в издательстве «Советский писатель» готовится к выходу в свет сборник повестей и рассказов И. Дворкина.

Повесть «Восемь часов полета», которую редакция печатает в этом томе «Подвига», впервые была опубликована в журнале «Нева» в 1973 году.

Одинокий усталый человек летит в свой родной город из Средней Азии. Самолет время от времени делает посадки, и между ними разворачивается драматическая история пассажира. Его зовут Никита. После случившегося несчастья его демобилизовали из армии. Пришлось начинать жизнь заново. Эта новая жизнь ожидала его в маленьком пограничном городке, где он стал служить в таможне. Было счастье, была семья, заботливые и верные друзья с погранзаставы. Вступая в войну с контрабандистами опиума, Никита не думал о трагическом финале ее. Он не обращал внимания на угрозы, не

шел на сделки с совестью. Разоблачив преступников, он как бы подписал смертный приговор своей жене. Она была убита бандитами. Закономерен вопрос, что было бы, если бы, предположим, герой Дворкина знал об этом финале? Читая повесть, мы убеждаемся, что Никита не отступил бы, ибо он из той породы людей, для которых слова «совесть» и «справедливость», «долг» и «дело» — синонимы. И в этом видится прямая связь Никиты и Александра Балашова из «Одной долгой ночи».

ХРУЦКИЙ ЭДУАРД АНАТОЛЬЕВИЧ родился в 1933 году в Москве. Читателям нашего приложения он знаком как автор повести «Девушка из города башмачников».

На площади маленького городка Пено в Калининской области воздвигнут мраморный обелиск. Много лет среди фамилий погибших комсомольцев-разведчиков и партизан стояло имя «Зина». По словам старожилов, никто не знал фамилии этой девушки, партизанской разведчицы, зверски замученной фашистами. Все, что могли рассказать о ней родители погибших вместе с ней комсомольцев, сводилось к одной фразе: «Она родилась в Подмосковье, в городе, который издавна славился своими башмачниками».

По следам неизвестной комсомолки-разведчицы Зины отправился журналист Эдуард Хруцкий. На этом нелегком пути он встречал сотни людей, причастных и непричастных к судьбе девушки, переворошил тысячи архивных документов. Его преследовали неудачи и разочарования. Копаясь в протоколах допросов бывших полицаев, предавших Зину и ее товарищей, журналист окунулся в невероятные глубины человеческой подлости и предательства. Он открыл много новых документов, рассказывающих о замечательных делах советских людей, оставшихся в тылу врага и отдавших все силы борьбе за освобождение родной земли. И с каждым шагом, месяц за месяцем перед ним четче вырисовывались высокие духовные качества его героини — ее мужество, моральная стойкость и душевная чистота.

И вот поиск подошел к концу. Именем бесстрашной комсомолки-разведчицы Зины Галицыной теперь названа улица в ее родном городе Талдоме, школа, где она училась. Найдены друзья и подруги Зины по истребительному батальону, свидетели ее героической деятельности в партизанском отряде, по крупицам восстановлена короткая, но прекрасная жизнь.

Ей было восемнадцать лет, когда началась война. Как все молодые люди, комсомольцы, Зина Галицына не могла оставаться в тылу, рвалась в бой с фашизмом и добилась своего. Ее зачислили в истребительный батальон.

Просто и ненавязчиво повествуя о жизненном пути героини, Э. Хруцкий прослеживает основные этапы возмужания характера Зины Галицыной, стремится раскрыть истоки той высокой самоотверженности и патриотизма, которые подготавливали ее к совершению подвига во имя Родины.

Проявив себя зрелым и опытным бойцом в борьбе с ди-

версантами, Зина без колебания приняла предложение поступить в спецшколу, готовившую разведчиков. Пошла на эту трудную, постоянно связанную со смертельным риском работу.

Разумеется, через много лет трудно было восстановить абсолютно точно картину далекого прошлого. Поэтому повесть нельзя назвать строго документальной. В отдельных случаях автору приходилось прибегать к домыслу, чтобы с большей художественной убедительностью создать обобщенный, запоминающийся портрет героини-комсомолки, показать истоки ее высокого патриотизма.

Повесть Э. Хруцкого написана в приключенческом ключе. Однако собственно приключения относятся лишь к многочисленным перипетиям поисков следов героини. Сама судьба Зины Галицыной, напротив, подана в нарочито спокойной, даже несколько суховатой манере. Автор словно стремится избежать острых детективных ситуаций, присущих жизни разведчиков, которые нередко своей сюжетной остротой отвлекают читателей от пристального и глубокого психологического исследования характера героя.

Я не зря начал свой рассказ именно с этой работы писателя-документалиста. Сегодня, говоря об Эдуарде Хруцком, мы говорим о его шести книгах, получивших доброе признание читателей и прессы. Повесть «Девушка из города башмачников» весьма характерна для его творчества. В литературу приходят по-разному. Эдуард Хруцкий начал свою творческую биографию как профессиональный журналист, каковым, впрочем, остался по сей день. После увольнения из армии он начал работать в газете «Московский комсомолец». С той поры, уже семнадцать лет, он не расстается с беспокойной профессией газетчика. Эдуард Хруцкий заведовал отделами и был спецкором в журнале «Молодой коммунист», газетах «Литература и жизнь» и «Молодой целинник». В настоящее время работает в журнале «Сельская молодежь».

Обычно, начиная заниматься серьезным литературным трудом, человек пишет о вещах, ему дорогих и близких. Таковой была для бывшего боксера Э. Хруцкого спортивная тема. Он написал три художественно-документальные повести о боксерах, но особенно удалась ему повесть об основоположнике русского и советского бокса Аркадии Харлампиеве «Этот неистовый русский», вышедшая в свет в 1970 году в издательстве «Физкультура и спорт».

Прежде чем рассказать об этом удивительнейшем человеке и его необычайной судьбе, хочется привести два высказывания. Оба они принадлежат известному изданию «Русское слово» и относятся к маю 1915 года.

«Английский бокс есть не что иное, как спортивное мордобойство, и не рефери там нужен, а околоточный...»

И еще:

«Неудивительно, что бокс пришел к нам с берегов Британии, ведь слово «хулиган» имеет тоже английские корни. Разрешить занятия боксом — значит способствовать хулиганству...»

Не правда ли, смешно сейчас читать подобные высказывания? С абсолютно иными мерками подходим мы к одному

из самых мужественных и красивых видов спорта, с большим интересом изучаем короткую, но прекрасную его историю, восхищаемся знаменитыми советскими мастерами ринга.

Аркадий Георгиевич Харлампиев еще в начале века стал чемпионом Франции и Европы, после чего газетчики прозвали его «этот неистовый русский».

Перед автором стояла определенная трудность: книгу о спортсмене писать вообще нелегко, так как есть опасность переключиться лишь на описание его побед и поражений, свести, как говорят, повествование к очкам и секундам. Жизнь первого русского боксера была увидена Э. Хруцким как история становления бокса в России, а богатая событиями биография А. Харлампиева сделала повесть поистине приключенческой.

Он родился в Смоленске, в семье чиновника, известного всему городу Егора Харлампиева, который на масленицу с двумя своими братьями побил в кулачном бою десятерых силачей, любимцев губернатора, за что был лишен чиновничьего звания. Две страсти с детства были у Аркадия — спорт и рисование. И в том и в другом достиг он высот немалых. В связи с революционной деятельностью вынужден был он эмигрировать во Францию, где, занимаясь успешно в Школе изящных искусств, вскоре становится чемпионом по боксу. Возвратясь на родину, Харлампиев учит боксу ребят из рабочих дружин, защищает жителей родного города от погромщиков, за что его высылают из Смоленска. В Москве А. Харлампиев организует первый в России чемпионат по боксу, и журнал «К спорту» присуждает ему звание чемпиона России.

Но судьба готовит боксеру новые испытания. Начинается империалистическая война, и прапорщик Харлампиев во время неудачной атаки попадает в плен. Бежит, попадает снова во Францию. Здесь и встречает он февральскую, а затем Великую Октябрьскую революции. Он рвется на Родину и, наконец, с фальшивым паспортом через буржуазную Эстонию с огромным трудом возвращается в Советскую Россию.

Дальнейшая жизнь Аркадия Харлампиева — в его книгах, рисунках и картинах, в его впоследствии знаменитых учениках — Николае Королеве и других. Художник и альпинист, цирковой акробат и боксер, А. Харлампиев теперь возглавил кафедру бокса Московского института физкультуры и успел воспитать плеяду великолепных спортсменов.

Жизнь острая, приключенческая. Но Э. Хруцкий пользуется этой остротой как поводом для исследования характера спортсмена не только А. Харлампиева, но и спортсмена вообще. И в этом видится особая ценность повести. На примере основоположника отечественного бокса автор утверждает главную позицию, выдвинутую еще самим Харлампиевым: спортсмен должен быть разносторонне образован, он должен быть мыслителем. Как часто даже сейчас раздаются голоса в поддержку этого тезиса. А коли они еще раздаются, значит, не все еще в порядке, значит, нужно утверждать ясные, казалось бы, вещи.

В прошлом году в издательстве «Московский рабочий» вышла в свет первая книга задуманной Эдуардом Хруцким

трилогии о московской милиции в годы войны — «Комендантский час».

По поводу этой книги известный советский писатель Виль Липатов писал на страницах «Литературной газеты»: «В книге Э. Хруцкого читатель обнаружит не просто детектив, не просто милицейскую историю, а познакомится с доподлинно интересной страницей из жизни нашей милиции в первые дни Великой Отечественной войны... Эдуард Хруцкий, работая на строго документальной основе, создает портреты живых, а не тех опереточных героев, которые еще живут на страницах некоторых книг о милиции! Его герои сложны и просты, отважны и человечны, измотаны службой и влюблены. Документальность, подлинность событий не позволяют автору искажать повествование, создавать из героев манекенов».

Об этой же повести в еженедельнике «Литературная Россия» писал Юлиан Семенов. «Э. Хруцкий рассказал о своих героях скупо, без всякого рода «литфокусов», веруя в них и любя их. Поэтому и получилась у него повесть искренняя, пронизанная уважением к подвигу Павших Борцов».

В этом томе приложения мы публикуем новую героическую повесть писателя «Хроника Видлицкой коммуны». Основой для нее послужил его собственный очерк, опубликованный в журнале «Сельская молодежь». Как всегда, беря за основу документ, автор воссоздает правдивую и в то же время художественно домысленную обстановку жизни и подвигов первостроителей Советской власти.

В настоящее время Эдуард Хруцкий работает над продолжением трилогии о московской милиции и по-прежнему много сил и душевного тепла отдает журналистике.

Виктор Вучетич

СОДЕРЖАНИЕ

Ответственные за издание
О. ПОПЦОВ, С. РОМАНОВСКИЙ

А. Меркулов. Ледовая свадьба. Роман Андрея Меркулова посвящен покорителям Крайнего Севера. Время действия — наши дни.

А. Лиханов. Паводок. Повесть рассказывает о трудном деле геологов, о нравственном становлении человека.

И. Дворкин. Восемь часов полета. Герои повести — пограничники таможенники. Об их опасной профессии повествует И. Дворкин.

Э. Хруцкий. Хроника Видлицкой коммуны. Герои повести — карельские крестьяне, матросы и чекисты. Время действия — 1918—1919 годы. Автор рассказывает о тяжелой обстановке на границе, о борьбе с кулачьем и белогвардейцами.

Приложение к журналу «Сельская молодежь», т. 2.
М., «Молодая гвардия», 1974 г.
400 стр. 300 000 экз. 82 коп.

Редактор-составитель *Э. Хруцкий*
Обложка *А. Фекляева*
Рисунки *А. Суматохина, О. Кандаурова, В. Фекляева, Б. Чупрыгина*
Оформление *А. Шипова*
Художественный редактор *Н. Михайлов*
Технический редактор *Л. Коноплева*

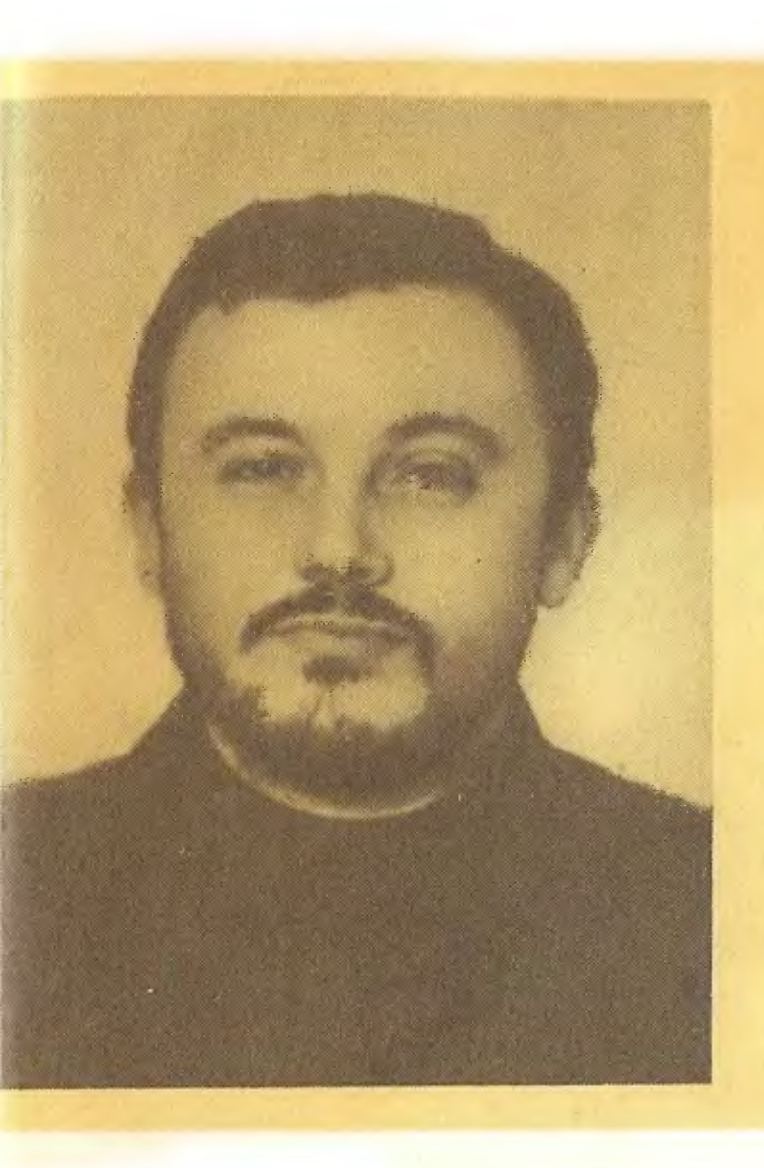
Сдано в набор 7/VI 1974 г. Подписано к печати 14/X 1974 г. А07811 Формат 84×108 1/32. Бумага № 1. Печ. л. 12,5 (усл. 21). Уч.-изд. л. 24,8 Тираж 300 000 экз. Цена 82 коп. Заказ 1222.

Типография издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес издательства и типографии: Москва, К-30, Сущевская, 21.

Граната грохнула глухо и страшно, на секунду вспышка взрыва вырвала из темноты кусты, черные от дождя деревья, человеческую фигуру с раскинутыми, словно для полета, руками.
Сомов кинулся вперед сразу за взрывом, стреляя из маузера веером, как из пулемета.

Э. ХРУЦКИЙ





...Они стояли метрах в пяти друг от друга, лицом к лицу. У Анна-ниязова в руках был нож. Узкий, с хищно задранным носом, страшный нож — кльгч. Тот самый, которым он ударил в живот добрейшего парня на свете — Ваню Федотова.

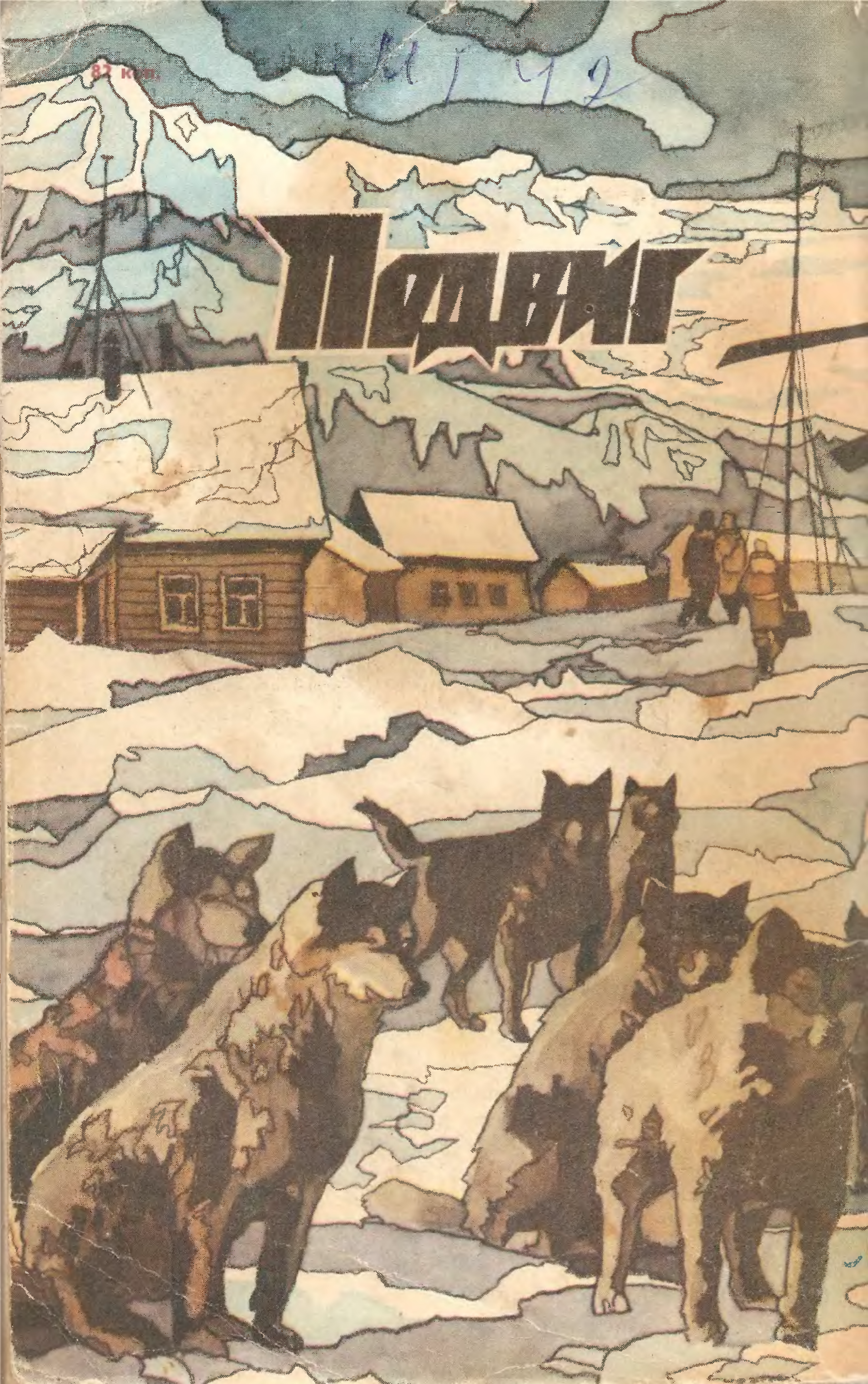
И. ДВОРКИН

Читайте в третьем томе
приложения «Подвиг»
произведения советских писателей:

АНТОЛОГИЯ ГЕРОИЧЕСКОГО РАССКАЗА,

С. Диковский **«ПАТРИОТЫ»**,

Ф. Наседкин **«ВЕЛИКИЕ ГОЛОДРАНЦЫ»**.


82 коп.
Подвиг